

2

ЗИЯ
САМАДИ

Избранное

Annotation

Второй том избранного З. Самади составили романы «Гани-батур» и «Маимхан».

В первом из них автор изображает национально-освободительную борьбу под руководством народного героя Гани-батурса, начавшуюся несколько лет спустя после разгрома восстания Ходжанияза и приведшую к созданию временного революционного правительства в Восточном Туркестане.

События второго романа переносят читателя в более далекую историческую эпоху — в XIX век. И здесь, как и в предыдущих романах, — главная тема — тема освободительной борьбы против чужеземных захватчиков. С большим мастерством и теплотой рисует автор образ своей героини, славной дочери уйгурского народа Маимхан, отдавшей жизнь за свободу.

- [Зия Самади](#)
 - [ГАНИ-БАТУР](#)
 - [Пролог](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [Глава одиннадцатая](#)
 - [Глава двенадцатая](#)
 - [Глава тринадцатая](#)
 - [Глава четырнадцатая](#)
 - [Глава пятнадцатая](#)
 - [Глава шестнадцатая](#)
 - [Глава семнадцатая](#)
 - [Глава восемнадцатая](#)

- [Глава девятнадцатая](#)
- [Глава двадцатая](#)
- [Глава двадцать первая](#)
- [Глава двадцать вторая](#)
- [МАИМХАН](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [Глава одиннадцатая](#)
 - [Глава двенадцатая](#)
 - [Глава тринадцатая](#)
 - [Глава четырнадцатая](#)
 - [Глава пятнадцатая](#)
- [Примечания](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)

- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)

- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)

- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)



Зия Самади

Избранное в двух томах. Том второй

ГАНИ-БАТУР



Пролог

Мальчик появился на свет ранней весной, в ту пору, на которую в его родных местах обычно приходится самый разгар сева. Его отец, немолодой уже дехканин, в тот день славно потрудился с рассвета и уже распряг волов, собираясь домой, когда увидел, что со стороны соления к нему стремительно скачет всадник. Крестьянин пригляделся и узнал соседского мальчишку, паренька лет двенадцати, оседлавшего гнедого трехлетка. Еще издали маленький всадник закричал:

— Суюнчи! Дядя, суюнчи!..

Дехканин выпрямился. Он знал, какого рода новость ему должны принести, и крикнул в ответ:

— Кто? Сын или дочь? Сын?!

— Сы-ы-ын! — Мальчишка остановил жеребенка и добавил восторженно: — Парень! Да еще какой парень! В колыбель не влезает! Выглядит словно трехлетний! Настоящий батур!

— Сын! — засмеялся переполненный счастьем отец-дехканин. Его громкий радостный возглас пронесся над огромным полем, а потом его подхватили стремительные волны реки Каш, огибавшей здесь гору Аврал, и унесли в дальнюю даль. Казалось, что сама родная земля с ее горами, водами, могучими деревьями радуется рождению нового своего сына.

— Так, говоришь, в колыбели не помещается? — переспросил юного вестника счастливый отец, гордо распрямляя уже тронутые сединой усы.

— Точно! — подтвердил мальчишка и добавил: — Поехали. Увидите — глазам не поверите.

— Поверю. — Дехканин приподнял паренька в седле и поцеловал его в лоб. — А возвращайся ты один. Я в честь того, что сын мой родился богатырем, посею еще хлеба...

Дехканин снова запряг волов. Вспахал новую борозду, посеял зерно... Он трудился на поле, пока не зажглись в небе первые звезды.

Хлеб на этой борозде уродился небывалый. А мальчик, отведавший этого хлеба, рос, рос и на самом деле вырос богатырем, батуром.

Глава первая

...Из трех молодых всадников один был уйгуром, второй казахом, а третий монголом. Все трое могучи, так полны здоровьем и силой, что трудно от них оторвать восхищенный взгляд. А их скакуны — под стать всадникам — словно не могут поделить дорогу, несутся, стремясь опередить друг друга, разбрызгивая пену с губ.

Подъехав к реке, юноши остановили коней и спешили. Уставшие после долгого пути кони, почувствовав себя свободными, пофыркивали, перебирая ногами.

— Достань-ка трубку, наджи^[1], покурим перед расставанием! — улыбаясь, сказал уйгур. Это был высокий и широкогрудый парень с крутым лбом и горящими черными глазами, в которых пламенели мощь и энергия.

— Хоп, друг. — Монгол вынул из кармана кисет, набил трубку и, раскурив ее, затянулся два-три раза, а потом протянул товарищу.

— Ох и нрав у этой реки... Не каждый ее одолеет, — сказал казах, разглядывая бурные волны. Казалось, что река от полноводья не вмещается в своем русле и потому выплескивается из берегов.

— А это мы посмотрим, кто кого...

— Да ладно ты, расхвастался... Не знаешь разве поговорки: вода — немая беда!

— Я хорошо знаю нрав реки Каш, вот гляди! — решительно сказал уйгур и, передав другу поводья, стал раздеваться, обнажая могучее тело.

— Мост ведь недалеко, можно переехать через него, — попробовали было отговорить его друзья, но он уже разделся, свернул одежду и, снова взяв повод, повел коня к берегу.

— Через два дня ждите меня на Аралтопе, — крикнул он товарищам, бросаясь в кипящую бурунами воду.

— О куда! — воззвал к аллаху казах.

— Бурхун, бурхун! — обратился к своему богу монгол.

Сначала конь погрузился так, что была видна лишь верхняя часть его головы с торчащими ушами, все остальное скрыла вода. Потом морда коня приподнялась над водой и стало хорошо слышно хрипение скакуна, спорящего со стихией. Джигит же плыл словно по тихому озеру, он прислонился к крупу коня, не замочив плеча, а свободная его рука широкими взмахами рассекала воду. Два друга, затаив дыхание, следили с

берега за пловцом. Наконец джигит с конем показались на другом берегу, и тогда казах и монгол разом вздохнули:

— Уф!.. Прошел, разбойник!..

Они переглянулись: «Поехали?» — и тоже уселись на коней...

Джигит, одевшись и вскочив в седло, направился по узкой тропинке, проложенной вдоль берега, но его остановил приветливый оклик:

— Счастливой дороги, сынок!

Подняв голову, парень увидел на склоне холма старика с седой бородой, который, видимо, уже давно наблюдал за ним.

— Ассалам алейкум! — ответил всадник и хотел спешиться с коня, но старик остановил его:

— Не надо, спасибо, сынок, за уважение, не слезай с коня, а если не торопишься, поднимись ко мне.

Не решившись отказать аксакалу, джигит поднялся на холм, спрыгнул с коня и протянул руки:

— Есть какое-нибудь дело ко мне, чон дада^[2]?

— Да нет, дела нет, сынок, но, видно, сам аллах привел тебя ко мне. Садись поближе!

И снова джигит не посмел отказать старику, он стреножил коня и уселся рядом с аксакалом. А старик между тем успел вытащить из хурджуна тыквянку и, налив из нее в пиалу чаю, протянул гостю:

— Попей, ты, наверно, сильно устал: с такой рекой справиться — дело нешуточное.

— Благодарю вас, чон дада, — джигит принял пиалу и, не отрываясь, выпил ее до дна.

— Ну вот и слава аллаху, — удовлетворенно кивнул старик и погладил седую бороду. Потом показал на двух всадников, поднимающихся в гору на противоположном берегу:

— А твои друзья что же от тебя отстали? Или испугались бурных волн?

— Нет, оба они не знают чувства страха! Просто у них свои дороги, они лишь провожали меня до реки.

— Значит, это твои верные друзья, так надо понимать?

— Так.

— Это хорошо. Человек без друзей — что одинокое дерево в пустыне. Но только вот настоящих друзей найти нелегко, для этого, бывает, целая жизнь требуется. А если нашел таких — надо держаться за них до конца, верить в них...

— Я своим друзьям верю. И они верят мне, — твердо ответил старику

джигит.

— Доверие — великое дело. Не дай аллах, чтоб недоверие царило в этом мире. Однако, если ты джигит, проверь друзей в деле и только после этого доверяй им, но тогда уж доверяй везде и во всем. Лишь тогда ты не ошибешься в товарищах.

— У меня, аксакал, есть четыре настоящих друга: два уйгура, третий — казах, четвертый — монгол, — с гордостью и теплотой произнес джигит.

— Не в том дело, какого народа человек, было бы сердце у него чистое, а цель благородная — этим и ценна дружба, — сказал старик, а потом, словно вспомнив о чем-то, поднялся с места. Джигит встал следом за ним.

Закатное солнце, похожее на багровый раскаленный уголь в очаге, отражаясь в беспокойных водах реки, окрасило волны радужным разноцветьем. Но этот праздник красоты продолжался совсем недолго. Светило утонуло за краем высокого горизонта, и вскоре вечерние сумерки опустились на берега реки.

— Мудрость природы... — сказал старик, не отрывая глаз от ставших сумрачными вод. — В струях реки так же, как в человеке, есть свои тайны, своя мудрость. И если ты умеешь слушать, то услышишь в плеске волн плач и стоны человеческие, его жалобы и проклятия. На закате шум волн какой-то особенный... Я каждый день при заходе солнца здесь слушаю плеск этих волн, и душа моя уносится в далекое прошлое...

Джигит не слишком внимательно слушал речь старика. Его быстрые мысли уже устремились вперед, вслед за могучими волнами реки — туда, где раскинулась Илийская долина, пастбища Жиргилан.

— Вон там, — словно расслышав его мысли, продолжил старик, — серебряной нитью вьется Или. В месте, где сливаются три реки — Каш, Текес, Куняс, у подножия горы Аврал расположено селение Каш-Карабаг. Сдается мне, что такой кайсар^[3], как ты, мог родиться именно там, вот что я скажу тебе, сынок...

— Кайсар, — повторил про себя джигит, устремив взор на вершину горы. Там под сводом небес парил между облаков, озаренных последними лучами уже невидимого с берега солнца, могучий беркут. Он и сам казался пламенно-алым.

— Кайсаром можно назвать вон его, — негромко проговорил джигит, указывая на этого беркута.

— Эти двое твоих друзей по своему обличию тоже показались мне крепкими молодцами, — прервал ход его мыслей старик.

— Их ты смело можешь назвать кайсарами, чон дада. Один из них хорошо известен в Юлтузе, другой славен на Аралтопе.

— Юлтуз — бескрайняя степь, там поселились торгоуты. А какие у них славные лошади... Вот этот твой гнедой и статью и бегом без слов говорит, что он из Юлтуза. — Старик снова присел и предложил сесть собеседнику.

— Аралтопе, — медленно произнес аксакал и своим посохом начертил на земле подобие карты. — Аралтопе, Мухур-Жиргилян и Бозадир можно смело назвать уголком рая, не ошибешься... Когда-то, во времена государства саидов, здесь обосновались кизай-казахи под предводительством Таирхана, пришедшие сюда из кипчакской степи. Значит, твой друг-казах родился на Аралтопе?

Что-то почуяв, конь вдруг заржал и взбрыкнул. Джигит вскочил и, схватив скакуна под уздцы, остановил его и успокоил, погладив по широкому лбу. Старик убрал тыквянку с чаем в хурджун и поднялся, опершись на посох.

— Чон дада, если позволите, я поеду...

— Нет, нет! Сегодня я тебя — не отпущу. Как ты можешь уехать, не попробовав дыни, которую дед Нусрат вырастил вот этими руками!

— Я загляну к вам на обратном пути...

— Не обижай, сынок, отказом, бахча моя вот тут, совсем рядом, там и внучка моя Чолпан, ждет меня, наверно, глаз с тропы не сводит...

Услышав про внучку, джигит заколебался. Какой парень устоит перед любопытством, узнав, что где-то рядом незнакомая девушка.

Увидев, что джигит в нерешительности, старик добавил:

— Видишь ли, кроме всего другого, у меня есть еще немало слов, которые мне нужно сказать именно тебе... Посидим в беседке, попробуем моих дынь, еще кое о чем поговорим. Как ты смотришь на это?

Вместо ответа джигит помог старику взобраться на своего коня, а сам устроился сзади.

* * *

Завидев деда, Чолпан кинулась ему навстречу, перепрыгивая через грядки, но тут же, обнаружив, что вместе с дедушкой приближается незнакомый человек, замерла на месте, потом рванулась было назад, но старик ее остановил:

— Не бойся, детка, это свой человек, не прячься...

Джигит спрыгнул с коня и помог слезть спутнику.

Чолпан, прикрыв лицо углом платка, повернулась вполоборота и поклонилась гостю, а потом взяла коня под уздцы и повела его к бахче. Джигит замер на месте. Он собирался сказать: «Не надо, сестренка, я сам присмотрю за ним», но почему-то не смог вымолвить ни слова.

— Дочка, проводи гостя в беседку.

— Хорошо, дедушка. — Девушка повела джигита по дорожке, обсаженной с обеих сторон цветами. Ее тугие и толстые черные косы, спускавшиеся по спине из-под платка, подрагивали в такт шагам, и джигит не отрывал от них взгляда. Запах спелой дыни, перемешанный с ароматом цветов, наполнял воздух. Беседка стояла в окружении четырех арыков, в которых журчала быстрая и прохладная вода, бежавшая с гор. В беседке было чисто, опрятно и уютно, ветерок приносил сюда свежее дыхание вершин.

Становилось темно, но беседку освещала лампада — чирак. Посредине стоял низкий круглый столик — жоза. На столике уже были разложены арбузы и дыни, нарезанные аккуратными ломтями. Все здесь говорило о щедром урожае.

Девушка взяла сложенные в углу узенькие стеганые одеяльца, проворно расстелила их вокруг столика, прижав руки к груди, поклонилась гостю:

— Добро пожаловать! — и знаком пригласила его сесть.

Джигит в свою очередь, как того требовал обычай, пожелал здоровья хозяину и хозяйке и расположился на одеяле.

— Угощайся, сынок, не стесняйся, попробуй, какие дары приносит наша бахча, — сказал старик, усаживаясь рядом с ним. А быстрая Чолпан уже внесла кумган с водой и полотенце.

— Руки сполоснешь, сынок?

— Спасибо...

Первый раз в жизни ему на руки лила воду девушка. И джигиту казалось, что чистая вода, которую лила на руки Чолпан, проникает в его кровь и разносится по всему телу, достигая сердца. Уже и вода в кумгане кончилась, а он, не замечая этого, все не убирал рук. «Наверно, хватит», — сдерживая смех, осторожно кашлянула девушка. И лишь тогда пришел в себя парень и, взяв полотенце, смущенно исподлобья взглянул на Чолпан. Их глаза впервые встретились, и в сердцах обоих зажегся неведомый им доселе огонь...

Джигит вновь уселся на свое место. А девушка вышла и скоро вернулась с медным чайником в одной руке и с подносом в другой. Она

разлила чай в пиалы и, протянув их деду и гостю, снова склонилась в поклоне:

— Кушайте, пожалуйста, — и снова вышла из беседки. Когда она наклонилась, подавая пиалу, джигит вдруг уловил исходящий от нее чуть слышный запах. Нет, это был даже не запах, это было дыхание нежного юного тела девушки, только вчера неожиданно превратившейся из неуклюжего подростка в прекрасное трепетное создание, от одного присутствия которого джигитов бросает в жар. Юноша почувствовал, как закипела его кровь, как задрожали руки, принимавшие из ее рук пиалу...

— Ну что ж, сынок, ты пока тут без меня посиди, угощайся, не стесняйся, — сказал старик, поглядев на замолчавшего и притихшего джигита, — а я тем временем совершу вечерний намаз.

Гость остался один. Он сидел в растерянности, словно не зная, за что приняться сначала. Потом рука его машинально протянулась к подносу, и он взял вареный початок кукурузы. Но джигиту было не до еды — перед взором его все еще стояла девушка, она улыбалась ему, играя косою, и огромные черные очи ее смотрели, казалось, призывно. В надежде снова встретить ее взгляд парень не спускал глаз с дверей беседки...

Решетчатые стенки, обвитые шершавыми стеблями тыквы, вздрогнули и снова замерли. Может быть, это вольный ветерок шаловливым порывом мимолетно всколыхнул их, смеясь над взволнованным джигитом?.. А может, Чолпан, спрятавшись за густо увитой решеткой, тихо наблюдает за ним? Девушки любят тайком подсматривать за парнями. И в окошко подсматривают, и в двери и, укрывшись за деревцем, могут смеяться над тобой... Да что там дерево, за стеблями вьюна они могут укрыться так, что не заметишь. Может, и вправду стоит сейчас Чолпан за стенкой беседки и оценивающе изучает джигита?..

— О коне не беспокойся, сынок, — сказал, неожиданно входя, старик Нусрат, — я дал ему арбузных корок. Мелко нарезал и перемешал их с отрубями. От арбузных корок — знаешь ли ты это? — шерсть коня становится такой гладкой и блестящей... Что же ты ничего даже не тронул на столе? Так не годится, запомни, кайсар-джигит не должен быть таким стеснительным...

— Я решил подождать вас, вместе и поедим. — Молодому гостю пришлось солгать, чтобы не выдать правды — он, занятый сладкими мыслями и мечтами, просто не заметил, как промчалось время.

— Да, ты прав, сынок, одному и мне никогда кусок в горло не идет. — Нусрат принес с собой еще две свежие дыни самых лучших сортов и, разрезав их, предложил гостю. — Давай бери, сынок, таких сладких дынь,

как у меня, ты нигде больше не попробуешь. Не думай, что я хвалюсь, так говорят люди.

Джигит подумал про себя: «Не оттого ли они так сладки, что их касались руки Чолпан?» Дыни действительно были необыкновенно нежны и ароматны. Молодой гость принялся усердно есть их, восхищаясь вслух и радуя старика.

...Старый Нусрат не всю жизнь работал кетменем. В молодости он обучался четыре или пять лет в Кульджинском медресе «Байтилла» и получил неплохое образование. Он хорошо знал основы шариата, религиозные догмы ислама, но больше всего его интересовала история родного народа. Он вложил много сил в дело создания народных школ в родном краю, был одним из организаторов движения за народное просвещение. Но его деятельность совсем не устраивала баев и мулл. Они много раз жаловались на Нусрата и его сподвижников властям и в конце концов добились того, что созданные Нусратом школы нового типа были объявлены «гнездом безбожия» и закрыты, а сам учитель отстранен от дела народного образования. Этим его беды не ограничились. Фанатики подожгли его дом, на Нусрата устраивались покушения. Он вынужден был покинуть свое селение Хасанюзи на том берегу Каша и перебраться на этот берег в Ават. Конечно, ему следовало бы уехать куда-нибудь подальше, но не смог он оставить свою любимую реку Каш и родные места. Он остался с единственной внучкой, и целью жизни стало теперь для него вырастить ее достойным человеком и сделать ее счастливой. Для этого и взял в руки кетмень. И с этих пор другом для него стало поле, радостью — река Каш, а счастьем — единственная внучка Чолпан...

— Ты, наверное, думаешь про себя: «Что же надо от меня этому старику?» — вдруг по-отцовски тепло сказал Нусрат, когда Чолпан, зайдя в очередной раз в беседку, не поднимая глаз, убрала посуду и поставила новый чайник со свежим чаем. — А я давно ждал случая встретиться с тобой и рад, что он, наконец, пришел...

Джигит удивленно посмотрел на старика.

— Но прежде чем сказать, что хотел, я намерен задать тебе один вопрос о тебе самом...

Джигит расправил плечи и вопросительно взглянул на старика, словно молчаливо согласился: «Спрашивайте...»

— Хорошо ли ты знаешь своих предков?

Джигит никак не ожидал этого вопроса. Старик сказал: «О тебе самом», — парень и думал, что его спросят, женат ли он или имеет ли невесту и еще что-нибудь вроде этого. Тут бы он ответил быстро. А старик

задал ему вопрос, над которым он никогда не задумывался всерьез, но парень все же не растерялся и переспросил:

— Вы имеете в виду моего отца и деда, так?

— Да-да, и прадеда, и прапрадеда, всех своих предков, которых ты помнишь...

Джигит смог насчитать предков лишь до четвертого колена и замолк в некоторой растерянности, что ему вовсе не было свойственно, — он не ведал поражений ни в борьбе, ни в скачках, ни в словесных спорах. Но сейчас джигит чувствовал смущение, чего с ним давно уже не бывало. Он опустил голову, словно признавая, что этот старый и слабый человек победил его.

— Плохо, сынок, — недовольно покачал головой дед Нусрат, — мужчина должен уметь назвать своих предков по крайней мере до седьмого колена... Самое главное в жизни — знать, кто ты есть на этом свете, где твои корни. Если же ты не знаешь этого, то не знаешь прошлого своего племени, всего своего народа, а поэтому ты не будешь знать, ради кого и как нужно жить, — так и проведешь всю жизнь в темноте, как слепой!..

«Не будешь знать, ради кого нужно жить», — повторил про себя джигит, а потом нетерпеливо посмотрел на старика, словно просил: «Продолжай же».

— А таким кайсарам, как ты, это знание просто необходимо. Ведь сила в ваших руках, и эту силу надо направлять в нужное русло. Не зная родного народа, его прошлого, можно зазря растратить ее. Не будешь понимать, кого защищать на этой земле, с кем биться, с кем идти рука об руку. Нужно помнить своих предков, чтобы продолжать их дело. А ведь ты — потомок известных в народе людей, внук прославившегося своими доблестными делами моего друга...

— Что?.. — джигит вскочил с места.

— Ты — вылитый Сетивалди в молодости. Глядя на тебя, я вижу перед собой моего друга Сетивалди.

Старик Нусрат задумался, то ли он собирался с мыслями, то ли воспоминания, всколыхнувшие его душу, на время заслонили перед ним все другое.

А джигит сидел, сгорая от нетерпения, — ему поскорее хотелось услышать рассказ о деде, о его смелости, о его подвигах, его жизни, характере, семье.

— Твоего деда Сетивалди не зря называли в народе — мерген^[4] продолжал после раздумья Нусрат. — В дни Илийского газавата мы с твоим дедом были в рядах повстанцев. Ему тогда было двадцать, а мне

семнадцать только исполнилось. Бывали в жарких схватках, где настоящий джигит мог показать себя, а трусы погибали или бежали. Сетивалди был близок к Садыр-палвану и в битвах при Суйдуне, Куре и Баяндае прославился как храбрый и отважный боец и исключительно меткий стрелок.

Не раз видевший его в бою эмир-лашкар^[5] Абдура-сулбек представил его к званию юзбаши^[6] и поставил командовать конным отрядом. А в народе его звали то Сетивалди-мерген, то Сетивалди-палван, и оба этих имени подходили ему, он заслужил их своими подвигами.

С первого же момента встречи джигит проникся к старому Нусрату искренним уважением — доброта, ум, прямотушие в человеке сразу бросаются в глаза. А теперь, узнав, что старик был боевым другом его деда, парень еще больше потянулся к нему. «Счастливая встреча!» — повторял он про себя. И этот вызывавший к себе любовь и уважение пожилой человек был дедом такой прекрасной девушки!.. О, Чолпан, Чолпан!..

Вдруг взволнованные мысли юноши прервал звук резкого хлопка. Похоже, что где-то недалеко что-то разорвалось. Джигит вскочил, недоуменно взглянув на старика.

— Дыня, — успокоил его с улыбкой старик. — Дыня сорта савза-назук. Эти дыни так взрываются, когда переспеют. Мне нравится этот звук — словно в барабан кто-то ударил...

Вошла Чолпан. В руках она держала пару дынь сорта савза-назук.

— Ах ты моя умница, радость моя!.. Я только собирался тебя позвать и попросить принести пару дынь, а ты и сама догадалась. Давай их сюда, одну гостю, другую мне... Ты знаешь, их даже резать ножом нет нужды, так они еще вкуснее. — Нусрат вонзил зубы в тонкую кожуру на месте разрыва, откуда выглядывала сочная оранжевая плоть дыни.

Гость последовал его примеру, краешком глаза взглянув на девушку. Она с улыбкой наблюдала за ним. Встретившись с его взглядом, Чолпан смутилась и быстро выскользнула из беседки. Но улыбка на ее лице, напоминая прекрасный раскрывшийся цветок, продолжала сиять перед глазами джигита.

— Я хотел тебе напомнить, что твои предки были замечательными людьми, их знал весь родной край, — продолжил свой рассказ Нусрат. — Ты слышал о геройстве самого старшего твоего деда в седьмом поколении Османа?

И снова ничего не смог ответить джигит, снова смущенно опустил

голову. «Никогда я раньше не испытывал такого стыда». Если бы ему довелось учиться! Да когда ему было учиться? Все, что он знал, так это несколько аятов из Корана — перенял от отца... А порога школы он никогда не переступал. Если бы учился, то знал бы хорошо и историю своего рода, и историю своего народа. Может быть, не хуже этого старика, ведь умом его аллах не обделил.

— Ну так слушай, — сказал Нусрат, — было это почти два века назад, когда маньчжурские войска под началом Жаухай-жанжуна вторглись на наши земли. И в битве с врагами особую доблесть проявил твой предок Осман. При защите столицы нашего государства Яркенда, в жарких схватках при Карасу, Тонгузлуке он громил жаухайских чериков^[7] и заставил их отступить, был в числе самых отважных и удалых воинов. За мужество в сражениях он был поставлен на пост пансата — пятисотника.

— Вот как?! — Гордость за далеких мужественных предков, страстное желание не опозорить их славного имени, стать достойным продолжателем их доблестных дел огнем заиграли в темных глазах джигита.

— К сожалению, победа ушла от нас, — тяжело вздохнул Нусрат, — потом началась эта вражда между уйгурами с Белых гор и уйгурами с Черных гор, которая разъединила наш народ на два лагеря. Чему же удивляться, что мы потерпели сокрушительное поражение. И в числе главных жертв этой войны оказались и хотанские каракашлики, которых возглавлял твой пращур Осман...

— Так значит, наши предки — выходцы из Хотана?

— Да, из Хотана... Кстати, Садыр-палван тоже был хотанский, из селения Гума.

— Правда?!

Узнав о том, что он земляк великого Садыра-палвана, джигит еще больше приосанился.

— Те каракашлики, что остались после побоища в живых, перебравшись сюда к слиянию трех рек, на южный склон Аврала и назвали его Каш-Карабаг. После этого и река, что прежде называлась Нилка, получила имя Каш.

— Спасибо, дедушка, — джигит с особым чувством произнес слово «дедушка» — так он обратился бы к своему родному деду, — если бы ты мне не рассказал обо всем этом, я так и не узнал бы, наверное, истории своего рода, так и ходил бы, не ведая, кто я и откуда.

— А ты думаешь, мало таких? — Нусрат задумался и опять тяжело вздохнул. — И все наши невзгоды как раз от этого и идут, что мы не знаем, откуда мы, кто мы... Ну так вот, начнем с Османа, его сыном был Ислам,

от него — Бавдун, от Бавдуна — Худаберди, от Худаберди — Сетивалди, от Сетивалди — Маметбаки, а от Маметбаки — ты, Абдулгани, — вот твои семь колен!

— Семь колен...

— Запомни их. Запомни и то, что твои предки Осман и Сетивалди — это люди, которые высоко несли знамя свободы родного народа и погибли за нее. Они были бунтарями!..

— Бунтари!.. — повторил Гани. Перед глазами его стояли пращур Осман и дед Сетивалди — могучие и суровые. И ему казалось, что они призывают его к борьбе... Кровь гулко стучала в жилах джигита, он больше не в силах был сидеть. И, словно почувствовав это, вдруг призывно заржал его скакун.

— Ты не беспокойся, сынок, я сам посмотрю за твоим конем...

— Нет, дедушка, я поеду, — сказал негромко Гани и усилил голос, чтобы услышала и Чолпан, — спасибо вам за все — и за гостеприимство, и за ваш рассказ, за все!..

— Не за что, сынок... Да и что ты у нас успел отведать? Только то, что под руками было. Даже и угостить тебя не успели по-настоящему... Не торопись, переночуй у меня, Чолпан что-нибудь приготовит...

Услышав имя девушки, Гани было заколебался и чуть не сел опять, но тут же передумал: «Нет, нельзя, что обо мне подумает девушка. Решит, что я бездельник, которому некуда спешить».

— В следующий раз как-нибудь, дедушка. Позвольте, я буду вас навещать?..

— Для тебя, сынок, всегда открыты двери моего дома, запомни это! Ты — внук моего близкого друга. И еще одно — ты на коне, я и пешком с палкой хожу, ты молод, я стар, мне за тобой не угнаться, так что ты уж навещай меня, не забывай старика...

Гани и Нусрат вышли из беседки. Луна уже поднялась высоко и окрестности, освещенные ее бледным светом, казались сказочно прекрасными. И так не хотелось уходить отсюда, из этого цветника, где самым красивым цветком была девушка, носившая имя утренней звезды^[8]

...

Джигит и старик замерли, прислушиваясь к загадочному монотонному плеску волн, доносившемуся со стороны реки...

— Мудрость природы, — снова повторил старик, положив на плечо Гани твердую как дерево, но уже слегка дрожащую руку. — Знай, сынок, у меня много есть чего сказать тебе, приезжай, вот так у реки, прислушиваясь к ее шуму, мы еще поговорим...

Гани вскочил на коня и помчался. В голове его тоже мчались доселе неведомые ему мысли, а в сердце поднималось какое-то новое чувство. И казалось ему, что не на скакуне он, на сказочной чудо-птице, поднявшей его высоко над миром... И снова и снова, без конца повторял он слова: «бунтарь», «свобода», «счастье»...

Глава вторая

Камешки, сбитые копытами коня, стремительно неслись вниз по крутому склону, увлекая за собой десятки других. Но легко и быстро поднимавшийся по узкой тропе к вершине горы всадник не обращал на камнепад никакого внимания. Эта трудная и опасная тропа была нелегким испытанием и для скакуна и для джигита. Многие не выдерживали этого испытания на тропе, получившей название Сират-корук (мост над преисподней) — и искали другого, более благоразумного пути. Обычно ею пользовались лишь в случае крайней необходимости, когда нужно было уйти от преследовавших врагов или резко укоротить дорогу. Да и тогда на это отваживались только самые отчаянные головы. Но нашему путнику и его коню эта тропа, видно, была хорошо знакома, надо полагать, что они уже не раз пользовались ею. Конь без особого напряжения поднимался по круче, нисколько не пугался скатывавшихся камней, не ожидая понуканий всадника, а тот сидел прямо и гордо, смело ослабив поводья. Наконец, достигнув вершины, всадник прыгнул на землю и стал обтирать взмыленного коня, поглаживая его по холке, по спине и, лаская, приговаривал:

— Молодец, мой славный, мой сокол. Мне с тобой и преисподняя не страшна. — Он поцеловал его в белую звездочку на лбу и повел под уздцы к скале, покрытой густым мхом. Оставив коня у подножия скалы, сам джигит ловко вскарабкался на ее вершину. Все вокруг, каждый камень и каждое деревце было знакомо и привычно его взгляду. Здесь он чувствовал себя в полной безопасности, спокойно и уверенно. Он знал, что здесь может не опасаться удара в спину. Это место — куда нелегко было попасть и куда поэтому редко заглядывала живая душа — с давних пор стало убежищем для Гани и его товарищей. Здесь они встречались, здесь обсуждали свои планы. Дважды, бежав из тюрьмы — ямула, джигит укрывался в этих местах, и черики, устремившиеся по его следу, отступали, не в силах добраться до этого горного гнезда. И своих друзей, казаха Акбара и монгола Галдана Гани, вызволив из тюрьмы, укрыл именно здесь, да так, что преследователи и следов их не обнаружили... Он считал эти места как бы личным своим владением. Здесь он был хозяином. И какое бы предприятие ни замышлял Гани, он обдумывал его здесь и начинал свой путь отсюда.

Наверное, издали Гани, замерший на краю скалы, казался могучим

горным беркутом. По-орлиному зорким взглядом джигит окидывал отсюда чуть ли не всю родную землю, и ее токи наполняли его душу, ободряя и возвышая ее. Вон видна его родина — селение Турдиюзи, протянувшееся от подножия гор до самой Или. Справа Каш-Самиюзи, слева Бахтиярюзи, его называют еще Сепил. Там живут дунгане. На севере виднеются Аввакюзи и Карабаг. Все поселения вместе называются Каш-Карабаг. Все они близки сердцу Гани, здесь он родился и вырос, здесь набрался сил и ума, здесь добыл себе славу...

Его острый взор устремился затем на юг к отрогам Тянь-Шаня, потом на север к Джунгарскому Алатау, далее к серебристому руслу Или, по обоим берегам которой зеленели пышными садами уйгурские села, и так до самого сердца Илийской долины — до города Кульджи.

— Наша земля! — вслух произнес он, как будто бы отвечая кому-то. Сердце его было переполнено гордостью за эту землю, любовью к каждой травинке на ней. — Как говорит дед Нусрат: «Это мы строили здесь города и села, воздвигали крепости, это мы разбивали здесь сады, рыли каналы, пустили в долину животворную воду. Это мы поднимали здесь целину, отвоевав ее у природы, мы засевали поля, мы и наши предки! Все это веками наше, так по какому же праву чужаки, прибывшие сюда из дальнего далека, захватили все это, объявили своим, правят нами, дерут с нас налоги за нашу же землю, нашу воду, наш воздух?! Почему они мучают нас, издеваются над нами?! И почему мы не можем стать хозяевами своей земли?! Или это бог так создал нас — рабами, а хозяевами — завоевателей?!»

Эти мысли давно мучили Гани, но особенно неотвязными они стали в последнее время, после того как он сблизился с дедом Нусратом. Старик и юноша много раз говорили об этом, и теперь Гани уже иначе, чем раньше, смотрел на все, что совершалось вокруг. Теперь в нем жила не просто слепая ненависть к чужакам-колонизаторам и их приспешникам, в нем проснулась жажда справедливости, сознание своего человеческого достоинства, чувство своего права на свободу и на эту землю. И он стремился каждый день превратить в день борьбы за свой народ, в день мести врагу. И нельзя осуждать смелого юношу за то, что не видел он тогда иных путей борьбы с врагами родного народа, как схватки в одиночку с самыми ненавистными слугами чужой власти...

— Эй, джигит, смотри не утони в своих мечтах! Вид у тебя такой, словно ты судьбу всего мира решаешь!

Гани резко обернулся назад, откуда донесся насмешливый голос, и увидел, что невдалеке на плоском камне сидит, улыбаясь, его друг

Махаматджан.

Гани резко ответил:

— Разве смешно — думать о судьбе родной земли? Проще ухмыляться надо всем, как это делаешь ты? Ухмыляться, не замечая народных бед, уступая дорогу врагу?..

Но Махаматджана трудно было смутить и лишить веселого расположения духа.

— Ты смотри, как он заговорил. Откуда ты набрался таких мудрых мыслей? С тех пор как ты с Нусратом связался, так у тебя и язык развязался! — Махаматджан так громко расхохотался, что вслед за ним, словно поддерживая его смех, заржали и кони, которые паслись неподалеку. Тут уж рассмеялся и Гани, громкий смех джигитов, стократно повторенный эхом, разнесся далеко по горам и ущельям, и птицы, оглушенные этим громом смеха, испуганно взметнулись ввысь.

Махаматджан провел друга в пещеру и широким жестом показал на лежащие рядом плоские валуны:

— Садись на любой, какой тебе приглянется. На таких мягких креслах никогда не сидели ни русский царь, ни турецкий султан, ни китайский император. Вот какой чести я тебя удостоиваю.

— Вот этот, который поменьше, я думаю, ты наверняка для турецкого султана припас. Хоть и не видел я его, но по сравнению с другими он нам все-таки родня — и по крови и по вере. Так что я выбираю этот камень. — Гани уселся, бросив на валун свой бешмет.

— Эх, брат, все у тебя есть — и острый ум, и сила, и удачлив ты, а счастья все поймать не можешь!

Не так уж веселы были слова Махаматджана, но произнес он их словно радостную шутку — не было у печали пути к сердцу парня.

— Что это ты сегодня такой улыбчивый, как круглая тыква? Уж не села ли тебе на голову птица счастья?

— А ты как думал? Вон, посмотри, — Махаматджан махнул рукой в глубь пещеры, где лежала оленья туша с огромными рогами.

— Неужели сам добыл? — сделал вид, что не верит, Гани.

— Нет, пророк Иса с небес сбросил в честь твоего прихода, — обиделся Махаматджан.

Гани, хорошо знавший, что настоящего охотника ничто так не обижает, как недоверие к его удаче, попытался сгладить неосторожную шутку:

— Ну, ладно, ладно, надулся, как перезрелая тыква (крепкого и круглого Махаматджана приятели часто сравнивали с тыквой), тебе же

известно, что я всегда восхищаюсь твоей меткостью...

— Ты же знаешь, я как один из тех кашцев, что хоронили родича, да по дороге на кладбище заприметив джейрана, забыли о покойнике и пустились за добычей...

Тут они снова расхохотались. Махаматджан не мог сердиться или унывать больше минуты. Его отец был известным в округе плотником, но парень с юных лет увлекся охотой, не пошел по отцовской дороге и большую часть времени проводил в горах. Люди говорили о нем: «Зимний дом у Махаматджана в Самиюзи, а летний — в горной пещере». Он стал на редкость метким стрелком, и это еще больше сблизило его с Гани, который очень ценил в друзьях воинские достоинства.

— Ах, забыл! — вскочил Махаматджан и кинулся в дальний угол пещеры, где в струе воды, стекавшей сверху, охлаждался кожаный бурдюк. — Сейчас я тебе налью одного божественного напитка, который омолодит твое сердце лет на двадцать, и будешь ты словно мальчишка носиться по горам, и меня благодарить без конца.

— Напиток — калмыцкий?

— Сейчас, сейчас, попробуешь и узнаешь. — Махаматджан, отвернувшись, чтобы друг не рассмотрел, стал наливать что-то из мешка в деревянную чашу.

— Да ладно, можешь не прятать, по запаху чую — оленья кровь.

— О аллах, — удивился Махаматджан, — нет ничего на свете, что бы ты не знал... А я-то стараюсь, удивить хочу и — вот тебе — опять не получилось... Когда ты успел попробовать этот напиток?

— Эх, тыква ты, тыква. Да ты еще и ружья-то в руках не держал, одних перепелов ловил, а я уже тогда не то что стрелял оленей — с живых рога срезал!..

— Ну ладно, всем известно: с тобой тягаться — все равно что за солнцем бежать. Будешь пить? — протянул чашу Махаматджан.

— Если не испортился, буду. — Гани взял чашу, а потом, не отрываясь от ее края, словно одним глотком влил в себя напиток. Не сразу отдышался и протянул пустую посуду Махаматджану. — Ну, спасибо, друг, угостил!

— Ну и славу аллаху, я рад, что сделал тебе приятное, — опять рассмеялся Махаматджан и потянулся к ведру, висевшему над костром, где варилось оленья мясо. — Тебе порезать или так будешь? — подал он Гана увесистую ляжку зверя.

— Ты что думаешь, у меня зубы выпали? Давай целиком!.. — И Гани впился своими крупными и крепкими зубами в мясо.

«Ну тигр, настоящий тигр!» — покачал головой Махаматджан. Гани молча расправлялся с оленем. Наконец, отбросив почти голую берцовую кость, спросил:

— Похлебка-то осталась?

— Столько мяса съел, и все мало? Ну, обжора! Куда в тебя столько лезет?

— Э, браток, скажи спасибо, что заморил червячка оленьей кровью, а то бы и тебя вместе с оленем съел бы.

— Обжора, обжора...

— Ты не очень-то, смотри у меня... Сейчас по моим жилам течет кровь дикого зверя, я и расвирепеть могу, тогда добра не жди...

Усмехнувшись шутке товарища, Махаматджан подвинулся поближе:

— Ну, ладно, теперь ты сыт — рассказывай... Не зря же ты поднялся сюда, по мосту над преисподней прошел. Есть какое-то важное дело?

Гани жестом руки остановил друга и, вскочив с места, прошел к падающей струе воды. Припав к ней, он пил долго, не отрываясь, будто конь, несколько дней не видевший воды. Затем потянулся и довольным голосом сказал:

— Не знаю, какой шайтан вошел в меня и сидит внутри, не дает покоя: «Вставай, сколько можно без дела сидеть...» Ты знаешь, порой места себе не нахожу, маюсь — надо что-то делать...

Махаматджан, давно не видевший друга, вглядывался в него. Что-то изменилось в Гани. Внешне он выглядел таким, как прежде, разве похудел немного, только какой-то новой озорной живостью сверкали его полные огня глаза.

— Что ты хочешь сказать? Я не понял тебя...

— Не прикидывайся. Ты все знаешь, не зря ведь грамоте учился. Зачем же делаешь вид, что ничего не понимаешь? И правду люди говорят, что грамотеи часто бывают слишком увертливы и много виляют хвостом!

— О чем ты? Нашел грамотея! Да, я выучился кое-как читать и писать, но мудрецом от этого не стал! Да если бы я был действительно образованным, разве сидел бы в этой пещере?

— Ладно, болтать пустое нет времени.

— Молчу.

— Ну и хорошо делаешь.

— Чует мое сердце, задумал ты великое дело. Мир изменить захотел.

— А ты уверен — не получится?

— Решил объявить угнетателям священную войну и стать эмир-лашкарком?

— А ты думаешь, газават всегда начинали не такие, как мы с тобой? Особые? У которых вместо одной головы пять было, да десять рук? Нет, брат, точно такие. Только они не боялись собственной тени, не ползали по земле, как ужи.

— Твоя правда, друг. Но только не забывай, что газават не детская игра, а дело трудное и опасное.

— Ну что ж, если ты считаешь, что сражаться с захватчиками тебе не по плечу, живи себе в пещере да стреляй оленей. Это, конечно, безопасней. А господу чужаки пусть спокойно делают свои черные дела. — Гани был рассержен так, что у него дрожали руки, и он с трудом, просыпая табак, свернул самокрутку.

— Ты что, вот прямо сейчас и поднялся на газават, так, что ли? Ну, счастливого пути, — засмеялся было Махаматджан, но, встретив гневный взгляд друга, примолк.

— Здесь у нас ничего не вышло. Теперь я хочу двинуться в Кумул и связаться с тамошними повстанцами. Если хочешь, идем со мной...

— Эх, если бы ты это мне пару лет назад предложил... Тогда, может, все было бы по-твоему...

— Предлагал ведь. Только ты и тогда стал оттягивать, а потом меня снова упрятали в тюрьму.

— Слышал я, что и в Кумуле все притихло. Люди говорят, Ходжанияз-хаджи подписал договор с гомиьндановцами. Так что же теперь туда идти, догоревший костер заново не вспыхнет...

— А, черт бы всех побрал! — Гани в гневе вырвал прочно вросший в землю большой камень и резким взмахом выбросил его из пещеры. Сила его искала выхода, но что делать, он не знал.

— Надо посоветоваться с учителем Нусратом. Может быть, он подскажет, как поступить, — задумчиво проговорил Махаматджан.

Вдруг, глянув искоса, Гани спросил приятеля:

— Где твой конь?

— Пасется где-нибудь неподалеку. А куда поедем?

— Потом узнаешь.

Махаматджан почесал в затылке, но ничего не сказал — встал, привел коня и начал его седлать...

На перевале показались два всадника. Они оглядели сверху селение, дома которого были скрыты под белой пеной цветущих садов, а затем стали осторожно спускаться. То тут, то там среди хижин бедняков горделиво возвышались байские дома, с застекленными окнами, свежепобеленными стенами, с разукрашенными воротами. Все же

остальные дома были похожи один на другой: обмазанные глиной, низенькие, скособочившиеся. Их неказистость скрашивала лишь пышность садов, что, вдоволь напившись воды из Чулукая, щедро одаривали плодами своих хозяев. Здешние яблоки, до глубокой зимы сохраняющие свежесть, и пшеница местной породы, хлеб из которой отличается особой пышностью, известны далеко от этих мест. И часто было так, что пройдохи из города ранней весной, когда в жилища бедняков стучался голод, на корню скупали здесь весь будущий урожай за бесценок, а потом всю зиму торговали отличными яблоками, наживаясь на них. И еще одной особенностью отличалось это селение. Местных жителей называли «янчи». Происхождение этого названия было таким. Маньчжурские завоеватели, переселив на Или из Турпана потомка турпанских князей-ванов Мусу-гуна и назначив его хакимом илимских уйгуров, именовавшихся тогда таранчи, отдали в его руки всю власть над местными жителями. Все земли здесь были разделены на восемьдесят два участка, во главе каждого был поставлен староста — шанъё, подчинявшийся Мусе. Сто же домов дехкан не вошли ни в один из участков, эти семьи находились в услужении у самого гуна. Они были даже не столько слугами, сколько рабами своего господина. Вот эти «янчи»-рабы и основали Чулукай. Со временем это селение стало самым крупным на Или. Революция 1911 года отменила феодальные титулы ванов и гунов. Отменила она и название янчи, но за чулукайцами так и осталась эта кличка.

Всадники остановились в самом начале селения у мельницы, отделенной от других домов пустырем. Спускались сумерки, в их неверном свете мельник не разглядел фигуры приезжих и испуганно спрятался за изгородью.

— Не бойся, Момун-ака, мы свои, иди сюда...

— Это ты, Гани? Здравствуй, сынок! — Узнав по голосу Гани, мельник подбежал к всадникам и, взяв под уздцы коня джигита, хотел было помочь ему спуститься, но тот отбросил его руку и, спрыгнув на землю, досадливо спросил:

— Ну когда же вы забудете о своем рабском прошлом? Эх, янчи... Ведь не ты мне, Момун-ака, а я тебе должен почет оказывать.

— Пусть ты молод, сынок, но имя у тебя большое и славное.

— Не надо восхвалять меня, ака.

— Хорошо, сынок, хорошо... Ну что же вы? Идемте в дом. Айшам, где ты?..

— Да здесь я, что случилось, отец? — Жена Момуна вышла из хлева с ведром, но, увидев посторонних мужчин, прикрылась платком и,

полуотвернувшись, поздоровалась.

— Быстро поставь чаю, жена! — приказал Момун. — Так идемте в дом.

— Я люблю слушать, как вода вращает жернова. Давай, Момун-ака, пройдем на мельницу, там поговорим, — сказал Гани.

— А как же чай?

— Чаю попьем потом, сначала нужно поговорить!

Момун повел гостей в сторону мельницы. Мельнику не было еще и пятидесяти, но волосы его уже словно обсыпала мука, плечи обвисли, может быть, от тех бесчисленных тяжелых мешков, которые он таскал всю жизнь. Казалось, что земля тянет его к себе, придавливая и горбя его фигуру.

У воды было прохладно и свежо, монотонный шепот жерновов, медленно вращавшихся под напором воды, навевал спокойствие и умиротворение. Гани постоял минуту, глядя на тяжелое вращение жерновов, и присел неподалеку от воды.

— Какое блаженство!..

Гани горстями черпал и жадно пил прохладную воду.

— Да, даже если человек трудился весь день не покладая рук, не поднимая головы, то посидит немного здесь — и усталость как рукой снимет, — поддержал друга Махаматджан. Парни свернули самокрутки и задымили. Момун вынул табакерку с насваем и, сунув под язык щепотку наса, тоже замолк, уставившись на воду.

— Ты ведь, наверное, догадываешься, зачем мы пришли к тебе, Момун-ака? Не зря же через горы перевалили, через реку переплыли? — после паузы начал Гани.

— Думаю, ты пришел проведать меня, ты ведь и раньше частенько ко мне заезжал...

— Нет! Ты знаешь — на этот раз я не просто проведать тебя пришел. Рассказывай все, все, что было!

— Сынок!.. Гани!.. — словно комок застрял в горле у Момуна. Он не смог ничего больше выговорить, лицо его задергалось, и мельник вдруг зарыдал, не в силах больше сдерживаться. Это были не скупые слезы потрясенного горем, но не потерявшего себя мужчины, а безнадежный, полный безутешной боли плач отчаявшегося человека. Неужели от предков наших достался нам в наследство этот жалобный плач?!

— Ну довольно, ака, довольно... Слезам горю не поможешь. Слезы да рыдания — всем бедам помощники, как мы это не поймем! Не стал я слушать от чужих рассказы о твоём горе, пришел к тебе, чтобы от тебя

самого все узнать...

Гани говорил намеренно строгим и сухим тоном, потому что плач Момуна волновал его до глубины души и он боялся, что сам не сдержится. Он видел, что и глаза всегда веселого Махаматджана наполнились гневом и горем.

— Ох, Гани... Дочка... — только и смог выговорить Момун и снова залился слезами. Джигиты молчали — пусть старый человек выплачется, слезы облегчают страдания, успокаивают боль... Но сердца их стучали гневно, когда они смотрели на своего сородича, доведенного до такого отчаяния, ненависть к врагам переполняла их души, рождая страстное желание скорее отомстить обидчикам...

Наконец мельник перестал плакать. Тяжело вздохнув, он произнес дрожащим голосом:

— Если ты слышал об этом, что тебе меня еще мучить, заставлять снова вспоминать. Все, что ты слышал — правда...

— Не хочешь — не говори, — зло ответил Гани, — так и лей слезы молчком. Много проку от этого.

— Момун-ака, — осторожно начал Махаматджан, — я понимаю, бывают такие вещи, о которых и не стоит говорить. Но твое горе не такое. Оно не принадлежит только тебе. Это горе всего нашего народа, всех семей, что живут на этой земле. И о нем нельзя молчать...

— Но что мне делать?... Что я могу?.. Один я на этом свете, некому мне помочь...

— А мы! Мы-то на что? — закричал Гани в гневе и досаде. — Ты что думаешь, мы расспрашиваем тебя из любопытства, а сюда приехали погулять да развеяться, отдохнуть под плеск воды? Эх, вы, янчи, янчи, так, видно, и умрете рабами, как родились...

— Сынок, а тебе зачем вмешиваться в нашу беду? Из-за нас ты навлечешь на свою голову новое лихо, мало тебе без нас забот?...

— Значит, пожалел меня? — холодно рассмеялся Гани. — Ну, спасибо, Момун-ака. Только запомни. Лучше умереть от голода и холода, лучше сгнить где-нибудь под забором как собака, но честь свою нельзя ронять ни перед кем! Ладно! Черт с тобой!.. Живи словно черепаха, прячься в панцирь со своим горем. Ты нам скажи только одно — назови имя того подлеца, что отнял у тебя твою дочь силой. Кто он?

— Сын кулустайского сельского старосты — шанъё...

— Поехали, друг! — сказал Гани и резко поднялся. Махаматджан вскочил следом за ним. Они направились к коням, не слушая Момуна, который просил их остаться попить чаю. Он даже попытался удержать

коней, но джигиты двинулись в путь.

Проводив их, мельник сел на камень у дороги. Горе так измучило его, что он был не в силах больше держаться на ногах. Слезы вновь заструились по морщинистому лицу.

Подошла жена, приготовившая угощение.

— Вставай же, чай уже вскипел. А гости где? — она огляделась. — Уехали?! Ах, как стыдно, даже чаем не угостили.

Момун было приподнялся, но тотчас снова тяжело опустился на камень. Айшам попробовала ему помочь, но муж молча оттолкнул ее руку и стал смотреть на дорогу, по которой уехали два джигита. Айшам пристально поглядела на мужа и тоже уселась рядом с ним. Они жалели друг друга, прятали друг от друга слезы. Уже два дня прошло, как случилась эта беда, это ужасное событие... Да, им нелегко жилось, но эта радость всегда ждала их в доме — их дочь Зайнап... А теперь ее нет с ними — и свет померк, и дом стал похож на могилу, а они сами — на мертвецов. Кто им поможет?

В ту ночь, когда украли дочку, Момун пошел за помощью к хозяину мельницы. Но, развалившись на постели, не поднимая головы от подушки, бек сказал сквозь сон: «Мало тебе, дураку, за то, что не умел держать дочь в твердых руках... Проваливай...»

Ответ бека, которому он служил верой и правдой всю свою жизнь, стал последней каплей. Момун поклялся ни одной живой душе не открывать своего сердца, не рассказывать о своих горестях. И, может быть, поэтому он ничего не сказал даже Гани, которому доверял всей душой, которого любил всем сердцем... Прижавшись друг к другу, муж и жена сидели на камне, сами словно окаменев.

* * *

Короткими летними ночами светильники в домах дехкан гаснут рано. Бедняки, которые еще перед рассветом уходят в поле и там трудятся до заката солнца, вернувшись с приходом сумерек домой, быстро расправляют жесткие постели и ложатся. Не успеет человек голову к тощей подушке склонить, а уже спит беспробудным сном наработавшегося труженика.

Перевалив через гору и миновав лощину, Гани и Махаматджан достигли Кулустая, который тоже считался селением янчи — здесь жили выходцы из Чулукая.

— Что за человек Момун-ака, даже имени своего обидчика не назвал, — чертыхнулся Гани, когда они подъезжали к селению.

— Да чего ты от него хочешь? Бедный Момун-ака... Всю жизнь на чужих гнул шею, не видел ни покоя, ни радости. Потом он знает твой нрав, боится за тебя — натворишь делов, что сам не расхлебаешь, а он себя будет виноватым считать, — ответил Махаматджан.

— В этом селении около десятка шаньё. Какой из них нам нужен? Не зная имени, как его найдешь?

— Давай заглянем вон в тот дом, где огонь горит, там и спросим, — предложил Махаматджан.

— Ты что, рехнулся? Да в эту пору свет горит только у баев да шаньё, у мулл да беков, они днем выспались, пока батраки на них работали. Пойди спроси — сразу укажут дорогу в ямул...

— Ну тогда сам думай, что делать, — усмехнулся Махаматджан. Хотя товарищи всегда держались на равных, решающий голос все-таки принадлежал Гани. Всегда выходило так, как он предлагал, и Махаматджан давно уже перестал с ним спорить...

— Хватит смеяться, тыква! Давай лучше думать, что предпримем. Постой, а помнишь ли ты про тетку Хажу?

— Какую Хажу ты имеешь в виду? Тут в любую дверь стукни — отзовется Хажа или Хажахан, Хажагуль или Хажабуви...

— Ну та, Хажа-медведица?

— Ты говоришь про сестру Шерипа?

— Да, про нее...

— Чего это ты про нее вспомнил? Это же не баба, а настоящий мужик...

— Да, она стоит десятерых таких, как ты!.. А коли сядет на коня, любого джигита обставит.

— Ну, нашел Рустам-палвана в юбке.

Остановив коня у небольшого домика на восточной окраине села, Гани спрыгнул на землю и, отдав поводья другу, осторожно подошел к двери. Судя по неказистому виду, это был домик какого-то бедняка. Джигит тихонько постучал в окно.

— Есть кто дома? Я спрашиваю, есть кто живой?

— Кто там?.. — послышался сонный женский голос.

— Я из города, посыльный.

Услышав о посыльном, женщина, видно, перепугалась и замолчала от страха.

— Не бойся... Только скажи, где живет Хажа?

— А-а-а-а, — голос у женщины дрожал, — а вам какая нужна? — Она подошла к окну. — Хажа белоносая? Или Хажа плосконосая? Или Хажа — болтунья? — В голосе женщины слышалась великая готовность угодить важному человеку из города.

— Сестра Шерипа!

— А, тогда ясно, — женщина высунула голову в окно. — Мы ее называем Хажа-медведица. Ее дом найдете так: вон там, за деревом, повернете вправо, потом спуститесь вниз вдоль арыка, не доходя до моста, повернете налево. Перед ее домом растут два тополя...

— Слушай, а ты сама, случаем, не Хажа-болтунья? — прервал ее Гани и, не дослушав до конца, повернул назад.

Немного не добравшись до места, указанного женщиной, путники увидели на озаренной луной поляне огромную тень женщины, которая вела теленка с водопоя...

— Тьфу ты, напасть, не сидится тебе, бродишь черт знает где! — Подойдя к забору, женщина подхватила теленка и легко переставила его через изгородь.

— Видел? Вот ее-то я и имел в виду!

— Ну и баба! Ну и баба!..

— Здравствуйте, Хажахан-хада^[9], — издали поздоровался Гани.

Хажа, отличавшаяся острым зрением, сразу узнала Гани:

— А, это ты, палван, что ты здесь делаешь, ищешь кого?

— Эх, тетушка Хажа, каждый раз, как вижу тебя, силой твоей не налюбуюсь!..

— Э, братишка, не шути с теткой. Слезай с коня, добро пожаловать в дом...

— Спасибо, тетушка, тороплюсь, потом как-нибудь.

— Ну нет уж! Раз пришел, значит, будешь гостем. Посмотрим, как ты сможешь мне отказать. Давно я тебя мечтала в гости позвать, а ты и сам пришел. Сказано, слезай с коня! — Хажа взяла под уздцы коня и рывком подтянула к себе джигита.

— Видел того бычка? Сейчас я его разделаю для дорогих гостей.

Гани понял, что от гостеприимства тетушки Хажи ему так просто не отвертеться, и признался:

— Скажу тебе всю правду, тетушка, нельзя нам сегодня задерживаться. Мы должны спасти одну девушку, задержимся — опоздаем, поэтому прости нас...

— Вот оно что.

— Да вот, решил сделать, что в моих силах...

— Ты только тем и занимаешься, что делаешь людям добро, а тебе кто будет добро делать?

— Джигиту не пристало требовать добро за добро, что могу, то и делаю. Все это лишние разговоры, тетушка...

— Ну что ж, задерживать не стану, раз такое дело у тебя, благослови тебя аллах... А что это за девушка?

— Дочь чулукайского мельника Момуна, Зайнап...

— Ясно, — сразу поняла в чем дело Хажа. Вдруг она встрепенулась. — Так ведь говорят, что Тусук, сын Ходжака-шаньё забрал ее с согласия ее родителей...

— Врут, негодяи! Какое там согласие?! Мать и отца связали, девушку вытащили из дома...

— Зайнап была уже обручена с Бавдуном, сиротою. Так его нарочно отправили подальше отрабатывать подать, а сами девушку насильно забрали, — добавил Махаматджан.

— Ах, скоты! Решили еще одну душу загубить, мало им горя и слез наших...

— Да если им спускать, они не одну еще девушку опозорят.

— Этот Тусук, — разгневанно сказала женщина, — весь гнилой, рядом с ним стоять невозможно — так воняет... Уже двух красавиц погубил, заразил своей болезнью, еще и эту хочет опоганить...

— Где он живет?

— Идемте, я провожу вас!

— Нет, провожать нас не надо...

— Это еще что за речи? Сказано поведу, значит поведу, да я его сама вот этими руками прихлопну — мокрое место останется! Идемте!

— Нет, тетушка. Хочешь с ним расквитаться, потом успеешь, а сегодня жди нас на Булукайской дороге.

— На Булукайской дороге? Что я там не видела среди ночи? — удивилась Хажа.

— Если хочешь нам помочь, жди нас там. Надеюсь, ты не боишься привидений и всяких там ведьм и чертей?

— Да ты еще не знаешь, оказывается, кто такая Хажа-медведица, эй, шалун-палван?

— Значит, договорились... А теперь расскажи, как подъехать к дому Ходжака-шаньё.

Хажа-хада обстоятельно рассказала, как пройти к дому шаньё.

Дом Ходжака был расположен в южной части селения. Он выделялся среди других величиной и убранством. Широкий арык протекал прямо по

огромному саду бека, высокая изгородь наглухо закрывала двор.

— Видно, что живоглот, — сказал Гани, когда товарищи, объехав усадьбу вдоль забора, остановились перед воротами, — все себе забрал — и лучшие земли, и всю воду.

— Что поделаешь, — вздохнул Махаматджан, — сейчас его время...

— А ты вспомни о его полях и пастбищах. Сколько их у него? Так нет же, никак не успокоится: еще, еще! Эх, придет ли когда-нибудь час, когда мы свяжем всех таких, как он, одной веревкой и, как баранов, выведем прочь с земли нашей...

— Одной веревки будет мало... — задумался Махаматджан, но, видя гневное волнение Гани, постарался успокоить друга: — Ничего, брат, придет этот час, и мы рассчитаемся с ними...

— Ладно, хватит красться вдоль забора. Давай прямо откроем ворота. Эх, и задам же я сейчас обоим — отцу и сыну...

Махаматджан продолжал успокаивать друга:

— Не стоит поднимать большого шума. У Ходжака длинные руки, как бы не стало потом хуже бедной семье Момуна. Лучше потихоньку увезем девушку — это ведь для нас главное...

Гани сильно застучал в огромные ворота. Прошло немало времени, пока слышались шаркающие шаги и натужный кашель:

— Кто там? Среди ночи...

— Шаньё дома? — строго спросил Гани.

— Ты сам кто такой?

— Нияз-лозун^[10], открывай!

Услышав грозное имя, старик за дверью растерялся и в растерянности быстро залопотал:

— Господин лозун, господина шаньё вызвал к себе бек в Чулукай, еще с утра уехали, — и закашлялся.

— А сын дома?

— Дома, дома, Тусукджан дома, — старый слуга дрожащими руками стал открывать запоры.

— Где покои Тусука? — спросил Гани, входя в ворота и отдавая поводья слуге.

— Вон там, в глубине сада, где огонь горит.

— И новая сноха там?

— Там, господин, там...

— Кто кроме тебя в доме остался?..

— Все слуги в поле... Никого нет...

Узнав, что, кроме сына шаньё и старого слуги, никого в доме нет,

Гани заговорил громко. Он обратился к Махаматджану: «Хашим!» Тот, поняв игру товарища, откликнулся соответствующим тоном:

— Слушаюсь, господин!

— Накорми с этим стариком коней, да дай им отдохнуть, через час поедем назад.

— Слушаюсь, господин лозун, — приложил руку к груди Махаматджан.

— А я пойду поздравлю Тусукджана, — Гани прошел пару шагов и остановился, будто вспомнив что-то, — да, скоро подъедет сочжан^[11] со своим чериком, приготовьте для них пару быстрых коней — да порезвее.

— Будет исполнено, господин!..

Тихонько подойдя к флигелю, Гани привстал на цыпочки и заглянул в окно. В дальнем углу комнаты вся растерзанная, в разорванном платье, с включенными волосами, пригнувшись, словно готовясь встретить прыжок хищного зверя, с ножом в руке стояла Зайнап.

А посередине комнаты на пышных одеялах в одном белье сидел Тусук с раскрасневшимися щеками, устремив на девушку жадный маслянистый взгляд. Вид охваченного похотью Тусука, безобразного и тщедушного — сын шанъё был худ, как скелет, — вызывал омерзение.

— Зря, зря, ты, Зайнап, так глупо себя ведешь! — говорил Тусук вкрадчивым, но подрагивающим от нетерпения голосом. — Человек, вступивший в дом Ходжака-шанъё, становится или рабом этого дома или покойником. Лучше по-хорошему уступи мне...

Тусук стал медленно приближаться к девушке, но га подняла нож:

— Подойдешь — распорю тебе живот!

— Послушай, Зайнап, я сделаю все, что ты захочешь. Хочешь — выгоню обеих своих жен? Все мое богатство тебе достанется. Хочешь — возьмем сюда твоих родителей, тут они будут сыты и довольны...

— Не смей своим вонючим ртом упоминать моих родителей! Лучше погибну, чем хоть один день проживу с тобой. Никогда, ты слышишь, никогда не будет по-твоему!..

— Ты еще глупая, Зайнап. Это же честь великая для тебя — быть снохой Ходжака, женой Тусука. Ведь чего только в нашем доме нет, тебе и не снилось такое богатство. Это шайтан тебе дурные мысли внушает...

Гани одним ударом вышиб дверь и, ворвавшись в комнату, гаркнул:

— Правда! И этот шайтан — ты!

На ужас Тусука было и смешно и отвратительно смотреть. Он кинулся на одеяла, закрыл голову подушкой и, трясаясь всем телом, запричитал:

— Ой, смерть моя, ох, смерть моя!..

Гани расхохотался. И Зайнап, столько пережившая за два последних дня, тоже смеялась, на минуту забыв обо всем.

— Переодевайся, сестренка, сейчас — поедem, — сказал ей Гани и повернулся к Тусуку. — И эта мразь еще девушек ворует? Тьфу! — Гани с омерзением сплюнул и пнул в зад валявшегося у его ног и дрожащего от страха Тусука. — Ну, как? Будешь еще издеваться над бедными, обижать сирот?

— Не-е-т, не-ет!

— Поклянись!..

— Пусть меня покарает аллах!.. Пусть сгорит мой дом!.. Пусть...

— Ладно, достаточно и первого. Все остальное, если понадобится, я сам сделаю, без аллаха. В общем, слушай меня внимательно: если ты что-нибудь сделаешь во вред Момуну-мельнику, я расправлюсь и с тобой, и с твоим отцом, и со всеми твоими родичами и холуями. Я тебе обещаю это! Понял?!

— П-п-понял..

— Дай-ка я на тебя еще посмотрю, чтоб лучше запомнить может, еще свидимся... — Гани приподнял одеяло, которым закрывался Тусук, и тут же бросил его, сморщив нос. — Тьфу ты, вонючка. Надо же, в штаны наделал... Эх ты, заячье сердце!..

Взяв Зайнап за руку, Гани вывел ее во двор.

Девушка еще не могла прийти в себя. Мужество ее спасителя, который не побоялся так просто ворваться в дом Ходжака, считавшегося выше всех в округе и почти ни с кем даже не здоровавшегося в селении, его деликатность и доброта к ней, потрясли Зайнап. Когда Гани взял ее за руку, она почувствовала, что пошла бы вот так за ним хоть на край света...

Махаматджан вместе со старым слугой держали наготове трех оседланных лошадей.

— Эй, эй, — закричал слуга, вдруг увидев девушку, — а ее вы куда?

— В ямул запрячем эту дуреху за то, что не слушается она хозяина!..

— Нет, нет, тут что-то не то! Девушку я не отдам! — испугался начавший понимать в чем тут дело старик.

— Эй, старый холуй! Не лезь лучше!

— А что я скажу хозяину, ведь шаньё убьет меня! Завтра же повесит меня на карагаче! Лучше убейте меня сразу! — Старик был испуган до смерти, от страха даже его непрерывный кашель сразу пропал.

— Ладно! Сделаем так, что тебе твой хозяин и слова не скажет, — ответил Гани и, связав старику руки и ноги, одним махом закинул его сухое тщедушное тело на крышу. — Уж очень ты предан своему хозяину,

вот и полежи на ветерке, дожидайся его!

Подъехав к дороге, ведущей в Булукай, всадники увидели, что Хажа-медведица поджидает их.

— Уф, как я тут волновалась. С добычей, значит, вернулись! Молодец, Гани! — обрадовалась она.

Услышав имя джигита, Зайнап встрепенулась. Девушка вспомнила — года три назад она видела мельком Гани, когда тот приезжал к ним на мельницу. Но тогда он показался ей совсем юным парнем. А теперь это был могучий молодой мужчина. Девушка украдкой бросила на него взгляд... Потом еще один и еще... Ей трудно было оторвать от него взор.

— Забирай нашу добычу себе! — сказал Гани. — Отвезешь ее в Булукай к деду Рахиму. А мы не позже, чем за неделю, найдем Бавдуна и доставим его туда же. Тогда и сыграем потихоньку в доме Рахима свадьбу.

Услышав о свадьбе, Зайнап благодарно посмотрела на Гани. Но рядом с любимым — Бавдуном — место в сердце теперь занял и ее спаситель. Девушка чувствовала, что для этого джигита она готова на все...

А Хажа говорила Гани:

— Не беспокойся. Ты меня знаешь, все сделаю как надо...

Уже на следующее утро об этом происшествии знал весь Кулустай, к полудню о нем говорили в Чулукае, Булукае, Арабозе. А к вечеру, обойдя все близлежащие селения, эта весть добралась и до Кульджи. И чем дальше уходила новость, тем больше обретала версий: «Девушку выкрал ее прежний друг», «девушка зарезала мужа и бежала, забрав с собой все золото шаньё», «девушку забрал лозун со своим чериком» и еще много всякого. Лишь та женщина, что указала Гани, где дом Хажи-медведицы, и получила от него прозвище «Хажа-болтунья», твердила всем: «Я узнала похитителя, это всем известный Гани». Однако соседи с давних пор по заслугам считали ее вздорной сплетницей и никто ей не поверил. В результате эта гипотеза не вышла за пределы Кулустая.

Тусук, конечно, очень хотел что-нибудь предпринять, чтобы отомстить своему обидчику, но он, увь, знал, что за этим последует. Да и не в его интересах было, чтобы разговоры о его позоре распространялись, и он вынужденно молчал. Тусук нашел своего скакуна, на котором ускакала Зайнап, поутру возле своего дома, обрадовался, и на том для него эта история и кончилась.

Глава третья

Полная луна залила сады матовым серебряным светом. Легкий ветерок с гор чуть колыхал посеребренные листья деревьев. В одном из самых больших садов в просторной беседке на мягких одеялах и пуховых подушках восседали гости — баи и беки. — Они наслаждались свежестью наступающей ночи, трелями соловьев, споривших между собой за первенство в песне. Соловьям вторил тамбур всем известного в здешнем краю музыканта. Жами-тамбур играл «Ажам» — одну из самых любимых народом мелодий.

И вдруг ветерок донес откуда-то звуки другой песни. Она приближалась, эта песня, она постепенно заполнила сад, и, казалось, даже деревья прислушались к чарующему голосу певца:

Гнал я скакуна до темноты
Через Булукайское ущелье...
Если славно потрудился ты,
Будет славным и твое веселье.

— Какой великолепный голос! — воскликнул кто-то из гостей.

— Чудо, а не голос, и какое мастерское исполнение, — подхватил другой.

— Ну, ладно, ладно, не захваливайте. У нас здесь свой музыкант — Жами-ака, ему это может показаться обидным.

— Есть пословица: «Лучше всех цену золота знает ювелир». Так и мы, музыканты, лучше других способны оценить по достоинству песню и певца, — спокойно ответил Жами-тамбур, который тоже внимательно прислушивался к новой мелодии. — Действительно, отличный голос и прекрасное исполнение...

— Тогда давайте пригласим этого певца сюда к нам, — предложил один из джигитов, тот, что первый услышал песню.

— У нас здесь что, свадьба, чтобы приглашать всякого, кто мимо проходит, а, Рахим? — насмешливо спросил бек, отличавшийся особым чванством.

— Интересно! Кажется, этот голос мне знаком, где-то я его слышал, — с еще большим вниманием прислушался к песне Рахимджан, не

обративший никакого внимания на слова заносчивого бека. Да они и не дошли до его сознания.

А голос звенел, набирая силу, певец, весь отдавшийся волне вдохновения, вел мелодию раскованно и свободно — песня слышалась все ближе и ближе:

Всем известен мой веселый смех,
Мои шутки на устах у всех.
Это так, но ты не думай, друг,
Что не знало сердце слез и мук...

— Точно! Это его голос!.. — Рахимджан вскочил и выбежал на улицу. Гости переглянулись с возмущением. Лишь Жами-тамбуру был понятен порыв молодого человека.

— Абдугопур! Что, твой брат рос, не зная уздечки? — строго спросил самый важный бек, закуривая трубку, набитую табаком, перемешанным с опиумом.

— И не говорите, бегим... Как бы этот парень не привел сюда каких-нибудь бродяг с большой дороги, — поддакнул Заир, который всегда и во всем поддерживал своего бека и ходил за ним как собака.

— Рахимджан такой, с кем только не связывается, — добавил еще один холуй бека, иначе этого байского сынка и язык не поворачивался называть, — а еще учился в школе Дарнак, чему только там его учили?

— Все напасти наши от этого Дарнака! — со злостью пыхнул трубкой важный бек. — Эти проклятые короткополые многих детей мусульман сбили с истинного пути!

Все баи, беки, муллы и их приспешники не могли спокойно сидеть на месте при упоминании школы Дарнак. В первой половине двадцатых годов молодые уйгурские интеллигенты, побывавшие в западных странах и учившиеся, кто в России, кто в Германии, кто в Турции, возвратившись на родину, открыли светскую школу Дарнак. В ней преподавание велось на современном уровне науки, школьников знакомили с живописью и музыкой, всячески поощрялись занятия спортом.

Китайские власти встретили открытие школы с неприязнью. Быстро заручившись поддержкой местных богатеев и духовенства, применяя свой испытанный метод — «жарить мясо в собственном соку», — власти их руками уничтожили зачатки светского народного образования уйгуров. В тюрьму были брошены создатели Дарнака — Абдурахман-афанди,

Хусаинбек Юнусов, Жиржис-ходжа и другие. А Хелил-афанди, Нури Разиев, спасаясь от репрессий, бежали в Советскую Россию. Передовая, высоко поднявшая факел просвещения уйгурского народа школа Дарнак просуществовала недолго. Но зерна, брошенные на благодатную почву, проросли. И те молодые люди, кто успел получить образование в этой школе, теперь сами стали проводниками культуры и образования. Они играли важную роль в пробуждении национального самосознания, поэтому реакционные власти зорко следили за ними и нередко подвергали гонениям.

Рахимджан Сабири учился в Дарнаке. Юноша с открытым сердцем, чистыми и светлыми помыслами, он мало походил на своих здешних сверстников из богатых семей.

...Рахимджан вернулся в беседку, ведя с собой Гани и Махаматджана. Полупьяные гости хмуро косились на них. Гани спокойно поздоровался с Жами-тамбуром, не дожидаясь приглашения, сел к столу и намеренно громко сказал другу:

— Ты чего стоишь? Если твоего тестя здесь случайно не оказалось, так ты, что же — сесть себе не можешь позволить? — При виде пиршества чваных и наглых богатеев перед мысленным взором Гани сразу же возникла фигура Зайнап в покоях сына шаньё и вся сцена ее освобождения.

Издевательский смысл слов Гани дошел до гостей, принявших после его прихода неподвижные позы буддийских изваяний. Они зашевелились, задвигались, поглядывая друг на друга, а главным образом на важного бека.

— А вы еще не хотели идти!.. — простодушно воскликнул Рахимджан, угощая своих знакомых.

— Налейте гостям кумыса, — робко предложил Абдугопур, сидевший-на хозяйском месте.

— Угощайтесь, братья, догоняйте нас, — приветливо потчевал Жами-тамбур.

Почти сутки не слезавшие с коней, переделавшие за это время много важных дел джигиты были и усталы, и голодны, и страшно хотели пить. Они успели после спасения Зайнап снова побывать в доме мельника и обрадовать Момуна и Айшу. Оба сначала выпили по несколько пиал холодного кумыса, а потом обратились и к закускам. Беку не понравилось, что они так свободно и непринужденно ведут себя за столом, и он произнес, посасывая трубку:

— Рахимджан! Ты тут недавно расхваливал своего друга как чудопевца. Может быть, мы послушаем его, ведь не только жрать мы сюда

пришли?

— Я их чуть не насильно привел, — сказал Рахимджан, смущенно улыбаясь.

— Не волнуйся, Рахимджан, — в ответ ему улыбнулся и Гани, чувствуя, что тому неловко, — наш Махаматджан отработает песнями то, что мы тут съели!

В прошлом году Гани-был в гостях у своих казахских друзей-тамыров на джайляу. Там во время кокпара Гани еще раз показал свою удаль, никому не позволив отобрать у него козла. После этого его с друзьями в гости позвал Рахимджан. В тот вечер устроили айтыс. И здесь блеснул своим искусством Махаматджан. Он вступил в спор за первенство с прославленными певцами-казахами и так прекрасно исполнил свои песни, что все признали его победителем. Вот с этого дня и сблизились Рахимджан с Гани и Махаматджаном. Если бы сегодня на месте Рахимджана оказался кто-нибудь другой, джигиты ни за что не вошли бы сюда.

— Говорят: «Ворона каркает для своего удовольствия». Так и я — пою лишь для себя. Вряд ли смогу я усладить слух таких важных господ, как вы, не такой уж я искусник...

Гости опять зашевелились, не в силах понять, искренне ли говорит Махаматджан или просто издевается над ними.

— Не надо так, сынок, — прервал его Жами-тамбур, — мы издали слышали твой голос: очень сильный и красивый голос. Если ты найдешь себе хорошего наставника, то, поверь мне, ты станешь отличным музыкантом, уж я-то знаю в этом толк...

— Ох, что-то очень много слов, а где же песня? — постучал трубкой по столу бек. — Возьми дутар в руки да играй, а мы посмотрим, на что ты годишься.

— Боюсь, не угонится он за дутаром, — хихикнул один из подхалимов бека, — лопнет еще от натуги...

— Ты, дядя, лучше за своим животом последи, — отрезал Гани. — Он у тебя так урчит, будто ты им аккомпанировать собираешься!..

Обиженный подхалим с надеждой обернулся в сторону бека, надеясь на защиту, но тот не сказал ни слова, молча сидел, покусывая мышинные усы. Бек много знал о Гани, много слышал о нем. Знал, что острые слова молодого батура расходятся по всему краю. Промолчал, чтоб самому не стать предметом злой шутки Гани — у этого нищего бродяги ведь ни к кому почтения нет. Сдержался, хотя от ярости у него на миг потемнело в глазах.

— Ну, что, брат, — сказал Жами, нарушив неловкое молчание, воцарившееся за столом после ответа Гани, — начнем? Как ты смотришь на «Ханлайлун»?..

— Ого!.. — воскликнул Рахимджан.

— «Ханлайлун» делится на пять самостоятельных частей, — продолжал Жами, — и каждая поется по-особому. Кто справится со всеми пятью и не собьется, наверняка с блеском исполнит любую другую песню. Значит, это настоящий певец. Так как насчет «Ханлайлуна»?

Махаматджан растерялся. Сородичи называли его «горным соловьем», он сам знал, что в своей округе он поет лучше всех, но Жами-тамбур был мастером, известным всему уйгурскому народу. Петь перед ним, да еще начинать с «Ханлайлуна»? Парень с мольбой взглянул на Гани: «Помоги...»

— Споет, — отрубил Гани, не оглядываясь на друга. — Нет песни, которой он не знал бы!.. Даже казахские песни у него получаются лучше, чем у иных казахов. Вы бы знали, сколько воздуха набирается в грудь этой тыквы!..

Грянул смех. Даже нахмуренный бек не выдержав, рассмеялся (от этого его мышинные усики вздернулись вверх).

— А в тыкве сколько семечек, столько и песен! Ва-а-а!

— Ну, тогда, может быть, попробуем разрезать живот этому парню, да посмотрим, сколько там у него песен! Ва-а-а!

— А потом посеем, вырастет много песен, будем их продавать. Ва-а-а!

Желая угодить беку, гости гоготали над своими шутками, хотя, наверно, и сами понимали, что смешного и остроумного в них было мало.

Махаматджан долго сидел молча, но, наконец, не выдержал:

— Коли свою землю под посев отдадите, согласен: режьте, сейте. Пусть мои песни взойдут на этой земле! Да только знаю — вы скорей съедите эту землю!..

Жами-тамбур, хорошо знавший цену острому слову, одобрительно посмотрел на Махаматджана. Другие же гости засмеялись несколько принужденно.

Бек снова насупился. Жами, посмотрев на него, сказал:

— Нельзя сердиться на шутку, бек. Знаешь — ради красного словца не щадят и родного отца.

— Даже родного отца! — подхватил Гани. — А что уж говорить о каком-нибудь мулле или ишане, бае или беке?

Бек снова сделал вид, будто ничего не слышит. Жами-тамбур, одобрительно хмыкнув, взял в руки дутар и начал наигрывать, а потом

сделал Махаматджану знак начинать.

И полилась песня:

К многим лекарям я без толку ходил
С просьбой о лекарстве от моей печали.
«Если бы ты сильным в этом мире был,
Так и не скорбел бы», — дружно отвечали.

Начав первую часть, Махаматджан еще смущался, голос его слегка дрожал. Но Жами сделал ему знак: «Не бойся», Махаматджан воодушевился и вторую часть спел уже уверенно. Теперь его голос обрел свою силу и, вторя дутару лад в лад, тон в тон, звенел свободно и ярко:

Впрочем, даже тот, кто прожил тыщу лет,
Царствуя, казня и собирая дани,
Ослабев под старость, уж не сможет, нет,
Убежать от бед, от тягостных страданий.

Правда, мастеру были заметны две ошибки певца, когда он чуть выбился из тональности, но Жами-тамбур отлично понимал и сложность исполнения и волнение исполнителя.

Много у аллаха под луной рабов,
И у всех печальна их судьба людская,
Но никто на ведал про такую боль,
От которой мучусь, заживо сгорая.

Когда талантливый певец всем сердцем отдается песне, она звучит совершенно. Прославленный Рози-тамбур как-то заметил: «Ханлайлун» — дивная песня. И самое прекрасное в ней — третья часть. Может быть, Махаматджан знал об этих словах, а может, и вправду именно к третьей части песни каждый исполнитель полностью находит себя в мелодии, но именно этот кусок прозвучал у певца без малейших погрешностей.

Слушатели сидели без движения, целиком попав под власть песни. Жами склонил голову над дутаром и звенел струнами. Будто соловьи со всего сада слетелись к этой беседке и вторили певцу.

О аллах, за что вся эта мука мне?
Почему такая послана мне участь?
Коль нельзя иначе — сам хоть жги в огне,
А земным врагам не позволяй так мучить...

И снова не подвел мастера Махаматджан, хотя эта часть и не вышла у него настолько законченной, как предыдущая. Но все равно Жами уверенно перешел к пятому, последнему разделу:

Почему, аллах, для всех я только плох?
Никогда не слышал доброго я слова...
Только боль и муки, только сон и вздох,
Я не знаю в мире ничего иного...

Птице сесть всегда труднее, чем взлететь. Так и песню закончить как надо, гораздо сложнее, чем начать ее. Самым главным в песне всегда была и останется ее концовка. И здесь у Махаматджана сказался недостаток подготовки. Видимо, он опять разволновался, голос у него задрожал, и он несколько сбился с такта.

До этого Жами-тамбур сидел с закрытыми глазами, словно сливаясь мысленно с голосом певца. Тут он открыл глаза, слегка покачал головой, глядя на Махаматджана, а потом повторил мелодию финала. Песня закончилась... Но все сидели молча, словно ожидая продолжения, все еще находясь под впечатлением от великолепного дуэта известного музыканта и молодого певца.

— На, вытри пот, друг, — торжествуя сказал Гани, протягивая Махаматджану полотенце, — молодец, не подкачал! Если не считать двух-трех мест, то исполнил ты песню просто безукоризненно.

— Спасибо, Махаматджан-ака, — твоя песня подняла меня в небеса, я парил словно птица, — с искренней сердечностью поблагодарил Рахимджан.

— Ты волновался... Это естественно, — с любовью посмотрел на певца Жами-тамбур. — В некоторых местах ты не успевал за мной, но все равно, спел блестяще. Особенно третью и четвертую части!

— Ну, если нашему Жами понравилось, то это настоящий успех, — обрадовался Рахимджан.

— Голос у тебя сильный и приятный. Такой голос мы, музыканты,

называем «крупный град». Если ты, Махаматджан, будешь брать уроки у знающих наставников, из тебя получится отличный певец, помни это, — закончил Жами-тамбур.

— Спасибо, учитель, — поднявшись с места, обратился к мастеру признательный и взволнованный Махаматджан.

Часто бывает, так, что человек сам не дорожит тем богатством, которым владеет, и лишь услышав похвалу от других, начинает осознавать его ценность. А поняв ее, не находит себе места от радости. Вот это и происходило сейчас с Махаматджаном. Никогда не ждал он, что ему доведется услышать такие слова от самого Жами-тамбура...

В это время в беседку вошел с двумя слугами, несшими два тулума со свежим кумысом, Ходжак. Он был на пиршестве с самого его начала, но вскоре ушел.

— Гости моего бека — мои гости, — выкрикнул он, приложив руку к груди. — Хоть было уже поздно, но я все же отправился домой и приказал доставить свежего кумыса и двух жирных коз. Вы уж, пожалуйста, бегим, не отказывайтесь, примите этот скромный дар.

Вместо слов благодарности бек слегка кивнул головой.

«Вот ты какой! — подумал Гани, впервые увидевший Ходжака. — Правду люди говорят, что нос у тебя словно пяточок у жирного борава и так же всегда задран кверху!»

— Если благословите, бек, я сейчас же отдам приказ разделить обеих коз. Из них такой шашлычок выйдет — пальчики оближете!..

— Скоро рассвет. Куда же еще есть? Завтра разделаемся с ними, — холодно ответил бек.

— Хорошо, хорошо, мой господин. — Ходжак сделал знак слугам, те вытащили тулумы с кумысом из беседки и опустили их в арык, а коз загнали в загон.

— Ты прямо на крыльях слетал домой, — поддразнил его один из сидевших, — может, у тебя на ногах крылья, шанъё?

— У меня всегда вырастают крылья, когда наш бек у нас в гостях... Фу, как хочется пить, во рту все пересохло!..

Ходжак выпил одну за другой несколько пиал кумыса и вдруг увидел Гани. Он много слышал о нем и, конечно, как и все баи ненавидел батура. Как-то ему на базаре показали Гани, и теперь он сразу узнал его.

— Ты что здесь делаешь, вор?! — изумленно спросил Ходжак и тут же сам испугался вырвавшегося слова.

— Да вот решил прийти поучиться своему ремеслу у достойных наставников вроде тебя, шанъё, — спокойно ответил Гани.

На мгновение повисло молчание, потом бурно захохотал Рахимджан, а затем засмеялись и другие. Даже бек не сдержался. Разглаживая усы, он подумал про себя: «Ну и язык же у этого бродяги! Эх, если бы вместо десятка этих дураков был у меня хоть один такой молодец. Ни умом, ни силой аллах его не обделил».

Ходжак был сражен наповал фразой Гани. Больше всего его расстроило, что вместе со всеми смеялся и бек. Шаньё готов был сразу броситься на Гани, но удержался, видя, что улыбка не сходит с лица бека. Потом он сообразил, что он Гани не противник. Вот если бы приказать дюжине слуг кинуться на него. Злобно взглянув на врага, Ходжак молча уселся в углу.

— Попейте кумыса, шаньё, — заботливо протянул ему пиалу один из гостей, часто пользовавшийся дарами Ходжака и потому всегда старавшийся угодить ему.

— Наш Ходжаке — человек щедрости необыкновенной, — заговорил другой гость, пытаясь смягчить напряженность, — если хотите, он завтра же пригласит нас всех к себе домой и устроит пир. Голову дать готов на отсечение, что так он и поступит!

— А что? — снова взбодрился Ходжак. — Пусть только господин бек соизволит дать согласие, я хоть сейчас вас всех отсюда заберу. — В волнении шаньё сунул мизинец в широкую ноздрю. Сидевшие напротив брезгливо скривились, а Гани, отворачиваясь, бросил:

— Лезь глубже, клад на дне! — и такой тут грянул хохот, что с ветвей деревьев шумно взлетели испуганные птицы.

В эту минуту в беседку сунулся слуга Ходжака и громким испуганным голосом позвал его:

— Господин, господин!..

— Закрой пасть! — рявкнул на него шаньё, обернулся к беку, попросил извинения, прижав руку к груди и склонив голову, затем поднялся с места. Выйдя из беседки, он рванул слугу за грудки и прошипел:

— Сколько раз говорил скотине! Даже если дом твой горит или отец твой сдох, не ори, а сделай незаметно знак! Решу, что надо, выйду. Ясно?

Увы, и этот шепот был слышен всем в беседке. Гани, понявший в чем дело, многозначительно подмигнул Махаматджану.

— Зай... Зай... Зайнап!..

— Что Зайнап? Не сдохла ли часом эта сучка?

— Не-е-т... украли... Сбежала!..

— Что ты несешь, дурак?! — расвирепевший шаньё изо всех сил

толкнул слугу.

— Эй, что там случилось? Чего ты так разбушевался? — недовольно окликнул его бек.

Ходжак, уже снова замахнувшийся на слугу, услышав окрик, остановился, вернулся к столу и, снова приложив руки к груди, покорно сказал:

— Извините, мой бек... Сноха, моя сноха...

— Слышал я все! Кто ее украл?! — В голосе бека Ходжак не уловил и намека на сочувствие.

— Какой-то неизвестный вор...

— Говорят так: вор у вора украл, — подсыпал соли на рану Гани.

На этот раз никто не засмеялся, но все гости переглянулись...

Глава четвертая

Ак остан — Белый канал — начинается от реки Каш. У самой запруды выросло множество юрт и шатров, всюду кони у коновязей. Нескончаемой вереницей движутся к лагерю подводы, груженные лесом. Немного в стороне кипит в казанах мясо. На строительство прибыли дехкане из близлежащих сел. Если бы можно было взглянуть на стройку сверху, люди напомнили б хлопотливых муравьев, спешащих то туда, то сюда. Работа кипит вовсю. Идет хашар^[12]. Каждому селению отведен свой участок. И люди стараются управиться быстрее соседей, чтобы заслужить славу самых трудолюбивых и умелых. Особенно быстро и весело работает молодежь. С песнями и шутками парни валят стволы деревьев, разгребают камни, хвастаясь друг перед другом силой. Их подгонять не нужно, хотя песня-то как раз об этом.

Дно канала словно камень,
Не берет его кетмень.
За плечами плети баев,
Так и свищут целый день...

Но не к такому случаю сложена песня.

Мирабы и кокбеши^[13], собрав вокруг себя доверенных лиц, ходят по строительству, кого-то похваливая, кого-то поругивая, указывая что где делать. У неугомонной реки Каш есть одна скверная привычка. Каждый год норовит она прорваться через плотину, разрушить за-пруду высотой в рост человека. И потому ежегодно аксакалы собирают хашар, на который съезжаются все, кто пользуется водою канала, чтобы до того, как река успеет разрушить плотину и осушить канал, провести ремонтные работы. Ак остан — самый большой канал на Или. Собственно, он и дает жизнь всей этой долине — для дехкан-таранчи без воды жизнь невозможна. И нет на Или ни одного дехканина, который не участвовал бы в работах на Ак оста не. Может быть, поэтому самыми любимыми и популярными в народе являются «Песни остана», то есть песни, сложенные во время работ на канале.

У одной группы работников остановился всадник в вельветовом бешмете, подпоясанном черным поясом:

— Да поможет вам аллах, сельчане! — громко произнес он.

— Спасибо, спасибо!..

— Ну что, почти все готово, значит, сегодня и будем закрывать плотину? — спросил всадник.

— Даст бог, может, и успеем к вечеру, господин мираб, — ответил один из аксакалов.

— А что за парень у вас, вон тот, что поднял огромный камень?

— Да это же Гани! У него силы — на пятерых!

— Как же, знаю... А вместо кого он пришел? Он же сам водой канала не пользуется?

— Этот джигит никогда не отстает от работы. Каждый год, как услышит про хашар на Ак остане, тут как тут.

— Это хорошо, молодец, — проговорил мираб и, не оглядываясь на кокбеши, который хотел что-то сказать ему, направил коня в сторону Гани. Касым-мираб, человек прямой и справедливый, пользовался в народе доброй славой. Он самый главный, ему подчиняются все мирабы и кокбеши на всем протяжении трассы канала. Сам он из Аростана. Еще со времен Элахана башмирабами всегда были аростанцы. Связано это с тем, что когда-то в далеком прошлом аростанцы помогли Элахану скинуть с престола злобного и жестокого султана Махмуда, и за это Элахан навечно дал им право управлять водой.

— Эй, джигит! — издали крикнул Касым-мираб. — Когда таскаешь тяжести — знай меру, иначе надорвешься!

— Да что ее жалеть, дурную силу, — ответил Гани, вытирая пот со лба и здороваясь с мирабом.

— Мне сказали, что ты приходишь сюда не по нужде, а по доброй воле, чтоб помочь землякам. Это хорошее дело, сынок.

— Воду Ак остана пьют повсюду в нашем крае. Уж если больше ничего я не могу для своего народа сделать, так хоть здесь поработаю, вот как я думаю, мираб-ака!

— Ну и отлично, Гани, спасибо тебе за славную душу твою. Если все у нас будут такими, как ты, мы никогда без воды не останемся, а значит, вечно будем жить! — сказал мираб, с еще большим вниманием глядя на Гани.

— Ак остан, — негромко проговорил дед Нусрат, стоявший вместе с другими стариками, он тоже никогда не пропускал хашара на канале, — подобен венам, что несут кровь к сердцу. Начинаясь в Аралтопе, он проходит до самого Алмутияра и Куре, если ехать по нему — двух суток не хватит на дорогу. Сколько сил было вложено в его сооружение, сколько

жизней он отнял! — Нусрат оглянулся, чтобы узнать, слушают ли его. Оказалось, что все поблизости опустили кетмени, ловя слова аксакала. Он продолжал:

— Ак остан начали строить во времена Муса-гуна, строили во времена Оранзипа, Маликизата, а закончили при правлении Чорук-хакима. Здесь пролилась кровь сотен и сотен наших братьев. Теперь канал кормит нас, мало того, он кормит и тех, кто нынче сидит на нашей шее... — Люди зашумели, и Нусрат умолк. Но, кроме одобрения, он ничего не уловил в этом шуме и, когда слушатели немного успокоились, продолжил:

— Не зря столько песен сложено об Ак остане. В этих песнях стоны и слезы наших предков, в них надежда и вера, в них зов к борьбе! — Нусрат сделал паузу и возвысил голос. — Ак остан — канал жизни! Он опора дехкан Или!

— Ак остан — наш канал! — крикнул Гани, к его голосу присоединились голоса еще нескольких джигитов. Их возгласы эхом отозвались в сердцах людей. И словно продолжением слов Нусрата зазвенела песня «Остан», когда снова взялись за работу дехкане:

Дно канала — рыхло. Может, утрамбуем?
Нет, пожалуй, лучше подождать!
Как придет захватчик со своим холуем —
Их дадим трясине засосать!..

* * *

Ближе к вечеру погода испортилась, с гор подул холодный осенний ветер. Ясное с утра небо теперь заволокло тучами. Вскоре полил мелкий, противный осенний дождик.

— Как бы не перешел он в долгий обложной дождь, — с опаской сказал какой-то кокбеши.

— Нет, — уверенно ответил один из аксакалов, посмотрев на запад. — С заката идет ветер, к утру ничего от этих туч не останется.

Стало холодно. Легко, по-летнему одетые дехкане спустились в канал, прячась от пронизывающего ветра. Но одна кучка дехкан-бедняков еще продолжала трудиться. Гани подошел к ним.

— А вы чего тут дрожите на холоде? У вас что, так много земли, что боитесь без воды остаться, или огромные ваши сады высохнут?

— Хашар он и есть хашар, — ответил один из бедняков.

— А сам ты что здесь потерял? — вонзил взгляд в Гани сын крупного землевладельца, возглавлявший своих односельчан.

Гани не сразу смог ответить. Его ведь вправду сюда никто не звал. Да и люди его селения не пользуются водой из Ак остана, — так далеко от них канал. Зачем же он пришел, силой своей похвастаться, что ли? Нет! Нет! Он пришел сюда, чтобы помочь вот этим дехканам. Потом он знает, что после хашара предстоит большой той, на котором будут и скачки, и игры, и борьба... Что же плохого в том, что он пришел? Он всегда идет туда, где народ, всегда старается помочь, чем может. Он Касыму правду сказал: хотя бы так хочет он сделать что-то для своего народа. Ему радостно знать, что он приносит пользу своим землякам!

— Я-то? — переспросил Гани и резко ответил: — Пришел посмотреть на байских сынков, вроде тебя, что в такой холод заставляют работать людей.

— Эй, что ты несешь?!

— Ладно, хватит, — остановил Касым-мираб вскочившего кокбеши. — Парень не хотел тебя обидеть. Так, к слову пришлось. Не делай из мухи слона.

Если бы не вмешался Касым-мираб, дело могло бы кончиться дракой — такое раньше бывало. Все знали, что Гани никому не дает спуска и не обращает внимания на знатность или богатство противника.

Но сейчас на сторону Гани встал сам Касым-мираб. Кокбеши сразу сориентировался и начал показывать на небо:

— Дождь усиливается, мираб-бегим.

— Сворачивайте работы, — приказал Касым. Подъехав к шатру, он громко произнес — чтобы слышали все: — Зарежьте двух коров!..

Запах мяса, доносившийся от казанов, дразнил дехкан. У крепко поработавших людей разыгрался зверский аппетит. Они сидели тут и там, сгрудясь возле костров — осенний ветер проникал до костей — и пытались отогнать голод беседой. У многих костров говорили о смелости Гани, который любому правду режет в лицо... Вот, наконец, мясо разложили на огромные блюда, похлебку разлили по ведрам. Повара принялись раздавать дехканам еду. Снова поднялся веселый и шумный гомон.

— Ну что, братцы! Говорят, для бедняка сытно поесть — все равно что стать наполовину богатым! — приговаривал старший повар, разливая похлебку и раздавая мясо. — Налетайте!

— А если я не наемся этим? — громко спросил Гани. — Что тогда будешь делать? Знаешь, прошу: нарежь мне тогда вон того кокбеши, что

стоит у казана, выпятив пузо!

Все захохотали с набитыми ртами. Повар не без подобострастия ответил батуру:

— А ты ешь сколько хочешь, Гани. Ты у нас самый здоровый, да потом ты все-таки гость.

— Ты не обо мне, а вот о них побеспокойся. Это у них животы подвело от голода, это они раз в году сытно едят и тому рады. Смотри, корми их как следует!..

Когда все, наевшись, блаженно развалились у полупотухших костров, Гани раздумчиво сказал:

— Одному я удивляюсь. Неужели же мы так и проживем всю жизнь — работая с утра до ночи и радуясь, что раз в день нас досыта покормили?

— Эх, братишка, — протянул один из дехкан, худыми жесткими пальцами доставая из костра головешку и прикуривая от нее, — все, что ты говорил тому кокбеши и что говоришь сейчас, все это верно, мы понимаем, но что сделаешь-то? Уж видно судьба нам такая выпала на долю...

— Наверно, как ты на судьбу жалуешься, твоя родня не раз слышала. Судьба, судьба... Проще простого на нее все сваливать, — ответил Гани.

— Так это же правда; одного судьба сделала баем, другого бедняком, одного владыкой, другого рабом...

— Значит, все мы как волеы с ярмом на шее? Куда погонят, туда и пойдём?

— А что же нам остается делать? Попробуй скажи что-нибудь баю, так он тебе земли не даст в надел. Не заплатишь налога — изобьют до полусмерти, а то в ямул запрячут...

— Вы разве-не слышали, как, не выдержав гнета, поднялись кумульцы? А они ведь такие же люди, как мы с тобой! Не о двух головах! — Гани давно хотелось сказать именно об этом. Он упорно подводил собеседника к этой мысли.

— Слышали, как же. Они поднялись на газават. Но вопрос, чем это у них кончится, — ответил худой дехканин. Судя по всему, он пользовался у односельчан авторитетом. Остальные до сих пор молчали, не вмешиваясь в спор. Но тут кто-то подал реплику:

— А чем газават может кончиться! Победят правоверные!

— Твоими бы устами мед пить... — продолжал сомневаться худой.

— Ну что ты, Нурахун-ага! — возмутился тот. — Всегда правая вера побеждала! Ислам же непобедим!

Гани тоже задел слова худого дехканина, хотя, честно говоря, он не очень-то разбирался в сути ислама и шариата, и даже движения кумульцев.

Думалось ему, что богом и пророком всех людей должна быть одна правда. Но когда он пытался яснее понять такие сложные вещи, у него просто голова шла кругом. Однако в словах собеседника было что-то, возбуждавшее в нем неприязнь. «Мало ему, что сам всем подчиняется, так еще хочет, чтоб и другие дехкане по его думали!» Гани чувствовал, что думать и действовать нужно иначе. Но как? Как начать борьбу за свободу? Гани с болью осознавал, что у него нет ни знаний, ни опыта, чтобы поднять людей за собой. Он мог только спрашивать, спрашивать без конца: «Почему мы молчим, терпим, покоряемся, не восстаем?!»

Он резко встал и пошел к реке. И всегда-то бурная, сейчас под напором ветра вода реки буквально кипела. Гани остановился на берегу. Дехкане не удерживали его у костра — пусть походит, подумает...

В то же время в белой юрте сидели за пышным столом баи селений, жители которых пришли на хашар. После сытной еды и крепкого горячего чая они вели неторопливую беседу, то и дело звучно рыгая. Разговор шел о Гани.

— Если б не наш башмираб, я бы показал этому вору с длинным грязным языком, которым он бесчестит порядочных людей, — произнес жирный кокбеши, обиженный сегодня Гани.

— Я изумился: даже в присутствии нашего башмираба он не может пристойно вести себя, болтает что придет на ум! Невежа! — добавил какой-то шанъё.

— На что он рассчитывает, этот разбойник!? Куда бы ни попал, всюду первым делом начинает издеваться над достойными людьми! Никому прохода не дает. А что у него самого-то есть? Дурная силища, только и всего...

— И не говорите, Хемит-бай! Да его ни в коем случае нельзя подпускать к подобным сборищам народа, он всех тут у нас перемутит...

— Чего он только не говорит!..

Многие шанъё и кокбеши готовы были хоть сейчас расправиться с Гани, однако их удивляло, что мираб Касым молча пьет чай, очевидно, не одобряя всех этих разговоров. Более того, он стал даже оправдывать Гани:

— Ну что вы на него набросились? Он в одиночку поднимает камень, с которым пятеро дюжих парней не могут справиться. Он за день столько наработает, сколько другие за неделю. Разве это нам плохо?! Ну, пусть сила у него дурная, так почему нам ее не использовать...

Тут Касым-мираб с досадой заметил, что, защищая Гани, он тоже начал говорить о нем нехорошо, и оборвал речь.

В беседу снова ввязался жирный кокбеши:

— Какой раз слышишь: «Гани арестовали». А на завтра глядишь — он снова мчит на коне. Что за напасть такая, почему на него нет управы?

— Ничего не делает! Носится верхом целыми днями.

— Ворует! Ясное дело, ворует! — отрезал Хемит-бай, отдуваясь и вращая выпученными глазами.

— Ну да, он вор! Но он какой-то особенный вор! Так сказать, справедливый вор! Он грабит только тех, кто сам ворует и на других наживается. И себе ничего не берет — он же гол как сокол, — а раздает сиротам да беднякам. А помогать бедным — это святое дело, так ведь кажется, тахсир? — Касым-мираб обратился к имаму, который помалкивал, продолжая уплетать за обе щеки.

— Хм... хм... Аллах знает... — двусмысленно ответил имам. — Гани еще молод, я думаю, поумнеет...

— Ну, ладно, оставим это... Скажите мне лучше, кто из вас сейчас готов померяться силами с Гани? — Касым посмотрел на Хемита, сына бая, молодого человека могучего сложения, который до сих пор не знал поражений в борьбе. Хемит молчал, наклонив голову, проклиная в душе и Гани, и Касыма. Молчали и остальные...

— Если кто-нибудь из вас, — повысил голос Касым, — вот ты, например, Хемит, победит в борьбе Гани, то я отдам победителю своего коня вместе с серебряной упряжью!

Хемит представил себе богатыря Гани, ворочающего на виду у всех огромные валуны, и почувствовал, как его прошибает холодный пот.

— А если выиграт Гани? — спросил он.

— Тогда ты отдашь ему своего коня! Нужно же чем-то рисковать в споре — какой без этого интерес! Ну так как?

— А правда, что Гани побеждал и казахских и калмыцких палванов?

— Конечно, правда! Правда, и что он трехлетнего быка перенес на себе через канал!

— Ну тогда это шайтан и человеку с ним не справиться. На него надо какого-нибудь другого шайтана напустить, — воскликнул толстый кокбеши.

— Да ладно выдумывать, не такой уж он непобедимый силач... — мрачно произнес Хемит.

— Не веришь? Тогда давай спорить, — сказал Касым. — Только не жалуйся потом, когда получишь как следует от отца за потерю коня...

— У моего отца сын, а не баба! — ударил себя в грудь Хемит.

— Ну вот, это другое дело! Молодец, Хемит-бай! — похвалил его Касым.

— Если он сможет поднять моего скакуна и пронести на плечах десять шагов — пусть забирает...

— Молодец! Правильно, Хемит-бай!

— Ну что, проверим после окончания хашара на тое?

— Нет! Прямо сейчас!

— Так ведь темно уже?..

— Ничего, разожжем костер, соберем всех, расчистим площадку, отмерим расстояние...

— А зачем так торопиться, мираб-бегим? — спросил кто-то из сидящих.

— Гани — вольный беркут. Днем здесь, а к ночи может уйти, его не остановишь...

— Да куда он пойдет в такую погоду? И коня он, я слышал, оставил в Снияре...

— Что, ему мало здесь коней? Может, он на твоём гнедом давно умчался. С него станет... Может, давно уже переплыл Каш и несется себе по горам...

— Нет уж, мой конь не для такого всадника, не справится он с ним, — мрачно пробормотал Хемит, но все же не смог удержаться, чтоб не проверить, и направился на улицу. Но у входа путь ему заслонил Гани:

— А ты что, думаешь — твой жеребенок подо мной не подломится?

Все замерли от неожиданности, Хемит — так даже с раскрытым ртом. Лишь Касым обрадованно поднялся навстречу Гани, улыбаясь и покручивая усы:

— А мы только что говорили о тебе. Садись, выпей чаю, — и показал на место около себя.

— Я, когда подходил к юрте, услышал конец разговора. Ведь голос у вашего кокбеши, словно у нашего быка.

Кокбеши отвернулся, надувшись, но возразить не осмелился. Хемит смотрел на Гани, будто хотел тут же, на месте, растерзать его.

— Да садись, садись, Гани!

— Спасибо, мираб-бегим, я зашел попрощаться, — не присаживаясь, ответил Гани.

— Что ты так? Уж не обиделся ли на что? Нет, брат, поедешь утром, куда же на ночь глядя! — Касыму-мирабу очень не хотелось отпускать батура.

— Да мне все равно — ночь или день...

— Куда ты торопишься? Или важное дело какое ждет тебя? — расспрашивал Касым-мираб. Он знал, что Гани в любой момент способен

ввязаться в какое-нибудь рискованное предприятие.

— Приснилось мне вчера, что черные кабаны на селение наше напали. Жрут все, что подвернется им. Хочу теперь быстрее домой попасть...

Касым понял — Гани не удержишь. Но оставить свою затею он был не в силах.

— Ну хорошо, тогда хоть послушай. Мы тут поспорили. Я — и все остальные. И этот спор должен разрешить ты!

— Я?

— Да, ты!

— Ничего не понимаю...

— Сейчас поймешь, — сказал Касым и сделал знак своим людям, те тотчас вышли.

— Вы случайно не хотите ли меня лозунам сдать, а, мираб-ака? — полушутя, полусерьезно спросил Гани.

Касым рассмеялся, а потом укоризненно произнес:

— Неужели ты мог так подумать?

— Да, знаете, в наше время трудно кому-нибудь верить, особенно баям да бекам. В лицо тебе улыбаются, а ведь видишь — так бы заживо и сожрали...

— Ладно, думай обо мне, что хочешь... Но я должен дать тебе один совет. Аллах не обделил тебя силой, да, кажется, и умом. Так вот, подчиняй силу своему разуму.

Дружеский совет Касыма, теплый, благожелательный тон его слов взволновали Гани. Он не ожидал их. Другое дело, если б это сказал Нусрат или Рахимджан. В их добрых чувствах к себе он был уверен. А тут?.. Все же Касым — мираб, даже башмираб. Он свободно входит и к дотюю^[14], и к беку, и во дворец к ходже. Чем он отличается от Ходжака, Рози-имама, Хашим-бая, которые дважды сдавали его в руки властей? И можно ли верить хоть кому-нибудь из тех, кто правит народом? Но, с другой стороны, Гани с первого взгляда почувствовал к Касыму расположение. Нельзя было поверить, что такой человек может предать его...

— Что ты молчишь? Не по нраву пришлись мои слова? — обиделся Касым. — Дело твое, а я сказал тебе то, что думаю, считал — мой совет пойдет тебе на пользу. Не веришь мне — можешь ехать... — проговорив это, Касым направился из юрты.

Гани почувствовал обиду Касыма, понял, что зря сомневался в его искренности, и бросился за ним. Он хотел, догнав мираба, крикнуть ему: «Я верю вам, верю, не сердитесь на меня», но, выйдя на воздух, остановился от удивления.

На площадке перед белой юртой уже успели собрать всех, кто работал на хашаре. Дехкане, выстроившись полукругом, стояли полусонные, зевающие, не понимая, зачем их созвали. Площадку уже расчистили, разложили на ней огромный костер. Дождь прошел, земля была сырой, но не скользкой — песчаная почва вобрала в себя всю влагу. Наспех одевшиеся дехкане ежились от холода и сырости, многие уже стали покашливать. Настроение у них было мрачное. Так, не считаясь с поздним часом, народ собирали обычно, если кто-нибудь бежал с хашара, а его поймали, или кто ослушался начальства. Наказывали провинившихся обязательно принародно, будили всех — чтоб знали, что ждет каждого при неповиновении. Вот такой процедуры ждали и теперь.

— Хватит держать людей на холоде, начинайте! — приказал Касым-мираб.

— Люди! — изо всех сил крикнул жирный кокбеш с бычьим голосом. — Сейчас вот этот Гани... — взмахом руки он указал на батура и на мгновение замолк.

Люди решили, что Гани станут сейчас подвергать наказанию, и зашумели, заволновались. Но толстяк, выдержав паузу, проорал:

— Сейчас Гани... попробует поднять скакуна Хемит-бая!

После этих слов народ успокоился и настроение людей изменилось. Уже с интересом дехкане стали переговариваться между собой:

— Неужели поднимет?

— Подумаешь! Наш Гани не то что лошадь — и быка поднимет!..

— Хорошо, но зачем ночью-то?..

— Не говори... И куда они заспешили?

— Баям, видно, невтерпеж, так позабавиться захотелось...

— Эх, а вдруг не поднимет?..

Пока дехкане шумели, уже вывели коня и Хемит-бай подошел к своему скакуну, статному, поджарому выхоленному жеребцу с сильной и гордой шеей и стройными ногами. Он долго стоял возле него, поглаживая по холке, целуя в лоб, обняв за шею...

— Ну хватит, хватит, что ты словно с женой прощаешься, — прикрикнул мираб.

На середину площадки вышел Гани в одной рубашке, с засученными рукавами, мощно и спокойно ступая могучими ногами. Он почти вырвал поводья из рук Хемита. Погладил жеребца по холке, успокаивая, и обратился к людям:

— Сейчас я с помощью аллаха и вашей подниму этого коня!

Гани с левой стороны подступил к скакуну, обхватил крепкими

толстыми руками его передние и задние ноги, стремительно поднырнул под брюхо и резко приподнялся. Все это было сделано так быстро, что жеребец даже не успел пошевелиться и лишь оказавшись в воздухе, тревожно встrepенулся, но, плотно сжатый мощными руками батура, снова затих. Когда скакун задергался в руках Гани, батур слегка пошатнулся, но быстро выровнялся и сделал первый шаг. Толпа выдохнула единый облегченный вздох и напряглась в одном порыве, словно на плечах каждого человека лежал сейчас этот конь.

— Молодец, Гани!

— Слава Гани! Ура!

Пройдя десять шагов, батур осторожно, словно маленького ребенка, поставил скакуна на землю. Дехкане бросились к Гани и подняли его на руках!

— Молодец, Гани! Ох, молодец!

— Слава, слава Гани! Слава нашему богатырю!

— Не подвел ты нас, Гани!

Возгласы и гомон долго не утихали, возбужденные люди поздравляли друг друга, обнимались, смеялись...

— Ты весь в поту, смотри не простудись, — с нежной заботливостью сказал Касым, набрасывая на плечи Гани свой халат: лицо башмираба светилось гордостью за молодого батура. Баи, кокбеши, шаньё отвернулись и отошли подальше — посмотреть на это они были не в силах.

— Носи на здоровье, Гани!

— Спасибо, Касым-ака!

И снова раздались возгласы радости — дехкане шумели так, будто это каждому из них накинул на плечи свой роскошный халат сам Касым-мираб.

— Ну что, конь теперь тоже мой?

— Конечно, ведь ты его выиграл, — ответил мираб.

Люди взволновались еще больше.

— Да как еще выиграл, такое не каждому дано. А?..

— Такого я еще не видывал...

— А конь-то, конь-то какой — как раз для Гани...

— Смотрите, какая стать, шея, ноги!..

— Ну хватит, хватит вам! — заорал вдруг Хемит.

— Эй, бай, надо уметь проигрывать.

— Не умеешь проигрывать — не спорь.

— Смотрите, не упустите скакуна, он испугался шума.

— Такому коню никакой шум не страшен...

Волны веселого возбуждения прокатывались по толпе.

— Садык-ака здесь? — спросил Гани, когда гомон немного стих.

— Здесь я, здесь, сынок... За тебя аллаху молился и, слава ему, ты победил.

— Иди сюда.

Через толпу пробрался к Гани старик Садык в оборванной одежде.

— Я знаю, всю твою жизнь у тебя не было собственного коня. Вот тебе мой подарок, поезди на старости лет на этом скакуне.

— Ты что выдумал? — воскликнул пораженный Садык.

— Держи, тебе говорят! — Гани передал поводья старику.

— Вот это да!

— Ну и молодец Гани, таких мало на белом свете!..

Снова поднялся шум.

— Пстой, пстой! — сквозь толпу к своему победителю протискивался Хемит. — Сколько хочешь денег возьми, а коня верни! Прощу-тебя!

— Теперь это не мой конь, хозяин его Садык-ака, у него спрашивай.

Байский сын повернулся к Садыку.

— Этот конь для меня священный. Это подарок моего Гани. Пусть хоть сам жанжун^[15] за ним придет — не отдам, — выпрямляя сгорбленную спину, произнес старик, по-молодому вскочил на коня и погнал его вперед:

— А ну, дорогу! Дорогу!..

Люди молча расступались перед оборванцем Садыком...

Глава пятая

Есть поговорка: «Конь — крылья джигита». Наверно, она была сложена именно о таких скакунах, как тот, на котором мчал сейчас Гани. Его стать, его резвая рысь казались неповторимыми. Кто бы угнался за ним, когда он, набирая скорость, неся по степи с развевающейся гривой, неся, как птица, почти не касаясь ногами земли. Человек, знающий истинную цену лошади, никогда не спрашивает, сколько она стоит. За этого скакуна Гани предлагали целый табун, но он только смеялся. Конь был подарен Гани его другом Галданом. И они так подходили друг к другу — всадник и скакун, увидишь — глаз не оторвешь!..

Гани скакал по степи, сам не зная, куда он направляется. Трудные думы не отпускали его. Он вспоминал, как вчера на хашаре тощий дехканин Нурахун говорил, что кумульцы, возможно, и зря выступили, что неизвестно, чем закончится их движение. Гани и сейчас продолжал горячий спор с Нурахуном, но, как и вчера, убедительные доказательства не приходили к нему.

«Ну что за народ у нас? „Накормишь — поем, бить станешь — щеку подставлю“ — так и ходят все, любому горю не удивятся, любому насилию противиться не станут... Или и вправду от судьбы не уйти и каждый может прожить жизнь лишь так, как это ему аллахом отмерено? Одному — отары и табуны, богатые земли и сады, другому — голод да холод, страдания да гибель?»

Гани не заметил, как начал говорить вслух, конь же его, услышав голос хозяина, стал прислушиваться, ожидая команды...

Гани пришли в голову назидания мулл, которые он слышал с самого детства: «Надо терпеть, этот мир не для тебя, тебя ждет блаженство в ином мире, но придет оно только к терпеливому и покорному...» Лет десять назад он слепо верил подобным назиданиям, ждал блаженства на том свете, и ничего не желал на этом. Теперь же у него не хватит проклятий для мулл, которые одурманивают народ лживыми сказками. Почему же все так переменялось? Или Гани перестал верить в бога? Нет! Он и сейчас верит в аллаха, те, кто отрицают аллаха, его, Гани, враги. Но только сама жизнь научила его отличать правду от лжи, вздорное пустословие от истинной веры. «А забавно выходит! Аллах, который так любит мусульман, этот мир отдал неверным, а „тот“ оставил для правоверных? Здесь хорошо кафирам, а „там“ мусульманам? Ха-хах-ха. Помню, однажды ахун сказал: „Голосом

падишаха говорит аллах. Нужно беспрекословно выполнять приказы правителей“. Это же значит связать народ по рукам и ногам!.. Ну так что же делать? Поднять газават и навести здесь порядок? Но ведь мы же прольем кровь мусульман, а это грех...»

Лишь подъехав к бахче Нусрата, Гани опомнился. Как он здесь очутился? Конь привел его сюда или он сам, не замечая, направлял его?..

Еще недавно пышно зеленевшая бахча была запущена. Переспевшие дыни и арбузы гнили среди засохших листьев и увядших цветов. Беседка разрушена, торчал лишь ее голый остов. Что случилось, почему такое запустение?

Гани огляделся, пристально всматриваясь в окрестности. Кого он искал? Чолпан? Нет ее здесь... Может, потому и опустела бахча? А где же Нусрат? Вчера он, не встретившись с Гани, уехал с хашара. Почему аксакал не заговорил с ним? Ведь раньше он хотел с ним говорить, утверждал, что многое еще должен рассказать батуру.

Гани уселся на камень, когда-то стоявший в беседке (помнится, однажды за этим камнем сидела Чолпан, штопая рубашку деда), вынул кисет и, глядя на него, стал вспоминать о событиях, странно вмешавшихся в его жизнь...

...«Непросвещенный» еще степняк, только недавно начавший общаться с горожанами, на многое в жизни едва открывший глаза, Гани продал тогда на базаре двух коней. Только успел он спрятать вырученные деньги, будто с неба свалились и предстали перед ним трое знакомых уже ему знаменитых в городе гуляк — Омар, Авут и Хашим-хромой.

— Ну и нюх же у вас! — насмешливо протянул Гани. — Только вас мне для счастья не хватало. И откуда вы все узнаете! Стоит только грошам в кармане зазвенеть, вы тут как тут. Как шакалы издали чуют падаль, так и вы чуете запах денег за три дня вперед.

— Ладно, ты не очень-то, темнота степная... Не бахвалься тут своим богатством, давай раскошеливайся, друг ты или портянка?

— Не сомневайся — пока карманы тебе не вывернем, не отстанем, запомнил?

Эти городские бродяги уже распознали характер Гани, знали, что его не обидишь острой и даже грубой шуткой, но и на его подначки обижаться не следует. Эти трое весело и праздно проводили жизнь за выпивкой, азартными играми да пьяными похождениями. Из них Гани больше всего нравился Омар, джигит веселый, щедрый и беспечный. Да и двое других, никогда с Омаром, похоже, не разлучавшихся, были под стать ему.

— Да уж, насколько я вас знаю, вы не отстанете, пока не оциплете меня как курицу. Куда денешься... Идемте, угощу вас... — Гани завернул их в сторону многочисленных закусочных, выстроившихся длинным рядом неподалеку от базара.

— А к кому сегодня пойдём?

— К Юсупу или Исмаилу...

— Нет, давайте лучше к Мадасу, от его заведения сегодня таким запахом тянет — закачаешься...

Все трое отлично изучили все здешние харчевни. На чужие деньги они выбирали, конечно, лучшую. Гани не возражал — сегодня он битком набит деньгами, а зачем ему их хранить? Настроение у него было отличное.

— Этот-то куда за нами тянется? — смеялся он, указывая на Хашима. — С нами пить собирается? Да его же чашка мантана^[16] с ног свалит!

Так со смехом и шуточками они добрались до закусочной Мадаса, прославленной своими острыми закусками.

Под острую и сытную еду было выпито немало бутылок джуна — китайской водки. Это было заметно уже по тому, как приятели, перебивая друг друга, рассказывали истории о своих бесконечных похождениях. Лишь Гани был почти так же трезв, как и вначале. Только стали слегка поблескивать глаза, покраснел кончик носа, да настроение помрачнело. Выйти бы сейчас, избить первого попавшегося под руку черика, забрать у него винтовку да стрелять в каждого китайского чиновника, который встретится на пути! В каждого!..

Что-то пробурчал уже крепко пьяный хромой Хашим...

— Что ты там несешь, калека? Ты, кажется, решил, что ты у своей бабенки?..

— Гани!.. Брат!.. Если хочешь, пошли — познакомлю с ней. Во — баба, а мне для друга не жалко! Я ради тебя, знаешь, все сделаю... — продолжал плести свое Хашим.

Чего только не творит с человеком водка! Каким бы Хашим ни был, трезвым он до такого не опустился бы...

— А что? — подхватил Авут. — Это мысль. Пойдем. Сыграем там в картишки... Пошли!

— А деньги есть у тебя? — спросил Омар. — На что ты собираешься играть? Или себя на кон поставишь? Ха-ха-ха!

— Деньги?! Да у таких, как я — денег куры не клюют! — Авут стал вынимать из карманов смятые в комок бумажки. — Вот!

— Ух ты! Видать, тебе вчера масть пришла?!

— А что? Не все же проигрывать, и выигрываем, не всегда биты — порою и сами бьем...

— Ну кого ты там бьешь... — прервал его Омар. — Всегда сам сполна получаешь, как худой драчливый петух! Ладно, пошли!

— Вот что, — махнул рукой Гани, — пить и жрать я с вами всегда готов, а играть — увольте. Это вы уж без меня!

Раздосадованные собутыльники вернулись на место. Омар и Авут были профессиональными игроками. Они играли с тех пор, как помнили себя. И за картами ни о какой дружбе уже не вспоминали. Услышав категорический отказ Гани, они поубавили прыти и с сожалением переглянулись. Особенно переживал Авут. Встретив на базаре Гани с деньгами, он уже представил, как эти деньги перейдут к нему в руки...

— Ну, если боишься за свое богатство, не играй, просто посмотришь, — попытался уговорить батура Авут, — войдешь с нами в долю, часть выигрыша будет твоя.

— Не нужно мне этого...

— Гани, не виляй хвостом! От нас так просто не отделаешься!..

— Да я и так выручку за одного коня отложил на вашу долю!

— Ну тогда двинули в «Гору»!

«Горой» назывался кабак на вершине холма, куда сходились обычно «добирать».

Гани, с тех пор как связался с этими «друзьями», научился пить и курить. Вначале просто так пробовал, для интереса, потом втянулся, а скоро уже не мог обходиться без табака и вина. Некоторые его старые знакомые говорили Гани, что не к лицу это такому джигиту орлу, что он зря бросает на ветер здоровье и силы, но он, как многие в молодости, отмахивался от справедливых упреков: «А чем еще усладить душу?»

Четверо приятелей шумно вышли на улицу и направились к «Горе». С таким всем известным силачом Омару и Авуту было ничего не страшно. Друзей Гани при нем никто не мог посметь обидеть. Это позволяло игрокам спокойно проворачивать свои делишки. Кроме того, им льстила дружба с самим Гани, непобедимым Гани-палваном!

Уже спустились сумерки. Где-то на середине пути из темноты выступила фигура качавшегося из стороны в сторону человека огромного роста. Верзила пьяно гундел какую-то песню. Остановившись на перекрестке, он вдруг громко сказал кому-то невидимому:

— Ты у меня еще посмотришь! Я тебя одним пальцем раздавлю! Я весь твой поганый род...

— О, вот так встреча, — обрадовался Авут. — Я все подходящего

момента ищу, а тут этот кабан сам навстречу вышел. Давай, брат Гани, покажем ему!..

— Подонок! — оттолкнул Авута Гани. — Если ты мужчина, сам разбирайся с ним. Впрочем, он и пьяный десяток таких, как ты, раскидает...

Три дружка с трех сторон набросились на «кабана». Но тот даже не уклонился от ударов кулаков, а лишь покачал головой, вроде бы недоумевая, что это такое, а потом размахнулся сам... Один из драчунов мешком свалился на грязную дорогу. Двое других стали в страхе отступать, но верзила догнал их и поддел второго таким мощным ударом, что тело того перевернулось в воздухе и отлетело на пару метров.

— Ах, дрянь! Да я вас сейчас по дороге вместе и грязью размажу! — Он схватил в свои ручищи третьего, тот взмолился:

— Все, все, Абдулла-ака, прости, дорогой, никогда больше не встану на твоём пути, не тронь меня!.. Прошу тебя!

— А еще задираешься! — презрительно сказал подошедший Гани и, приподняв дрожащего от страха парня, забросил его на крышу магазинчика. — Тебе только голубей гонять, сопляк!

— Это ты, Гани? — узнал по голосу палвана «кабан» Абдулла. — Видишь, брат, лезут, понимаешь, не дают по дороге пройти спокойно.

— Ты вроде вдрызг пьяный был, а тут, вижу, протрезвел?

— А я как начну драться, Гани, всегда трезвею.

— Ну и силен ты, Абдулла, — заметил Гани, — троих разбросал, пикнуть не успели, а ведь напали они неожиданно, сзади...

— Если по голове не трахнут камнем или дубиной, я и пятерых раскидаю... — засмеялся Абдулла. — Ну ладно, черт с ними, пойдем, выпьем, я угощаю...

— Спасибо, Абдулла, — поблагодарил Гани, — только, наверно, тебе не надо больше. Давай лучше закурим. Ты уж сегодня потрудились, пора отдохнуть. — Гани протянул силачу папиросу. Они познакомились года два назад и быстро сдружились — храбреца всегда тянет к храбрецу.

Тут с земли поднялся Авут и схватил «кабана» за руку.

— Нет, нет, мы не отпустим дорогого Абдулла-ака, он наш гость.

Авут вел себя так, будто никакой драки в помине не было. Может быть, он рассчитывал втянуть пьяного Абдулла в карточную игру и обыграть, раз уж не удалось избить? Но тот, похоже, в самом деле протрезвел.

— Нет, — отрезал Абдулла, — домой пойду. — Впрочем, встретиться с приятелями завтра в закусочной Юсупа не отказался.

У городских пьяниц «донь шауфань» — «кабак на горе» — пользовался особой славой, хотя была это лишь весьма грязная забегаловка. Но так уж повелось, что, начав пить в других местах, забулдыги завершали свой загул именно здесь.

Над дверью кабака вместо вывески была начертана надпись китайскими иероглифами, которая означала: «Четыре сара^[17] выпьешь — станцию не пропустишь, восемь саров выпьешь — с места не подымешься». Но пили здесь побольше, чем по восемь саров. Много здесь пили. И за наличные, и в долг, и за дружбу, и на спор, за здоровье и за упокой. Все нажитые деньги проматывались здесь...

Здесь все в сумрачном дыму, запах печного дыма перемешан с дымом табачным, перегаром джуна и «ароматами» прокисшей еды. Все это создает такую атмосферу, которой не выдержит ни один свежий, непривычный человек. А местным завсегдатаям хоть бы что — сидят часами, обмениваются шутками, пропускают стопку за стопкой. Гани еще не успел привыкнуть к здешнему «благовонию». Едва вошел, слезы выступили на глазах, комок тошноты подкатился к горлу, и джигит кинулся обратно на улицу.

— Что с тобой? Ты что, беременный, что ли? — издевательски бросил ему Омар.

— Где твоя удаль, батур? Как красная девица, от дыма бежишь, — присоединился к нему Авут.

— Я же не вы, не привык такой гадостью дышать, — сердито отвечал Гани, вытирая слезы на глазах.

— Мы же специально шли сюда, чтобы пропустить по паре стаканчиков! Что ж, без этого уйдем? Нехорошо, друг Гани! — стал уговаривать Омар. — Держись, какой ты батур, если дыма боишься.

Не смог отказать своим друзьям Гани — прицепились они словно клещи.

Хозяин кабака китаец Лау Ван, хорошо знавший троих гуляк, сразу сделал все, что они попросили: открыл окно и поставил у него столик специально для них. Стало немного свежее, но лица сидевших все равно еле различались, тонули в сизом мареве.

По приказу Омара им принесли водки — в немых засаленных стаканчиках и немного закуски в таких же грязных деревянных мисках.

— Ну что ж, давайте выпьем, друзья... Здесь тихо, от чужих глаз и

ушей далеко, делай, что душе угодно. Хоть кричи, хоть песню пой, никто не станет приставать. Правильно я говорю, Ван? — обратился Омар к бритоголовому узкоглазому китайцу.

— Пейте, пойте, уходите, — хмуро ответил Ван.

— Очистишь карманы, а там убирайтесь куда хотите, так, что ли? — стал приставать к нему Гани — его снова охватила хмельная злость.

Лысый китаец уставился узкими глазками на Гани:

— Моя дело маленький: попросили — подала, а на что пьете, где деньги берете, моя не знает и знать не хочет...

Гани с отвращением выпил из грязного стакана и вдруг задумался, не обращая внимания на шум, словно забыв, где сидит. Может, ругал себя за то, что, связавшись с этими подонками, забрался в такое место, куда и порядочная собака побрезгует забежать! Или с болью думал о тех молодых парнях, что здесь изо дня в день убивали свои лучшие годы? Или проклинал в душе этого отвратительного торгаша, который стоял за стойкой, презрительно скривив рот, с издевкой глядя на «чаньту»^[18], которых сам спаивал, обманывал, превращал в одурманенных скотов?.. Трудно сказать, но Гани сидел молчаливый и насупленный.

— Ты что такой скучный? Мать, что ли, вспомнил? — снова начал поддразнивать его Авут.

— Ну ладно, раз тебе здесь так не нравится, пойдем домой, — предложил Омар. — Выпили, хватит.

— Все, встали, — пьяно икнул Хашим, — сейчас я вас поведу к своей по-подруге... — Язык у него заплетался.

— Действительно, пойдем отсюда, не могу я больше, — стал подниматься Гани, но тут кто-то крикнул:

— Черики!..

— Да это же Болус! — добавил еще один из гуляк.

За несколько лет до описываемых событий сын илийского губернатора, которого народ за его нрав прозвал Дурным шауе^[19], выбрал худших подонков из уйгуров в специальный отряд для своей охраны. Едет, он, например, в своей коляске, а джигиты из охранного отряда за два квартала «очищают дорогу», плетками разгоняя людей. Кто вздумает перечить — избыют и оттащут в яму. С помощью этого отряда Дурной шауе проделывал разные незаконные махинации. Командовал отрядом Болус, жестокостью и наглостью превосходивший даже своего хозяина. Он не только беспрекословно выполнял самые свирепые распоряжения губернаторского сына, но и старался, как мог, самостоятельно. Вот этот

Болус во франтоватой форме в сопровождении двух чериков, тоже в тщательно подогнанном обмундировании, и вошел в кабак. Еще следовал за ними Тусук, сын Ходжака-шаньё...

Болус остановился у двери и крикнул:

— Кто тут вор Гани? Выходи! — Его голос громко разнесся в испуганной тишине. Он не успел смолкнуть, как ему ответил не менее громкий и уверенный голос:

— Гани — это я! — и батур поднялся над столом.

— Выходи сюда, пойдешь впереди меня. — Это странно, но можно было поручиться, что Болус говорит с китайским акцентом.

— Впереди тебя? Да ты меня никак спутал со своей женой, которую на блюде поймал!

Как ни были испуганы появлением чериков посетители кабака, но неожиданно дерзкий ответ Гани подействовал на них. Вначале прозвучал чей-то неуверенный смешок, потом кто-то истерически хихикнул, а потом стены заходили от взрыва грохочущего хохота.

Болус, привыкший, что все трепещут при его появлении, побледнел от изумления и ярости. Он рявкнул:

— Придержи язык, вор!

Гани ответил с такой же быстротой:

— Ты уже дважды назвал меня вором, гад! Если твой поганый рот произнесет это слово в третий раз, я все твои тридцать два зуба вобью в твою глотку!

— Да этот наглец не узнает вас, господин! — взвизгнул Тусук, спрятавшийся за спиной чериков. Гани мгновенно повернулся в его сторону:

— А, это наш знаменитый женолюб Тусук! Кто о нем не слышал? Как же, украл девушку. Да вроде бы удержать не смог? Как ты смеешь рот раскрывать, мешок дерьма! Купи на базаре холощеного козла — вот тебе с кем забавляться положено!

И снова поднялся хохот. Болус трясся от гнева.

— Ты идешь или нет?

— Куда?

— Куда, куда! Да в губернаторский ямул! Не во дворец же!

— А что мне у губернатора делать? Задницу Дурному шауе лизать и тебя с твоими чериками хватит. Только в ямуле мне тоже делать нечего.

Болус с чериками накинулся на Гани. Тот стоял не сопротивляясь, но и не двигаясь. Нападавшие ничего не могли с ним сделать — словно огромный неподвижный валун был перед ними!

Болус вырвал револьвер из кобуры, но в ту же долю секунды Гани стремительным взмахом ноги вышиб у него из рук оружие. Болус закрутился от боли, как юла, а револьвер улетел куда-то в глубину помещения. Пронесся гул одобрения — сочувствие гуляк было теперь всецело на стороне батурса, и неизвестно, что случилось бы, если б Болус приказал черикам снять винтовки. Но у дружков Гани переполох вышиб хмель из голов.

— Хватит, хватит, давай смываться... — шепнул ему Омар.

— Ты что, Гани, это ведь власть, зачем связываешься с ними, — вторил Авут.

— Если трусите — убирайтесь, — бросил им Гани, не спускавший глаз со своего главного противника.

— Уходи, уходи, пожалуйста, — умолял и хозяин-китаец, он боялся — если разразится скандал, то и ему несдобровать.

— Запомни, лизоблюд китайский, — обратился к Болусу Гани, — лучше не попадайся мне на пути, предупреждаю!.. — и, неторопливо застегнувшись на все пуговицы, зашагал к выходу. В дверях бросил: — Не умеешь обращаться с оружием — нечего за него братья!

* * *

События, происшедшие в кабаке на горе, назавтра стали, конечно, известны всему городу. Жители ехидно посмеивались по углам над ненавистным Болусом. Были и такие, что не верили, считали сплетней. Разве кто осмелится так издеваться над всеильным Болусом? Но и из тех, кто знал Гани и поверил в правдивость рассказов о событиях в «донь шауфань», не все одобряли батурса. Нашлись и такие, кто считал его поступок бессмысленным хулиганством, которое может еще плохо отозваться на порядочных горожанах. Что же касается потерпевшей стороны, то здесь расценили случай как покушение на законную власть. Так немедленно и доложили «наверх», откуда тоже без замедления был получен приказ беспощадно расправиться с опасным преступником Гани. Отряд чериков ворвался в «донь шауфань». Допросили всех, кто оказался свидетелем происшествия, пытались узнать, куда мог уйти Гани. Затем начались усиленные поиски батурса. Обшарили все дома, все закоулки, где он мог бы оказаться. Знавших его людей допрашивали с пристрастием, многих избили. Но джигит словно сквозь землю провалился! И долго еще, месяцы спустя, никто нигде не видел его и ничего о нем не было слышно.

Люди недоумевали...

А произошло в тот вечер вот что. Гани уже садился на коня, когда к нему подбежали Омар с Авутом и стали наперебой приглашать в гости, споря между собой, к кому он должен пойти.

— Что вы несете? — разозлился Гани. — Вы не понимаете, что меня через пять минут черики будут искать по всему городу? Так нажрались, что совсем голову потеряли?!

Не успел он договорить, как вдали слышался топот копыт.

— Это они!.. — испуганно произнес Омар.

— Уходите, а то из-за меня в беду попадете. Я тоже в путь. А догонят, посмотрим, кто кого.

— Ты с ума сошел?! — рассердился и Омар. — Ты Дурного шауе не знаешь? Нашел с кем состязаться! Без разговоров пристрелят, труп на свалку выбросят. Давай сюда!.. — и Омар, взяв коня под уздцы, повел его в узенький, почти незаметный с улицы переулок. Пропетляв по улочкам минут десять, они добрались до низенького домика в квартале Кара-дон. Коня разнуздали и загнали в пустой хлев, а сами вошли в дом, который внутри оказался довольно поместительным. В комнатах было чисто и уютно, на стенах висли дорогие ковры, окна, смотревшие во двор, были занавешены яркими разноцветными шторами. Впечатление было такое, будто в доме ждали кого-то в гости. На столике разместились подносы с лакомствами и фруктами, вокруг него были разбросаны мягкие одеяла и подушки. Гани этот уют понравился.

— Что ж, видно, у хозяйки этого дома есть вкус, — заметил он.

— Да, хозяйка на вкус неплоха, — ухмыльнулся Омар, выходя из комнаты. — А что касается дочери...

На его слова батур не обратил внимания. Он снял бешмет и устроился на одеяле у стола. Уже прошли те времена, когда он, услышав о девушке, не мог сидеть спокойно. Бегать за девицами, пугая их смелостью, он начал, едва у него стали пробиваться усы...

Неожиданно он услышал женский голос:

— Дома, дома дочь. Спит... А зачем ты про нее вдруг спрашиваешь?

— Уж и спросить нельзя...

Больше, как Гани ни напрягал слух, он ничего не разобрал.

Вскоре вернулся Омар, а следом вошла высокая, статная, очень красивая женщина с огромными глазами, густыми черными бровями. В ушах ее медленно колыхались тяжелые серьги. Гани не мог понять, своя ли у нее или искусственная коса до пят, не мог даже определить, сколько примерно женщине лет, но оторвать от нее глаза был не в силах. Хозяйка,

смутившись, быстро вышла.

— Ты что вытаращился, баб не видел? — ревнивым вроде тоном сказал Омар. — Веди себя спокойно, прилично!

Тем временем Авут, прикорнувший у столика, начал даже похрапывать.

Женщина вошла снова. Она несла на подносе жареных цыплят, обложенных острой овощной закуской. Поставив поднос, приложила руку к высокой груди:

— Добро пожаловать! — и повернулась к Омару. — Омар-ака, вы тут пока сами за гостем поухаживайте, а я займусь ужином.

— Да ладно, хватит и этого, — спокойно, как своей жене, сказал Омар, — иди к нам, Айак...

Гани не понравился его тон, но он поддержал Омара:

— Действительно, сестра, не беспокойтесь...

— Ну что вы, какое беспокойство, мы всегда рады гостям, — улыбнулась женщина и ушла, играя косой.

— Кто она тебе? — грубо спросил Гани у Омара.

— А тебе что?

— Ты с ней как с женой обращаешься...

— Эх ты, степная темнота, одно слово темнота... Ну какое тебе дело, кто она мне? Нравится — возьми, если сможешь...

Гани растерялся, не зная, что ответить.

— Наливай, что ли, свою водку!

— Это дело другое.

Омар налил в две пиалы. Оба они выпили с жадностью, словно их мучила жажда, — сказало пережитое во время столкновения и бегства.

— Скажи ей, пусть с нами выпьет.

— Ты совсем, я гляжу, освоился... Ладно, пусть будет по-твоему...

Пока Омар выходил в другую комнату, Гани налил себе еще полную пиалу и залпом проглотил.

— Ну что вы, что вы, мне неудобно, не стану я сидеть с вами, да еще пить... Нет, нет, не просите меня, — кокетничала Айимхан, но Омар, приобняв ее за талию, усадил за столик:

— Садись, садись, не ломайся, нам будет приятнее пить эту гадость, если ты будешь ее наливать, и выпьешь с нами. Я верно говорю, Гани? — Омар подмигнул батуру.

Женщина наконец села, обдав Гани густым ароматом духов.

— А твой приятель спать, что ли, сюда пришел? — брезгливо скривила губы Айимхан, указывая на Авута, храпевшего теперь уже совсем

не тихо.

— Свободная комната есть? — спросил ее Гани, которому тоже надоело слушать храп.

— Есть, конечно, вот за дверью...

— Ну, так я его отнесу туда, пусть там спит себе, — Гани взял Авута под мышку как куль и легко понес его, хотя весил тот порядочно. Когда Авута устроили, хозяйка еще раз прижала руки к груди: «Добро пожаловать!» — и стала разливать чай...

И чаю выпили, и вина... Первую рюмку Айимхан проглотила с трудом, мужчины почти заставили ее сделать это, вторая пошла легче, а дальше она уже пила не жеманясь... С Гани она совсем освоилась, а батуру Айимхан казалась все более привлекательной и соблазнительной. В конце концов хмель начал действовать и на него — ведь он пил уже много часов. В голове шумела пьяная волна. Все вокруг происходило словно не на самом деле, и Гани порой казалось, что он вот-вот проснется.

— Айак! — снова как хозяин обратился к женщине Омар. — Ну-ка спой нам что-нибудь, грустно стало.

— Как ты сказал?! — накинулся на него Гани. — Еще раз услышу, что ты ее называешь Айак — язык тебе вырву, имей в виду!

— Ах ты, мой защитничек, батур мой, сладкий мой! — прижалась к нему Айимхан...

— Ладно, хватит, оставь свои нежности и для меня, — ухмыльнулся Омар.

— А что? Я — щедрая, никого не обижу, — вольно рассмеялась Айим, обнажая ровные маленькие зубки.

— Сыграй же. Возьми дутар, — уже просительно заговорил Омар.

— А гость не против?

— Для меня большое удовольствие будет послушать, — сказал Гани, не отрывая глаз от высоких грудей Айимхан. Он вспомнил подслушанный давеча разговор — «дочь дома». Об Айимхан шел разговор или это она отвечала? Кто она? Мать или дочь?

Айимхан показала на стену, на которой висели инструменты:

— На чем сыграть, на дутаре или на рубабе? Что желает услышать дорогой гость?

Гани одурманено смотрел то на стену, то на Айимхан, тяжело собираясь с мыслями. Ответил Омар:

— Возьми рубаб, под него веселые песни лучше поются.

— Тс, тс, Омар, помолчите, сегодня у меня самый дорогой гость — наш Гани.

Теплая волна плеснула в сердце джигита. Под аккомпанемент рубаба зазвенела песня:

Белый голубь за окном воркует,
Черный голубь за окном воркует.
Сердце ночью без любимого тоскует.
Белый голубь, белый голубь в небо улетает,
Черный голубь, черный голубь в небо улетает,
Милый рядом — сердце тает, сердце тает...

Айимхан пела чудесно.

Потом она взяла дутар, потом дап-бубен, пела, танцевала. Так они сидели до рассвета.

Утром Гани не смог заставить себя уехать из этого дома. А потом узнал, что его ищут по всему городу и ему нельзя показываться на улице... Время шло в каком-то странном полусне. Неделя пролетела незаметно. Гани остался без денег. Но, видно, не только из-за денег не хотела отпустить Айимхан «своего сокола». Увидев, что батюра, несмотря на опасность, все же тянет на волю, она позвала дочь — до тех пор она прятала девушку от него — и женила на ней Гани, выделив молодым комнату у себя же в доме и оставив зятя при себе. Дни тянулись за днями, месяцы за месяцами. Родился ребенок. Но Гани теперь вспоминал то время как тяжелый кошмар. Словно опоили его тогда каким-то зельем... В конце концов он вырвался все-таки на свободу.

Сейчас, на разоренной бахче, воспоминание о тех постыдных месяцах снова обожгло джигита. Гани вскочил, отшвырнул кисет и, прыгнув в седло, хлестнул коня, словно убежать хотел от этих воспоминаний. Но как от них бежать, как их забыть? Когда Гани вспоминал Чолпан, его раскаяние становилось еще тяжелее и мучительнее.

Глава шестая

Гани подъехал к селению Ават на берегу Каша ранним утром, когда только-только начали выгонять коров да первые струйки дыма закурчавились из труб низеньких домишек — жильцы ставили чай. Было сыро и прохладно, и от теплых коровьих тел шел пар. Гани спросил у мальчишки-пастуха с обритой головой, где живет дед Нусрат, но тот не отвечал, уставился на батура огромными глазами.

— Ты что молчишь? Или ты немой?

— А вы кто будете?

— Гани. Слышал о таком?

— Я так и подумал, — улыбнулся мальчишка, — ты Гани-палван... А мы только вчера о тебе говорили, как у тонура^[20] сидели.

— Тыкву пекли?

— Понятно, а иначе зачем у тонура сидеть?

Бритоголовый мальчишка рассмеялся и спросил не без недоверия:

— А правда, что ты поднял на плечах жеребца и пронес десять шагов?

— Правда.

— И что семерых калмыков победил и выиграл у них семь коней?

— Не семерых, а троих.

— И что ты на Или погибавших спас?

— Было и такое дело.

— А правда, что ты избил Якупа-лозуна, когда он за тобой в погоню вышел?

— Правда. За это я просидел год в тюрьме...

— А с тигром ты в зарослях дрался?

— Вот это выдумки.

— А сноху Хаким-бая...

— Ну хватит, хватит. Слишком много вопросов!

— Не обижайся, Гани-ака, — снова улыбнулся пастушонок, — мы ведь все время только о тебе и говорим... Не веришь? Пойдем ко мне домой. У матери моей есть такая сметана! Пальчики оближешь.

— Ладно, ты покажешь свое гостеприимство в следующий раз, а сейчас отведи меня к дому деда Нусрата.

Мальчишка искоса посмотрел на Джигита.

— А тебе дед Нусрат нужен или...

— Хватит болтать!

— Да их вроде дома нет...
— Говори толком, не мямли!
— Эх, Гани-ака!.. Боюсь тебя расстроить!..
— Говори! Не бойся!
— Деда Нусрата взяли черики, вернее яйи^[21]...
— Яйи! — Гани опустил голову.
— Да, вчера, когда он возвращался с хашара на Ак остане, его схватили яйи, ими командовал этот... Ала байтал...

Услышав эту кличку, Гани еще больше заволновался. Ала байталом — пестрой кобылой — в народе называли Нияза-лозуна по его лошади. Имя лозуна со змеиным сердцем и змеиной пастью не любили произносить. И боялись, и противно было.

Услышав, что Нусрата забрал Ала байтал, Гани понял, что это означает. Такого известного человека, как Нусрат, не стали бы арестовывать за задержку с уплатой налогов или другую подобную мелочь. И Нияз бы не приехал сам по пустякам. Дело выходило нешуточное...

— Перерыли весь дом, взяли все бумаги, все книги. И Чолпан, дочь его, тоже забрали с собой.

Это был еще один удар. У Гани потемнело в глазах. А ее-то за что? Что она им могла сделать? Ну что за времена такие... мерзкие!

— Говорят, что стоит за этим турдиюзский Хаким-бай...

— Хаким-бай?! — не удержавшись, закричал Гани. Его глаза заискрились гневом. Сам не понимая, что делает, он схватил за шиворот пастуха-мальчишку:

— Это правда все, что ты здесь наплел?!

— Конечно, правда. Да пусти ты!

— Ну ладно, извини, брат, — Гани стало стыдно за свою несдержанность. — Как увидимся в следующий раз, обязательно схожу к тебе в гости, а теперь прощай...

Паренек смотрел вслед всаднику до тех пор, пока Гани не скрылся из глаз. Мысленно он сравнивал Гани со сказочными прославленными богатырями — Али Шариязданом, Рустамом, Абу-Мусаллимом...

Издали узнавшие гнедого жеребца батура детишки бежали к нему навстречу с криком: «Гани-ака! Гани-ака!» Девушки, шедшие к каналу за водой, тайком оглядывались ему вслед. Дехкане, разбрасывавшие по плоским крышам домов солому для просушки, с восхищением смотрели на резвую рысь скакуна и гордую осанку всадника-земляка. В последнее время Гани часто и надолго пропадал, месяцами не появляясь в родном селении, и здесь по нему все уже успели соскучиться, всем хотелось

пригласить его к себе в гости. Все были рады его приезду. Только малая ребятня осталась недовольной — обычно батур, возвращаясь после долгого отсутствия, одаривал их щедрыми гостинцами, а вот сегодня ничего не привез, был хмур и неприветлив. Это заметили и взрослые и поняли — что-то случилось. А когда Гани, проехав мимо своего дома, направился к особняку Хаким-бая, все, кто видел это, многозначительно переглянулись. Молодые парни, товарищи Гани, уже начавшие собираться на улице — они чувствовали, что батур может скоро позвать их в дорогу, — тронулись было за ним, однако он взмахнул камчой: «Оставайтесь». Все-таки молодежь потихоньку тронулась к дому Хаким-бая, который резко выделялся среди окружавших его домишек. Он огорожен высокой стеной, так что увидеть, что делается внутри двора, было невозможно. Гани, подъехав к воротам, резко застучал в калитку рукояткой камчи.

— Кто там? Чего расшумелся, ворота ломаешь! — послышался недовольный женский голос.

— Открывай! Это я — вор Гани! Знаешь такого?!

— Ой, аллах! — женщина мгновенно скрылась в доме.

Гани полез на забор, собираясь спрыгнуть во двор, но тут подбежал его старший брат Елам и закричал на младшего:

— Что тебе нужно в чужом дворе?! Ну-ка, слезь! Слезь, кому говорят!

— Не мешай, брат, иди домой, я скоро приду...

— Я говорю тебе — слезай! Опять что-то затеял?

Столпившиеся тем временем у дома бая односельчане сказали, что Хаким вместе с Розии-имамом и еще кем-то отправился с утра в сторону Токкузтара...

— Ах, черт, опоздал! Ну, все равно, он от меня не убежит! — Гани снова вскочил в седло, но его удержал Елам, стал убеждать хотя бы коню дать передохнуть, чтобы не загнать его. Гани вынужден был послушаться.

— И где тебя носит, Гани, в свой родной дом перестал заглядывать, — укоризненно говорил Елам, когда собравшиеся всей большой семьей братья и сестры сели за один стол.

— Ты взгляни на свой участок — весь ведь зарос. Как ты не поймешь — пора тебе бросить дурачиться, надо осесть на земле, заняться делом, нашим делом, — сказал второй брат Алат.

— Слышали мы, что ты и жениться успел. Познакомил хоть бы. Привел бы в дом. Тебя ведь и с дочкой поздравить надо? — быстро заговорила младшая сестра Айсихан.

— Об этом чтоб никаких разговоров, курносая! — ответил Гани, улыбаясь ей.

У семьи был участок земли — около трехсот хо^[22]. После смерти отца этот надел остался трем его сыновьям. Первые два-три года Гани на своем отрезе работал за пятерых и получал хорошие урожаи. Но потом, окунувшись в бурю событий, происходивших далеко за околицей его села, он устремился на простор, как птица устремляется в небо. Он перестал быть дехканином. И теперь снова дать ему в руки соху и заставить пахать и сеять было невозможно.

— Жил бы ты с нами, всем было бы хорошо, — вздохнула одна из невесток.

— Жили бы рядом, так вечно ссорились бы, а нынче вон у нас какая дружба, — отшутился Гани.

— Ладно, тебя, я вижу, на землю назад уже не посадишь. Живи, как хочешь, живи, где хочешь, но не шуми. Не балуй, — сказал Елам.

— Брат правду говорит, — поддержал старшего Аамат. — Ты все на свою силу надеешься, хочешь быть не ниже, чем Хаким-бай, Рози-имам и им подобные. Но ведь за ними стоят лозуны, шанъё, разные большие люди. Как тебе одному с ними справиться? Слишком много берешь на себя! Подстрелят где-нибудь — и все!

— Родной мой, я умоляю тебя, не связывайся ты с ними. У меня сердце всегда за тебя так болит, — взмолилась младшая сестра.

Ласково погладив жгуче черные волосы сестренки, Гани шепнул ей:

— Не бойся, не родился еще такой человек, чтобы совладать со мной...

В комнату шумно вошли односельчане.

— Где ты пропадаешь, сынок, мы тут все соскучились по тебе, — поцеловала Гани руку сгорбленная старушка.

— Жил бы ты постоянно с нами, было бы нам поспокойнее, — поздоровался седобородый аксакал.

— И не говори, мы ведь так гордимся тобой, так тебе верим, — поддержал его другой старик, совсем древний, с трясущейся головой.

— Свадьбы, игры, скачки, состязания по-настоящему веселы, лишь когда ты здесь, Гани, а без тебя наша молодежь сидит позевывая...

Все расспрашивали Гани, как его дела, где он был, что видел. Батур в свою очередь интересовался здоровьем и делами каждого.

— Как живешь ты? — спросил он у седобородого старика. — До сих пор работаешь на Хаким-бая?

— Что делать, сынок... — вздохнул старик, поглаживая бороду. — Буду работать, пока не верну свою землю...

— Что ты будешь работать до конца дней своих, а потом и сын твой и

внук твой будут работать — это я знаю. Но я знаю и другое — никогда вы назад своей земли не получите! Неужели так трудно это понять? Неужели вы не видите, что такое ваш Хаким-бай? На что вы надеетесь? С такими, как он, бороться надо — добром вы ничего не добьетесь! Ну когда эта простая вещь дойдет до ваших сердец! — Гани снова вскипел. Земляки сидели, опустив головы.

— А что делать? Я налога заплатить не смог, и у меня забрали бумагу на право владения землей...

— И у меня!

— У меня тоже...

Таких было человек десять.

— Кто забрал?

— Сам же знаешь, кто! Ала байтал да Хаким-бай, кто же еще.

— Говорят, Хаким-бай наш долг собрался сам выплатить, чтобы землю совсем уж себе забрать.

Все невзгоды земляков Гани знал и без их жалоб. Да и кто в краю не знал, как обогащаются шаньё, лозуны и беки. Уберут одного грабителя — придет другой, еще злее и ненасытнее. Мало завоевателей на нашу голову, так тут еще свои богачи, уйгуры, кровь сосут... До каких же пор все это будет продолжаться? Не зря Нусрат говорил, что... Да, Нусрат... Гани снова помрачнел. Ведь он приехал сюда затем, чтобы отомстить за Нусрата, наказать одного из виновников его ареста, Хаким-бая. Чего же он здесь сидит? Надо догнать Хакима и хотя бы забрать у него неправдой попавшие к нему документы на землю. Хотя бы так помочь землякам.

— Кто из вас поедет сейчас со мной? — строгим голосом спросил Гани.

— Куда опять? Снова на свою голову приключений ищешь? — заволновался старший брат.

— Не дури, не дури, себя не жалеешь, так хоть нас пожалей, — застонал Аамат.

— Да вы сами себя, не переставая, жалеете! И чего добились?! Что толку сидеть дома да лить слезы, проклиная баев. Я не могу так жить! Не могу!

Гани стремительно встал и направился к выходу. Он не мог больше бездействовать, хотя вовсе не знал, принесет ли его поступок землякам пользу или новое горе. Он просто должен был бороться, а других путей помочь людям, страдания которых терзали его, он не знал.

Подумав, батур взял с собой лишь одного спутника — Махаматджана.

В сумерках они достигли Токкузтара, остановились у низенького

домика.

— Замерз? — спросил Гани у Махаматджана, слезая с коня.

— Не спрашивай, — задыхаясь, ответил тот. — Весь трясусь от этого холода.

— Сейчас выпьем чаю, согреемся, — батур постучал в плотно запертую калитку. — Эй, Сай Шансин, ты дома?

— Что-то медлит твой китаец. Может, открывать не хочет?

— Что ты — узнает мой голос, без штанов прибежит. Я тебя в какой попало дом не приведу! Увидишь, как нас встретят, да и все новости узнаем...

Хозяин лишь слегка приоткрыл ворота, словно дело происходило в осажденной крепости, но, узнав гостя, распахнул их настежь:

— Гани!.. Моя чувствовал, моя знал, что ты приедет! Ну давай, проходи, проходи, дорогой. Вон там привяжут коней. Сяогуй^[23], — крикнул хозяин.

Тут же появился маленький мальчик и отвел коней в глубь двора. Хозяин же, фонарем освещая дорогу гостям, повел их к дому. Дверь в него была так низка, что Гани втиснулся с трудом. Усевшись в комнате, гости осведомились о здоровье хозяина, тот в свою очередь расспрашивал об их делах.

— Мы к тебе поздно, ты не сердись, Сай Шансин?..

— Ну что ты, что ты, ты — друг, моя всегда рада тебе и твоим друзьям.

Китаец быстро заварил крепкого чаю, а потом протянул гостям длинную трубку.

— Вот спасибо, Сай Шансин, как раз угадал. — Гани жадно затянулся и передал трубку другу.

— Твоя хорошо сделал, что приехал. Моя хотел завтра к тебе ехать. Очень многа всяких дел... Многа.

— Что случилось? Говори!

— Не торопись, не торопись, что будете кушать?

— Что подашь, то и будем, мы неприхотливы.

— Э, нет, не все будете, вы же мусульмане. Я скажу, чтобы барашка привели, — засмеялся китаец.

— Ну что, тыква, хоть барана-то сможешь зарезать? — обернулся Гани к приятелю. — Или руки все от холода дрожат?

— Да я сейчас этими руками верблюда зарежу, если мне его съесть дадут, — отозвался Махаматджан.

— Ну, тогда берись за дело. Всего барана и брось в котел, раз он для

нас предназначен.

— Правильна, правильна, — закивал китаец, выводя Махаматджана из комнаты.

Уже давно не слезавший с коня Гани порядком притомился. И теперь, в теплой комнате, его разморило.

Их хозяин, китаец по фамилии Сай, вырос в Токкузтаре, всю свою жизнь был накрепко связан с уйгурами, прекрасно знал их обычаи и быт, уважал их. Был он и вообще добрым, порядочным человеком, не старался, подобно другим, обманом нажить богатство, пахал себе свою землю и поэтому издавна находился в самых хороших отношениях с местными старожилками. Однажды, собираясь выдать свою старшую дочь замуж, Сай отправился в кульджинский храм «Чин хуан мияу». Когда он переправлялся через Или, трос парома лопнул и бурные воды реки повлекли площадку с тремя беспомощными людьми — это были Сай, его жена и дочь — к перекатам. Трагедия казалась неминуемой. Гани, проезжавший в тот час мимо, бросился в воду. Широкими размашистыми гребками разрезая свирепые волны, пловец настиг паром и стал сильно и резко толкать его к берегу. Даже Гани это противоборство с могучим потоком обошлось недешево. Потом, вспоминая все это, он думал, что гибель его была недалека. Уже потерявшие всякую надежду на спасение, Сай с женой и дочерью не знали, как благодарить батура. С той поры и подружились они. Сай не остался в долгу, он не раз выручал Гани из опасности. Его зять служил в ямуле уездного управления. Однажды это позволило Саю вытащить джигита из тюрьмы. Их верному товариществу никак не мешало, что один из них был уйгур, а другой китаец.

Хозяин, показав Махаматджану барана и казан, вернулся в дом. Он поставил перед Гани закуску, вынул бутылку джуна, разлил жидкость по пиалам.

— Ну что, давай выпьем?..

— Эх, Гани, Гани, плоха твои дела, — сказал Сай, немного помолчав.

— Не крути, Сай, уже надоело, говори все как есть, — потребовал Гани.

— Гани, ты как маленький, ни о чем не думаешь, а время сейчас не такой, чтобы шутики шутить...

— А кто говорит, что сейчас времена хорошие? — Гани снова взялся за пиалу.

— Тебя опять хотят запрятать в тюрьма.

— И это все? Ну что это за новость? Это обычное дело...

— Постой, постой, не все так просто, — Сай затянулся из трубки и

быстро-быстро стал объяснять гостю суть дела: сейчас Гани необходимо на какое-то время исчезнуть, чтоб власти и не слышали о нем, потому что нынче решено избавиться начисто от сорвиголов и возмутителей спокойствия.

— Приказал сам Шэн Шицай. Губернатор — плохой человека. Он хотел упрятать всех чаньту в турьма. Твоя должен уехать далеко...

В этот вечер гости и хозяин говорили о многом.

И как приехал, и как уехал Гани, никто из соседей Сая не видел — в темноте батур появился в доме друга, в темноте и покинул его. Выехав из селения, Гани остановил коней.

— Слезай с коня, тыква, разговор есть, — приказал Гани Махаматджану.

— В доме, в тепле не мог сказать? Сколько мы там говорили! Что ты еще выдумал? — недоуменно спросил Махаматджан.

— Э, брат, утро вечера мудренее. Садись. Еще раз тщательно все обсудим.

Они закурили самокрутки.

— Вчера забыл я об одной вещи...

— Какой такой вещи?

— Есть одно дело...

— А-а, сообразил: ты думаешь, мой конь будет отставать и задерживать тебя. Да, конечно. Эх! Если бы подо мной был мой серый, я бы тебе показал, что такое конь!

— Дело не в коне. Если бы за этим дело стало, я бы тебе через полчаса такого бы скакуна достал...

— Тогда не знаю. А может, ты на меня за что-нибудь взелся? — рассмеялся Махаматджан.

— Перестань, Махаматджан, сейчас не до смеха, — остановил его Гани. — Вчера я об одной штуке промолчал у Сая.

— Так, — кивнул Махаматджан, — это верно. Нельзя все, что на душе, открывать перед ним. Что ни говори — ведь он китаец!..

Гани удивился:

— Значит, ты считаешь, что Сай Шансину нельзя доверять? Но ты же знаешь, что он спас мне жизнь?

— Ну и что? Сначала ты спас ему жизнь, да еще и жене, и дочери, потом он тебя отблагодарил, даже дважды. Ну вот, вроде вы и квиты. Больше доверять нельзя.

— Хватит тебе! — резко оборвал его Гани. — Всех под одну гребенку стрижешь!

— Ох ты, куда мы пустились! Было время, сам говорил: увижу китайца — так и хочется ему в горло всадить нож! Быстро же ты изменился!

— Поумнел!

— Многие поумнели, в слуги к захватчикам метят!

— Ты с ума сошел! — закричал Гани. — Это я-то — в слуги к властям?!

— Да не о тебе речь, что ты, — стал успокаивать его друг. — Хочу лишь напомнить тебе, что китайцы все на одно лицо — и правитель, и мелкий торговец, и дехканин. Забудешь об этом — сами они с нашей шеи не слезут.

— На чьей шее Сай сидит? А вот что вся наша банда — беки, лозуны да шаньё сидят у народа на шее — это точно. Чем эти мусульмане китайцев лучше? Да они готовы из-за своей прибыли таких, как мы, заживо изжарить!

— Это-то правда... — согласился Махаматджан. — Да что мы, собственно, раскипятились! До того ли сейчас!

— Именно что до того! Мы с тобой тогда, когда в глаза смерти глядим, правду от лжи должны отличать! Мы с тобой — слуги правды! И всех людей, друзей и врагов, по ней одной ценить обязаны!

Товарищи замолкли, устав от спора. Не раз они схватывались так, пытаясь поймать истину, — не легко она давалась молодым неопытным и необразованным парням. Сегодня Махаматджан заметил, что его друг стал спорить убежденнее и увереннее, чем раньше. Казалось, что он владеет правдой более полной и ясной, чем прежде. Ну да, подумал Махаматджан, это у него от деда Нусрата, от Рахимджана Сабири.

Он не испытывал зависти к Гани, наоборот, чувствовал гордость за него. И Махаматджан проговорил примирительным тоном:

— Вчера договорились, что ты до поры до времени скроешься с глаз местных властей. Но если ты решил предпринять что-нибудь другое, я готов сейчас же следовать за тобой.

— Нет, все будет, как решили. Но прежде, чем укрыться у юлтузских калмыков, я должен побеседовать с Хакимом-шаньё. Обязан я отнять у него документы на землю и вернуть их настоящим хозяевам. Совесть требует!

— Но ведь Сай говорил, что все они направились в Кульджу с материалами на тебя самого. Если пойдешь за ними следом, ты просто сам направишься в клетку.

— Надо перехватить их до Кульджи!

— Но как? Ведь они еще вчера вышли из Токкузтара?

— Этот толстяк Хаким не может долго ехать на коне. Он обязательно где-нибудь остановился до Кульджи заночевать, — Гани с любовью погладил шею коня, — а мой сокол, я знаю, меня не подведет!

— Ну раз так, то и я с тобой!

— Нет! — отрезал Гани. — Твой конь не выдержит пути, отстанет. Да и вообще на этот раз лучше тебе не ввязываться в историю. Жди меня в селении Уч каптар у моего друга Анвара, — подвел он итог и вскочил на коня. Немного отъехав, Гани повернул в сторону Или. Махаматджан долго смотрел ему вслед...

Эту дорогу батур знал так, что мог бы проехать ее с закрытыми глазами. Не прошло и часа, как Гани был уже на берегу реки. Здесь он поспешно разделся и связал узлом одежду. Холодный ветер набросился на его обнаженное тело. Гани поежился, но смело вошел в воду, ведя за собой коня. Вода была настолько студеной, что лишь крайняя необходимость заставила джигита выбрать такой способ переправы. Но он очень спешил, а до парома далеко. Что делать, приходится лезть в этот жидкий огонь. Ладно, не в первый раз! Выдюжим!

— Да поможет мне пророк Нох! — вспомнил Гани Ноя, которому вода тоже принесла немало неприятностей, и вошел в реку. Шел, пока поток не достиг пояса, потом поплыл... Когда выбрались на тот берег, конь отряхнулся так, что влага дождем полетела с его шерсти. Отряхнулся и дрожавший от холода джигит. Одевшись, стал собирать сухие ветки и засохший кизяк, разжег костер. Хотя пламя плясало весело, Гани никак не мог согреться, его зубы выбивали крупную дробь. Пляшущими руками он вынул из хурджуна вареное мясо, ломоть хлеба и бутылку водки и только поднес ее ко рту, как вдруг в темноте раздался голос:

— Ассалам алейкум!

— Это еще кто там?

— Это ты, Гани?

— Да, я! А ты кто такой и что тут делаешь? Садись к огню...

— Стадо пасу. — Пастух присел у костра.

Гани отпил несколько глотков водки и стал закусывать мясом.

— Пить будешь? — спросил он у пастуха.

— Угостишь — буду.

Гость взял бутылку, отпил несколько глотков, поперхнулся, закашлялся, но бутылку не вернул.

— Закусывай мясом... Откуда меня знаешь?

— Ты же тамыр нашего Кусена.

— Стадо свое или нанялся? На, кури...

Пастух сначала крепко затянулся:

— Стадо Хакима-шаньё.

— Хакима?! — вздрогнул Гани. И вспомнил — каждый год после джайляу шаньё свои стада отправляет пастись на берега Или. Взяв бутылку у пастуха, Гани снова отпил. Затем торопливо доел мясо и, ничего не говоря, стал собираться с озабоченным видом. Пастух с удивлением смотрел на него.

— Где сейчас Хаким-бай, знаешь?

— С утра выехал в город.

— А откуда знаешь об этом?

— По его приказу я привел ему двух скакунов.

Гани не стал больше слушать пастуха и направился не в сторону селения, как предполагал раньше, а напрямик к дороге, ведущей в город.

А пастух, который, как все простые люди в краю, восхищался Гани, про себя пожелал ему счастливой дороги и успехов в его делах, а сам накинудся на остатки водки и мяса.

«Ну вот, не успело зайти солнце, а я уже у цели», — подумал Гани, подъезжая к ложбине Жиргилан неподалеку от Кульджи и увидев недалеко впереди четырех всадников. Это были Хаким-бай, Рози-имам и двое их слуг.

Гани стремительно подъехал к ним:

— Куда спешите, шаньё-ака? — и перехватил поводья коня бая.

— Ты что себе позволяешь, болван?!

— О чем это вы? — удивленно посмотрел на Хакима Гани.

— Уйди с дороги! Дай проехать!

— Что случилось, что случилось, Хаким-ака? — снова улыбнулся Гани.

— Да я тебе сейчас!.. Эй, Асым! Ты что смотришь? — Хаким кричал, но не знал, что делать. Слуги хоть и стояли рядом, но было понятно: они не осмелятся сопротивляться Гани. Старый Рози же, кажется, собрался дать стрекача. Гани остановил его, ловко вытащив из-под колена дубину:

— Стой, старый пройдоха! Делай, что я скажу, иначе утоплю в реке!

— Сынок, Абдулгани! Я слушаю тебя, чего ты хочешь?

— Говори, что тебе надо? — спросил Хаким, не отводя глаз от дубинки.

— Бумаги на землю! — отрезал Гани.

— Какие бумаги? У меня нет никаких бумаг, они у лозун-бека!..

— Ах, нет?! — Гани размахнулся дубинкой.

— Постой, что ты? Зачем тебе эти бумаги?!

— Говорят тебе, вынимай! Или тебе жить надоело? Я сейчас одним ударом размозжу тебе твою паршивую башку!

— Постой, сынок, не бей, отдаст он, отдаст тебе эти бумаги, — стал умолять имам.

Хаким с отчаяньем взглянул на своих слуг, но те сделали вид, что не замечают этого, отъехали подальше от дубины батура. Делать было нечего. Скрипнув зубами, Хаким вынул из-за пазухи сверток и протянул его Гани:

— На, подавись!

— Спасибо, — вежливо поблагодарил Гани, а потом добавил: — Но это еще не совсем все. Вон тех двух скакунов, которых ты ведешь в подарок китайскому чиновнику, чтобы он упрятал меня в тюрьму, я тоже заберу. Мне кажется, ты только зря потратишься.

— Вор! Грабитель!

Хаким захрипел, брызгая слюной. Для него эти два породистых скакуна были дороже тех бумаг, что отнял Гани. Но что мог сделать шаньё? Он представил, как тяжелая дубинка батура стремительно опускается ему на голову и раздается хруст лопнувшего черепа... А эти трое подонков трясутся от страха! И на дороге никого...

— Эй вы, давайте сюда коней! — крикнул Гани слугам. — Ваш хозяин дарит их мне!

Слуги молча подвели к нему коней, избегая испепеляющего взора шаньё. Им что, это не их кони. А может, даже и сочувствуют Гани в душе, продажные твари...

— Но и на этом мы с тобой еще не рассчитались, шаньё! — донесся до него голос Гани. — До следующего раза!

Гани поехал. Через мгновение Хаким, словно опомнившись от обморока, взвыл и помчался за батуром, на скаку умоляя оставить лошадей. Догнав Гани, бай перешел от мольб к ругательствам. В конце концов Гани это надоело, он с силой пнул бая ногой, и тот свалился с седла как мешок. Долго Хаким лежал неподвижно, наконец, поднял голову и выкрикнул проклятие вслед Гани. Но батур уже скрылся из виду.

Глава седьмая

Эту ночь Нияз-лозун провел у своей младшей жены Хавахан в квартале Карадон. У этого человека, предавшего свой народ и ставшего слугой захватчиков, не осталось настоящих друзей, близких людей. Оторвавшийся от своего народа лозун был далек и от национальных песен, музыки, игр и развлечений. Все это было ему чуждо. Его единственным развлечением стали азартные игры — одно из немногих «достижений культуры», которые завоеватели внесли в уйгурскую среду. Нияз-лозун прекрасно знал их все. Вообще он был мастером в трех «искусствах»: в пьянстве, разврате и азартных играх. От своего вожака не отставали в этом и его соратники, сопровождавшие его сегодня: Ма-лозун, переводчик, Давур-тунчи, Якуп-лозун и прихвостень Давура хромой Хашим, которому все равно с кем таскаться, лишь бы живот набить битком...

Играли в карты — и с таким азартом, что на выпивку с закуской почти не обращали внимания.

— Если и на этот раз проиграю, — сказал Нияз Давуру, — я твои карты разорву, запомни! — Ему крепко не везло.

— Подумаешь, что ты там проиграл. Крикнешь завтра — втрое больше принесут!

Полупьяные игроки рассмеялись шутке Давура, но Нияз так взглянул на них, что смех тут же замолк.

— Ставьте больше, Нияз-бегим, если на этот раз не выиграте, клянусь, я отрежу свое правое ухо и брошу на кон, — заподхалимничал хромой Хашим.

— Что ты там несешь, вонючий козел, — прикрикнул на него Нияз, — не верещи под руку, а то получишь!

— Хоп, бегим, хоп...

— Ах, собака, и опять не пришла карта!

— А ты выйди, проветришь. Успокоишься, может, судьба и переменится.

— А ты не хвастай, Давур! — вконец разорился Нияз. — Если я тебя не разорю сегодня — имя сменю!

— Ну давай, давай, посмотрим, кто кого разорит.

— В карты играть больше не буду, у тебя карты крапленые. Если играть, то в четыре альчика!

— Ну что ж, пусть будет по-твоему. А если и в альчики проиграешь,

то за что возьмешься?..

— Сказано, не хвались раньше времени. А если и тут тебе проиграю, то жену к чертовой бабушке...

— Эй, эй, Нияз-бек! Давайте не будем так уж увлекаться!.. — придержал его до сих пор молчавший Ма-лозун.

— Сколько раз он клялся, а потом забывал, — шепнул Давур, но все его шепот слышали и рассмеялись. И вправду, Нияз-лозун, вскипев, всегда клялся прогнать прочь эту жену, но затем забывал о своей клятве... Сколько раз подобные шуточки оборачивались у «друзей» ссорой, порой доходило и до драки, но потом вновь сходились они вместе и вновь начинали игру.

— Эй ты, Хромой! Где ты?! — крикнул Нияз.

— Я здесь, бегим!

— Заверни угол ковра вон в том углу.

— Хоп, бек! — Хашим отвернул конец ковра в углу комнаты, прикрывавший ямку для игры в альчики.

— Имейте в виду, если поставите меньше ста лин пию^[24], играть не буду, — предупредил Нияз-лозун.

— Ставлю двести, — бросил на кон бумажку Давур.

— Сто, — произнес Ма-лозун.

— И я сто, — добавил Якуп-лозун.

Игра началась.

— О аллах! — выкрикнул Нияз и, ударив себя в грудь, бросил альчики.

— О Жамшит! — воззвал к богу азартных игр Давур. Он перед броском сначала стукнул рукою об пол, а уже потом в грудь.

Нияз-лозун взвился, как мальчишка:

— Равная игра! Будем перебрасывать!

— Зачем? — спросил Давур. — Кто хочет продолжать, ставьте еще по сто!

— О Жамшит! — взвизгнул Нияз-лозун и бросил альчики. У него выпало меньше всех.

— Хо! — загалдели выигравшие. Нияз-лозун опустил голову. В это время кто-то сильно застучал в ворота. Игроки с тревогой посмотрели друг на друга. Нет, они не боялись, что их накроют за игрой — они сами были начальством, да и их начальство играло не хуже. Но пугало другое: времена смутные, того и жди, где-нибудь бунт начнется.

— Кто это там может быть в такой час?

— По пустякам не стали бы беспокоить, наверняка что-то серьезное.

— Опять?...

— Я пойду, гляну, — Давур, самый молодой из игроков, стал подниматься. Но в комнату рысью вбежал Хаким:

— О горе мне, Нияз-бегим! — кинулся он к лозуну.

— А, это ты среди ночи тревожишь меня и моих друзей? Что еще с тобой случилось?! Тьфу! Всю игру сбил!..

Хаким-шанъё растерялся от такой встречи и не знал что дальше делать. В душе он пожалел, что пришел к Ала байталу, когда тот в скверном настроении. Ему захотелось сейчас же уйти, но он не знал, прилично ли это, и пребывал в растерянности. При этом он стал вдруг очень похож на Ходжака. Такое же глупое выражение лица. Только что родинки на щеке не было.

— Ну, чего в рот воды набрал? Говори уж, если приперся. Чего еще у тебя стряслось? Может, на этот раз Гани у тебя жену забрал?

— Да, господин, это все он, — услышав ненавистное имя, Хаким чуть не зарыдал.

— Не мычи, словно бык. Говори толком, что да как!

— Зря ты на него накинулся. Дай человеку прийти в себя. Он и так не в себе, а ты еще рычишь на него, — пожалел Хакима не раз получавший от шанъё богатые подарки Якуп-лозун.

— Тьфу ты, ну что с ним делать, ревет как бык! — Нияз огляделся и приказал Хашиму: — Эй ты, налей ему чаю.

Несколько успокоившись, Хаким рассказал о случившемся.

— Тьфу! Еще носит звание шанъё. С одним щенком вчетвером не могли справиться. И ты после этого называешь себя мужчиной?! И ко мне еще бежит жаловаться! Повесился бы лучше от позора!

— Господин, убей меня, но не срами при людях, — взмолился наконец Хаким.

— Ты совсем не знаешь Гани, — обернулся к Ниязу Давур. — Что там четверо для него, он и десять противников разнесет. Сила дикая.

— Да, у Гани большая сила. Сегодня он встал на пути Хакима-шанъё, а завтра и нам с тобой может дорогу преградить. А потом и против дарина пойдет! Его надо вовремя остановить, — поигрывая альчиками, сказал Малозун.

— Ну, не преувеличивай, дорогой, Если я в течение трех дней не поймаю этого вора и не заставлю его на коленях стоять перед даринном, можешь считать, что я не Нияз-лозун!

— Не спеши клясться, Нияз, — усмехнулся Давур, хорошо знавший Гани.

— Если господа помогут мне отомстить этому вору, я хоть все имущество готов заложить, — взмолился Хаким.

Услышав клятву Хакима, Ала байтал успокоился. Вынув из кармана маленькую бутылочку, достал из нее крохотный кусочек опиума и положил под язык.

Компания стала обсуждать способы поимки Гани, но ни до чего не договорилась, прежде всего потому, что никто не знал, где находится Гани в данный момент. В горах? В городе? А может, давно перешел через перевал и едет себе спокойно в сторону Аксу или Кашгара? Или того чище — держит путь к советской границе. Почему бы и нет?

Не придя к единому мнению, решили в первую очередь поставить в известность дарина. Пусть его черики изловят вора Гани. Лишь Давур промолчал. У него были свои соображения на этот счет.

* * *

В комнату, примыкающую к большому залу, вошли два человека. Комната была специально отведена для курения опиума. Один из вошедших — маленький, толстенький, с щелками вместо глаз на оплывшем лице — сам правитель Кульджи, шанган^[25], второй, с лицом начисто лишенным бровей и ресниц, лысый, скользкий — его личный секретарь, главный советник во всех делах. Все богатства Кульджи в руках этих двоих. Да не только богатства — судьба уйгуров. От их решений все зависит в этом крае. Они привыкли на все смотреть как на товар, предмет купли-продажи. Точно так же оценивают они участь жителей края. Это их «политическая доктрина» — ведь они и свои должности купили. Впрочем, такой взгляд на вещи давно уже сложился у местных властей.

В эту комнату-опиекурильню не заглядывает солнце, тьму чуть освещает лишь огонек в разожженном кальяне.

Наркоманы по очереди осторожно приложились к трубке. Вдруг раздался негромкий стук в дверь. Такое позволялось слугам лишь в случае крайней необходимости. Шанган, не отрываясь от трубки, повернулся к секретарю. Тот подошел к входу.

— Что случилось? — спросил он тихо.

— Вор Гани!..

— Гани? — Шанган испуганно встрепенулся, и трубка выпала из его рук.

— Да, Гани, — повторил слуга, приоткрыв дверь, — тунчи Давур

прибыл с такими вестями об этом воре, что я осмелился побеспокоить господина.

По пути к своему кабинету шанган собрался с мыслями. От слухов о Гани давно не было покоя. Следовало суровым наказанием этого разбойника устроить остальных чаньту.

Час назад шанган в тяжелейшем похмелье после страшной вчерашней пьянки с трудом добрался до своего кабинета и потребовал крепкого чая, чтобы избавиться от головной боли. Секретарь приказал слуге, и тот внес на большом серебряном подносе два слитка серебра и триста саров монет. Секретарь сообщил, что это подарок от кашкарабагского шаньё Хакима, который пришел с жалобой на разбойника Гани, осмелившегося напасть на него. Шаньё представил также письменное заявление, подписанное им и другими известными почтенными людьми, как-то: Нияз-лозуном, Малозуном, Якуп-лозуном, — в котором говорилось о том, что разбойник Гани постоянно и в сильнейшей степени является общественной опасностью в крае, вследствие чего несомненно заслуживает ареста и самого сурового наказания. Все это шанган узнал в изложении секретаря, так как сам жалобу читать не стал, а занялся чаем. Тем не менее он тут же отдал приказ: Гани изловить во что бы то ни стало...

Шанган прошел в дотан — кабинет, уселся за письменный стол и превратился из страдающего наркомана в сановника, облеченного властью решать людские судьбы. Вокруг него столпились подчиненные. Он приказал ввести Давура.

«Подарки» Хакима и донос на Гани лежали на соседнем столе. Шанган немного пришел в себя и смотрел на серебро не без удовольствия.

Давур вошел с тройным поклоном.

— Говори! — приказал шанган.

— Мы установили место, где прячется Гани...

— Где же он?

— Он сейчас здесь...

— Где?!

— Здесь, господин. В городе...

— В го-ро-де?! — вскочил шанган как ужаленный. — Но тогда почему он до сих пор не арестован?! Немедленно, не-мед-лен-но арестовать!

Поднялся переполох. Давуру тут же выделили группу чериков, и он вышел с ними из дворца. Разбежались по приказам шангана другие подчиненные. В кабинете остались лишь сановник с секретарем. Вспышка государственной деятельности закончилась. Господин и слуга молча переглянулись и, не сказав ни слова, отправились в маленькую

опиекурильню...

Выйдя с десятком чериков из здания, Давур чувствовал себя не в своей тарелке... Ведь они с Гани когда-то клялись в дружбе друг другу. А теперь он предаёт бывшего друга. Но что делать? Если бататура не схватят, то шанган несомненно заподозрит его, Давура. А у этого сумасшедшего от подозрения до кровавой пытки — дорога короткая. Теперь отступить поздно...

За несколько лет до этого дня Давур был другом Гани, очень близким другом, почти братом. Тогда они вместе участвовали в разных лихих переделках, вместе веселились. Тогда они не различали, где «мое», где «твое». Узнав, что Давур собирается стать тунчи — переводчиком при ямуле, Гани всячески отговаривал его от этого, но Давур уперся. «Тунчи — правая рука начальника. Меня все будут уважать и бояться. Хочешь — сделаю тебя яйи?» — смеялся Давур. Тогда-то они и поклялись в вечной дружбе, — этим Давур хотел успокоить товарища. Гани поверил клятве, но близости, конечно, больше не было. Давур с тех пор очень изменился, стал важен, чванлив — не подступись. Ровней себе он теперь считал лишь лозунов и шанъё.

В нынешнем году пьяный Давур как-то издевательски пошутил во время гулянья на берегу Или над одним из бывших общих товарищей. Находившийся рядом Гани ответил за того еще более злой шуткой. Давур кинулся на бататура, но тот, ловко увернувшись, обхватил переводчика сзади вокруг пояса и бросил в реку. Давур не умел плавать. Вытащил его, спасши от верной смерти, сам же Гани, но предварительно дал ему хорошенько нахлебаться воды. Влиятельный тунчи стал посмешищем. Он затаил злобу против Гани, решив отомстить.

Вот случай и пришел. Хромой Хашим отыскал-таки место, где прячется Гани, сообщил переводчику. Теперь Давур вел туда чериков.

Да этого момента совесть несколько не мучила переводчика, но теперь, когда он понял, что Гани будет схвачен, ему стало как-то не по себе.

— Так где же этот ваш разбойник? — спросил командир чериков. — Сдается мне, что мы на одном месте кружим.

Давур почувствовал в его голосе подозрительность и, подавляя испуг, пробормотал:

— Сейчас, сейчас, дойдем...

Глава восьмая

Забрав у Хакима-шаньё бумаги на землю и двух скакунов, Гани направился назад, в сторону Токкузтара, но, проехав километра четыре, свернул с дороги и спешился. Для скакуна, пробежавшего без остановки за один день из Токкузтара до Кульджи, на что обычно уходит полтора дня, обратный путь без предварительного отдыха был бы не под силу. Гани не мог так мучить своего любимца. Он обтер потного коня, потом расседлал его и пересел на черного жеребца, отобранного у Хакима. Он поехал вдоль берега в сторону Кульджи. Подъехав через некоторое время к месту впадения Жиргилана в Или, снова сошел с коня. Эти места знакомы ему как пять пальцев. Он знал, что здесь на реке находится островок, весь покрытый густыми зарослями тальника и джиды. Обычно он бывал безлюден — лишь в лучшую летнюю пору сюда иногда отваживались переправляться самые смелые рыбаки. Гани же не раз вместе со своими товарищами Галданом, Акбаром и Нурахуном пользовался этим островком как надежным укрытием для коней. Гани привязал коня, на котором приехал, к джиде на берегу, а своего гнедого и другого жеребца повел к реке.

— Ну, давай, друг, — он погладил гнедого и подтолкнул его в сторону воды. Хорошо понимавший своего хозяина и не раз бывавший в этом месте гнедой вошел в воду и повел за собой второго коня. Гани дождался, пока кони выбрались на островок и, пофыркивая, прошли в глубь зарослей.

* * *

Рахимджан Сабири только что провел гостя в комнату, чтобы спокойно поговорить с ним, как вбежал, мальчик и доложил, что хозяина спрашивает какой-то незнакомый человек.

— Почему ты не справился, кто он?

— Я спросил, как его зовут, откуда, с чем пришел, но он мне ответил: «Не задавай глупых вопросов, у меня от них икота».

Рахимджан с гостем посмеялись.

— Похоже, что икоту от таких вопросов он получил во время пребывания в не слишком комфортабельных местах, — сказал гость.

— Какой он хоть из себя? — спросил Рахимджан.

— Стал заглядывать ему в лицо, так чуть шапка не упала!..

— Гани! — обрадованно воскликнул Рахимджан. — Веди его сюда!

— Хоп, — мальчик вышел.

— Ты знаешь его? — спросил Рахимджан гостя.

— Нет, не видел, однако слышал достаточно. Мечтал хоть одним глазком посмотреть. Вот какая удача!

— Ну, я сейчас тебя с ним познакомлю. Увидишь!

— Салам! — широко распахнул двери Гани.

— Здравствуй, здравствуй, палван, я рад тебя видеть! — Рахимджан обнял батура и пригласил его сесть.

Усевшись, все трое обменялись приветствиями, расспросами о здоровье, о делах. Вид у Гани был неважный — лицо опухло, он сильно кашлял, слезились глаза.

— Ты, наверно, простудился? — забеспокоился Рахимджан.

— Ничего...

— Э, брат, не говори так, застудишь легкие, и сила твоя богатырская не поможет тебе! Я сейчас дам тебе лекарства.

Рахимджан пошел было к двери, но Гани остановил его:

— Не желаю я никаких твоих лекарств, лучше прикажи подать мне пиалу растопленного масла...

Рахимджан снова оглядел Гани:

— Слушай, не нравишься ты мне, просто на человека не похож.

— Ну и хорошо. Я и так жалею, что порой на человека смахиваю...

Гость засмеялся. Он с удивлением отмечал про себя, что батур и сидя за столом казался огромного роста.

Рахимджан пригласил пройти в гостиную. В центре просторной комнаты разместился стол, заставленный кушаньями. Вскоре вошел слуга, неся на подносе растопленное масло в пиале. Гани взял пиалу и залпом выпил. Отдышавшись, удовлетворенно сказал:

— Ну вот, теперь от простуды и следа не останется!

— Ну что ж, каждый человек лучше знает, что ему полезно.

— Спасибо тебе, Рахимджан, что принял меня так поздно, за это масло спасибо...

— Ну что ты говоришь? Ты же знаешь, двери моего дома для тебя открыты в любой час дня и ночи. Давайте чай пить!

— Да, теперь можно хоть до седьмого пота.

— Я вас не познакомил. Может быть, ты знаешь его, Гани?

— Нет, вижу впервые, но познакомлюсь с удовольствием.

— Заман, — представился гость.

— О, имя у тебя славное! А душа какова?

— Всем он хорош! — улыбнулся Рахимджан.

— Ну что ж, тогда здравствуй, — Гани протянул Заману могучую руку.

— Я очень рад познакомиться с тобой, Гани-ака! Эта встреча навсегда останется у меня в памяти! — Заман крепко пожал руку Гани.

— Ну, у вас будет время наговориться, вся ночь впереди, — сказал хозяин.

Гани покачал головой.

— Нет, я не могу оставаться надолго.

— Ты что? В кои-то веки забрел и не заночуешь? Нет, брат, так не пойдет, что же, мой дом тебе мечеть — зашел и вышел? — обиделся Рахимджан.

— Поверь, очень хотел бы остаться, но не могу, заглянул посмотреть на тебя, узнать кое о чем...

— Есть какое-то дело? — забеспокоился Рахимджан.

— Что ты знаешь о деде Нусрате?

— Знаю, что его упрятали в тюрьму, но вот за что, пока неясно.

— Его ведь не первый раз бросают за решетку, не так ли? — негромко проговорил Заман.

— Теперь у него не то здоровье, что в былые времена. Долго ямула старику не выдержать. Нет ли путей подкупить кого-нибудь из надзирателей? У меня припрятаны для этого дела два отличных скакуна! — сказал Гани.

— Разузнаем, не беспокойся.

Батур рассердился.

— Как не беспокоиться, если нас забирают словно баранов на бойню, а мы спокойны, как эти бараны.

— А что, по-твоему, нужно делать?

— Да лучше умереть в бою, чем жить по-овечьи — всего бояться, от всего прятаться!

— Пойми ты, Гани, — восстание — это не игра подростков. Чтобы его поднять, многое нужно подготовить!

— Всегда одно и то же! Только и знаете, что твердите: «Потерпи! Следует подготовиться». Как-то сказали — вот-вот начнем! А потом опять все заглохло. Новые хозяева пришли, вы говорите: «Теперь все будет по-другому!» А что по-другому? Ну, сменились люди у власти. Только скоро стало видно: новые старых не лучше, мало чем отличаются. А теперь снова начали наших в тюрьмы бросать. В чем же перемены? Как было, так и

есть... — батур махнул рукой.

— Вы очень верно все говорите, Гани-ака, — прервал Заман воцарившееся молчание. — Мы, действительно, слишком долго примериваемся: «Надо бы сделать так, нет, лучше сделать эдак...» Это правда.

— Что же, выходит, мы ничего не сделали? — возмутился Рахимджан.

— Нет, это не так. После апрельского переворота произошли значительные перемены в общественной жизни народа, поднялось его политическое сознание — это последствия Кумульского восстания. Но поскольку власть снова оказалась в руках таких, как Шэн Шицай, местное население не получило желанной свободы, более того, все, что было достигнуто нами, снова отнято у нас. Вновь в пашей стране проводится политика насилия и порабощения, народ бесправен и угнетен!

— Ты, Заман, слишком сгущаешь краски! Не все так уж плохо обстоит, как ты разрисовал. Не так-то просто у нас властям отнять все, что мы с таким трудом завоевали, — обидчиво проговорил Рахимджан.

— Да все, чего мы было добились, у нас давно уже отняли. Мы только боимся посмотреть правде в глаза, скрываем ее от самих же себя! — отрезал Заман, потом задумчиво добавил: — Мне как-то сказал один человек: «Как бы нам не остаться в обнимку с одним дутаром». Боюсь, что так и вышло...

— Заман! Ты сегодня такое говоришь, чего я раньше не слышал и не ожидал услышать, — удивился Рахимджан.

— Это меня Гани-ака так настроил. Видишь — он не читает ни газет, ни книг, не ходит на наши собрания, но он знает жизнь и поэтому лучше нас с тобой разбирается в том, что вокруг происходит, яснее видит, что случилось. Как ты думаешь, Гани-ака?

— Ваши речи сложны для меня... Все же мне сдается, что ты говорил правильно. Только, знаешь, на кого ты был сейчас похож? На игрока, который все в пылу азарта спустил, а теперь задним числом прикидывает — вот так надо было ходить...

Заман и Рахимджан рассмеялись, пораженные меткостью сравнения, хотя веселого в нем было мало.

— Ну что ж, пусть мы проиграли. На ошибках учатся. Если мы не успеем их исправить, исправят другие, те, кто придут за нами. Они добьются того, чего не смогли сделать мы, — сказал Заман и стал рассказывать о том, как отряды Ходжанияза, начав в Кумуле, дошли до Кашгара и Хотана, как был заключен «союз» между Ходжаниязом и Шэн Шицаем, и о том, что большинство повстанцев этот союз не принимает и

считает его большим промахом. Эти вести были не новы для Рахимджана, но для Гани казались откровением. Он задумался, а потом сказал Заману:

— Слушай, ты хоть и молод, однако, верно, много повидал?

— Нужно стараться больше видеть, Гани-ака — как иначе понять, жизнь!

— Это верно, Заман! Я вижу, ты надежный человек, я верю тебе. Так помогите мне вместе с Рахимджаном освободить Нусрата.

— Сделаем, что сможем. Надо подумать. Ты куда, уже уходишь?

— Да. Вот возьми эти бумаги, Рахимджан, отдай их дехканам из Каш-Карабага.

— Зачем тебе эти бумаги? — рассердился Рахимджан.

— Они не мне, а бедным дехканам нужны! — Гани рассказал о том, что произошло накануне.

— Ну о чем ты думаешь! Это же чистейшее баловство! Силы некуда девать!

— А что же, стоять и смотреть, как на твоих глазах творится несправедливость?!

— Да пойми ты! Сегодня ты отнял эти бумаги у Хакима-бая, завтра мы вернем их дехканам, а послезавтра Хаким-бай спокойно их снова возьмет у тех же дехкан! Что за детская игра!..

— Пойми, даже если ты уничтожишь Хакима-шаньё, то завтра его место займет другой, точно такой же жестокий и несправедливый. Таким способом ты народу свободы не принесешь, Гани-ака! — поддержал Рахимджана Заман.

— И ведь сейчас наверняка повсюду разосланы черики, чтобы тебя схватить! Пережди у меня день-другой, у меня не станут искать, — предложил Рахимджан.

— Нет, у меня есть где укрыться. А ты все-таки передай бумаги настоящим хозяевам. Это моя просьба к тебе, — с этими словами Гани вышел из дома.

* * *

Кульджа покрыта ночным мраком. Люди в домах еще не спят, но на улицах уже никого не видно. Лишь редкий прохожий поспешно идет вдоль домов, поминутно озираясь в страхе. Даже Гани было в этот час не по себе! Ему казалось, что тьма невидимыми цепями сковывает ему душу. Никогда не ощущал он себя таким одиноким и беспомощным! «Что делать?» — эта

мысль не покидала его. Встреча и беседа с Рахимджаном не успокоили его. Предостережения друга только раздражали Гани, который каждую минуту готов был вступить в бой с врагом и делал все, что было в его силах, ничего не откладывая на потом. «Что за люди, — сердился Гани, — на словах готовы горы перевернуть: „так сделаем, этак сделаем“. А как доходит до дела — их рядом нет. Лишь языком крепости берут. „Надо готовиться, надо ждать...“ Да сколько можно? Пока мы будем ждать, нас тут всех по одному уничтожат. Нет, пора самому браться за дело. Соберу десяток таких, как сам, и начну!» Оглядываясь на прожитое, Гани жалел, что столько времени истрачено по существу на пустяки. Погрузившись в эти мысли, Гани не заметил, как дошел до Доланских ворот. Они были заперты, в крепость войти невозможно. А что он хотел там сделать? Ах, да, хотел встретиться с Давуром и поговорить с ним насчет возможностей освобождения Нусрата. Вспомнив старика, Гани тут же вспомнил и Чолпан. Что с ней? Где она? А что, если и ее вместе с дедом упрятали в тюрьму? Как ей там невыносимо! Нет, не может быть! Гани зашагал еще быстрее, грозя кому-то в темноте своей мощной рукой.

Около часу Гани бродил, не зная куда деваться, потом его осенило: «Хромой Хашим! Он говорил, что у Нусрата в Кульдже есть родственники. Надо его найти!» Батур повернул в сторону базара.

Постоянным и единственным занятием Хашима всю его жизнь было пьянство и азартная игра. Он возвращался домой очень поздно, порой сытый, порой голодный, но неизменно в стельку пьяный. Его сожительница Шаванихан уже не ожидала его по вечерам. Да и вообще их мало что связывало, кроме общей крыши над головой.

Сегодня Хашим возвратился вне себя от радости. Редко ему так везло: он доложил Давуру, где можно найти Гани. За это тунчи угостил его в харчевне и дал денег. Очень прилично заплатили за этого бродягу-вора. Хашим даже Шаванихан принес гостинцы: отрез на платье, узелок с едой, даже бутылочку прихватил. Хотел посидеть с ней, как с порядочной, но эта шлюха куда-то смылась. Разозленный Хашим выпил всю водку один, а потом, не раздеваясь, не гася огня, свалился на постель и захрапел.

Разбудил его громовой голос:

— Смотри ты, как дрыхнет! Можно подумать, что днем он целое поле вспахал! А ну вставай, трухля!

Еще не проснувшись окончательно, Хашим уже сообразил, чей это голос, и от страха его прошибло холодным липким потом.

— Т-т-ты... как... вошел?

— Как, как! Прыгнул через забор — оказался во дворе, дернул дверь

— в дом вошел.

Хашим с трудом приходил в себя. «О аллах! Почему же этот вор не арестован? Всегда он сухим из воды выходит! Дурак Давур, и я тоже дурак, что ввязался... Знает Гани?..» А батур словно читал его мысли.

— Я все знаю, Хромой! — Гани схватил Хашима за шиворот и сильно встряхнул.

«Все, пропал», — подумал Хашим и бросился батуру в ноги.

— Дорогой, Гани, брат мой, пощади!

— Не воняй! Если на этот раз не сделаешь так, как я велю, не жить тебе больше!

— Все сделаю! Все, Гани!

— Где сейчас Нусрат-халпат, знаешь?!

— Знаю, знаю! — тотчас ответил Хашим, обрадованный таким поворотом дела. Встряхни Гани его еще раз, он бы подробно рассказал о своем доносе, и Гани узнал бы, что по его следу идут черики с Давуром. Но теперь Хашим догадался, что батуру об этом ничего не известно.

— За что его посадили?

— Вот этого я не знаю, Гани.

— Врешь, Хромой! Все ты знаешь! Говори!

— Нусрат боролся с правительством...

— Что ты врешь? Где у восьмидесятилетнего старика силы бороться с целым правительством? — закричал Гани возмущенным голосом, про себя же подумал: «Неужели Нусрат действительно замешан в каких-то действиях против властей? Почему же он мне ничего не говорил об этом? Нет, тут что-то не так...»

— А дочь, нет, внучка его, сейчас...

— Чолпан? Где она? — прервал его Гани.

— Она сейчас в городе...

— У кого? Да развязывай ты язык, говори!

— У родственников Нусрата. Черт куда-то мою бабу унес, она точно знает у кого...

— И ты знаешь. Говори! А то!.. — Гани поднял кулак.

— Подожди, подожди, Гани, дай вспомнить... А, вспомнил, у этого, у Якупа.

— Ясно. Веди меня к нему.

— Хоп, хоп, слушаюсь, Гани. — Хашим встал, к чему-то беспокойно прислушиваясь. — Тебе нужно только, чтобы я показал дом Якупа? И все?

— Нет, до утра ты будешь выполнять мои приказания. А завтра делай что хочешь...

Едва они вышли на улицу, послышался топот. Гани быстро толкнул Хашима за дерево и сам прижался к стволу, ожидая, когда проедет всадник. Но тот остановился прямо у дома и, оглянувшись, стал слезать с седла. Тут Гани радостно окликнул его:

— Махаматджан!

Батур выскочил из-за дерева, конь испуганно прынул в сторону и всадник чуть не упал на землю.

— Ты словно с неба свалился, друг, — схватил коня под уздцы Гани, — как ты мне нужен!

— Ждал тебя вчера весь вечер, ты не приехал, вот я и решил разузнать, что с тобой. — Махаматджан похлопал коня по шее, успокаивая его. — Вот он, мой умница, домчал меня к тебе. — Потом повернулся к другу. — И где ты только бродишь, везде я тебя искал, никто не знает.

— Да, я, Махаматджан, набегался...

— Наконец решил: если и хромой Хашим не знает, то уж и сам черт не ведает, где ты.

— Вот это ты правильно решил, я, видишь, тоже надумал нашего друга Хашима побеспокоить.

Приятели рассмеялись. Хашим молчал, проклиная обоих в душе на чем свет стоит.

— Ты что, Хашим, в дом не приглашаешь, я устал, чаю хочу...

— Потерпи, друг, есть срочное дело, — сказал Гани, а потом обернулся к Хашиму. — Ну, ты веди!

* * *

Совсем молодой и неопытной, еще только открывавшей глаза на жизнь Чолпан выпало на долю тяжелое испытание. Дед Нусрат был для нее единственной опорой, он давно заменил ей родителей. На первых порах после его ареста девушка совсем потеряла голову, испытывая ужас беспомощности. Однако дед всегда учил ее быть готовой к любой напасти, стойко выносить все беды. И Чолпан все же сумела взять себя в руки.

Когда черики, заковав в кандалы Нусрата, повели его со двора, девушка кинулась ему на шею с громким криком: «Не отдам дедушку, не отдам!»

Дед сказал ей тогда: «Не плачь, дочка, не показывай своих слез врагу». И у нее нашлись силы не выдать своего отчаяния. Но оно было беспредельным. Чем она могла помочь деду, слабая и беспомощная?

С тех пор Чолпан не знала спокойного сна. И сегодняшней ночью она не ложилась — сидела, думала о деде, вспоминала их тихую жизнь на бахче. И вдруг ей припомнился день, когда у них на бахче появился тот могучий джигит. «О, если бы Гани-ака был рядом со мной!» — прошептала она и испугалась, будто ее кто-нибудь мог подслушать. И тут раздался стук в калитку.

— Дочка, это, наверно, дядя пришел, иди открой...

Девушка побежала к воротам:

— Кто там?

— Я!

Когда девушка услышала этот голос, ей показалось, что у нее на мгновение остановилось сердце. Словно пораженная громом, она отступила на несколько шагов назад. «Это он, он...»

Гани тоже узнал ее голос. И понял, как она напугана. Батур ругал себя за то, что пришел в такой поздний час, но что теперь можно было исправить.

— Чолпан, почему не открываешь? — снова раздался голос из дома.

Девушка неловко оттянула засов, приоткрыла калитку и метнулась в дом.

— Что случилось, дочка, ты чем-то напугана? — спросила тетя.

— К нам гости... гости пришли, — только к смогла выговорить девушка.

— Гости? Какие еще гости среди ночи, — недовольно проворчала пожилая женщина и пошла во двор, но, увидев там здорового мужчину, закричала и отступила назад.

«Не бойся, тетя, это Гани-ака», — хотелось сказать Чолпан, но она не осмелилась.

— Не тревожьтесь, тетушка, я свой. Мне нужно поговорить с дядей Якупом.

— Его нет дома, приходите завтра утром, — сказала женщина.

— До утра я не могу в городе задерживаться.

— Почему? — Чолпан сама не заметила, как у нее вырвался этот вопрос. Ей было необходимо поговорить с джигитом, пожаловаться ему, найти у него поддержку. Неужели он уйдет, не встретившись с ней, не узнав, как ее дела?

— Я хотел узнать, что с Нусрат-халпатом и помочь ему, если это окажется в моих силах, — сказал Гани. Он понимал, что его слушает и Чолпан.

Услышав его, девушка пришла в себя и негромко сказала тете: «Надо

бы в дом пригласить, неудобно». Тетя так и сделала, впрочем, не очень довольным тоном — этот ночной приход ее встревожил.

Гани вошел в комнату и краешком глаза посмотрел на девушку. Сердце у него облилось кровью — такой измученный вид был у Чолпан. От горя и невзгод, выпавших на ее долю, девушка, казалось, потускнела и выцвела.

— Чолпан, гость, наверно, устал с дороги, приготовь чаю.

— Нет, спасибо, не надо беспокоиться, — торопливо ответил Гани.

— Муж ушел к Давуру-тунчи, посоветоваться с ним...

— К Давуру-тунчи? — переспросил Гани.

— Да, думает написать начальству письмо по-китайски, может, это облегчит участь Нусрата, уменьшит его вину.

— Вину? Какая может быть вина у такого человека, как Нусрат-халпат? Его же посадили ни за что!

В комнате установилась тяжелая тишина. Пришедший выразить сочувствие девушке джигит сидел, не находя слов, и от этого страшно мучился. Что за странности? Гани никогда не лез в карман за словом, но при виде Чолпан он делался сам не свой, язык отказывался ему подчиняться. Да и что было говорить? Нет у него сейчас возможности освободить Нусрата, который упрятан в тюрьме за семью запорами. Ведь и сам Гани может попасть в руки врагов, если не укроется понадежнее...

А Чолпан верила в то, что Гани защитит ее деда и ее саму, она верила в него как в непобедимого героя из сказки. И подавленное молчание его вызвало у девушки разочарование и боль. Гани почувствовал это и произнес:

— Мы сделаем все, чтобы вызволить Нусрат-халпата из тюрьмы!

— Да поможет вам аллах, сынок.

— Я буду вас проведывать, сестричка, — впервые обратился прямо к Чолпан Гани. Он много хотел сказать ей, но не смел...

Женским сердцем понявшая все невысказанное, Чолпан тепло поблагодарила батуту, давая понять, что ей все стало ясно:

— Спасибо, Гани-ака, за все спасибо!..

Потом Гани обратился к хозяйке:

— Я как-то брал займы у Якупа-ака деньги — нужно было мне купить сапоги да что-то еще, и все не мог собраться вернуть. Вот возьмите, пожалуйста, — Гани обрадовался, что нашел способ помочь девушке, не задев ее самолюбия.

— Спасибо, сынок, — ответила хозяйка, пряча деньги под одеяло. Гани показалось — она догадывается, что этот долг он выдумал.

— Я пойду, а на днях еще загляну, — сказал он, вставая. Девушке очень хотелось, чтобы джигит побыл еще хоть немного, но она, конечно, не решилась показать это. А Гани с большим трудом заставил себя подняться.

— Если что-нибудь спешно понадобится, а меня близко не будет, найдите Рахимджана Сабири, — сказал Гани девушке, когда она вышла проводить его до ворот. — Якуп-ака должен знать его. Он поможет во всем. Прощайте...

Девушка осталась стоять у калитки и слушала, пока не стихли шаги джигита, а потом заплакала.

С нетерпением ожидавший возвращения друга Махаматджан выскочил ему навстречу, лишь только показалась его тень на дороге, и крикнул:

— Что ты семенишь, как китаец-разносчик! Шире шаг! Уже светает.

— Случайно Хромого не упустил?

— Вон он, за деревом, дрожит, как паршивый кот.

— Замерз, однако. Да чего же тощ этот подонок!; Хоть всю Кульджу сожрет, все равно в весе не прибавит. Это его мерзость его самого изнутри жрет.

— Чего вы на меня накинулись? Вам добро делаешь, а вы вместо благодарности... — захныкал Хашим.

— На, держи, можешь хоть сейчас пропить, — Гани бросил ему деньги. Тот, подхватив их на лету, быстро побежал от друзей, нелепо вздергивая на ходу хромую ногу.

— Ты, я вижу, веселый, — сказал Махаматджан, присматриваясь к Гани. — Неужели с Чолпан повидался?

— Виделся. Но только мало от свидания радости было... Сделаем так: ты сейчас поезжай в лощину Жиргилан и жди меня там, а я возьму коня у Абдуллы и тоже туда приеду.

— Может, вместе к Абдулле-ака сходим?

— Нет, не надо. Вот эти деньги отдай Омару, пусть он передаст моим... Ну, будь здоров. — Гани пошел в сторону квартала кузнецов.

Пройдя переулками, он быстро добрался до дома Абдуллы. Года три назад он не раз бывал здесь вместе с Давуром. Он не подозревал об измене своего бывшего товарища и потому шел спокойно. А Давур уже сидел в засаде вместе с китайскими чериками.

По своему обыкновению, не желая беспокоить хозяина дома в столь поздний час, Гани, не стучась в калитку, перемахнул через высокую стену и двинулся к конюшне, чтобы взять коня.

— Стой! — два черика словно из-под земли выросли перед ним, одновременно щелкнув затворами. Гани стремительно повернулся, но там уже трое наставили на него винтовки.

— Черт! — застонал Гани, поняв, что попался в ловушку. — Как глупо! Если бы конь...

— Теперь ты долго на коня не сядешь, Гани, — услышал он вдруг до боли знакомый голос и злорадный смех.

— Так это ты?! И я считал тебя своим другом? Ну что ж, поделом мне, дураку...

— Правильно, себя вини, — сказал Давур.

— Предатель, собака!..

Скрутив батуру руки, черики повели его со двора.

Глава девятая

Каждое утро Гани просыпался с рассветом, осторожно, на цыпочках, подходил к зарешеченному окну и подолгу смотрел на небо. Окошко было маленьким, сквозь толстую решетку виднелся лишь маленький кусочек неба. Но и он отзывался в сердце узника радостью, вселяя в него надежду и новые силы. Для Гани с его душою, похожей на могучую и беспокойную реку, с его постоянной потребностью степей, высоких гор и свежего, вольного ветра, заключение было особенно тяжело.

Он неотрывно смотрел на этот клочок неба, и особенно сильно билось его сердце, когда там, в вышине, проплывали птицы, его небесные сестры.

Как-то раз, увидев сквозь решетку быстрых голубей, острой болью напомнивших ему его детство, он кинулся к окну, подтянулся сильными руками на прутьях решетки, но гром кандалов на ногах разбудил его товарищей по камере. Однако птицы показывались редко — лишь мелькнет когда вдали быстрая ласточка и тут же исчезнет...

Рассвело. Караульные криками будили заключенных, те просыпались с кашлем и стонами, с грохотом отпирались двери камер. Но Гани не отрывался от окошка, как будто не мог насытиться видом неба. Сейчас он не обращал внимания на кандалы — а они весили немало — около пятнадцати жинов^[26].

— Беркут! — вдруг вскрикнул он и приник к окошку, весь устремившись в небо, туда, где медленно плыл его крылатый брат. Разбуженные его криком узники зашевелились, один из них приподнял голову:

— Эй, батур! Уйди ты от окна, если увидят черики, худо будет.

— Я говорю вам — беркут! Беркут! Вот он парит в небе, — повторял Гани. Но один из узников, казах Кусен, оттянул его от окна — кто-нибудь из чериков мог и выстрелить...

Каждое утро, кое-как умывшись, арестанты начинали рассказывать друг другу свои сны, стараясь истолковать их значение. Самые религиозные сразу приступали к молитвам. После так называемого «завтрака» каждый занимался своим делом — кто чинил свою ветхую одежонку, кто выискивал вшей, кто убивал время за разговором. Шестеро узников сразу же душой потянулись к батуре — он много повидал и умел рассказывать об увиденном захватывающе. Обычно он бывал весел, его шутки и смех развеивали печаль арестантов, после его забавных рассказов

их положение начинало казаться им не таким уж безвыходным.

Но последние три дня Гани не отходил от окна, был хмур, задумчив и молчалив. И все обитатели камеры вслед за ним помрачнели и стали неразговорчивы. Вот и сейчас, не выпив чаю, Гани снова подошел к окну и уставился в него.

Соседи по камере уважали и любили батура, поэтому не стали ему больше мешать и молча занялись своими однообразными делами.

«Эх, увидеть бы хоть еще разок этого беркута. Что за счастливая птица! Мне бы его волю хоть на один день! Первым делом я отомстил бы предателю, а потом...» Гнев охватил Гани, и он в бессильной тоске бросился на нары, тщетно пытаясь разорвать оковы.

— Гани, успокойся, — тихо сказал ему Кусен.

Гани посмотрел на Кусена невидящими глазами и ничего не ответил.

— Эх, дурак я, дурак, — тихо говорил он самому себе, — силу свою, молодость потратил на глупости... Самое дорогое, самое ценное на свете — это воля! Эх, мне бы быть таким свободным и вольным, как этот беркут!.. Ведь я же — человек, так неужели мне — человеку — не дано даже такой свободы, какая есть у птицы. Нет! Мы все должны быть свободными, должны быть!..

Он оставил попытки разорвать кандалы, затих. Свобода казалась ему отблеском солнца, отблеском, который унес на крыльях в поднебесье тот беркут... «Почему я раньше не понимал всего значения этого слова — свобода? Только теперь я по-настоящему осознал, что это такое. И мне открыли глаза они, мои тюремщики, мои палачи. Здесь я пробудился от сна. Выходит, нет худа без добра». И Гани показалось, что его руки вновь обретают былую силу, а сердце наполняется спокойствием и хладнокровием.

— Чай твой давно остыл, попей хоть немного, Гани, — тихо сказал Кусен. Этот казахский парень за дни заключения стал для батура братом.

— Что же, мне за тебя пить этот чай? — Голос Кусена дрогнул, и Гани мысленно выругал себя за то, что заставляет мучиться друга. Он подошел к Кусену, сел рядом и сказал, ласково погладив товарища по плечу:

— Да что торопиться, никуда этот чай не денется и хуже не станет, остыв, — хуже некуда. Такой чай и собака пить бы не стала, — он взял в руки чашку с бурого цвета жидкостью, от одного запаха которой тошнило. Но что делать? Желудок надо было чем-то наполнять — вот и приходилось глотать этот «чай». Лишь для того, чтобы успокоить друга, Гани сделал несколько глотков, а потом молча прошел на свои нары и лег.

То, что творилось с батуром, не могло не беспокоить Кусена. В

последние дни Гани утратил свою природную веселость, на лицо его легли тени, его перестала освещать прежняя яркая улыбка. Он даже вроде стал меньше ростом — наверно, это казалось потому, что джигит сильно похудел. Кусен подошел к Гани, неподвижно глядевшему в потолок, прилег рядом и спросил тихо, чтобы другие не слышали:

— Что с тобой, Гани? — голос его был полон тревоги и озабоченности.

— Чеснок у тебя остался? — вдруг спросил Гани. Этот неожиданный вопрос еще больше смутил Кусена. Не отвечая, он уставился на друга.

— Каждую ночь натирай чесноком места, где кандалы скованы, — тихо проговорил Гани и тут же громко захрапел, притворяясь спящим.

Обрадованный Кусен понял товарища. Значит, все эти дни Гани упорно обдумывал план побега. Казахский парень разгадал характер уйгурского джигита: если тот что-то задумает, то уж ни за что не отступит, пока не выполнит. Ему можно было верить. В его словах не было ничего нелепого: чеснок способен разъесть железо. «Ну и молодец», — думал Кусен. Он тихонько пожал руку Гани, давая понять, что оценил его замысел.

Тюрьма, в которую упрятали Гани, была четвертой по «рангу» из восьми тюрем Урумчи. Прежде здесь был главный китайский храм. Но арестовывалось столько людей, что старых темниц уже не хватало, и власти, не слишком мучаясь религиозными вопросами, переделали его в узилище. Высокие стены острожного двора были сверху убиты толстыми рядами колючей проволоки, на башнях день и ночь дежурили часовые. Казалось, что из этой тюрьмы и мышь не ускользнет незамеченной, не то что человек, но Гани все же на что-то надеялся...

Во время каждой прогулки во дворе Гани внимательно приглядывался ко всем мелочам, стараясь найти хоть какую-нибудь зацепку для осуществления своего плана. Его терзало то, что на этот раз он так долго сидит в тюрьме. Ночами он обследовал кирпичные стены камеры, и ему казалось — в некоторых местах кладка ослабла и расшаталась. Сегодня он хотел снова проверить их и дожидался, пока товарищи уснут. Но едва тех сморил сон, дверь камеры с шумом отворилась, вошли караульные. Один из них, подойдя к Гани, пнул его ногой:

— Вставай, вор!

— Чего еще вам надо, — не поднимаясь, сказал Гани.

Не понявший, что говорит заключенный, охранник наклонился к нему, осветил ему лицо и снова сказал по-китайски:

— Зо! Иди!

— Ну зо, так зо. — Гани поднялся, гремя кандалами. — Соскучились, должно быть, по этой музыке.

Проснувшиеся заключенные невесело рассмеялись его шутке. Конвойные провели джигита по коридору во двор, где его поджидали два черика. Один из них жестом приказал Гани протянуть руки и защелкнул на них наручники. Батур, сказал черикам:

— Мало вам кандалов! Трусы!

Один из солдат достал мешок и попытался надеть его Гани на голову, но тот помотал головой:

— Я вам что, баба, чтобы в парандже ходить!

— Да зиваза! Разбойник! — прикрикнул на него черик и, выхватив маузер, ткнул батура стволом в грудь.

— Мало того, что в кандалы меня заковали и наручники нацепили, так вы меня маузером еще тыкать будете? — возмутился Гани и снова, мотая головой, не дал надеть на себя мешок. Видя, что с ним так просто не справишься, другой черик примирительно сказал:

— Ну что упрямишься? Порядок такой, на допрос тебя ведут.

— Ладно уж, надевайте, — согласился Гани, понимая, что все равно силой натянут. Мешок надели и повели батура, поддерживая под руки. «Зачем они это делают? — думал Гани. — Ну хорошо, днем понятно — чтобы никто из встречных узнать не мог, а теперь, ночью, кто увидит? — внезапно острая мысль болью пронзила его. — А может, они на казнь меня ведут?» Он мгновенно весь покрылся холодным потом. «Зачем я так легко согласился на все это: и руки протянул, и голову сам подсунул. Ведь я же мог двоих, а то и троих на тот свет отправить, прежде чем самого бы прикончили. А меня повели покорного, словно жертвенного быка! И вот я боязливо иду навстречу своей смерти! Ну нет, такому не бывать! Я не согласен отдать свою жизнь легко и безропотно!»

Гани рванул руками назад, и черики, державшие его за локти, никак не ожидавшие этого жеста, мешками свалились по обе стороны батура. Вторым рывком Гани разорвал цепочку наручников и, сорвав с головы мешок, крикнул:

— Ну, теперь я вас вижу! Стреляйте, гады!

Черики, которым и во сне подобное не могло присниться, в ужасе попятились, не решаясь поднять оружие, а тем более подойти к силачу. Гани огляделся. Они были на улице. Неподалеку стоял фаэтон, из которого со страхом взирал на происходящее жирный, как боров, человек с круглым лицом. Он все же нашелся и с деланным смехом спросил:

— Ну что ты, батур, так разошелся, не узнаешь старых знакомых?

Гани пригляделся.

— Узнаю, как же, ты сын повара из Кульджи Мухаммар. Смотри-ка, как ты здесь, в Урумчи, разъелся, гладкий стал, как свинья. И пост, я слышал, занимаешь важный, при самом губернаторе.

— Хватит! — разозлился Мухаммар. — Я наглости не потерплю — прикажу пристрелить на месте. Или брошу в подземелье — заживо сгниешь!

— О аллах! В подземелье! А сейчас я, по-твоему, в небесах, что ли?

— Шутник, — криво усмехнулся Мухаммар, — и на пороге смерти своих шуточек не можешь оставить. Ладно, хватит на сегодня! Тебя хочет допросить сам Шэн Шицай!..

— Ну, к такому великому человеку могли бы вести меня и поспокойнее, хватило бы и кандалов, зачем еще и наручники?

— Ты только смотри там — не очень-то распускай свой длинный язык. А то запросто с жизнью распростишься, камере своей привет передать не успеешь.

— Что я, дурак — себя под пули подставляю?

— Да ты, говорят, умником стал — такие политические речи грохаешь, — снова ухмыльнулся Мухаммар.

— Мне твоя политика-молитика ни к чему, я человек правды и служу только ей!

— Правды? — переспросил Мухаммар с холодной усмешкой и сделал знак черикам. Те с трудом впихнули крупного Гани внутрь фаэтона и пристроились вокруг него с двух сторон, держа наготове маузеры. Мухаммар с помощью черика, пыхтя и вздыхая, пересел на переднее сиденье.

— Ну какого черта вы вместо того, чтобы спокойно спать — тащите меня куда-то посреди ночи? Больше времени нет? Сами не спите и другим не даете.

— Ладно, не трепись! Если бы ты признался во всем, то и тебе и нам не было бы лишних хлопот...

— Во всем?! — повторил Гани и, не желая больше разговаривать, поднял глаза к беззвездному небу, думая про себя: «Мягко стелешь, подлец! Думаешь, я не понимаю, что в каждом слове твоём гнусное коварство, ложь и ловушка?»

Стоял март. Все вокруг набухло влагой, за день она испарялась, поднималась в небо и скапливалась там серыми облаками, совершенно закрывавшими звезды. Лишь изредка в просветах туч появлялась луна. Глядя на нее, Гани вспомнил, как он когда-то любовался звездным небом

на озере Сайрам. «Эх, где теперь эти вольные дни и ночи?..»

— Ты что на луну уставился — бежать на нее собрался? — глумливо спросил Мухаммар.

— До луны мне с этими украшениями не добраться, — тряхнул Гани кандалами. — Похоже, вы мне одну дорогу оставили — на тот свет...

— Хватит! — рявкнул Мухаммар. И добавил ворчливо: — Слишком много болтаешь, пользуешься, что я тебя как земляка поддерживаю.

— От такой поддержки не протянуть бы ноги раньше срока.

— Еще раз напоминаю тебе: будешь болтать при Шэн Шицае — сам себе приговор подпишешь!

— А по мне все, кроме аллаха, одинаковы! — ответил спокойно Гани.

— Ну и дурак! — рассердился Мухаммар. — Потом пожалеешь, да поздно будет. На что ты надеешься? На силу свою?

— А что у нас есть кроме силы? Были бы еще ум да знания, таким, как ты, давно бы уже крышка была!

— Ишь ты, какими мыслями обзавелся! — Мухаммар не без удивления посмотрел на Гани. «Вот дьявол, — подумал он, — посадим в тюрьму бунтовщика, а выходит оттуда революционер!»

Здание дубань гуншу — главного управления — было огромным. От улицы его отделял высокий забор, похожий, на крепостную стену. Это здание, построенное в современном стиле в самом центре Урумчи, являлось резиденцией верховного правителя Синьцзяна Шэн Шицай. Этот правитель, разоривший Восточный Туркестан, хорошо знал, как к нему относится население края, и очень опасался внезапной гибели. Поэтому он почти никогда не вылезал из своей «крепости» — дубань гуншу. Если ему все же приходилось куда-нибудь выезжать, то соблюдалась масса предосторожностей, принимались тысячи мер для предотвращения опасности. Задолго до его выезда сотни чериков выходили в город и прогоняли жителей с улиц, по которым должен был проехать генерал-губернатор. А конвой его составлял не меньше пятидесяти-шестидесяти вооруженных до зубов головорезов.

Гани как-то увидел Шэн Шицай, сидевшего в коляске во время одного из таких выездов. Батур сказал друзьям, сопровождавшим его: «Посмотрите на этого будду! Ему кланяются, как богу».

В ту пору Шэн Шицай действительно был в Синьцзяне чуть не обожествлен. «Вольно» о нем не осмеливались не то что говорить, но и думать. И вот сейчас Гани должен будет встретиться с этим «живым буддой». «Неужели меня и вправду приведут к нему самому? Чем это я мог его заинтересовать? Что он у меня станет спрашивать?»

Фэтон остановился перед домом, где размещался так называемый отдел связи. Мухаммар не без труда спустился на землю, что-то приказал черикам, а сам куда-то исчез. Черики высадили Гани из коляски и, крепко взяв за руки, ввели в приемную отдела. Здесь его освободили от кандалов и провели в комнату, где стоял стол с едой.

— Шэн-дубань лично приказал накормить вас, — сказал ему высокий худой офицер, — так что кушайте без стеснения.

— Ну что ж, раз сам его превосходительство так обо мне позаботился, я не откажусь. — Гани смело сел за стол и стал есть, а в голове пронеслось: «Нет, неспроста это все затеяно. Хотят усыпить бдительность, что ли, чтоб я легче попался в силки? Ну что ж, посмотрим...»

— Хотите водки?

— Нет! — ответил Гани и налег на еду. Он макал мясо в острый соус, уплетал маринованные овощи, затем выпил одну за другой две пиалы горячей сорпы и, вытерев пот со лба, налег на крепкий чай. Офицер и четверо чериков многозначительно переглядывались, удивляясь аппетиту узника.

В это время вошел запыхавшийся Мухаммар.

— Ну что, налопался? — спросил он у Гани.

— Да так, червячка заморил, — ответил Гани.

— Таким обжорам, как ты, всегда мало! — чертыхнулся тот, взглянув на пустые тарелки.

— Давненько я мяса не видел, вот и разгорелся, — ответил Гани.

— Если мы с тобой договоримся, сможешь хоть быка на вертеле каждый день съедать.

— Быка? — переспросил Гани. — Да где их после вас найдешь! И мышшь-то с трудом отыщется, я думаю...

— Ладно, хватит болтать, пошли! — Мухаммар повел Гани по коридору. По его обеим сторонам через каждые пять-шесть метров стояли вооруженные черики. И так до самых дверей кабинета властелина. «Неужели это они специально для меня приготовили? — подумал Гани. — Интересно, чего же все-таки им от меня надо?»

Они прошли в огромную комнату. Сюда раз в неделю, каждый вторник, приходил Шэн Шицай и одним росчерком пера решал судьбы сотен тысяч людей. Документы, подготовленные начальником службы безопасности Ли Йинчи или верховным военным судьей Ли Фулином, именно здесь подписывались правителем.

В Восточном Туркестане, превратившемся сейчас в одну большую тюрьму, в темницах томилось более ста тысяч заключенных. И участь их

определялась в этом кабинете. Обычно это происходило быстро и просто: краешком глаза просмотрев список, Шэн Шицай тут же накладывал свою резолюцию. Как правило, он чертил на полях крест. Это означало, что всех, попавших в список, ожидает скорая смертная казнь.

В особо важных случаях в этом же кабинете производился допрос наиболее опасных «преступников». Сам верховный правитель при этом находился в соседней маленькой комнатке, отделенной от кабинета не дверью, а занавеской. Шэн Шицай стоял или сидел за ней и наблюдал за допросом. Их проводили самые доверенные люди властелина: Ли Йинчи, Ли Фулин, а также его личный переводчик Мухаммар, носивший у китайцев кличку Любинди.

Хотя Гани и не был отнесен к разряду «политических преступников», но его действия признавались особо опасными, и его включили в очередной «черный список». Но Гани оказался в этом кабинете по другой причине. Шэн Шицай, немало слышавший о богатыре, питал надежды приручить его и завербовать к себе на службу.

Введя Гани в кабинет, Любинди подошел к человеку, сидевшему за огромным столом и читавшему какие-то бумаги. Тот даже не поднял головы.

— Ну что, начнем? — спросил Любинди.

— Сейчас, — отозвался Ли Йинчи, так и не подняв глаз.

— Садись! — показал Любинди на стул, стоявший в углу. Но Гани, не отрываясь, смотрел на сидевшего за столом: он думал, что это Шэн Шицай.

— Тебе говорят, садись! — повторил Любинди.

Гани уселся на стул, и тот жалобно заскрипел под его мощным телом. И тогда, вздрогнув, поднял голову человек за столом. Гани понял, что это не генерал-губернатор, хотя в лице этого китайца было что-то общее с Шэн Шицаем.

— Ты знаешь, для чего тебя привели сюда? — спросил Ли Йинчи.

Любинди перевел Гани этот вопрос.

— Догадываюсь, — коротко ответил Гани. Он старался держать себя в руках, но волнение все сильнее и сильнее охватывало его. И казалось ему, что вот сейчас в кабинет ворвутся черики с топорами в руках и обрушат их на него... «Что это со мной? — спросил себя батыр. — Чего это я так вдруг перетрусил? Ну нет, меня не запугаете!»

— Признаешься ли ты в своем преступлении? — продолжал Ли. Он строго посмотрел на Гани. — Почему молчишь? Почему не отвечаешь?

— Мне кажется, если бы меня допрашивал его превосходительство Шэн Шицай, он задавал бы мне другие вопросы, — внезапно ответил Гани,

смутив неожиданным поворотом разговора Ли Йинчи. Любинди чуть не кинулся на Гани, но, поглядев на свое начальство, не решился сделать это. А на лице Шэн Шицая, стоявшего за занавеской, появилось выражение интереса.

— Что побудило тебя встать на твой путь? — собравшись с мыслями, спросил Ли.

— Какой такой мой путь? Странные вопросы вы мне задаете. И вы, и те, кто меня раньше допрашивал...

— Зиваза! Вор! — выкрикнул Ли, но Гани, давно привыкший к подобным окрикам, даже ухом не повел.

— Мы требуем от тебя, чтобы ты рассказал нам все о деятельности вашей подпольной организации, ты понял меня?! — сказал Ли и устремил на Гани неподвижный взор. Его очень интересовало, какое впечатление произвел этот вопрос на Гани. Но тот внешне никак не среагировал на него. Про себя же подумал: «Хоть наизнанку меня выверните, но того, чего не было, я на себя не возьму!»

— Не захочешь отвечать по-доброму, у нас есть способы заставить тебя. Будешь стрекотать словно птичка! — стал запугивать Ли Йинчи.

— Делайте со мной что хотите, но оговаривать кого-нибудь и себя вдобавок я не стану! — отрезал Гани.

— Ах ты, мерзавец! — Ли вскочил и, подбежав к Гани, занес было руку, чтобы нанести удар, но потом передумал: такого, как Гани, не напугаешь, это ясно. Тогда он решил попробовать взять батура хитростью:

— На что ты надеешься?

— На одного только аллаха и осталось мне надеяться...

— То есть ты хочешь, чтобы все мусульмане объединились в борьбе против нас, так, что ли?

— Ну, — засмеялся Гани, — тут и уйгуры никак объединиться не могут, так и готовы друг другу глотки перегрызть, а вы говорите — все мусульмане...

Ли Йинчи и Любинди переглянулись, не зная, как продолжать допрос. Шэн Шицай, выжидавший подобно кошке у мышиной норы, когда же собьется этот «вор», задумался: «Это не простой разбойник... Из-за таких, как он, и создается опасность». Он хотел выйти и лично продолжить допрос, но потом передумал и снова уселся на стул.

— Ты, — ткнул пальцем в сторону Гани Ли Йинчи, — ходишь среди народа и везде твердишь: я подниму восстание, я подниму людей на газават. Это нам доподлинно известно...

— Это старые песни — о газавате, — сразу же ответил Гани,

усмехнувшись. — Видал я у нас таких «правоверных», что после первых же ударов в штаны от страха наделали...

— Так, интересно, кто же это такие?

— Ну хотя бы этот Сабит-дамолла и подобные ему...

— Откуда ты их знаешь? Как ты с ними связан? Отвечай! — один за другим бросал вопросы Ли Йинчи.

Понимая, что настал самый трудный момент допроса и что теперь враги схватятся за каждую неосторожную фразу, Гани внутренне собрался:

— В тюрьме слышал о них...

— Врешь! — размахивая короткими руками, стал кричать Ли. — Ты их всех лично знаешь! И если сейчас не расскажешь, как ты был связан с Сабитом, а также о том, кто еще состоит в вашей подпольной организации, я вырву твой язык! Вырву! Запомни! Вор и разбойник!

Гани молчал и даже вроде бы сжался на своем стуле. Но он не был запуган. Ли Йинчи, поняв его состояние, готовился применить допрос третьей степени, но решил несколько повременить и переменил тему.

— Ладно, об этом поговорим чуть позже. А теперь расскажи, какие у тебя связи с пантюристами.

— Это еще что такое? — удивленно спросил Гани. Он и вправду впервые слышал это слово.

— Ты — настоящий пантюрист! — резко сказал Ли, ткнув пальцем в лоб Гани, будто на лбу было написано, что допрашиваемый пантюрист.

— Я и не знаю, с чем его едят, этого пантюриста...

Ли Йинчи скрежетал зубами.

— Брось паясничать, Гани, — вмешался Любинди, — ты, кажется, забыл, где находишься. В тюрьме ты, похоже, к своему ремеслу вора прибавил еще и профессию шута?

— Все мы чему-нибудь да учимся. Ты вон в Кульдже только и умел манты на базаре продавать, а тут вон каким ремеслом овладел.

— Трепло! — только и смог сказать в ответ Любинди. Его многослойный подбородок от гнева затрясся, как у индюка. Ему хотелось броситься на Гани с кулаками или приказать черикам избить его, но пока молчал Ли и из-за занавески не было никакого сигнала, переводчик не мог на это осмелиться.

Поняв, что угрозами от Гани ничего не добьешься. Ли перешел к другому методу:

— Ты должен понимать, что мы, зная тебя, как человека уважаемого в народе, очень мягко отнеслись к тебе, несмотря на все твои преступления, не стали применять к тебе силу и устрашение...

— Ну, конечно, если неизвестно за что арестовали и держите в кандалах, то это, понятно, вовсе не устрашение...

— Так ведь ты убежишь, если тебя без кандалов держать, ты уже четыре раза из тюрьмы бегал, — объяснил Ли кротким тоном, а потом приблизился к Гани вплотную: — Ладно, давай лучше забудем о прошлом. Есть у меня к тебе одно предложение...

— Что? — удивился Гани. Этого он не ждал.

— Если мы освободим тебя из тюрьмы, станешь нам служить?

От этого вопроса у Гани сердце перевернулось. «Да за кого они меня принимают? Сволочи! Размозжить бы сейчас ему голову, чтобы знали, с кем связались...»

— Так... значит, не хочешь по-хорошему, — понял его мысли Ли Йинчи.

— Да разве от вас можно чего-нибудь хорошего ожидать?

— Тупица! Бандит! — потерял самообладание Ли Йинчи. Но Гани был непоколебим:

— Не на того напали, я не трус и не предатель! Вы от меня не дождетесь этого никогда! Не боюсь я вас!

Вдруг занавеска раздвинулась и из соседней комнаты вышел Шэн Шицай. Губернатор встал перед Гани, заложив руки за спину, и устремил на него взгляд. Но даже внезапное появление властителя края не произвело впечатления на Гани. Он продолжал сидеть на своем стуле и даже сидя был все равно на голову выше вставшего перед ним Шэн Шицай. Чтобы посмотреть в глаза Гани, тому пришлось запрокинуть голову. «Да, это самый могучий из местных зверей», — подумал Шэн Шицай и неожиданно спросил:

— Сколько тебе лет?

— Когда поспеют дыни, мне исполнится сорок два, если аллах пожелает.

Шэн Шицай задумался. «Ведь этот разбойник совсем неграмотен. Что же было бы, если б он получил хоть кой-какое образование? Вот натворил бы дел!»

— Я слышал, что ты нигде не учился? — спросил губернатор.

— Разве недостаточно мне того образования, что я получил в ваших тюрьмах? — в свою очередь спросил Гани.

— Ха-ха-ха, — рассмеялся Шэн Шицай козлиным смешком и снова с большим интересом оглядел фигуру Гани. «Нет, я не убью тебя сейчас, зверюга. Ты упрямишься, но я найду способ заставить тебя служить мне. Твоя сила мне еще пригодится», — думал Шэн Шицай. Вслух же громко

сказал: «Да зиваза — большой вор!» — и поспешно вышел.

...Со зловещим стуком отворились двери камеры. Узники подняли глаза, в которых застыл вопрос: чья теперь очередь, кому идти на смерть или на пытки. Но темноте послышался звон кандалов и прогремел голос:

— Есть кто живой? Почему тихо, как в могиле?

— Гани! Гани! Родной мой! — вскочив с нар, бросился к нему Кусен, но, запутавшись в кандалах, рухнул на пол, однако тут же снова вскочил и бросился батуру на шею. Они обнялись крепко, словно братья, не видевшиеся много лет. Оживились и другие узники и засыпали Гани вопросами. Здесь привыкли радоваться, если кто-то возвращался живым с допроса.

— Что-то долго они вас там держали, мы уже тут прощались с вами, — говорил арестант-кумулец.

— А что от этих сволочей можно ожидать, — подхватил джигит из Турфана. Он зажег светильник и протянул Гани холодного чаю. — На, попей, батур, жажда, наверное, измучила?

— Спасибо, Нияз, — поблагодарил Гани и, не отрываясь, выпил чай.

— Ты, наверное, голоден. — Кусен протянул другу два кусочка того, что здесь называлось хлебом.

— Нет, я сыт, сам ешь, Кусен, меня почему-то перед допросом до отвала накормили мясом.

— Мясо... — Кусен проглотил слюнки.

— Да, хотели меня жратвой купить, дураки, — и Гани рассказал о допросе.

— Эх, Гани-ака наш, ты настоящий мужчина, — восторгался его рассказом влюбленно смотревший на него узник из Хотана, ковровых дел мастер. Его посадили пять лет назад, но он до сих пор так и не знал — за что. Впрочем, так было со многими. Вскоре разговор перекинулся как раз на это.

— Я самый простой дехканин, копал колодцы, водой из них поил землю, платил налоги, давал взятки, жил как все, за что меня посадили — никак не пойму, — удивлялся крестьянин из Турфана, тоже оказавшийся в числе «политических преступников».

— Меня обвинили в том, что я был в отряде Ходжанияза, и бросили в тюрьму, отобрав все имущество, вот уже шесть лет сижу в темнице, не знаю, что там с моими детьми, живы ли они? А ведь их у меня семеро!.. — тяжело и безнадежно вздохнул кумульский пастух.

Население всего Восточного Туркестана тогда стонало, лишенное всех прав, под гнетом деспотов-завоевателей. Придя к власти в 1934 году,

десять лет с неслыханной жестокостью правил краем Шэн Шицай. Тысячи и тысячи мирных, ни в чем не повинных людей очутились в застенках, а там их ждали пытки и смерть. А оставшиеся на «свободе» не имели права даже свободно дышать. Но этот гнет и бесправие рождали гнев и поднимали народ на борьбу, пусть стихийную, пусть лишенную перспективы, но все же борьбу. Боль народа, его возмущение дошли до грани. Вот-вот должен был наступить тот предел, за которым всегда следует всенародное восстание. Гани здесь, в тюрьме, пополнявший свое «политическое образование», был полон жаждой борьбы за освобождение народа.

— Сейчас надо действовать, — сказал Гани, выслушав своих товарищей по камере. — Чем покорнее, чем тише мы будем, тем больше будут нагнать эти кровопийцы! — Гани задумался и продолжал: — Все мы здесь и тысячи других уйгуров, в чем мы виноваты? В чем наше преступление? Или это мы захватили их земли и отбираем их скот? Это мы бросаем их в тюрьмы? Так сколько же можно терпеть? Неужели же в нас не осталось ничего человеческого и мы уподобились скотине, забыли, что такое разум и честь? Надо подниматься на борьбу!..

Этой ночью никто не спал.... Каждый думал о своей судьбе, о словах Гани. И узникам казалось, что рухнули стены темницы и Гани ведет их к свету, к солнцу.

Гани тоже не сомкнул век до зари. Вспоминая о допросе, о том, чего от него требовали, он снова и снова закипал негодованием. Он понимал, что его ожидает в ответ на отказ: холодный темный карцер без воды и хлеба, пытки — раскаленное масло, иглы под ногти и многое другое. Ну что ж, пусть пытаются. Гани был уверен, что все это выдержит и не поддастся палачам.

Шэн Шицаю хотелось приручить это «сильное животное», переманить его на свою сторону, для этого он испробовал все методы — угрозы и запугивания, лесть и ласку, затем снова угрозы... Он знал, каким авторитетом пользуется среди своих земляков Гани. Если бы батур стал работать на захватчиков, это был бы важный политический факт, имеющий немалое пропагандистское значение. Но нынешний Гани мало походил на того, каким он был лишь несколько лет назад. Прославленный палван и мерген, удалой разбойник и задиристый драчун уступил место неистовому мужественному борцу за справедливость, который мог повести за собой сотни и сотни простых и смелых людей.

— Надо бороться! — повторял Гани. — Если я выберусь отсюда живым, то соберу вокруг себя сотню таких, как я, и мы покажем, что такое

настоящие уйгурские джигиты, сыновья народа, который так много перенес!

* * *

Прошло уже шесть дней, как Гани последний раз увели из камеры на допрос. Больше батур в нее не возвращался. С каждым днем все сильнее тревожились его товарищи по заключению. Так долго его никогда еще не держали на допросах. Когда его ночью выводили, Гани по своему обыкновению пошутил, медленно одеваясь и не обращая внимания на понукания караульных: «Ах, черт, не вовремя пришли и разбудили, сволочи. Я во сне как раз дочь Ала байтала выкрал и только, собрался...»

И вот минуло шесть суток. Узники ждут своего Гани. Услышат звон кандалов в коридоре — смотрят выжидающе... Нет, опять мимо, не он... Бедный Кусен совсем перестал есть; сжавшись сидел в углу, а по ночам тихо плакал.

— Если ты действительно друг Гани, так старайся быть во всем на него похожим! — строго сказал ему бывший полковник Хау-танджан. — Нечего слюни распускать, как баба! Не умрет Гани, такие, как он, так просто не умирают.

— Правда, — подтвердил турфанец, — наш Гани и из огня выходил невредим.

— Эх, да поможет ему аллах, — тяжело вздохнул кумулец.

Арестанты только о Гани и говорили, вспоминали его шутки, пересказывали друг другу истории, с ним произошедшие...

— У нашего народа есть легенда о ста восьми богатырях, — сказал как-то Хау-танджан. — Все они совершали удивительные подвиги. Один из них победил в одиночку тигра и за это получил имя У Сунь да лауху — У Сунь, одолевший тигра. Гани похож на этого У Суня. Придет день, и вы будете гордиться своим Гани так же, как мы своим У Сунем!

И как раз в этот момент открылись двери камеры. В них втолкнули Гани, двери тут же снова захлопнулись...

— Гани! — бросился к нему Кусен. Другие тоже кинулись к батуру, который стоял, прислонившись к стене у дверей. Осветив его лицо, Хау испуганно воскликнул:

— Эй-я!

Лицо Гани было страшно: все покрыто волдырями, от ожогов веки так опухли, что не поднимались, щеки глубоко впали, губы были все искусаны

в часы пыток.

— О аллах! — воскликнул кто-то из арестантов.

— Не шумите, давайте его тихонько уложим, тише, товарищи! — негромко произнес Хау.

Узники уложили Гани на нары.

— Воды, — простонал он, не открывая глаз.

— Воды! Просит воды! — обрадовались узники тому, что их товарищ приходит в себя. А Кусен зарыдал — громко, взхлеб.

Хау-танджан достал припрятанный кусочек сахара, бросил его в чашку и, взболтав воду, дал пригубить Гани. Затем он приказал:

— Там в чайнике должен быть чай, крошите туда хлеба!

Хау хотел переложить голову Гани на подушку и взял его за плечо, но Гани, вскрикнул и рванулся. Лохмотья рубашки приподнялись и обнажилась спина — вся в пузырях от кипящего масла. Поняв, что батура нельзя класть на спину, Хау перевернул его на живот. Узники застонали вместе с Гани:

— Ах, звери, какие звери!..

— Ладно, ладно, не хнычьте, не такой человек Гани, чтобы не вынести пыток. Посмотрите, за два-три дня он оправится. Где чай? — Хау, хотя и сомневался в правоте своих слов и с трудом удерживал ужас, глядя на изувеченного Гани, старался не подать виду и ободрить остальных заключенных.

— Воды... воды...

На этот раз голос Гани прозвучал немного громче и тверже. Каждый, кому довелось испытать подобные пытки, знает, что у человека во время них страшно пересыхает во рту, его постоянно мучает жажда. На допросах Гани не давали ни глотка воды. И жажда казалась ему хуже всяких пыток. Чашку за чашкой подносили ему товарищи ко рту, он все не мог утолить жажду, и снова и снова просил: «Воды, дайте воды». Наконец батур по-настоящему заснул — впервые за шесть дней и ночей.

Шестеро узников стали доставать свои скудные припасы: сухари, сахар, курагу, у кого-то нашлось даже немного меду. Но это были крохи. Арестанты связались с соседними камерами и попросили собрать, что можно из еды для батура и во время прогулки оставить собранное в укромном месте, чтобы потом можно было забрать пищу.

— Все припасы мы отдадим Гани, сами будем есть только то, что останется после него, — сказал Хау.

— Конечно, Хау-танджан, — поддержал его турфанец.

— Нам ничего не жалко для палвана.

— Лишь бы стал он поскорее на ноги!..

— Я слышал, — сказал турфанский дехканин, — что моча младенца очень помогает заживлять ожоги.

— А младенца-то где достать?

— Ничего, наверное, сойдет и моча взрослого, — заметил Хау.

Вся камера была занята заботами о Гани. Ему растирали онемевшие ноги, сменяли тряпки, пропитанные мочой, его кормили и поили.

Лучшее лекарство — участие и забота друзей. Не прошло и трех дней, как могучий организм Гани начал побеждать. Батур пришел в себя, стал потихоньку приподниматься и даже садиться, изредка находил в себе силы пошутить по-прежнему... Но на спине он все еще не мог лежать.

По случаю китайского праздника заключенным выдали немного мяса. Арестанты собрали все свои порции, оставив себе лишь хлеб, и сложили их в миску Гани.

— Нет, такое дело не пойдет, я не стану этого есть, — сказал Гани. — Разделите поровну.

— Ты обидишь нас, Гани, набирайся сил, нам нужна твоя сила, — настаивал Хау-ганджан.

— Ну что вы, ведь мясо здесь выдают только раз в год, и вдруг я его съем один, нет! И не говорите! Для меня съесть это мясо все равно, что вас самих есть, не буду! — твердил Гани. В конце концов его уговорили откусить по кусочку от порции каждого. После трапезы Хау задумчиво произнес:

— Мы здесь сейчас словно братья. Каждому из нас все равно, кто китаец, кто уйгур, кто кумулец, кто турфанец. Мы здесь ничего не делим на «твое» и «мое». Нет среди нас начальства и подчиненных, все мы равны. Почему так? — После паузы Хау сам же ответил на свой вопрос: — У нас у всех и боль одна и цель одна — свобода и равенство. Шэн Шицай китаец, я — тоже. Но он сейчас стоит у власти, казнит и уничтожает вас. Я — против него. Он — мой враг, смертельный враг! Он враг народа! Не только вашего, но и моего народа. Я верю, знаю: придет время и сгинут навек такие, как Шэн Шицай, наш народ станет свободным...

— Да сбудутся твои слова, Хау!..

— Но свобода сама не придет, и никто не подарит ее нам. За нее надо сражаться, — говорил Хау. Он рассказал товарищам о том, как боролась Китайская коммунистическая партия, как Советский Союз побеждает гитлеровский фашизм и о том, что народ Синьцзяна тоже поднялся на борьбу за свою свободу. Все внимательно слушали Хау-ганджана. Гани принимал его рассказ близко к сердцу. Он всей душой верил Хау. Хау был

китаец, но такой китаец, который борется за правду. Если бы все были такими, то и вражды бы никакой никогда не возникало между двумя народами.

...Как-то Гани сказал:

— Братцы, я прошу рас, хватит лечить меня мочой. Конечно, ради пользы все можно стерпеть, но у Хау моча уж очень чесноком да джусаем пахнет...

Хау рассмеялся, за ним другие узники.

— А может, она у него как раз потому особенно целебная, — подхватил шутку кумулец.

— Спасибо, друзья, вы за мной как за ребенком ухаживали, но хватит уже, теперь я пошел на поправку, обойдусь своими силами...

— Ни в коем случае. Еще несколько дней ты должен лежать без лишних движений, — строго сказал Хау. — И никаких разговоров, будешь лежать!

И остальные поддержали его.

— Как-то раз, — вспомнил Гани, — меня арестовали и вели под конвоем в Урумчи. Где-то возле местечка Саван я попросился по нужде и, когда черик развязал мне руки, я легонько пристукнул его и бросился в заросли кустарника. Двое других кинулись за мной, давай стрелять и прострелили мне ногу. Все же я сумел укрыться в кустах.

— Не нашли?

— Где им, темно уже было...

— Ну что ж, значит, аллах был за тебя.

— Да уж он, конечно, на моей стороне... У меня вышло много крови, я потерял сознание. Очнулся, когда уже светало. Нога как не своя, опухла и страшно болит. В бедре, там, где пуля вышла, торчит наружу мясо. Ну, думаю, беда, загниет — погибну. Я вырвал это мясо, потом достал из подкладки фуфайки клочок ваты, сжег ее и пеплом замазал рану, из нее кровь сочилась. Потом оторвал рукав рубашки и туго-туго перетянул ногу...

— О господи, до чего только не додумается человек в беде!..

— Понимаю — черики пойдут по следам крови и настигнут меня. Надо уходить. Попробовал идти, опираясь на палку — не могу. Тогда я пополз. Как раз как солнце показалось, дополз до берега реки Манас. Я в воду — и отдал себя на волю течения...

— Как же ты не утонул?

— Да я с детства в воде как рыба!

— Молодец, Гани!

— Проплыл по течению километра два и укрылся в камышах. Ну там меня никто, кроме аллаха, не смог бы найти. Помните, Назугум тоже в камышах пряталась?

— Точно!

— Около десяти дней пробыл я там...

— А как же ты не умер с голоду десять дней не шутка...

— Ну что вы, Нияз-тага. Да ведь под руками столько рыбы!

— А рана-то, рана? Как она?

— Я раньше слышал, что надо кожу вокруг раны обрабатывать расплавленным маслом, тогда рана затянется. Вот я и обрабатывал ее растопленным рыбьим жиром. И вправду рана стала быстро заживать.

— Ну что ты за батур, Гани! — выразил свое восхищение кумулец.

— Ну так вот, вместо того, чтобы мочиться мне на спину, вы лучше смазывали бы ее растопленным жиром, — обернул в шутку свой рассказ Гани. Где же было взять масла в камере!

В эту ночь дежурил около Гани Хау. Уже несколько ночей хорошо спавший Гани на этот раз долго не мог уснуть, ворочался, думая о чем-то своем.

— Ну, чего ты возишься и вздыхаешь, спи! — тихо, чтобы не разбудить товарищей, сказал, наконец, Хау.

— Да вот, что-то не спится...

— Ну тогда расскажи, как тебя допрашивали в последний раз, чего добивались?

— Эх, Хауджан, лучше не говорить об этом...

— Говори, хуже вез равно не будет.

— Пригрозили, что если я не дам согласия, всю мою родню арестуют и пытаться станут.

— Ну и сволочи, ну и сволочи!

— Любыми средствами они хотят меня заполучить. Говорят: соглашусь — дадут дом, машину, любую бабу. — Гани не выдержал и засмеялся.

— Тише! Разбудишь всех... — прикрыл рот Гани Хау. — А что ты, собственно, должен делать?

— Я-то? А я должен согласиться стать заместителем Любинди и начальником караула... Тьфу! Собаки! — Гани хотел встать, но Хау удержал его.

— Успокойся, успокойся... Ты смотри, что они задумали. Неужели они считают, что все такие, как этот Любинди?

— Эх, если бы не кандалы, я бы там на месте раздавил этого Ли

Йинчи! Да накинулись на меня вшестером и снова принялись пытаться...

— Убив Ли Йинчи, мира не изменишь... Сегодня побеждает не сила, а разум...

Его слова прервал негромкий стук из соседней камеры. Хау тоже стукнул в ответ. После этого они с соседом некоторое время перестукивались, обмениваясь информацией. Гани с завистью смотрел на Хау. Для него, неграмотного, такой способ тюремного общения был невозможен. Гани с грустью вспомнил пословицу: «Неграмотный человек — дом без окон».

— В ту камеру посадили твоего земляка, — сообщил Хау, когда разговор с соседями закончился.

— Как зовут, может, я его знаю?

— Имя не сказали, сам он из Кульджи...

— Что нового в Кульдже?

— Репрессии еще усилились, все больше и больше людей бросают в тюрьмы. Ну это само собой... А вот что важно: на Или появилась какая-то группа вооруженных «бандитов». Ты знаешь, Гани, это очень интересная новость.

— Эх, мне бы сейчас на волю... Кто же это, а?.. — воодушевленный Гани, не обращая внимания на раны, привстал. Хау еле-еле уложил его на место и продолжил:

— Это еще не все. Есть и другие важные новости: Красная Армия уже освободила почти всю советскую землю и дошла до самой Германии. Значит, свобода близка...

Два друга задумались над путями будущей борьбы, которыми им предстояло идти. Для коммуниста Хау, закаленного в боях с японскими милитаристами и гоминьдановцами Чан Кайши, этот путь был ясен — он станет сражаться за создание в Китае социализма. У Гани впереди не было такой определенной и четкой цели. Ему ясно было одно — он будет бороться за освобождение своей земли от гоминьдановских поработителей, за свободу своего народа, за его право самому решать свою судьбу — это он знал твердо, видел в том свой священный долг...

Двери камеры заскрипели. Хау бросился на свое место на нарах. Караульный, осветив камеру фонарем и оглядев ее углы, сказал:

— Хау! Чилай! Поднимайся!

— Что? — Хау притворился спящим.

— Шуши шинли! С вещами на выход! — крикнул караульный.

Это означало, что арестанта вероятнее всего переводят в другую камеру или даже в другую тюрьму. Это была одна из мер

предосторожности, предусмотренных тюремщиками, которые боялись, что узники, подолгу сидя вместе, могут сговориться о побеге. Поэтому арестантов довольно часто перемещали.

— Прощайте, товарищи! — сказал Хау, собрав свои пожитки. Остановившись на секунду у двери, он тихо произнес: «Гани!» — и вышел. Гани понял это как просьбу-завет: «Не забывай меня».

В эту ночь двери камер хлопали необычно часто. Выводили многих заключенных. Может быть, их только перемещали с места на место, а может, отправляли на казнь...

Шестеро узников тяжело переживали разлуку со своим китайским товарищем, сильным и добрым человеком, настоящим борцом за правду и справедливость. Особенно горько было Гани...

Глава десятая

Прошло около месяца. Растаял снег, всюду бурлили, неслись вешние воды. Природа просыпалась. Даже в мрачную камеру ветерок приносил запахи весны, которые будоражили всех арестантов.

Эх, вот бы теперь, когда поля покрываются изумрудом зелени, когда все сживает после долгого зимнего сна, встать на высоком холме и окинуть оттуда взглядом цветущую Илийскую долину.

Гани с детства особенно любил это время года. Бывало, поднявшись с рассветом, он забирался на холм, возвышавшийся неподалеку от селения, и с восторгом смотрел на синее небо, покрытое пушистыми облаками, легкие сизые дымки над крышами домов, увитых расцветающей зеленью, на дехкан, отправляющихся в поле, на пастухов, гонящих свои стада на пастбища, на бурную реку Каш, не вмещающуюся в своих берегах, на вольных и сильных птиц, гордо парящих на небосклоне... Дождавшись, когда ребятишки пойдут собирать в поле свежий молодой клевер, он сбегал с горы и уходил вместе со сверстниками...

И теперь, сидя в душной и темной камере, в которую и солнце никогда не заглядывало, Гани с тоской вспоминал о тех днях... «Ну что ж, время пришло, надо бежать... И как можно скорее!..» — думал он, стоя по своему обыкновению у оконца и не спуская глаз с неба. Он подошел к своему месту на нарах, улегся и тихо толкнул в бок подремывавшего Кусена. Тот встрепенулся и с надеждой посмотрел на Гани.

— Выспись сегодня хорошенько, — тихо шепнул ему Гани и сам укрылся с головой...

Апрель сорок четвертого года был наполнен тревожными событиями. В Урумчи резко усилились террор и репрессии, сажали всех, на кого пало малейшее подозрение, тюрем не хватало, под них отводили жилые дома, мечети, китайские храмы.

Особо пристально следили угнетатели за молодежью. Студенты и учащиеся уже открыто выходили на демонстрации с политическими лозунгами. Их хватали и сажали, однако демонстрации не прекращались. Новый подъем революционного движения занял все внимание Шэн Шицая и его ближайших подручных. Им стало не до Гани. Воспользовавшись этим, батур уже полмесяца тщательно готовился к побегу. Они вместе с Кусеном каждую ночь натирали кандалы чесноком, который разъедал железо, из скудного арестантского порциона откладывали, что могли, на

дорогу... Уже четырежды бежал из тюрьмы Гани, на этот раз он готовился особенно тщательно. И вот сегодня настал решительный час...

Был обычный поздний вечер в камере. Узники уже заснули, тишину лишь изредка прерывали стопы и всхлипывания спящих арестантов. Да еще время от времени раскрывались со скрипом и скрежетом двери камер... Но двое заключенных лежали на нарах с открытыми глазами и выжидали. Руки их находились в постоянном движении: они натирали оковы едким соком чеснока.

— О, аллах! Да поможет мне аллах! — наконец, тихо произнес Гани дрогнувшим голосом... — Пусть поддержит меня дух нашего предка Садыра-палвана!

Гани собрался с силами, напрягся и, закусив губу, стал выкручивать ручные кандалы. Вены на его висках набухли, глаза, казалось, вот-вот вылезут из орбит, пот градом катился по лбу. Еще одно усилие и вот — первые оковы разорваны!.. «Уф!» — вздохнул Гани и уронил обессиленные руки. Он вытер обильный пот, выпил холодной воды и, немного отдохнув, взялся за ножные кандалы. С ними он расправился легче. Гани напоминал сейчас льва, которой в гневе разрушает свою клетку.

А Кусен тем временем безуспешно пытался разорвать свои оковы на ногах. Гани пришел ему на помощь. Чтобы обрывки цепей не звенели, узники плотно обмотали их тряпками, прижав к щиколоткам и запястьям. И только собрались они продолжить выполнение своего плана, как снова загремели двери, на этот раз их камеры. Беглецы кинулись к своим местам на нарах. «Если узнали о нашем замысле, придется драться насмерть, все равно пощады не будет», — подумал Гани. Но караульные внутри не вошли, лишь осветили камеру фонарем и, пересчитав заключенных, снова загремели засовом. Теперь надо ждать, пока закончится обход и затихнут шаги караульных в коридоре. Время ожидания показалось невероятно долгим... Лишь час спустя тюрьма снова утонула в кладбищенской тишине. Теперь надо торопиться.

Не раз Гани приходилось проделывать подобную работу. Сильными и ловкими руками он расшатывал и вынимал из стены кирпичи в месте, где кладка, как он знал, оказалась слабой. Проделав отверстие, в которое можно было просунуть голову, он выглянул во двор. Потом вытащил еще несколько кирпичей. Затем, просунув руки, подтянулся и выскользнул наружу. Кусен последовал за ним, Гани помог ему побыстрее выбраться. Их расчеты оказались верными — дыра пришлась как раз напротив сортира. Здесь боковая стена была невысокой, они взобрались на нее и

полежали, прислушиваясь к ночным шорохам.

— Сейчас взберемся на крышу, а оттуда спустимся на улицу, — прошептал Гани, — будь осторожен, не зацепись за колючую проволоку, там ее полно.

Когда часовой, проходивший по двору, повернул за угол, Гани приказал:

— Лезь ко мне на плечи! — и помог Кусену подняться на крышу. И сам, подтянувшись на руках, оказался рядом. Потом Гани помог Кусену перебраться за густой ряд колючей проволоки и рукой показал на стену: по ней, мол, и спускайся тихонько, и сам начал перебираться через проволочное ограждение.

— Кто? — вдруг громко спросил по-китайски встревоженный голос.

— Мы, — тоже по-китайски, не задумываясь, ответил Гани, стремительно прыгнул через проволоку и скатился вниз по наклонной стене. Кусен, стоявший внизу у стены, простонал:

— Не могу! Подвернул ногу!

Гани, не останавливаясь, подхватил его на плечи. Черик, добежавший до края крыши, заорал:

— Стой! Стой, тебе говорят! — и выстрелил в темноту.

Но беглецы были уже за углом и пуля влипла в пустую стену.

Глава одиннадцатая

Еще пятьсот шагов, только пятьсот...

Месяцы и годы гнета и страдания, тюремные стены, смерть друзей... Все вынес, все вытерпел батур. Так неужели же эти пятьсот шагов он не сможет пройти? Неужели здесь его настигнет смерть? Где же его силы, где его мощь? Ведь он же мог спокойно поднять на плечах коня, быка... Ведь совсем недавно вот этими руками он разорвал цепи оков...

Но он неожиданно совсем обессилел. Он не смог даже перешагнуть через небольшую, высотой с малого ребенка, насыпь на берегу канала и уселся прямо на землю, смотря в небо, словно ожидая поддержки от бога.

— Ты всемогущ, о боже! — воззвал он к аллаху. — Чем оставлять меня здесь, ты бы уж лучше там, в тюрьме, отдал меня на растерзание палачам!

И, словно отвечая на его слова, ночную тишину разорвали хлопки винтовочных выстрелов. Это наугад стреляли по беглецам. Еще бы, кого не переполошит бегство человека, разорвавшего оковы и разрушившего стены своей тюрьмы?! Любинди и Ли Йинчи, услышав об этом побеге, подняли на ноги всю охрану. Хотя после побега прошел всего час, уже всюду по краю были разсланы телеграммы с указанием примет бежавших преступников.

— Стреляют, черти, — еле слышно прошептал Кусен. — Давай, Гани, нужно идти, обопрись на меня...

К счастью, ногу ему удалось вправить.

— Нет! Ты иди в сторону зарослей. Они же рядом, а я уж как-нибудь доберусь, хоть ползком, — стал подниматься Гани. Потом он постоял, покачиваясь, и, шатаясь, побрел следом за Кусеном. И снова он взял верх над слабостью, но эти пятьсот шагов показались ему тяжелее долгого дневного пути.

— Ну, как ты? — тяжело дыша, спросил Кусен, когда они добрались до зарослей.

— Была бы вода, вода...

— Сейчас поищем.

Но тут послышались совсем рядом топот копыт и голоса чериков. Кони остановились, кто-то сошел на дорогу. Она была в двух шагах от беглецов.

— О аллах, о аллах, — шептал Кусен.

«Ну, если нас увидят — все, нам конец», — подумал Гани и оглянулся вокруг: хоть бы какой камень оказался под рукой, одного-то черика и камнем уложить можно, а там уж будь что будет...

Кряхтение черика раздавалось совсем рядом.

— Давай быстрее, ты что там, совсем обгадился? — слышался нетерпеливый голос командира.

— Уф, — облегченно вздохнул черик, а за ним и затаившие дыхание беглецы.

Все-таки темная ночь — настоящая спасительница. Когда черики отъехали, Гани и Кусен поспешили побыстрее укрыться в Глубине чащобы.

Начинало светать... Предвестница утра Чолпан укрылась пушистыми облаками. Звезды стали меркнуть и одна за другой погасли на небосводе. Солнечные лучи окрасили нежным румянцем вершины гор, а потом уже весело засияли в бескрайних полях.

Земля просыпалась.

«Человек, который каждое утро встречает рассвет и любуется восходом, никогда не заболевает», — вспомнилось Гани слышанное когда-то изречение... И вправду, утреннее солнце вновь вселило в него силы, энергию, волю. Он поднял голову от плоского камня, служившего ему подушкой, и, широко раскинув руки, потянулся к солнцу, словно собираясь обнять светило. Его мускулы, согретшись под лучами весеннего солнца, казалось, обретали прежнюю мощь и гибкость. У него поднялось настроение, радость свободы переполняла сердце.

В небесах слышалось далекое курлыканье. Батур поднял глаза к небу — там, в самой вышине, летели на север журавли... Он зашевелил губами, словно обращаясь к этим птицам. А они, перестроившись по призыву вожака в новый клин, продолжали свой дальний путь.

Гани снова взглянул на солнце с таким чувством, будто видел его в первый раз. Тело его жадно впитывало в себя теплые лучи, наслаждалось их жаром, проникавшим до самого сердца. Гани чувствовал-себя заново рожденным, его тоже теперь не страшил самый дальний и опасный путь...

* * *

В тот день они укрылись в зарослях кустарника у подножия горы Бомасан к западу от Урумчи. На юг от них лежали уйгурские и дунганские селения, тянувшиеся почти не прерываясь вплоть до горы Нансан. То тут,

то там слышалось блеяние овец и коз, нетерпеливое ржание коней.

Кусен не мог усидеть спокойно. Он хотел встать во весь рост, чтобы лучше осмотреться, но Гани надавил ему на плечо.

— Эх, сейчас бы молочка козьего! — сглотнул слюну Кусен.

— Не торопись, надо сначала коней добыть.

— Да, конечно, ты, как всегда, прав, Гани.

— Если найдем коней — считай, что спаслись, Кусен!

Но добывать днем лошадей вблизи людных мест было бы безумием. Поэтому, не переставая мечтать о конях и пище, друзья до самого вечера не сдвинулись с места. Они выспались, отдохнули, набрались свежих сил. День, показавшийся утомительно долгим, наконец отступил перед сумерками. Затихли доносившиеся с дороги голоса, скрип колес, ржание лошадей, грубые окрики погонщиков. Скоро ночная тьма окутала землю.

— Ну, с богом, — стад подниматься Гани.

— О Махамбет! — помянул Кусен пророка.

Через полчаса ходьбы Гани остановился.

— Слушай, Кусен, по этому бездорожью мы скоро вымотаемся.

— Ты ведь сам предложил идти, так?

— Пойдем по обочине дороги. Те, кто гонится за нами, пешком не пойдут. Как услышим топот копыт или шум мотора, свернем в сторону и укроемся.

— Тебе виднее.

Они двинулись по дороге, ведущей в сторону горы Нансан. Гани какое-то время шагал бодро, не отставая от Кусена. Но все же он быстро устал — последствия мучительных пыток давали о себе знать.

— Видишь вон те мигающие огоньки, Кусен? — спросил Гани, когда они поднялись на невысокий холм.

— Вижу, это фары автомобиля.

— Туда пойдём.

— Ты что? — удивился Кусен. Гани указывал на дорогу Урумчи — Даванчин, один из центральных трактов ведущий от юго-запада Восточного Туркестана до Турфана и Кумула.

— Мы оба с тобой с Или, они не подумают, что мы пойдём в сторону Турфана. И потом, сказать по правде, я сильно устаю, на много меня не хватит. Надо бы два-три дня отдохнуть в Уланбайских отрогах, иначе я не вытяну...

— Нет, брат, ты должен во что бы то ни стало уйти. Пусть схватят меня, черт с ним, но ты обязан уйти от них.

— Эх, Кусен! Через железную решетку не прорвешься, а перед нами

сейчас решетка, мы в клетке, понимаешь?

И они двинулись не на запад, а на восток: Нелегко было идти темной ночью по незнакомой местности через густой кустарник. Они спотыкались о корни, падали в выбоины и ямы, но шли и шли не останавливаясь. Им нужно было до рассвета во что бы то ни стало достичь лощины, иначе их могли обнаружить. И тогда снова тюрьма, пытки и допросы — это в лучшем случае, если не прикончат тут же на месте...

С каждым шагом идти становилось все труднее.

— Кусен! — окликнул ушедшего вперед Кусена Гани. Батур был не в силах больше сделать ни шага.

— Что случилось, Гани?

— Сядь. Смотри, судя по тому, как здесь играет ветер, мы уже достигли колодца ветров — Саюпо. До рассвета осталось совсем немного. Идти я больше не могу.

— Что ты несешь, Гани? Нужно идти!

— Эх, если б был топор со мной, я бы сейчас вот эти свои непослушные ноги отрубил к чертовой бабушке...

— Да ты с ума сошел! Жинды!^[27]

Кусен наклонился к опухшим ногам Гани, принялся их растирать.

— Смотри, уже рассвет, здесь нас видно отовсюду, сразу поймают. А ногам моим уже не поможешь, ты вот что, Кусен, иди один. Хоть ты в живых остаешься!..

— Что?! — Кусен замер, не зная, что сказать в ответ.

— Пусть хоть один из нас останется жив.

— Закрой рот, ты забыл, кто ты? И чтобы я больше того не слышал!..

Кусен приподнял Гани, взвалил его на плечи и понес — маленький муравей тащит огромного кузнечика. Но что под силу муравью, не может повторить человек. Сколько хватило сил, Кусен нес Гани, но скоро не выдержал и свалился на землю. Он услышал шепот Гани: «Оставь меня, оставь, брат», — и этот шепот снова поднял его. Он опять пошел, и опять упал, и так повторилось несколько раз, пока наконец Кусен не свалился совсем обессиленный. Беглецы довольно долго пролежали молча. Начало светать.

— Посмотри кругом, может, есть место, где укрыться, — сказал Гани, — только ползком, ползком, не вставай — заметят.

Кусен уполз. Вскоре он вернулся и прошептал, что невдалеке он обнаружил небольшой ров, в котором можно, пожалуй, спрятаться. Они оба поползли к заросшему глубокому рву и шлепнулись на его дно.

— Ну как, Гани, ноги болят?

— Пошевелить не могу... Эх, как же так?!

— Сейчас бы шкуру только что освежеванного черного барана, да горячей сорпы. Завернул бы ноги в шкуру, попил бы сорпы и через два дня бегал как мальчишка...

Вдруг тишину рассвета нарушил одинокий выстрел. Беглецы замерли. «Ну все, кончено...» — подумал каждый из них, но вслух никто не решился это сказать. Заметив их, черик, наверное, подзывал других своим выстрелом. Ну вот, сейчас и остальные подъедут. Окружат ров, подойдут поближе и закричат:

— Вылезай, зиваза! Набегался...

Эх! Ноги, ноги, как же вы меня подвели!..

Гани посмотрел вокруг и стал собирать камни. Кусен тоже молча перекладывал камни поближе к себе. Камней нашлось немного. Потом беглецы стали дожидаться чериков. Никто, однако, не подъезжал. Зато раздался крик человека и еще один выстрел.

— Да это охотники! — обрадованно воскликнул Кусен. Он не ошибся. Это пастухи охотились за быстрой ланью.

Этот день прошел еще тревожней, чем вчерашний. Каждый звук, даже шорох стеблей на ветру, казался товарищам шагами приближающихся людей. Они не смогли даже сомкнуть глаз. Пустые желудки терзал голод. Множество ссадин, приобретенных за прошедшую ночь, невыносимо болели. Но самое главное — ноги Гани оставались безжизненными и неподвижными. Что за болезнь такая? Или судьба посмеялась над ним, отняв у него ноги в самый трудный час? А может, это смерть подбирается к нему, начав с ног?..

И вот они все-таки услышали рядом человеческий голос:

— Эй, кто там прячется во рву? Что за люди?

Беглецы замерли, не зная что делать.

— Отвечайте же! Что вы за люди? Что вы здесь делаете?

— А что нам делать, ака, сам видишь... — сказал Гани, глядя на наклонившегося к ним человека с белой бородой, возле которого стояла, также заглядывая в ров, огромная, с теленка, собака.

Старик, оглядев джигитов, сказал:

— По вашему виду я решил бы...

— Правильно, мы из тюрьмы бежали.

— О аллах! За что же вас туда бросили? Бедняги... — человек с жалостью смотрел на Гани и Кусена.

— Мы в твоих руках, ака, делай с нами, что хочешь, — проговорил Гани.

— О аллах, о аллах, — забормотал старик и, быстро повернувшись, ушел.

— Черт! — сплюнул Кусен. — Я бы сейчас его придушил вот этими руками!..

— Не дергайся! Теперь беги не беги — поймают. Одна надежда, что он не выдаст, — подвел итог Гани.

И они стали ждать. Думали, что старик все-таки приведет чериков, уж очень он поспешно удалился.

— Эй, где вы там... — раздался негромкий окрик. Знакомый голос старика на этот раз показался беглецам родным, несущим надежду. Гани и Кусен встрепенулись.

— Здесь, — так же тихо откликнулся Гани.

— Я вам поесть принес. — Старик поставил перед Гани хурджун и добавил: — Загоню овец в кошару, а потом снова приду, — и ушел. Отойдя на некоторое расстояние, крикнул громче:

— Сюда черики не ходят, не бойтесь!

Гани развязал хурджун и вынул оттуда четыре лепешки. Гани с наслаждением вдохнул хлебный запах. Тут же оказалось и мясо, и соль, и сушеные фрукты, а также холодный чай в тыквянке в две пиалы.

— Люди иногда рассказывают о встречах со святыми. Уже не святой ли этот аксакал? — Гани жадно ел, радостно поблескивая глазами.

Беглецы не только утолили голод — поев впервые за много дней привычной с детства пищи, они вроде бы встретились с чем-то родным, почувствовали себя свободно и безбоязненно. Душевные силы снова вернулись к ним. Насытившись, они стали позевывать, а вскоре безмятежно и крепко уснули.

На этот раз их не тревога разбудила, а с трудом добудился новый знакомец, вернувшийся ко рву поздно вечером. Такой спокойный и глубокий сон — это уже лекарство. Оба выспались и чувствовали себя свежими. Их знакомый, оказалось, хорошо понимал их положение — на этот раз он принес для них нужную обувь и одежду — две пары чорук и кожаные штаны.

— Вы не святой, случаем, ака? — спросил Гани, увидев все это.

— Побойся аллаха, брат, не кощунствуй.

— Кто же вы?

— Такой же бедный страдающий человек, как и вы...

Завязался дружеский разговор — беглецы чувствовали большое расположение и уважение к смелому и доброму человеку, так позаботившемуся о неизвестных ему беглых арестантах. Выяснилось, что

их знакомец, хотя и носит седую бороду, вовсе не стар — ему чуть больше сорока. Что говорить, в те времена люди от мучений и невзгод старели рано... Отец Омарнияз был расстрелян по приказу Шэн Шицая за участие в восстании Ходжанияза. Его же самого, как сына врага, на два года бросили в тюрьму в кандалах. Через два года его включили в состав уйгурского отряда, который был послан в карательную экспедицию против казахских повстанцев на Алтае, поднявшихся под предводительством Оспана. Омарнияз, не пожелав обратить оружие против казахских братьев, бежал из чериков, но вернуться к себе на родину, конечно, не мог, и вот уже шесть лет был в батраках у китайца-земледельца. И имя свое изменил — стал теперь называться Гази.

— Так ты мне, оказывается, не старший, а младший брат, — вздохнул Гани.

В тот же вечер с помощью Омарнияза они перебрались в местечко Кеинлик и вблизи него укрылись в пещере. А ближе к ночи Омарнияз привез на ишаке крупного барана и с помощью Кусена здесь же разделал его. Черной шкурой барана плотно обвернули ноги Гани.

— Это тебе поможет, — сказал Омарнияз, а сам стал из камней выкладывать очаг. Кусен тем временем разделал тушу барана и, положив мясо в ведро, повесил над огнем. Когда мясо сварилось, они напоили Гани горячим бульоном.

— Пей, пей, хоть через силу пей! Тебе нужно хорошенько пропотеть, вся болезнь твоя вместе с потом выйти должна! — уговаривал Гани Омарнияз.

— Эх, брат, да не упрашивай ты меня так. Что пить? Ведро похлебки? Да я без уговоров хоть пять ведер выпью, — шутил начавший обильно потеть Гани. Омарнияз молча укутывал его со всех сторон. Сварили еще одно ведро с мясом и снова Гани выпил бульон. Мяса ему не хотели давать, но Гани выпросил все-таки и съел целую ляжку. После еды он заснул мертвым сном.

— Не надо его будить, пока сам не проснется, — предупредил Кусена Омарнияз и, сказав, что придет завтра к вечеру, удалился.

Наутро и вправду Гани встал бодрым и здоровым — будто родился заново.

— Эй, где еда! — крикнул он Кусену. — Давай сюда, быстрее, а то смотри — я и тебя слопаю!

— На, поешь мяса. Ну уж, если не хватит, можешь и мной закусить, — ответил Кусен.

Они стали прислушиваться к звукам, доносившимся снаружи, словно

два охотника.

— Слышишь, как ручей журчит? Как будто кто-то на тамбуре играет, — встал с места Гани.

— Попей чаю, наружу не выходи, ты весь потный, простудишься.

— Хочется мне студеной водицы из этого ручья. Ох, как хочется, — и Гани вышел из пещеры.

Небо было чистым и спокойным, без единого облачка. Стало уже довольно жарко. Да и вода в ручье не казалась очень холодной. Батур, наклонившись к ручью, стал пригоршнями набирать воду и пить из горсти. Но это ему не понравилось, и он лег на берег, припал к потоку губами и стал жадно глотать воду. А потом, не обращая внимания на возгласы и причитания испуганного Кусена, разделся и забрался в ручей. Он лежал в потоке, и прохладные струи обтекали его тело. А Гани все пил и пил.

— Ты что делаешь, жинды?! — кричал Кусен.

— Не бойся. Я не замерзну. Ты посмотри, вон из тех родников течет из одного холодная, а из другого горячая вода. Это целебный источник. Эту воду и пить надо, и купаться в ней. Да раздевайся ты, чего смотришь.

Но Кусен в воду не полез, он с улыбкой смотрел на Гани, который резвился словно мальчишка.

— Эх, будто снова родился! И куда все болезни подевались, а?

Гани вышел на берег и стал одеваться.

— Ну теперь я до Кульджи хоть пешком дойду!

* * *

Километрах в десяти-пятнадцати на юг от Урумчи расположен конный завод Мачан. Здесь выращивали породистых коней и овец. Родоначальники этих пород были привезены из Советского Союза. Небольшой этот завод положил начало большому делу собственного породного коневодства в крае. Недалеко от стен этого-то конезавода и залегли Гани и Кусен, поджидая удобный случай. Рассказал им о заводе Омарнияз. Правда, поняв, какие планы возникли у беглецов в связи с его рассказом, Омарнияз просто испугался: эти кони властями высоко ценились и очень береглись, за попытку угнать их могли убить на месте. Омарнияз уговаривал Гани не совершать такого безрассудного поступка, но Гани стоял на своем:

— Коль сяду на одного из коней с этого завода, буду чувствовать себя так, будто оседлал самого Шэн Шицяя!

Делать было нечего, Омарнияз проводил их, пожелав удачи...

Сегодня, 12 апреля, отмечался день государственного переворота, и в честь прихода к власти Шэн Шицая на заводе был праздник. Из здания слышались музыка, песни и голоса веселящихся людей.

— Что это они сегодня так разошлись? — удивлялся Гани, выглядывая из укрытия. Он хотел поближе подобраться к стене, как вдруг во дворе раздался визгливый крик: «Амат! Мамат!»

— Да! Здесь! — прозвучали тотчас в ответ два голоса. Ясно было, что Мамат и Амат простые рабочие, а китаец с визгливым голосом — их начальник. Гани подбежал к стене и, прижавшись к ней, стал сквозь щель рассматривать двор. Два человека вышли из конюшни и направились к зданию. Это, очевидно, и были Амат и Мамат. А где же караульное помещение? И почему не видно охранников? Амат и Мамат подошли к дому. Когда отворилась дверь, стали слышнее пьяные голоса. Вышел еще какой-то китаец, может быть, директор конезавода.

Он приказал подать ему коня. Работники подвели жеребца и помогли хозяину влезть в седло, а потом и сами уселись на лошадей.

— Поехали! — приказал начальник, и все трое двинулись к воротам...

— Постой, постой, — начал считать Гани. — Уже четыре дня, как мы бежали?.. Сегодня, выходит, 12 апреля? А, ну ясно. Праздник, — он бегом вернулся к Кусену. — Ну, друг, нам с тобой здорово повезло!

— Что случилось?

— Китайцы все перепились, празднуют...

— Что празднуют?

— Сегодня 12 апреля! Ну раз так, нам не придется ломать стену...

— А как же мы?..

— А мы сейчас охранника у ворот чик, вот с этого места и начнем свой путь мести!..

— Ойбай!..

Гани не ответил. Он стоял задумавшись. Вначале они хотели проломить ночью стену в конюшне и вывести двух коней. Но теперь Гани, увидев, что все перепились, что директор уехал, решил сделать по-другому. Надо разоружить пьяных чериков, проникнуть на завод, а если поднимется шум, пустить в ход оружие.

— Приготовься, Кусен, сейчас начнем!..

— Что начнем? — не понял Кусен.

— А в атаку пойдем. Не трусишь?

— Не болтай глупостей!

— Не обижайся, Кусен. Сейчас на обиды нет времени. Будешь делать все, что я прикажу. Ну, во славу аллаха...

Начало темнеть. В это время в конторе завода осталось на ногах только два черика да четверо изрядно пьяных работников, занятых какой-то азартной игрой. Остальные кто спал мертвым оном, кто вовсе ушел домой.

Гани и Кусен, взяв в зубы ножи, которые им дал Омарнияз, шли, прижимаясь к стене, к воротам с караульной будкой. Они остановились неподалеку. Караульный, может, уснул, во всяком случае из караулки ничего не было слышно. Гани сделал знак. Кусен пополз на четвереньках. Гани полз следом за ним на расстоянии примерно шести шагов. Когда Кусен приблизился к двери караулки, оттуда раздался крик:

— Пошла вон!

Видимо, караульному показалось, что подошла собака. Черик вышел из будки и стал осматриваться, но Гани одним прыжком подскочил к нему и ударом кулака свалил на землю. Тот рухнул, издав какой-то странный звук. Гани удивленно и смущенно посмотрел на свой кулак, и лишь когда Кусен пошутил:

— У него душа, по-моему, через зад от твоего удара выскочила... — пришел в себя и рассмеялся.

Они забрали у черика, лежавшего без сознания, винтовку и два патронташа, заткнули ему рот, связали и спихнули в сухую канаву. Взяв в руки винтовку, Гани направился в сторону ворот, но, попробовав их, убедился, что они заперты изнутри. Тогда друзья прошли вдоль стены до конюшни. Гани поднял на плечах Кусена и тот стал высматривать, где же второй черик. Но никого не было видно. Куда же он девался?

— Видишь что-нибудь? Ты чего там мешкаешь, да еще ногами перебираешь, у меня спина не железная...

Кусен спустился и сообщил, что черика не видно.

— Дай-ка я гляну. — Гани взобрался на спину Кусена, едва не переломив тому позвоночник. Кусен только крикнул. Ничего не увидев, батур собирался было залезть на крышу, как вдруг совсем рядом вспыхнула спичка. Огонь ее осветил черика. Он стоял на плоской крыше конюшни, опираясь на столб. Гани слез с плечей Кусена, и они пошли в сторону, где стоял черик. Вот они уже под ним. Черик прохаживается по крыше взад-вперед. Что делать дальше? Надо торопиться, ведь время идет. Может быть смена караула или вернутся эти самые Аамат и Мамат. Может, застрелить его? Нет... Нельзя поднимать шум...

Гани снова вскарабкался на плечи Кусена и тихо взобрался на крышу. Он оказался за спиной черика, но солдат все же услышал шум и стремительно обернулся. Однако огромная черная тень батура, нависшая

над ним, на секунду ошеломила его. Потом он пришел в себя и рванул с плеча винтовку, но было уже поздно. Гани как клещами сжал его горло. Подержав так черика с минуту, он приподнял его и сбросил с крыши. Вытер лоб и негромко сказал Кусену:

— Возьми у него винтовку и быстро иди к воротам.

А сам спокойно спустился по лестнице с крыши во двор и, подойдя к освещенным окнам конторы, заглянул внутрь: там вовсю шла игра. Игрокам было явно совсем не до того, что творится во дворе, даже если весь табун вывести с завода, то они вряд ли услышат. Гани прошел к воротам и открыл их, Кусен был уже здесь.

Он успел и винтовку забрать и даже форменную шапку черика на себя надеть. Гани рассмеялся, увидев его, но мысль Кусена ему понравилась и, поискав, он нашел и надел шапку первого охранника.

— Что ж, идем, брат черик.

Оба они осторожно двинулись в сторону конюшни. Над дверями там висел фонарь, тускло освещавший площадку вокруг. Внутри стояло много лошадей. Перед каждым стойлом висела табличка с указанием возраста и клички лошади. В углу спал человек, видимо, ночной дежурный. Когда они вошли в конюшню, лошади, почуяв незнакомых людей, встревожились и захрапели. Гани прошел мимо нескольких скакунов, от души любуясь ими, но, к удивлению Кусена, выбрал себе не самого породистого, зато мощного и сильного коня. Он погладил его по спине, ласково потрепал по холке. Скакун, как будто обрадованный, тихо заржал. Гани открыл перегородку. Кусен давно уже выбрал себе коня и тоже вывел его в проход...

Вдруг заворочался спавший в углу:

— Ух, черт, темно, не вижу ничего. Это ты, Мамат, вернулся?

— Да, — коротко ответил Гани.

— А Жан Чанджан тоже вернулся?

— Да.

— Что ты заладил: «да, да»! — Лежавший присмотрелся и, поняв, что люди чужие, вскочил, собираясь закричать, но Гани навел на него винтовку:

— Только пикни, пристрелю на месте.

— Не троньте коней, меня же сгноят в тюрьме! Умоляю! — бросился тот к Гани.

— Ах, черт, — Гани схватил его, но бить безоружного не смог. — Пошли тогда с нами, если боишься!

— Не могу, дети малые у меня... Вы что, в другом месте коней не

могли найти?

— Заячья душонка! — произнес Гани и словно лягушку поднял дежурного. Батур отнес его обратно к койке в углу, там связал его и заткнул ему рот. — Ну вот, теперь тебя твои хозяева не тронут, радуйся. Стоило бы, конечно, тебя, китайского холуя, прикончить здесь, да детей твоих жалко...

Они без происшествий вывели коней за ворота.

Когда два кайсара, вскочив на коней, двинулись в сторону Кульджи, кричали первые петухи.

Глава двенадцатая

Начальник управления безопасности Ли Йинчи был чрезвычайно озабочен. Даже в день праздника — 12 апреля — он пришел на службу и занялся первоочередными делами. Ему нужно было закрыть следствие по делу группы военных, арестованных в последние дни. Кроме того он должен был заниматься проведением трудных, утомительных допросов новых заключенных, прибывших в тюрьмы на место казненных или отправленных в трудовые лагеря. Необходимо не только допросить «новичков», но и по возможности склонить к предательству, а тех, кто не даст сразу согласия, попытаться запугать или обмануть. Нелегкая должность! А если не справишься со своими обязанностями, не угодишь Шэн-дубаню?.. Не дай бог! Ты сам тут же окажешься в числе этих заключенных и на своей шкуре испытаешь «меры устрашения»... Три предшественника Ли Йинчи узнали превратности судьбы и опасность своей высокой должности. Последнего из них пытал и потом убил Ли Йинчи. А тот, кого когда-то сменил этот, покончил с собой в камере, не выдержав пыток.

До праздника ли, до веселья и покоя, когда перед тобой такая перспектива?.. Ли Йинчи порою думал: бежать бы куда глаза глядят, чтобы не знать ни своей должности, ни высокой политики, ни власти, жить себе спокойно, где-нибудь в горах... Попробуй — убеги. Руки и ноги без веревок связаны.

Ли Йинчи сидел за большим столом, отдавшись невеселым думам, и бессмысленно листал страницы дел, совершенно не понимая их смысла. Но тут на его глаза попались свежие, только что полученные телеграммы. Он вынужден был взять их в руки, отбросил дурацкие мысли, некстати забредшие в голову, и принялся за работу.

Пробежав глазами текст телеграмм, он метнул бумажки на стол, будто они жгли ему руки:

— Хундан! Мерзавцы! — прошипел он и нажал на кнопку звонка. Тут же появился лейтенант. — Лю ко мне! — коротко приказал он.

Через минуту перед ним уже стоял, вытянувшись в струнку, запыхавшийся Любинди.

— Прочти! — Ли Йинчи показал ему на телеграммы.

Пробежав глазами текст, Любинди покрылся красными пятнами.

— Читай, читай, вслух читай! — приказал Ли Йинчи.

Любинди, хрипло откашлявшись, начал читать:

«На перевале Чигошу на караван с государственными товарами напали два неизвестных бандита и, захватив товары, раздали их дехканам близлежащих селений...»

Любинди задохнулся.

— Вторую!..

— «Два бандита... — хрипло начал Любинди, но тут у него перехватило горло. Лицо его побагровело, глаза вылезли из орбит, он стоял с раскрытым ртом, не в силах произнести ни звука. Ли Йинчи, глядя на Него, едва не расхохотался, но, сдержавшись, отвернулся, пряча улыбку. Любинди откашлялся и продолжал чтение: — ...за которыми была произведена погоня, убили преследовавших и скрылись в горах...»

Дальше читать Любинди не мог совершенно. Он стоял, держась рукой за сердце, и громко сопел.

Ли Йинчи с неприязнью посмотрел на него и спросил:

— Кто, по-твоему, могут быть эти два бандита?

— Я думаю, что это способен сделать только Гани...

— Гани?!

Услышав имя батура, Ли Йинчи затрясся от гнева:

— Бежал, разорвав кандалы!.. Убил двух чериков, угнал двух чистопородных коней!.. И вот уже пятнадцать дней он на свободе и делает все, что пожелает! Как я должен, по-твоему, докладывать Шэн-дубаню?! — Ли уставился на Любинди, как будто бы во всем случившемся виноват был только тот.

— Надо было его сразу прикончить вместо того, чтобы нянчиться с ним тут, тогда бы и не было этих неприятностей...

— Ну сколько можно убивать?! Не надоело?..

Любинди растерялся, услышав подобные слова. Он не понимал, сказаны ли они для его проверки или матерый убийца Ли Йинчи вдруг действительно разочаровался в своем ремесле. Но какое бы из этих предположений ни было верным, Любинди решил лучше отмолчаться и сделал вид, что не слышал слов своего начальника.

— Гани, — между тем продолжал Ли, не отрывая глаз от Любинди, — это опаснейший преступник. А если мы ему позволим соединиться с «шестеркой воров», что сейчас гуляют в горах Нилки, то он станет опаснее вдвое!

Любинди хорошо знал характер своего шефа. Ли Йинчи был способен

из каждого случайного слова раздуть такое дело, что сказавший это слово и тюрьмы бы оказался недостоин. Кроме того Любинди, дунганин по национальности, мусульманин по религии, хорошо знал, как к нему относится на самом деле все его китайское начальство, начиная с самого Шэн Шицая. Его использовали, но он оставался чужаком, в любой момент с ним могли расправиться по любому поводу, не задумываясь ни на минуту. Кроме того, он был свидетелем, который очень просто мог стать нежелательным. И потому он изо всех сил старался быть предельно осторожным и обдумывал каждое свое слово, каждый жест, каждый взгляд.

Помолчав, Любинди сказал:

— По-моему, в народе никто не станет защищать «шестерых воров». Их не любят.

— Это еще почему?

— Главарем у них татарин по имени Патих...

— Постой! — Ли Йинчи поднял вверх указательный палец. — Что же, по-твоему, этот народ только тогда станет поддерживать наших врагов, когда ваш Мухаммед сам восстанет из гроба, придет из своей Мекки и лично возглавит этих разбойников? А покуда это не случилось, мы можем быть спокойны, и воров будут ждать неудачи?

— Нет, конечно, это не так, но все равно Патих вряд ли может рассчитывать на любовь дехкан. Его не принимают всерьез и помогать ему не станут, — ответил Любинди.

— Так ты уверен, что за Патихом никто не стоит, что за ним нет никаких организованных сил?

— Наверняка утверждать не могу, уж в очень сложное время мы живем, но в такое плохо верится.

— Ну что ж, может быть, ты и прав, Лю... — задумался Ли Йинчи. После паузы неожиданно перешел совсем к другому. — Сейчас в народе стали распространяться уйгурские газеты и журналы, выходящие в Алма-Ате и Ташкенте. Ясно, конечно, кто это делает, кому нужно распространять коммунистические издания. Но мы до сих пор не можем напасть на след этих деятелей! Хотя я уверен, что в крае существует хорошо законспирированная подпольная организация. Уверен!

— Арестованные из числа молодежи в Кульдже, Урумчи, Чугучаке на допросах ничего не могли сказать о подобной организации. Допросы велись активно. Если бы организация была создана, я думаю, мы бы хоть что-нибудь о ней да услышали.

— Плохо работаем, ой как плохо мы работаем!.. — вдруг закричал, все повышая голос, начальник управления. — Благодушествуем! Не зря нас

предупреждает господин Шэн Шицай! Его превосходительство прямо указывал: «Если три злоумышленника, думающих одинаково, объединятся — это уже ячейка организации, это крайне опасно!» Предупреждаю вас: наша первая обязанность, самый важный наш долг — это борьба со сторонниками коммунистической России. Каждый наш день должен быть заполнен борьбой с этими подрывными элементами!

Любинди сам прекрасно знал, что каждая мысль Шэн Шицай, претендовавшего на место вождя края, немедленно становилась руководящей идеей в деятельности местной власти. Перед глазами его, словно кадры в ленте кинохроники, промелькнули сцены расправы с тысячами интеллигентов, студентов, вообще молодых людей, обвиненных в симпатии к СССР, их аресты и допросы, пытки и казни. Но как ни расправлялись со сторонниками сближения с Советским Союзом, число их не уменьшалось, напротив — росло с каждым днем. Почему это происходило? Ответ на этот вопрос не могли (а может, и могли, но уж очень не хотели) дать ни Шэн Шицай, ни Ли Йинчи, ни даже Любинди...

— Не мне говорить тебе о том, что сейчас Илийский край и его центр — Кульджа находятся на грани взрыва. Именно оттуда идет эта советская зараза. Для того, чтобы с ней бороться, чтобы применить наиболее эффективные меры для ликвидации страшного зла, нужен человек, хорошо знающий этот район и его народ. Мы решили послать туда тебя! В качестве личного представителя господина Шэн Шицай!

— Но ведь я...

Любинди не знал радоваться ли новому назначению или страшиться его. И поскольку сейчас ему не хотелось разбираться в своих чувствах, он предпочел обидеться на шефа за то, что тот так медлил с известием о новом назначении. «Чем тянуть кота за хвост, мог бы уж и сказать сразу! Для чего мозги крутил?»

— Еще раз напоминаю: в Кульдже несомненно существует какая-то подпольная организация. Я не знаю, кто они: может, «республиканцы», может, «уйгуристанцы», может, «исламисты», суть не в названии, суть в том, что такая нелегальная группа существует. А это — начало бунта, предвестие восстания. И поэтому чрезвычайно опасным представляется появление там и этой «шестерки воров», и, конечно, Гани, который непременно попытается объединиться с ними, а может быть, и возглавить их. А если с ними соединится и подпольная группа, о которой я говорю, — быть большой беде!

— Совершенно верно... — вздохнул Любинди. Он вспомнил Гани на допросе, вспомнил, как батыр отвечал самому Шэн Шицаю. Да, от такой

дерзости мороз по коже!

— В центре твоего внимания должны быть: подпольная организация, «шесть воров» и Гани. Ты обязан помешать объединению этих трех сил. Во что бы то ни стало обязан! Мы считаем, что ты это сможешь сделать. Только ты, и никто другой. Мы верим тебе, Лю!

— Я сделаю все, чтобы оправдать ваше высокое доверие! — вскочив с места, напыщенно произнес Любинди.

— Ну и прекрасно. Я всегда ценил тебя... А теперь пойдём к господину Шэн Шицаю. Он хочет побеседовать с тобой перед отъездом.

Получив инструкции от самого Шэн Шицая, Любинди-Мухаммар на следующий день специальным самолетом вылетел в Кульджу.

Глава тринадцатая

В 1944 году народы Синьцзяна были уже доведены до крайности злым гнетом реакционных правителей-колонизаторов. В крае то там, то тут стали возникать подпольные группы. Число их увеличивалось день ото дня. Они готовили выступления против власти угнетателей. Наступал тот критический момент, когда должен был произойти взрыв — народ поднимется на открытую борьбу против врага.

Одной из таких групп была нелегальная организация «Свобода» в Кульдже. Хотя она не была партией в настоящем смысле этого слова, не имела четкой программы, твердого устава, все же эта организация, объединившая в своих рядах представителей разных классов и слоев населения была большой общественной силой, противостоящей гомиьндановскому режиму.

«Свобода» являлась действительно очень социально пестрой организацией. У ее руководства стояли и представители духовенства, и купцы-торговцы, и отдельные земледельцы, даже некоторые баи. Но были в этом руководстве и люди, представлявшие передовую интеллигенцию края. Как бы ни различались политические взгляды лидеров «Свободы», их всех объединяла великая цель — стремление прогнать с территории своей родины иноземных поработителей и добиться национального освобождения.

Сегодня вожаки левого крыла этой организации — Рахимджан Сабири, Абдукерим Аббасов, Касымджан Камбари — вели долгую серьезную беседу.

— Любинди, приехав, с ходу взялся проводить «большую чистку», — рассказывал товарищам молодой Абдукерим Аббасов. Он работал переводчиком в местных органах власти и приносил в организацию много ценных сведений, часто имевших строго секретный характер, об их деятельности.

— Значит, снова — чистка, снова аресты!.. Ведь сажать-то уже некуда, все тюрьмы переполнены, — вскочил с места Рахимджан Сабири.

— Эта чистка направлена прежде всего против сторонников Советского Союза, — пояснил Аббасов.

— Понятно. Еще недавно уйгуров забирали под предлогом обвинений в панисламизме, пантюркизме, шпионаже в пользу Англии или Японии. Теперь на нас решили надеть колпак русских слуг. Новая выдумка Шэн-

дубаня! — усмехнулся Касымджан. Он только недавно получил свободу после шестилетнего заключения, и ему были хорошо известны политические ходы гомиьндановцев, обвинявших борцов за национальное освобождение в самых разных «политических преступлениях».

— Разговаривая со мной, Любинди намекнул, что по его данным здесь, в Кульдже, существует группа или организация, действующая против правительства, и что за ней стоят Советы. Судя по тому, что он говорил, он прибыл сюда с целью прежде всего разгромить эту организацию, а также захватить известных «шестерых воров», прячущихся в горах Нилки. По его мнению, они также связаны с этой организацией, — дополнил Аббасов.

— Да, Любинди для нас очень опасен. Ведь он вырос в Кульдже, прекрасно знает местные условия и особенности. Все-таки нельзя недооценивать Шэн Шицая, это опытный и сильный враг. Посмотрите, какого он подобрал человека против нас... В случае, если наша организация будет раскрыта, выйдет, что ее разгромили не власти, а «свой человек», кульджинец. Так сказать, сам народ отверг смутьянов, — усмехнулся Касымджан и твердо добавил: — Нам необходимо в первую очередь предупредить всех членов организации о предельной осторожности. Кроме того, нужно распространить в народе листовки, разоблачающие подлинное лицо предателя Любинди, его жестокость и лицемерие.

— Если Любинди проведет жесткую чистку, мы наверняка лишимся многих наших товарищей. Он запрячет в тюрьму лучшие наши силы, в этом не приходится сомневаться. Поэтому необходимо также связаться с теми, в горах Нилки, и готовиться к вооруженному восстанию!

— Вполне согласен с вами, Рахимджан-ака, это своевременно. И внешняя и внутренняя ситуация сложилась в нашу пользу. Германские фашисты на западе и японские милитаристы на востоке терпят сегодня крах. Они доживают последние дни. Во Внутреннем Китае широко развернула деятельность Коммунистическая партия. Китайский народ под ее руководством поднялся на борьбу за свою свободу. Мы должны воспользоваться сложившимся положением. Пора поднять знамя, я уверен, что народ поддержит нас, люди повсюду только и ждут освобождения! — воскликнул Аббасов. Хотя этому молодому революционеру исполнилось всего двадцать шесть лет, он был уже опытным подпольщиком. Среди передовой молодежи он пользовался, огромным авторитетом.

— Как говорят, куй железо, пока горячо. Мы не должны упустить эту возможность для восстания, — поддержал Аббасова Рахимджан. — С нами

согласны и товарищи из Суйдуна, Куры, Чилпанзе, которые уже сообщили о своей готовности к выступлению.

— Все это правильно, но мы должны четко решить самый важный вопрос: когда и где начать восстание? В Кульдже или в Нилке? Нам нужно в этом вопросе прийти к единому мнению, — сказал Касымджан Камбари.

Касымджан Камбари был один из тех, кто своей просветительской деятельностью стоял у истоков развития новой национальной культуры уйгуров. Шесть лет провел он в тюрьме, но, выбравшись на свободу, немедленно вошел в организацию «Свобода» и развернул в ней самую активную деятельность.

Поскольку мнение всех троих относительно необходимости восстания оказалось единым, они пришли к решению поставить этот вопрос перед всем руководством организации и перешли к обсуждению других важных проблем.

— В связи с Любинди нам необходимо обратить внимание на еще одну сторону, — сказал Аббасов. — У него в планах несомненно замысел сближения с местной знатью и богачами. Недавно он передал некоторым нашим «лучшим людям» подарки от Шэн Шицая.

— Старая песенка. Чисто азиатская политика — обман, уловки, лезть и подлые укусы исподтишка. Он хочет использовать местную знать против нас и против «шестерых воров», — вскочил с места Рахимджан.

— Как раз сейчас идет беседа Любинди с представителями знати в доме у Тальгата Мусабаева, так сказать, дружеское застолье.

— Тальгат, опять этот Тальгат! Что за человек! Только деньги! За деньги он готов на все. Добывает их здесь, тратит в Турции, — с гневом воскликнул Касымджан. — Ох, уж эти Мусабаевы...

— Насчет Тальгата это верно... — раздумчиво проговорил Рахимджан. — Но нельзя одинаково относиться к нему и, например, к покойному Бавдун-баю, который открыл в Кульдже и Кашгаре школы нового типа, строил современные заводы, а ведь он тоже Мусабаев.

— Не сможем ли мы как-нибудь использовать Тальгата? Ведь вы, кажется с ним знакомы, Рахимджан-ака, и вроде даже дружны?

— У Тальгата один друг — деньги!

— Точно! — поддержал Рахимджана Касымджан. — От таких, как Тальгат и ему подобных, народу, нации никакой пользы нет и не будет. И с ними нам нельзя связываться, нельзя!

— Я же не предлагаю ввести Тальгата в наши ряды. Но по возможности использовать его все-таки следует. Я думаю, его все равно надо иметь в виду.

— Нет, нет и нет! Связавшись с Тальятом, мы только скомпрометируем наше дело, в этом у меня нет сомнения. Я полагаю, лучше наоборот припугнуть его и рассказать народу о его связи с Любинди и китайскими властями.

В конце концов с этим решительным требованием Камбари, поддержанным Рахимджаном, согласился и Аббасов.

Когда тройка товарищей обговорила все вопросы, связанные с деятельностью организации, Рахимджан сказал:

— Я хочу вам сообщить одну радостную весть. Из тюрьмы в Урумчи бежал один кайсар, который, на мой взгляд, чрезвычайно нужен нам.

— Кто это?

— Гани!

— Гани?! — воскликнул Касымджан. — Я о нем еще в тюрьме слышал много чрезвычайно интересного.

— А где же он теперь? — спросил Аббасов.

— По словам Касыма-мираба, двое суток назад, ночью, он встретился с Гани на берегу Ак остана.

— Значит, Гани снова в наших, краях? Но ведь его могут здесь схватить, — заволновался Касымджан.

— Касым-мираб обеспечил его одеждой, пищей, дал двух коней...

— И куда он направился?

— Этого Гани не сообщил. Но он, кажется, хочет увидеться со мной...

— Следовательно, надо во что бы то ни стало встретиться с ним и предупредить его о наших планах.

— Я уже направил на его поиски двух верных джигитов. Одного в сторону Каш-Карабага, а второго в Чулукай и Булукай.

Разговор прервал условный предупреждающий стук в дверь. Собеседники переглянулись, разлили по бокалам вино, Аббасов с Касымджаном уселись за шахматную доску, на которой были расставлены фигуры, а — Сабири вышел, но скоро вернулся. Судя по широкой улыбке, у него были радостные новости.

— Что-то хорошего узнали, Рахимджан-ака? — быстро спросил Аббасов.

— С вас суюнчи за радостную весть...

— Если весть твоя и вправду радостная, мой подарок готов, друг, — сказал Камбари, показывая на большой пакет, который он принес с собой. — Я дам тебе рулон ткани.

В последнее время в связи с тем, что торговля с Советским Союзом почти прекратилась, материи в Синьцзяне не хватало. Дошло до того, что

порой покойника не во что было завернуть, чтобы похоронить.

— Такой подарок равен целому жеребцу, говори же, Рахимджан-ака.

— Человек, о котором мы только что говорили, Гани...

— Что, пришел Гани?!

— Нет, сам он сейчас прячется в горах, но он прислал ко мне своего товарища по имени Кусен.

— Кусен? Дай-ка вспомнить. — Камбари задумался. — А-а, в Урумчи, в тюрьме номер пять, я слышал об одном Кусене, казахском джигите. Даже видел однажды. Говорили, что отличный парень. Уж не он ли это? Знаю, что он сидел в одной камере с Гани. Да, наверно, это он.

— Может быть, и он, но все же... — осторожно сказал Аббасов.

Все трое задумались. Ведь нельзя было исключить и возможности того, что это провокация опытного в подобных делах Любинди. Он мог узнать о тайной сходке в доме Рахимджана и послать сюда своего человека. Ведь ему могла стать известна давняя дружба Гани и Рахимджана, ее ни тот ни другой не скрывали. В связи с Гани могут подозревать и Касымджана, ведь он с ним находился в одной тюрьме. И сейчас, в такое трудное время, невозможно доверять каждому, кто придет и скажет: «Я от Гани, верьте мне...»

— Сердце говорит мне, что ему можно верить, — сказал Рахимджан, прерывая тяжелое молчание.

— Мне тоже хотелось бы верить ему, — вздохнул Касымджан. — Но разве он ничего не сказал такого, что подтвердило бы, что он знает Гани и пришел действительно от него. Может быть, условный знак какой-нибудь или напоминание о чем-нибудь...

— Этот джигит сказал, что Гани просит передать мне: он недаром провел время в тюрьме и выучил десять куплетов «Ханлайлуна», о чем извещает Жами-тамбура. Я думаю, это и есть условный знак, Гани всегда любил такие штучки. — Рахимджан рассказал, как когда-то Махаматджан с Жами исполнили все пять разделов «Ханлайлуна».

— Ну что ж, это уже о чем-то говорит... — задумался Аббасов. — Но вы, надеюсь, пока ничего не сказали ему?..

— Я только выслушал его, но ничего ему не ответил. Мы договорились встретиться вечером.

— Если позволите, я с ним поговорю. Может, узнаю его.

— А о чем вы с ним будете говорить? — Аббасов посмотрел на Камбари.

— Я его проэкзаменую. Если он действительно был в урумчийской тюрьме и сможет рассказать мне об особенностях тамошнего образа жизни,

то он точно — Кусен. Ну, а если запутается, то тогда Рахимджан может смело докладывать Любинди, что раскрыл сообщника Гани.

В тот же вечер Рахимджан вместе с Камбари встретился с Кусеном у себя на загородной даче. Здесь и был принят «экзамен». Кусен обстоятельно рассказал о тюрьме в Урумчи, о расположении камер, о приемах стражников, о кабинетах, где проводились допросы, о людях, с которыми сидел вместе, рассказал все, даже назвал клички, которые узники дали караульным к начальству тюрьмы.

Товарищи нашли, что Кусен не похож на подсадную утку. Его речи не производили впечатление заранее подготовленных. Он без затруднений отвечал на все самые сложные вопросы Камбари, а тот за годы своего заключения досконально изучил порядки и нравы урумчийской тюрьмы. Кроме того, Кусен сразу же узнал Камбари и напомнил, когда и при каких обстоятельствах они виделись в тюрьме.

— Ты ведь прежде никогда даже не бывал в Кульдже, как же ты нашел дом Рахимджана?

— Гани мне рассказал, как пройти к этому дому, — ответил Кусен и улыбнулся.

— Чему ты улыбаешься?

— Дом Рахимджана, находящийся на самом краю города, может без труда отыскать любой мальчишка.

— Откуда ты так хорошо знаешь уйгурский язык?

— Я с самого детства рос вместе с уйгурами. Пас стада суйдунских баев.

— За что тебя посадили в тюрьму?

— В наше время, думаю, трудно найти джигита, который не побывал бы в тюрьме...

Камбари и Рахимджан улыбнулись.

— Вот ты говоришь: «в наше время». Верно, время нелегкое. А не боишься, что поскольку время нынче такое, то мы тебя сейчас сдадим куда следует?

— Ну, если такие люди, как вы, окажутся способными на предательство, то тогда зачем вообще жить в этом мире?

— Что ты должен передать Гани от нас? Чего он хочет?

— Первое: как дела у Рахимджана, чем он живет? Второе: кто такие «шесть воров» и как с ними можно связаться? Вот с этими двумя вопросами я и прислан.

— Вы с Гани хотите соединиться с шестью ворами или с шестью героями, шестью кайсарами? — спросил Касымджан Камбари.

Кусен ничего не ответил и посмотрел на него удивленно и обиженно.

— Те, кого угнетатели называют «шестью ворами», — на самом деле не воры, а бунтари, смельчаки, герои, кайсары, — пояснил Рахимджан.

— Да Гани еще в тюрьме слышал кое-что о них и решил непременно с ними связаться. А где Гани, там и я, — объяснил Кусен.

— Значит, цели у вас ясные и ради них вы пойдете на все?

— А как же иначе? Зачем бы я в городе зря болтался, — твердо ответил Кусен и рассказал о том, что они с Гани обдумали еще в тюрьме.

— Ты знаешь, как Гани верит Рахимджану. Как ты посмотришь на то, чтобы выполнить одно поручение Рахимджана? — спросил Касымджан, глядя в глаза Касену.

— Ойбай! Я ведь для того и пришел к вам, чтобы получить от вас указания. За этим меня и послал Гани! — встал с места Кусен.

— Сиди, сиди, — по-дружески взял его за плечо Рахимджан, — мы верим тебе. И довольны, что Гани именно тебя послал к нам. Мы были очень обрадованы, услышав о вашем побеге, и искали пути, чтобы связаться с Гани. А тут ты сам, к счастью, явился.

В этот же вечер Кусен, выслушав от Рахимджана и Камбари все, что они сочли необходимым сообщить Гани о «Свободе», ее действиях и планах, отправился в обратный путь. С этого момента казахский джигит стал одним из связных между Гани и Кульджинской подпольной организацией, а также между ними и шестеркой кайсаров.

* * *

Долгий нудный дождь, безостановочно ливший три дня, размыл землю. Но вот и ему пришел конец. Дождевые капли сверкали на листве деревьев и траве словно драгоценные камни, когда из-за облаков показывалось солнце. А оно, будто хотело уподобиться кокетливой девушке, которая то выглядывает из-за ставни, то прячется в глубину комнаты, — то бросало на землю быстрые яркие лучи, то вновь пряталось за тучи. Небольшие мирные ручейки, наполнившись сбежавшей с гор дождевой водой, превратились в бурливые потоки, стремительно мчавшиеся в долину.

Лишь на четвертый день тучи окончательно рассеялись и небо высветлилось. Солнце уже не пряталось. От обласканных его жаркими лучами деревьев, горных цветов и трав далеко вокруг разносилось крепко настоенное на хвойном аромате благоухание. Горы, горы, как вы

прекрасны, какую приносите вы усладу сердцу, какое блаженство телу!

Словно красотой прекрасной молодой женщины любовался Гани окружавшей его природой. Гани очень любил горы. И любил народ, который жил в этих горах. А располагались здесь, в основном, казахские аулы, занимающиеся скотоводством, и в этом деле не знающих себе равных в этом краю. Жизнь Гани часто бывала тесно связана с казахами, потому что значительная часть ее протекала в горах. Горы и горцы много раз приходили ему на помощь, давали надежный приют. И теперь, бежав из тюрьмы, он укрывался в горах. И его старые друзья, казахи и калмыки, с распростертыми объятиями встретили его. За несколько дней он забыл о своих ранах, болезнях, о своей слабости, которая так неожиданно сковала ему ноги после побега...

Звучавшая где-то недалеко песнь табунщика, молодого джигита, песня о несчастной, неразделенной любви, которую певец исполнял голосом, полным тоски и печали, переворачивала всю душу Гани-батура. Перед глазами вставала Чолпан и спрашивала: «Почему ты покинул меня? Где ты теперь?» «А ты где, Чолпан? Жива ли? Если жива, то, может, давно уже забыла меня?» Гани вскочил с земли, будто бы кто-то подкинул его! Так еще в тюрьме, поздней ночью вспомнив вдруг о Чолпан, он вскакивал с места, гремя кандалами, пугая заснувших товарищей. Но ведь сегодня его ноги не скованы кандалами, путь ему открыт, он сегодня свободен, как тот беркут, которого он когда-то видел из окна камеры. Ведь он сейчас может, усевшись на своего скакуна, направиться в Кульджу и отыскать свою Чолпан... Но нет, сделать это невозможно. Он обязан дожидаться Кусена. Пока не вернется Кусен, ничего нельзя предпринимать...

Гани вновь бросился на мягкую траву и долго молча глядел в небо. Его быстрые мысли устремились далеко отсюда, на равнину. Гани не заметил, как, отдавшись своим мечтаньям, уснул. Отдыхали и спутники батура, его новые товарищи, присоединившиеся к нему в последние дни.

Кусен вернулся к ночи, когда пастухи уже пришли в аулы с горных пастбищ. Выслушав радостные новости, принесенные другом, Гани больше не мог сдерживать себя. Он побежал к коню и, вскочив в седло, понесся вскачь. С некоторым недоумением последовали за ним и его товарищи.

Глава четырнадцатая

Человек, нашедший надежную поддержку для осуществления своих замыслов, подобен тому, кто из тьмы выбрался к свету, из узкого извилистого переулочка вышел на широкую прямую улицу. После того, как была установлена связь с Рахимджаном, Гани чувствовал себя так, будто перед ним засветилась яркая звезда, освещающая путь к заветной цели. Теперь он не один. Сотни товарищей окружают его, и в организации «Свобода», и в отряде «шестерых кайсаров». Теперь он будет биться за свободу своей родины в одном ряду с ними. Всю свою жизнь он искал дорогу к этой борьбе, сколько раз ошибался, блуждал в темноте, не знал, что делать, тщетно искал выхода из тупика. И вот теперь его путь освещен и ясен, он знает, что делать, с ним такие люди, как Рахимджан. Гани чувствовал прилив сил, вдохновения и бодрости. Теперь никто не сможет остановить его на пути к свободе и счастью...

Скакун батура, словно чувствуя, что хозяин торопится к желанной цели, несся как на крыльях, почти не задевая ногами земли. И Гани думал: умный конь знает цель всадника. Он создай для Гани так, как сам Гани рожден для своего народа...

Достигнув к утру Булукая, он вместо того, чтобы идти на север, вдруг повернул коня на юг, а затем, когда путники забрались в густой тальник, сделал товарищам знак спешиться. Те, хотя и удивлялись в душе, молча повиновались ему.

Когда все расселись на берегу речки, Гани весело посмотрел на спутников и спросил:

— Так что же мы, все такие джигиты, а с пустыми руками пойдем?

Товарищи его не поняли, что хочет сказать Гани, и недоуменно переглянулись.

— Вот что, вы отправляйтесь в Улустай, узнайте там обстановку и возвращайтесь сюда.

— А ты? — спросил Кусен.

— Я здесь, в Булукае, кое-что погляжу... — и, больше ничего не сказав, Гани сел на коня. Его товарищам тоже пришлось отправиться своим путем.

...Хажакан трудилась в огороде, поливала овощи, когда вдруг увидела, что кто-то быстро перемахнул через невысокий глинобитный забор ее-двора. Хажакан спряталась за урюком. Конечно, богатырше не

страшен никакой грабитель, но ей хотелось узнать, что это за нахальный ворюга махнул в ее двор на ночь глядя.

А тот, между тем, немного посидел, ожидая шума, но после того, как убедился, что все тихо, привстал и двинулся в сторону огорода. Там остановился у грядок и стал оглядываться.

— Кого я вижу, это ты, мой палван? — узнав Гани, Хажакхан выскочила из-за урюка. Счастливо улыбаясь, она широко распахнула руки и несколько раз прижала Гани к своей могучей груди, приподняв его над землей. Потом, не в силах сдержаться, заплакала от радости.

— Ну что ты, медведица, осторожнее, ребра переломашь, — засмеялся Гани, но в голосе его слышалась нежность.

— О аллах, неужели бывают дни, когда и тебя можно увидеть?! Ну-ка, дай я, на тебя еще посмотрю, ты ли это на самом деле, взаправду ты?!

Хажакхан так и пела, ликуя:

— Идем же в дом, мой золотой, братик мой, ах, как славно, что ты пришел, идем в дом... — тянула она его за руку.

— Постой, Хажакхан-хада. Не могу я сейчас задерживаться. Давай здесь где-нибудь поговорим, сама знаешь...

— Знаю, знаю: услышав о том, что ты бежал из тюрьмы, мы тут все от радости места себе не могли найти. Ходжак-шанъё все у нас перерыл со своими чериками. Друзья твои наготове, ждут. Юсуп тоже заждался тебя, ищет повсюду.

— Юсуп? А он разве здесь?

— Вот только что отправился в Чулукай. Да и я в Булукай только сегодня вернулась.

Обмениваясь новостями, они подошли к беседке в углу сада, выстроенной среди густых зарослей виноградника.

— Тороплюсь я, если есть у тебя что для меня интересное, говори сразу, не тяни.

— Ну что тебе рассказать... Дочь твоя уже подросла, братья живы-здоровы. Правда, здорово из-за тебя им досталось, крепко их мучили, да и сейчас держат в черном теле как родственников преступника. Друг твой Махаматджан тоже попал в тюрьму... В стороне Каш-Карабага повсюду бродят черики и люди Хакима-шанъё. Туда и носа не смей совать, сразу попадешься им в руки.

— Об этом я слышал от Касыма-мираба. Что еще нового? — спросил Гани. Ему хотелось что-нибудь узнать о Чолпан, но он не решался прямо спросить об этом. А Хажакхан, зная, конечно, чего он ждет от нее в первую очередь, специально не заводила об этом речи, а потом решила перевести

разговор на другое. Уж очень не хотелось ей расстраивать Гани.

— Ты помнишь Зайнап, которую как-то спас от рук Хакима? Они прекрасно живут с мужем. У них сын и дочь.

— Они здесь, в Булукае?

— Да, здесь.

— А почему ты молчишь о своем братишке Шерипхане, как он?

— Га-ани...

Хажакхан заплакала и запричитала.

— Ну что ты, Хажакхан, ты же никогда не была плаксой. В тюрьме, наверно, Шерипхан? Не переживай уж слишком. Твой братишка такой джигит, из любой дыры выберется!

— Оттуда не выбируются. Нет оттуда дорог... — еще сильнее заплакала Хажакхан. — Убили его, застрелили...

Гани опустил голову. Он несколько раз повторил про себя: «Застрелили, застрелили...» Он не стал спрашивать — почему, за что. Разве он, Шерипхан, один? Сколько их, убитых, замученных за эти годы? Вот и Шерипхан... Какой был парень!.. Гани прекрасно помнил веселого, никогда не унывающего джигита, который силой был под стать своей сестре. Лет шесть тому назад теплым летним вечером Гани и Махаматджан возвращались из города домой. Были они слегка навеселе, озорничали по дороге, распевали песни. Когда добрались до Худиярюзи, дорогу им внезапно преградил какой-то всадник, поставивший своего коня поперек пути, мешая им проехать. Гани был вне себя от гнева. Еще издали крикнул: «Прочь с дороги! Тебе, похоже, жить надоело?»

— Если ты и есть Гани-палван, — ответил всадник, нисколько не пугаясь угрозы батыра, — то попробуй пройти здесь.

— Ах так?! — Гани стеганул камчой коня и понесся к наглецу. Подскочив к нему, он схватил того за пояс и хотел рывком скинуть на землю, как козленка. Но всадник даже не шелохнулся, и Гани сам едва не вылетел из седла. А джигит взмахнул камчой и так врезал Гани меж лопаток, что батур, никогда в своей жизни не испытывавший ударов подобной силы, с величайшим трудом удержался на коне, обхватив его шею. Стиснув зубы, Гани снова бросился на джигита. Или внезапное унижение заставило батура собрать все силы без остатка, или его противник сам решил уважить славу и старшинство Гани, как бы там ни было, но противник все-таки оказался на земле. Оба палвана тут же забыли об ударах, нанесенных друг другу, и обнялись. Шерипхан — это был он — пригласил друзей к себе домой в Булукай и три дня они гостили у него. Вот в этом доме, возле которого в огороде сидит теперь Гани...

Но Шерипхана больше нет. Если б он остался жив, может быть, стал бы теперь правой рукой Гани... Батур тяжело вздохнул и стремительно встал с места — будто кто-то его поднял.

— Что делать, Гани, мой родной... Хоть бейся головой о камень, он не вернется... Теперь ты для меня брат вместо Шерипхана, ты занял его место в моем сердце...

— У меня к тебе есть одна просьба. Но сможешь ли ты сейчас заняться? — спросил Гани.

— Конечно, смогу. Куда бы ты ни позвал меня, что бы ни поручил, все выполню. — Хажакан встала рядом с Гани. Она оказалась лишь чуть ниже Гани, да и богатырской статью ему не намного уступала.

— Тогда вот что. Сегодня тебе надо найти в Чулукае Юсупа Белоголового. Скажи ему, чтобы завтра, не позднее полудня, он ждал нас у реки Булукай.

— А я, я что буду делать? — обиженно спросила богатырша. — Ты опять решил меня из-за того, что я женщина, в стороне оставить...

— Ну что ты? Да я такую медведицу ни на одного мужчину не променяю. Придет время, ты еще и ружье в руки возьмешь. Ну, а пока для тебя найдутся другие дела. Есть у тебя конь?

— Нет, того моего скакуна черики забрали, давно уже...

— Ладно, коня я тебе достану...

— Не надо, я сама достану. Говори, что делать!

— После Юсупа поедешь в Ак остан к Касыму-мирабу и скажешь ему: пусть он, не дожидаясь меня, пошлет тех джигитов, которых приготовил, в Нилку к «шестерым кайсарам». Поняла?

— Что я, по-твоему, такая дура, что простых вещей не понимаю!

— Ну вот, для начала и все. Теперь я тронусь в путь. Да, если Бавдун захочет, его тоже направь к нам. Ну, до встречи!..

— Подожди, хоть холодного чего-нибудь выпей!

— Коли катыком угостишь, не откажусь.

Хажакан не стала будить невестку, жену Шерипхана, сама вынесла катыка и хлеба из кладовой. Гани, не отрываясь, выпил целый бурдюк катыка. Она с восхищением смотрела на него, потом обернула хлеб в скатерку и подала батуру.

Назавтра в назначенный срок в условленном месте собрались все друзья. Юсуп Белоголовый пришел вместе с Бавдуном. Юсуп, как обычно, знавший любую мелочь, происходившую в округе, рассказал Гани обо всем, что могло интересовать батура. Он знал так много, что мог бы говорить, кажется, без конца.

— Подожди, Юсуп, не спеши... Давай самое главное. Во-первых, что с Махаматджаном?

— Я разговаривал с Билалом, что сидел с ним в одной камере. Значит так: все, кто был арестован за связь с тобой — Махаматджан, Галдан, Камаш, — пока живы...

— Они живы, а кто нет? Как остальные? — Гани внимательно посмотрел на Юсупа. — Ты что-то скрываешь от меня?

— Нет, просто обо всех я не знаю...

— Что с Нусратом-халпатом?

— Мне неизвестно...

И от Юсупа не услышав ничего о судьбе Чолпан, Гани сильно расстроился. Он долго сидел молча, но потом, видимо, что-то придумав, неожиданно упрости у Кусена:

— Ты говорил мне, что в Улустае сейчас находятся пять-шесть чериков? Так?

— Да, у них там контрольный пост, проверяют всех, кто проезжает.

— Главный у них там гад по имени Ван Вин. Вот змея. По жестокости и коварству всем ванам ван! А рядом с ним ошивается известный тебе Теип, — добавил Юсуп.

— И он с ними? — удивился Гани.

— О! Сейчас ты его не узнаешь... Нынче люди, услышав, что он идет, спешат убраться поскорее по домам, чтобы ему на глаза не попадаться, — добавил Юсуп.

Гани прикусил губу, задумался.

— Ты дом его знаешь?

— Точно не знаю, но слышал, что где-то за кладбищем, — ответил Юсуп.

— Поехали к нему в гости! — Гани направился к коню, товарищи последовали его примеру. Никто не ведал, зачем они едут, но никто и не стал спрашивать. Зная окрестности, словно свои пять пальцев, Гани сам вел их. Вскоре они достигли небольшой рощицы, где батыр приказал спешиться.

Джигиты, стреножив коней, пустили их пастись.

— Ну что ж, и нам надо бы перекусить, — сказал Гани, умывшись в ручейке. — Что у тебя там есть, Нурахун?

— Есть катык и мясо вареное.

— У меня есть хлеб и яйца, Хажакан дала, — добавил Юсуп.

— А водки нет у тебя?

— Если поискать, то найдется...

— Давай, поищи... Я думаю, нам не помешает сейчас пропустить по глотку. — Гани уселся за камень, джигиты расположились вокруг, и они наскоро пообедали.

— Так. Теперь ты, Юсуп, пойдешь потихоньку вперед и узнаешь, дома ли Теип-коротышка. А дальше посмотрим, что делать.

Когда Юсуп отправился в путь, было уже совсем темно. Улустай находился недалеко, за соседней горой.

— А мы, пока не вернется Юсуп, немного подремлем. — Гани разулся, положил под голову бешмет и тут же захрапел. Кусен, Бавдун и Нурахун сидели рядом со спящим батуром, охраняя его покой, и тихо переговаривались. Нурахун был тоже одним из старинных верных друзей Гани. Услышав о том, что батур бежал из тюрьмы и бродит где-то в окрестных горах, Нурахун не смог усидеть дома, отправился на его поиски и вскоре нашел в горах неподалеку от Желилюзи. На радостях Нурахун зарезал громадного барана и раздал его мясо беднякам (вот только, где он взял этого барана, никто и не узнал). Теперь он ни за что не расстанется с другом Гани, за ним и на смерть пойдет!..

Не прошло и часа, как вернулся Юсуп. Он узнал, что Теип недавно отправился в гости к своему тамыру в аул Манапхана.

— Аул Манапхана неподалеку, он еще не переехал на джайляу, — сообщил Нурахун, а потом добавил: — Оба эти тамыра два сапога пара — и тот такой же предатель, как и Теип.

— Ну что ж, значит, мы сейчас с ними обоими и побеседуем, — проговорил Гани, вставая со своего каменного ложа.

Теперь их повел Нурахун. Перевалив через два холма и пройдя через две лощины, они добрались до нужного места. На поляне стояло около десятка юрт. Перед большой юртой в центре аула горел костер. В его свете виделись людские фигуры. Больше никакого движения в селении не было заметно.

— Это и есть аул Манапхана? — спросил Гани. — А костер горит перед его юртой, так?

— Точно попал, Гани.

— Ну, тогда вы подождите меня здесь, — сказал Гани, а сам поскакал к огню.

— Салам алейкум! — неожиданно появился он перед костром.

Внезапно увидев огромного человека, услышав его громовой голос, трое сидевших у огня так и замерли с пиалами в руках. Молодая женщина, разливавшая чай, — видимо, это была младшая жена Манапхана, — с криком «ойбай» закрыла лицо руками.

— Я — Гани.

— Е... е... е... — замычал дрожащим голосом Манапхан.

— Гани?! — Теип в страхе откинулся на подушку и застыл с раскрытым ртом. Третий гость, тоже в казахской одежде, хотел было встать, но передумал и остался сидеть.

— Можете не вставать, — усмехнулся Гани и, не ожидая приглашения, сел за дастархан. — Я слышал, вы оба, ты, Манап, и ты, Теип, предали свой народ и лижете задницы китайских чиновников?

— Что ты говоришь?!

— Нет, нет...

— Молчать! — гаркнул Гани. — Настало время прямо сказать, кто друг, а кто враг. Я бы родного отца не пожалел, если б он встал на сторону захватчиков. Вы поняли меня?!

— Дорогой Гани!.. Айналайын!.. Меня насильно...

— Гани, ты ведь знаешь как трудно сейчас...

— Негодяи! Размозжить вам головы? — Гани направил дуло винтовки прямо в лоб Теипу. — Чем таким путем кормиться, как вы, лучше уж снять резинки — со штанов и повеситься на них в саду. Скоты! Прежде всего надо уничтожить таких, как вы, лишь потом можно будет начинать борьбу... Встать!

— Ойбай! — запричитала было женщина, но Гани слегка ткнул ее в бок, и она замолчала.

— Прости, прости, айналайын!

— Не казни нас, Гани!

Оба предателя, повалившись на землю, целовали ноги батура.

— Повинную голову меч не сечет, — вмешался третий.

— А ты кто такой, что ты здесь делаешь?

— Я, Гани, живу среди казахов... простой человек.

— Что-то ты уж слишком богато одет для простого человека!

— Не по одежде суди...

— Видно, ты из тех, кто думает: пусть другие кровь свою проливают, а мы себе тихонько проживем?

— А вы сперва дело начните, а там посмотрим, будем ли мы в стороне отсиживаться.

— Знаю я вас, когда мы начнем, так вы запрячетесь в свои норы, а вот если победим, то сразу же вылезете... — Гани повернулся к «тамырам». — Ну что посоветуете — убить вас на месте или как?

— Поклянусь на Коране! Никогда больше, пусть меня аллах покарает... Кулетай! Принеси Коран, — умолял Манапхан.

— И я клянусь, клянусь жизнью моих пятерых детей. Если еще раз пойду против народа, пусть покарает меня аллах! — завывал Теип...

Между тем Кулетай прибежала с Кораном и протянула книгу Гани.

— Вставайте, пошли!

— Куда ты нас, Гани, пощади!.. — снова завыл Теип.

— Хочу я тебя, коротышка, повести к твоему дружку Вану и там вас обоих попросить сплясать для меня!

— Только не это! Смилуйся, Ганиджан!

— Хватит! Ты чего, как собака, скулишь? Смотри, разозлюсь — тут же прикончу. Заткнись, тебе говорят!

— Хорошо, хорошо, молчу, делай как знаешь...

— Поведу я вас обоих в Улустай и там перед имамом возьму с вас клятву.

— Ладно, мы готовы, — поспешил выразить согласие предатель, поняв, что им даруют жизнь.

— Где кони?

— Здесь неподалеку...

— Раз так, берите седла и идемте.

— Слушаемся!

— Ну а ты, «простой человек», будешь сидеть здесь молчком до завтрашнего дня. А завтра после обеда можешь ехать своей дорогой, понял?

— Понял, все сделаю, как ты сказал...

Манапхану это очень не понравилось. Ох, как не хотелось ему оставлять на ночь глядя свою молодую жену с хитрым купцом. Но что делать, тут командует Гани, попробуй его послушаться — сразу пулю в лоб получишь...

Шестеро всадников посовещались между собой, решая судьбу предателей, прежде чем тронуться в путь.

Потом Гани сказал «тамырам»:

— Не повезу я вас к имаму, и ваши клятвы на Коране мне не нужны... Вы оба по-другому, как мужчины, докажите мне свою верность.

— Если я не сдержу своего обещания, ты не только меня, можешь и семью мою уничтожить! — бил себя в грудь коротышка Теип.

Манапхан клялся еще жарче.

— Теперь вы будете на нашей стороне, будете работать на народ свой.

— Согласен, всей душой... — заверял Теип.

— Будем всегда с тобой, Гани, — клялся Манапхан. Гани почему-то верил больше ему, чем Теипу, может, просто потому, что раньше

Манапхана не знал.

Они приблизились к домам, что приютились у самых гор. Оставалось спуститься со склона — и тут же начинался Улустай. Гани прислушался к чему-то и спросил:

— Вы слышите?

— Что?

— Как журчит вода Каша?..

— Ох, и соскучился ты, я вижу, по Кашу, Гани...

— А ты думал... ведь я вырос у берегов этой реки. А что, может, искупаемся и лошадей искупаем в реке, как смотрите?

— Так что, мы купаться будем или с врагом рассчитывать? — спросил шутливо Юсуп.

— Да успеем сделать и то, и другое. Неужели вы не слышите, как нас зовут воды Каша?

Но и Кусен, и Нурахун поддержали Юсупа. Гани не стал больше настаивать, и они снова двинулись в путь.

Когда они въезжали в село, муэдзин призывал к утренней молитве. Давно забывший голос муэдзина, Гани с волнением прислушивался к нему. Ему даже хотелось вместе со всеми сельчанами пойти в мечеть на молитву, но это, разумеется, было невозможно — путников ожидало важное дело.

— Вот за этим переулком и будет их пост, — сказал Юсуп, останавливая коня.

По первоначальной задумке предполагалось, что Манапхан войдет на заставу и сообщит Вану, будто видел в горах Гани. Тот, естественно, пошлет трех-четырёх чериков с Манапом, а может, и сам поедет с ними. Вот тогда, когда застава разобьется на две маленькие группы, расправиться с каждой по отдельности не составит труда. Но внезапно Гани передумал. Он сказал спутникам: «Что мы — не мужчины, что ли, чтобы не справиться с пятью-шестью чериками без всяких там хитростей?»

Все вместе они подъехали близко к посту. Гани, Кусен, Нурахун и Теип притаились в тени стены, окружавшей двор заставы, а Манапхан с Юсупом прошли прямо к двери поста.

— Кто там? Стой! — закричал черик.

— Свои. Это я... — ответил по-китайски Манапхан и, подойдя ближе, назвал пароль. Черик, узнав его, успокоился и снова вскинул ружье на плечо.

— Ван-сочжан есть?

— Он спит, приходи утром...

— Нет, он мне нужен немедленно. Зиваза Гани...

— Гани?! — вздрогнул черик и повернулся, чтобы войти в дом, но тут сзади к нему бросился Юсуп и, зажав ему ладонью рот, всадил в грудь кинжал.

В тот же миг, по обыкновению призвав на помощь дух предка Садырапалвана, Гани метнулся через стену во двор. За ним последовали и его товарищи. Двумя прыжками батур достиг дверей поста, рванул их и вырвал с петлями.

— Чилай, чилай, Гани зиваза! Вставайте, вставайте, вор Гани! — закричал он громовым голосом. Четверо чериков, спавших, несмотря на жаркую летнюю пору, под толстыми одеялами, услышав голос, приподнялись было, но, увидев огромную тень на стене, снова в страхе закрыли головы перинами. А тем временем Юсуп уже выволок Вана в одних подштанниках и бросил его к ногам Гани. По знаку Гани прибавили огня в лампе. Кусен и Нурахун быстренько собрали шесть винтовок и патронташи.

— Ты что задумался, Гани-ака? — спросил Юсуп.

— Да вот не знаю, что делать с этими, что дрожат под одеялами, ожидая, что мы их всех тут прирежем.

— Ну вот и надо, сделать то, чего они ждут.

— Нет! Не спеши! Они такие же бедные дехкане, как мы с тобой. Ты же видишь, эти горе-солдаты даже не пытались сопротивляться. Ну и пусть себе лежат и портят воздух от страха.

— А вот этого, ихнего главного, мы казним, чтобы неповадно другим было. Да и он сам, я думаю, ничего иного не ждет, знает, чего заслужил. Сколько нашей крови он выпил!

— Твоя правда, Гани.

Гани взял из рук Юсупа маузер Вана в деревянной кобуре, вытащил пистолет и, приставив ствол к затылку начальника заставы, выстрелил. Громкий звук выстрела совпал с самым высоким выкриком муэдзина. Он разбудил всех, кто еще спал. Призывом к борьбе, к сопротивлению захватчикам эхо этого выстрела, подгоняемое вольным ветром, разнеслось далеко по Илийской долине...

Уже назавтра весть об отряде Гани и его налете на китайскую заставу достигла Кульджи. Замученные, страдающие люди, узнав новость, вздыхали облегченно и радостно, в их скорбных глазах загорелись искры надежды...

Хребет Джунгарский Алатау, разделяющий Илийский край на две области — южную и северную, одним своим концом вонзается в Казахстан. В Илийском же крае Алатау расходится несколькими мощными отрогами. Они получили здесь такие названия: Дашигур, Талка, Ачал, Улустай, Нилка, Кунес, Юлтуз, Аврал. Эти горные массивы славны своими широкими привольными джайляу. Наверное, поэтому китайцы называют здешние места «Синьцзянским Ганьчжоу», сравнивая этот край с живописным Ганьчжоу внутреннего Китая. У каждого из этих горных районов свои природные особенности. Массив Улустай известен своими густыми лесами и множеством пещер, которые связаны между собой подземными переходами. Эти пещеры стали отличным убежищем для повстанцев. Укрывшись за каменным выступом, здесь один человек может удерживать пятьдесят солдат. Поэтому Улустай и стал местом резиденции штаба мятежников.

Сегодня «шестеро кайсаров» собрались вместе. Вернулись и их гонцы, направленные в разные стороны с различными заданиями. Все ожидают Гани. Услышав о его появлении в горах, его давнишний близкий друг казах Акбар сразу бросился на поиски своего тамыра. Объехав множество уйгурских селений, он, наконец, узнал, что Гани направляется в Улустай. Еще вчера Акбар весь день не сходил с высокой скалы, проглядев все глаза в ожидании друга. Увидит вдали что-нибудь, напоминающее очертания всадника, и в волнении нетерпеливо ждет приближения. А это и не всадник вовсе, а чья-нибудь корова, отставшая от стада и заблудившаяся в горах. И снова долгое ожидание. Акбар очень соскучился по другу и сгорал от нетерпения скорее увидеть его. Он вспоминал как ездили они вдвоем в казахские аулы и там до поздней ночи засиживались у костра, слушая протяжные песни акынов, веселые напевы девушек. Вспоминал Акбар и как веселились они на уйгурских свадьбах! Но нынешняя встреча сулила им совсем другое. Теперь они рука об руку будут биться во имя высокой цели. Если рядом будет Гани, то никто не страшен... А Галдан? Где он теперь? Эх, как хорошо было бы им всем троим оказаться вместе!..

Но вот показались вдали становившиеся все более отчетливыми фигуры конников. На этот раз ошибки быть не могло.

— Гани! — не удержавшись, закричал Акбар. Его голос далеко разнесся по ущелью.

Джигита-горца не обманули его соколиные глаза. Это действительно приближался Гани со своими товарищами.

Акбар вскинул ружье, выстрелил в воздух и словно на крыльях понесся вниз по крутому склону. От звука приветственного выстрела

взметнулись ввысь перепуганные птицы. Джигит у подножия скалы вскочил в седло и помчался навстречу другу.

Перед входом в пещеру в тени трех сестер-сосен расстелен широкий дастархан, уставленный яствами. Пусть далеко здесь от дома, но хозяева постарались не ударить в грязь лицом перед таким гостем; как Гани. Патих, самый старший из «шестерки», помешивает кумыс. Ему помогают молодые джигиты: один на вертеле жарит горного козла, второй, примостившись на камнях, переворачивает шашлык, третий носит воду из ручья.

— Едут, вон они! — крикнул тот, что носил воду. — Вот тот здоровый и есть, наверное, Гани. — И вдруг, словно вспомнив что-то, парень поставил ведро на землю и скрылся в пещере. Пятеро всадников, приблизившись к стоянке примерно шагов на триста, спешили и пошли к костру. Патих со своими джигитами направился к ним навстречу. И в этот миг раздалась громкая дробь, похожая на пулеметную.

И гости и хозяева замерли от неожиданности. Автоматная очередь, направленная в камень, находившийся буквально в метре от Гани, выбила из гранита груды мелких осколков. Они брызнули на сапоги батурса, но он, не обращая на это внимания, продолжал спокойно шагать вперед.

— Дур-рак! Ты что делаешь?! — с ужасом заорал Патих на джигита, стрелявшего из автомата.

Тот хладнокровно объяснил:

— Да так уж расхваливали смелость батурса, что проверить захотелось. Правду говорят — на самом деле кайсар!

— По нему хоть из пушки пали, не вздрогнет. Зря ты старался, пули тратил, — рассмеялся Акбар.

Все стали обниматься, здороваясь друг с другом. Затем хозяева повели гостей к дастархану.

— Ну, Гани, я хочу познакомить тебя с моими джигитами, которых гоминьдановцы прозвали «ворами», — сказал Патих после того, как выпили кумысу и утолили первый голод.

— Я давно хотел с ними познакомиться.

— Вот этот шутник, что в тебя стрелял, носит имя Рапик.

— Ну, этого легко узнать, — внимательно посмотрел на джигита Гани, — этот не потеряется. Смотрите, у него нижняя губа отвисла, будто она свинцом налита.

Все засмеялись.

— Вот этот, хоть и невелик ростом, но джигит с большим и отважным сердцем. Его зовут Осман, — продолжал Патих. — Одна беда — всегда его

надо держать в узде, уж больно горяч...

— Да какая еще тут узда нужна, если мы только отсиживаемся в этих пещерах, словно медведь в берлоге, — закипятился Осман, размахивая руками.

— Не торопись, придет время — спать будет некогда, — успокоил его Патих и показал на молчаливого и хмурого джигита, сидевшего напротив. — А вот это самый, молодой из нас, самый спокойный и сдержанный на язык, а вместе с тем и самый меткий стрелок — Нурум.

— Он, верно, из тех, про кого в старину говорили: «По стреле на врага, больше не надо», — сказал Гани.

— Из пяти пуль три в яблочко вбиваю, — проговорил юный молчун и, видно, с непривычки к речам покраснел от смущения.

— А вот этого, синеглазого, имя — Хошур. Он тоже, как и все мы, сын дехканина. С детства трудился на поле, но, вот видишь, судьба привела его в горы, сделала «вором». — Патих показал на румяного джигита, сидевшего с краю.

— Ну, а с Акбаром, — закончил Патих, глотнув кумыса, — тебя, думаю, знакомить не надо. Он о тебе говорит без конца, надо полагать, и ты о нем кое-что знаешь.

— Да, были когда-то маленько знакомы, — засмеялся Гани, — только давно я его не видел, может, совсем другой стал.

— Ну что ж, Гани, я рад, что мы теперь вместе. Полагаю, наши дела пойдут еще лучше, — сказал Патих в заключение.

— Пока мы друг друга разыскивали, Гани уже выступил от нашего имени, — объявил Акбар.

— Как это? — удивился Патих.

Акбар подробно рассказал о разгроме заставы.

— Я бы этих Теипа и Манапа пристрелил бы к черту, — сплюнул Оспан.

— Человека убить просто. Только не всегда это лучший выход, — ответил ему Гани. — Оба они пообещали мне, что будут тайком помогать нам. Ну, а если не сдержат слова, тогда мы направим тебя к ним.

— А чтобы китайцы их не заподозрили, мы их голыми привязали к дереву и каждому на грудь повесили табличку «Предатель», — добавил Юсуп.

— Изменников нельзя щадить, но если возможно кого-нибудь использовать для наших целей, то отказываться от этого не следует.

— Как бы то ни было, пока мы тут сидим да раздумываем, Гани-ака уже дело сделал, — заметил Нурум.

— Не хотелось, друзья, к вам с пустыми руками идти, этот мерген, глядишь, еще пристрелил бы меня из своей штуки, что на ослиную ногу похожа.

— О, эта штука похлеще осла лягается, — Рапик любовно погладил ствол автомата и вдруг протянул оружие Гани. — Возьмешь, если подарю его тебе?

Гани бережно взял автомат, с интересом осмотрел его и вернул хозяину.

— Спасибо, но пусть он у тебя останется.

— Что, не понравился? — обиделся Рапик, от всей души предложивший батуру самое ценное свое достояние.

— Не говори так, друг, сейчас не то что такая мудреная машина, а любое ружьишко для нас — дар аллаха. Просто не могу я взять у тебя такую драгоценность. Вижу, ты его словно живого любишь.

— Ну, как знаешь, Гани-ака, — протянул Рапик.

— А я... — Гани вынул из кобуры маузер, — буду сражаться оружием, которое добыл своими руками. Так, говорят, всегда поступал Ходжанияз, а я хочу быть похожим на него.

— Ты прав, Гани-ака, — вмешался в разговор Осман. — У каждого джигита должно быть свое любимое оружие. Я, например, больше всего пулемет люблю. Как начнешь строчить, враги будто камешки в сторону летят!..

Вопрос об оружии был сейчас для этих собравшихся в горах людей чрезвычайно важным, поэтому они долго говорили о нем. Даже поспорили.

— Оружия нам никто не даст, ни аллах, ни его пророки, — говорил Гани, — его нужно добывать своими руками, в бою.

— Ты прав, Гани, что нам никто оружия не даст, — отвечал Патих. — Но его можно добывать двумя путями: во-первых, отнимать у гомиьндановцев, а, во-вторых, добыв деньги, покупать его.

— Где, у кого? — спросил Юсуп.

— Да если с умом подойти, то можно у самих же китайцев. Надо найти такого, для кого карты или опиум всего дороже. Я вот этот наган и эту винтовку купил у летчиков. Они, по-моему, не столько летчики, сколько игроки были, — сказал Осман.

— Ну а эту штуку, вроде ослиной ноги? — спросил Гани.

— Автомат? — усмехнулся Рапик. — И его нашли способ достать.

— Все-таки Гани прав и надежнее всего добывать оружие тем путем, каким он добыл себе маузер, — убивая врага, — сказал Акбар.

— Точно! — поддержали его молодые джигиты.

— Наша главная опора — народ! — сказал Патих. — Сейчас сердце народа переполнилось гневом и ненавистью к врагам. И если мы сейчас поднимемся против захватчиков, дехкане с вилами и косами в руках пойдут вместе с нами, в этом нет сомнений. Прежде мы предпринимали лишь отдельные вылазки против малочисленных групп гомиьндановцев. Сегодня нам пора менять тактику, пора кончать со всей гомиьндановской властью на нашей земле!

Патих рассказал товарищам о сегодняшнем положении в крае, о своих связях с городом, в конце разъяснил:

— Наши люди действуют в самой гуще народа и среди уйгуров, и среди казахов, и среди калмыков. Жители этого района полностью подготовлены к выступлению, они ждут только нашего сигнала. Поэтому по нашему плану восстание начнется с Нилки...

Гани тоже рассказал о своих связях с Рахимджаном Сабири.

— Вот он, — Патих показал на Нура, — только перед тобой пришел из Кульджи. Я не знаю всех, кто состоит в организации «Свобода», я связан только с Рахимджаном, этого достаточно. Нам нужно объединиться, в этом залог-победы! — закончил Патих. Знал он больше, чем говорил, но нельзя болтать лишнего, придет время, и все узнают то, что надо...

— Все это правильные слова, — вмешался Осман. — Но только не забывайте, что ведь уже и лето кончается. Надо бы нам до холодов начать большую игру.

— Верно, — поддержал его Рапик, — коли мы будем тут отлеживаться, то и нас самих, и наше оружие ржавчина съест.

— Всему свое время, друзья. Нужно готовиться — основательно готовиться, чтобы потом не пришлось кусать локти!

— Гани-ака! — разгорячившись, встал посреди товарищей Осман. — Ты слышишь, какой осторожный человек наш Патих-ака? А наша бы воля — так мы бы давно уже захватили Нилку и направились в Кульджу. Эх, пришел бы ты к нам пораньше!

— Конечно, в словах, которые мы слышали от Патиха, много справедливого, — раздумывая, медленно проговорил Гани. — Только если торопливость, поспешность вредна, то не меньше, а может, и больше вредна медлительность! Не зря говорится: «Куй железо, пока горячо!»

Рассказ Гани о налете на заставу сильно подействовал на джигитов, тяготившихся пассивностью действий группы. Добавил огоньку и Нур, особенно восхищавшийся решительностью и дерзостью Гани.

— Я на этот раз в Кульдже говорил со многими из наших молодых джигитов. Все они ждут сигнала.

— И в уйгурских аулах то же. Только и разговоров, что о «шестерых кайсарах», только и ждут, чтобы вы скорее пришли! — подлил масла в огонь Юсуп.

— В казахских аулах тоже так. Все готовы выступить хоть сегодня, терпеть уже нет сил!

В итоге долгого разговора Патих и Гани, поддержанные другими кайсарами, пришли к таким выводам:

- 1) Прежде чем предпринять захват Нилки, нужно организовать нападения на мелкие подразделения чериков в округе, уничтожив их, одновременно пополнить запас оружия.

- 2) Довести до всего населения края через доверенных лиц призыв подняться на борьбу против захватчиков, чтобы придать выступлению всенародный характер.

- 3) Расширить связи с организацией «Свобода», проводить совместные действия.

Таким образом к «шестерым кайсарам», которые считались ядром будущего восстания, присоединился седьмой кайсар со своими джигитами — Абдулгани сын Маметбаки, Гани-батур. С этого дня в деятельности отряда открылась новая страница.

Глава пятнадцатая

Автомобиль марки «Форд» мчится по дороге из Суйдуна в Кульджу. В машине три человека: Любинди, его личный телохранитель и шофер. Жирный, как боров, Любинди один еле втиснулся на заднее сиденье. Он любит ездить в автомобиле. В нем он чувствует себя в безопасности и отдыхает душой. С детства еще он мечтал вот так нежиться на мягком диване автомобиля. Бывало, едет по улицам города автомашина, а толстый мальчишка бежит за ней, стараясь догнать. Никогда это ему не удавалось, и он оставался на дороге весь в слезах. Но вот судьба улыбнулась ему: теперь у него свой, персональный автомобиль, высокая должность, богатство. Правда, богатство он нажил не трудами праведными, и высокий пост получил не за какие-нибудь заслуги перед народом, острый ум, трудолюбие. Всех жизненных благ он достиг ценою предательства, не брезгуя грабежом и мародерством. Например, «форд», в котором он сейчас ехал, принадлежал раньше Ходжаниязу-хаджи. Когда Ходжанияз был репрессирован, у него конфисковали все имущество, в том числе и автомобиль. Им Шэн Шицай «за отличную службу» наградил своего подчиненного Любинди. Однако совесть никогда не мучила предателя. В дороге он даже сладко похрапывал, откинувшись на мягкую спинку сиденья. Сегодня он проводил инспекцию в Суйдуне, выясняя состояние дел на западной границе. Он дал руководящие указания о дальнейшей работе и, конечно, навел нужный порядок: кого-то там арестовал, кого-то наказал другим способом, На обратном пути Любинди уснул сразу же, как только сел в машину. Храпел он так, что даже привычный к подобным звукам телохранитель временами вздрагивал, испуганно оглядываясь назад, когда рулады спящего достигали кульминации.

Едва автомобиль въехал в селение Баяндай, расположенное всего в семи километрах от Кульджи, впереди раздался выстрел. Его за шумом машины не услышали ни телохранитель, ни шофер, но спавший Любинди мгновенно проснулся и стал испуганно оглядываться по сторонам.

Выстрелы хлопнули снова.

— Ай! — Любинди упал ничком, тщетно стараясь втиснуться в пространство между передним и задним сиденьями. На этот раз одна из пуль пробила лобовое стекло и ранила в плечо телохранителя. Испуганный шофер не справился с рулем, автомобиль завил, едва не улетев в кювет, пошел боком и ударился о стену углового дома.

Полчаса орали перепуганные пассажиры, пока не прибыл патруль полиции и не помог им выбраться из машины.

— Мерзавцы! Болваны! — Любинди влепил пощечину возглавлявшему патруль начальнику службы безопасности Баяндая. Тот отлетел в сторону. — Бандиты спокойно расстреливают среди бела дня автомобиль вашего начальника, а вы там водку жрете!..

Надорвавшись от крика, Любинди привалился к стене. Шофер, отлично знавший повадки своего хозяина, тут же достал из кабины бутылку китайской водки и налил полный стакан. Проглотив его залпом, Любинди вновь обрел способность кричать:

— Машина! Что с машиной?! — Он мог думать только об одном — как бы быстрее добраться до города.

Охранники с трудом вытянули автомобиль на шоссе, но попытки завести мотор оказались тщетными: двигатель был поврежден. Темнело. Вдруг ругательства Любинди прервал новый выстрел.

— Бандиты! — дико заорал Любинди и бросился бежать. За ним кинулась его свита, Но толстяк шпарил с неожиданной прытью и сразу же обогнал других шагов на двадцать. Тут у него подвернулась нога, он не удержал равновесия и кубарем покатился по земле. Однако тут же вскочил и снова понесся впереди всех. Обычно он и при неспешной ходьбе задыхался так, что его хрипенье страшно было слушать, и с трудом носил свой живот, чуть не задевая его при Ходьбе коленями. Теперь же его никто не мог догнать, он скакал словно быстроногая лань. Какие скрытые силы пробудил в нем животный страх! Он падал и снова вставал, вся его одежда, лицо и руки были в липкой грязи, он задыхался, как умирающий, но ничто не могло остановить его. Наконец он выдохся до предела и зашатался с мучительным стоном. Но тут услышал новый выстрел — и снова ринулся вскачь. Добежав до здания управления службы безопасности, он ворвался в помещение, рухнул навзничь и потерял сознание.

Когда Любинди очнулся и открыл глаза, он увидел, что с обеих сторон над ним наклонились мужчина и женщина в белых халатах. У стены на стульях сидели шофер и — что было особенно неприятно — глава Илийского окружного управления безопасности Гау-жужан. Узнав его, Любинди мгновенно вспомнил о происшедшем на дороге и от нахлынувшего стыда снова зажмурился. Разве пристало так по-заячьи бегать от вражеских пуль доверенному лицу самого Шэн Шицая? Вместо того, чтобы показать пример мужества и отваги, он несся как трусливый косой, петляя и падая — и все это на глазах у своих подчиненных, — какой позор, какой позор! Как теперь смотреть им в глаза, как командовать ими?..

Как у него повернется язык отдавать приказы и требовать их выполнения?! А самое жуткое — о его «героическом» поведении непременно донесут Шэн-дубаню... Это факт. Сомневаться не приходится. Вот что самое страшное в его положении...

— Ах, черт!.. — вздохнул Любинди, в душе ругая себя последними словами. Но тянуть дальше не было смысла. Надо было пытаться как-то вывернуться из пакостной ситуации.

Подчиненные услышали звук его голоса, обрадовались, что начальство пришло в себя, и все разом зашумели.

— Слава богу, вы очнулись, надо ехать, — заговорил Гау.

— Куда ехать? — медленно, с усилием овладевая своим сознанием, спросил Любинди.

— В больницу...

— В этом нет необходимости.

— Нет что вы! Вам нужна медицинская помощь!..

— Я сказал же — не надо. Было что-то с сердцем, теперь отпустило.

— Все равно, надо, чтобы вас посмотрел опытный врач...

Любинди отмахнулся и строго произнес:

— Гау-жужан!

— Слушаюсь, — тотчас вытянулся тот.

— Едем в службу безопасности!

— Слушаюсь!..

Конечно, подчиненные не смели ослушаться Любинди. Но, козыряя начальству, Гау вспоминал, как оно, это жирное начальство, валялось в грязи, как его, вонючего, потерявшего сознание, переодевали в чистое, — и его передергивало от отвращения. Опасения Любинди относительно своей дальнейшей репутации были вполне обоснованными.

Жинса жу — управление безопасности — располагалось в западной части Кульджи, между кварталами «Новый город» и «Дон махалля». Высокие, как у крепости, стены наглухо закрывали здание управления. Казалось, что оно пахнет кровью. Никто достоверно не знал всех его зловещих тайн. Тому, кого приводили за эти стены, трудно было вырваться отсюда живым... Машина остановилась перед воротами, с обеих сторон которых стояли будки для часовых. Шофер подал условный сигнал. Только тогда открылась половинка ворот и, лишь автомобиль проехал, тут же вновь наглухо захлопнулась.

Подъехав к одному из зданий, водитель остановил машину, Гау подозвал какого-то офицера и, показав ему на двух врачей в белых халатах, что-то тихо приказал. Тот сделал им знак следовать за ним. Медики, не

зная, что их ожидает, шли, еле переставляя ноги, готовые к самому худшему. Офицер ввел их в кабинет, дал каждому по листку бумаги и ручке и приказал:

— Напишите, что ничего из виденного сегодня, никогда, никому не расскажете!

Врачи облегченно вздохнули. Дай бог отделаться этим и выбраться живыми из этого гиблого места! Не раз им уже приходилось писать подобные обещания, подписывать свидетельства о смерти заключенных, «скоропостижно скончавшихся от сердечного приступа» на допросе и т. д. Очутившись нынче здесь, они уже мысленно попрощались с жизнью. Но, кажется, и на этот раз бог не отвернулся от них. Хотя, конечно, кто может знать, чем все это кончится...

Любинди вошел в свой кабинет (и в управлении безопасности, и в военном штабе, и в других руководящих учреждениях под его кабинеты были выделены специальные комнаты) и, усевшись в мягком кресле, стал обдумывать дальнейшие действия. Но думалось плохо, душевное потрясение не проходило. «Что же делать?» — этот вопрос не переставая крутился в голове. Мутный страх не проходил. «Кто стрелял — просто бандит-грабитель или мятежник?» Любинди помотал головой, стараясь прогнать страшные мысли, и нажал кнопку.

— Что будет угодно господину? — спросил его тут же возникший Гау-жужан.

— Что ты сделал? — неожиданно спросил Любинди.

Гау опешил. О чем, собственно, желает узнать начальство, что отвечать?

— С этими двумя, я говорю, что сделал?

— Это проверенные люди, им можно доверять, — сообразив в чем дело, ответил Гау, — однако мы все равно взяли с них подписку о неразглашении.

Любинди удовлетворенно кивнул головой.

— О сегодняшнем нападении на вас я сообщил телеграммой в Урумчи...

— Правильно сделал, Гау-жужан. — Любинди задумался, потом откинулся в кресле и спросил: — Ну и кто же, по-твоему, напал на меня?

— Скорее всего, это не из «шестерки», а здешние городские бунтовщики. Ведь они уже давно распространяют разные листовки против вас. А теперь перешли от листовок к пулям.

— А если это Гани?! Ты не знаешь, какой он человек. От него всего можно ожидать. — При мысли о Гани Любинди передернуло от страха.

Правая щека у него стала заметно дрожать, чтобы скрыть это от Гау, Любинди пришлось сунуть в рот сигарету и крепко сжать ее зубами. Тот тут же поднес к ней огонек зажигалки.

— Мне не понравился баяндайский начальник караула, — сказал, глубоко затянувшись, Любинди. — Трус и растяпа.

— Я уже приказал арестовать его и трех солдат из его караула, — отрапортовал Гау.

Любинди остался доволен догадливостью и предусмотрительностью Гау. Он поступает правильно. Во что бы то ни стало надо избавиться от свидетелей сегодняшнего позора.

Гау и Любинди — два сапога пара! Оба они дунгане. Любинди в свое время помог Гау подняться вверх по служебной лестнице. В том, что Гау поставлен начальником управления службы безопасности Кульджи, прежде всего заслуга Любинди, который хлопотал за него перед Шэн Шицаем и Ли Йинчи.

Для того, чтобы руководить контрразведкой самого опасного и самого «красного» района Синьцзяна, требовалось быть опытным профессионалом и человеком, безусловно преданным «вождю» края. Профессионализм Гау внушал некоторые сомнения. Но его ненависть к коммунизму и Советскому Союзу была хорошо известна. В этом он превосходил многих и именно этим угодил начальству, согласившемуся в конце концов с кандидатурой, выдвинутой Любинди.

Приехав два года назад в Кульджу, Гау принялся усиленно «наводить порядок». Тюрьмы были переполнены, обыватели настолько запуганы, что и пошевелиться боялись. Словом, Гау оправдал доверие руководства.

Во вторую, боковую дверь осторожно постучали. Это давали знать о том, что приготовлен чай.

— Не хотите ли утолить жажду?

— Что ж, немного чаю выпью. — Любинди, кряхтя, встал.

Едва они успели выпить по пиале, как раздался телефонный звонок. Гау поднял трубку.

— Что?! — он поперхнулся. Любинди встревоженно спросил:

— Что случилось?

— Нападение на пост...

— Кто? Воры?!

— Да, из «шестерки». Убили нескольких караульных и увели начальника.

— Мерзавцы! — Любинди вскочил и вырвал трубку у Гау. — Кто напал на пост? Кто?! Да говори ты толком, не бормочи! Что?! Гани?! Ты

сказал — Гани?! — Услышав это имя, Любинди бессильно плюхнулся в кресло.

— Опять этот вор... — вздохнул Гау-жужан... — Чем же занимается военный гарнизон? Целый батальон был направлен против воров, что они там делают?

— Что, что... Сопли вытирают да за юбками гоняются, что же еще, — зло сказал Любинди. В это время телефон снова зазвонил. На этот раз Любинди сам поднял трубку:

— Ямату? Говорите!.. Любинди у телефона... Да, сам Любинди. Да говори же! Зиваза?! Опять разбойники? Нападение? — Любинди швырнул трубку и, плюнув на пол, пошел к двери. У самого выхода, не оборачиваясь, сказал: — Чего сидишь, поехали в военный штаб!..

Глава шестнадцатая

Юго-западная часть Кульджи упирается прямо в воды Или. Этот район так и называют: сай — русло, река. На его окраине через заросли джиды шли в западном направлении два человека. Через полчаса пути они дошли до густого тальника. Шедший впереди высокий человек остановился, внимательно огляделся кругом, а потом, не заметив ничего подозрительного, свернул влево, к берегу реки. Пройдя шагов десять, он остановился у громадной ивы и пошарил по коре ее ствола. Удовлетворенно кивнув, он сказал товарищу, осторожно шедшему следом:

— Пришли, здесь...

— Ты не ошибся?

— Нет. Видишь, вот на коре мои отметины.

— А лодка далеко?

— Метров пятьдесят будет.

— Ну, не будем задерживаться.

Рослый снова пошел впереди. Идти было трудно, стемнело. Путники одолели эти полсотни метров, постоянно запинаясь о корни, сгибаясь под ветвями, наверно, не меньше, чем за четверть часа. Оба задыхались, пот с них лил градом.

— Ну вот, все, — сказал, наконец, первый, когда они выбрались на берег, — садись, передохнем немного.

Волны лениво лизали береговую кромку. Только их слабый плеск нарушал безмолвие. Слабо светил ущербный месяц. Спутники отдыхали, не нарушая этой мирной тишины.

На другом берегу реки загорелся огонек. Потом потух. Через некоторое время заблестел снова.

— Наши! — сказал первый и встал. Лодка была надежно припрятана неподалеку. Оба, торопясь, столкнули ее в воду и, усиленно черпая воду веслами, поплыли к мигающему огоньку. На том берегу их уже ждали, помогли выйти из лодки и тут же усадили на коней. Проехав километра четыре вдоль берега, всадники достигли густых зарослей, углубились в них и остановились возле неприметной землянки.

Внутри землянки было тесно, но чисто, приятно пахло свежей рыбой.

Один из ожидавших, Рахимджан Сабири, начал:

— Ну, давайте, товарищи, приступим, время не ждет. Каждому из нас нужно до рассвета добраться до назначенного места. Ну, как вы дошли? —

спросил он у Аббасова.

— Добрались нормально. Мамаш-ака быстренько вывел меня к реке, а там, как начал грести, так я не успел и оглянуться, как оказался здесь. А как у вас?

— Тоже все нормально, — ответил Рахимджан. — Значит, ты решил все-таки покинуть своего друга и покровителя Любинди и отправиться в путь?

— Что поделаешь? — улыбнулся Аббасов. — Жаль было расставаться с ним, но обстоятельства заставили. Дальше жить вместе оказалось невозможно.

— Ничего, думаю, мы еще с ним встретимся...

— Если говорить серьезно, то очень обидно, что я был вынужден уйти с этого места как раз тогда, когда началась вооруженная борьба. Сейчас сведения, которые я мог получить, пригодились бы особенно. Но что поделаешь? Я виноват, спешил...

— Центр ни в чем тебя не винит, напротив, мы выражаем тебе благодарность. Ничего, что ты должен уехать. У нас еще с тобой много дел впереди, не грусти, — успокоил его Рахимджан.

Обвиняя себя, Аббасов в какой-то степени был прав. Любинди, сам прекрасно владевший уйгурским языком, в нынешней своей должности считал зазорным говорить на языке «чаньту». Поэтому он сделал Аббасова своим личным переводчиком. Это дало молодому революционеру возможность получать многие секретные данные прямо из первоисточника. Но, разумеется, хитрая лиса Любинди внимательно следил за новым своим помощником. Аббасов, вначале хорошо державшийся, все же по неопытности допустил кое-какие промахи, что-то перевел не совсем так, где-то проявил чрезмерное любопытство... Любинди заподозрил неладное и установил за переводчиком усиленную слежку. Вскоре он пришел к выводу, что, если Аббасов и не один из руководителей «Свободы», то уж во всяком случае активный ее член, и решил через него выйти на организацию. Слежка могла продолжаться долго и привести к очень скверным последствиям, но когда начались нападения на посты и были убиты караульные в Ямату и Султан-мазаре, Любинди заторопился и приказал арестовать Аббасова, чтобы пытками вырвать у него признания. Гибель переводчика была неизбежна, однако Аббасова спас счастливый случай: его предупредил один из его родственников, вообще-то верой и правдой служивший Любинди и бывший у него доверенным лицом. Его звали Хаши-махун. Впоследствии он был за свое предательство казнен, но на этот раз в нем, видимо, заговорили остатки совести. Организация

решила временно перевести Аббасова в другое место. Перед его отъездом они и собрались здесь.

— Ну что ж, слушайте мою последнюю информацию, — сказал Аббасов. — Вот какие есть новости. На приеме в доме Тальата Любинди щедро одарил от имени власти купцов, баев, мулл и призвал их всех к борьбе против «шестерых воров» и других людей, выступающих против нынешнего режима. Я думаю, об этом надо непременно сообщить народу. Нужна, наверно, специальная листовка: пусть все знают о замыслах Любинди.

— Сделаем, — Рахимджан что-то занес в записную книжку.

— Дальше. Любинди задумал — послать в горы на переговоры с «шестью ворами» уважаемых людей — Мухтара-хаджи и Нодара. Он это обстоятельно готовит.

— Вот оно как...

— И если мятежники согласятся сложить оружие и подчинятся властям, он обещает Патиха сделать начальником Нилкинского уезда, а Гани поставить во главе Токкузтарского.

— Ты смотри! Значит, этот подонок решил купить наших героев, — холодно усмехнулся Рахимджан.

— Не думаю, чтобы Любинди собирался выполнить свои обещания. Речь идет скорее не о покупке, а о простом обмане. Эти господа столько раз обводили вокруг пальца нас, глупых чаньту, что решили — и сейчас не поздно...

— Ну, нет! — гневно отрезал Рахимджан, которого самонадеянность врага всегда необычайно сердила. — Тут господа ошибаются. Теперь «чаньту» поумнели.

— Во всяком случае, считаю, что необходимо предупредить Гани и Патиха о планах Любинди, — сказал Аббасов.

После того как они обговорили все детали относительно дальнейших действий организации, Рахимджан сказал:

— Тебя доведет до места наш человек, тот, что коня тебе подводил.

— Я думал, мы с Мамашем-ака поедем, — несколько разочарованно произнес Аббасов. Мамаш был его давним верным другом.

— Таково решение нашего комитета. — Рахимджан передал Аббасову хурджун. — Здесь немного еды, одежда и деньги. — И, когда Аббасов сел в седло, с теплотой в голосе добавил:

— Я верю, что ты вернешься, набравшись опыта и знаний. Возвращайся с добычей. Мы все желаем тебе удачи.

— Я постараюсь.

Может быть, оттого, что была сегодня пятница, может, потому, что за последние годы народ так исстрадался, что больше, чем раньше, появилось людей, ищущих забвения от бед и забот в беседах с аллахом и уповающих на его милость, только байтулинская мечеть была переполнена. Народ толпился даже во дворе. Все эти люди в старой одежде, с печатью страданий на лицах сейчас были наполнены каким-то радостным ожиданием. Правоверные должны были сосредоточенно молиться, повернувшись в сторону Мекки, испрашивать у аллаха милости, покорно полагаясь на его волю. Но сегодня было несколько иначе, чем бывало обычно. Среди молившихся то там, то тут возникали разговоры, не имевшие отношения к аллаху и религии.

— Во всех мечетях они есть.

— И не только в мечетях, даже на улицах и базарных площадях расклеены эти листовки.

— Кто же это сделал? Молодцы, настоящие джигиты!

— Говорят, многих людей за это посадили в тюрьму.

— А-а, к этому нам не привыкать.

— Я полагаю, что все это дело рук известной «шестерки воров».

— У них и в городе есть свои люди...

— Эх, если бы эти шестеро вместо того, чтобы сидеть в своих горах, подошли бы к городским стенам, весь народ поднялся бы им на помощь.

— Тише ты! Услышат...

— У этих проклятых и в мечети свои уши.

Тихие разговоры прервал призыв к окончанию молитвы. Когда люди стали пробираться к дверям, вдруг обнаружилось, что все выходы перекрыты и мечеть окружена вооруженными чериками, которые никого не выпускали. Черики с пулеметами заняли крыши ближайших домов. Могло показаться, что эти пулеметы вот-вот залают, сея смерть. Но люди здесь давно привыкли к подобным выходкам власти, и особенного испуга в толпе не чувствовалось.

— Ну что это такое?! Даже помолиться спокойно не дадут!

— Только сюда с винтовками не залазили!

— Тюрем не хватает, так, видно, и эту мечеть решили переоборудовать в тюрьму.

— Да пусть нас тут всех расстреляют, но от своей веры не отступимся. Мечеть — дом аллаха. Не отдадим его неверным!

Тем временем один из чиновников в сопровождении двух чериков поднялся на помост и сказал:

— Эй, мусульмане! Слушайте, что вам скажут. Нечего зря шуметь, слушайте нас!

— Если надо что-то сообщить народу, зачем на него пулеметы направлять?

— Верно, такие приятные новости, что боятся, как бы мы не взбунтовались, услышав их.

На помост с помощью своих холуев с трудом взобрался Любинди. Всем своим видом он показывал преданность делу ислама.

— Люди! — возвысил голос чиновник. — Сегодня перед вами пожелал выступить сам досточтимый господин Любинди! Выслушаем же его с подобающим вниманием!

— Мы ничего дурного не делали, не бунтовали, зачем окружили дом аллаха своими чериками? Пусть сначала ответит на этот вопрос! А потом, может быть, мы его и послушаем!

— Точно, точно. Что это за власть такая, которая никому не доверяет?

— Спокойствие, братья, спокойствие! — поднял короткую и толстую, как обрубок дерева, руку Любинди. — Я хочу сообщить вам, что в городе все больше и больше становится нарушителей порядка и закона! Только для того, чтобы обезопасить себя и вас от этих зловредных людей, мы вынуждены были захватить с собой чериков. Никаких других целей мы не преследуем, все делается только в интересах общей безопасности, не волнуйтесь, успокойтесь, земляки!

Любинди с особенным ударением произнес слово «земляки». Ему важно было выглядеть в глазах этих простых людей «своим», земляком и единоверцем. Увы, он отчетливо расслышал возгласы в толпе: «Тоже, нашелся землячок!.. Чтоб ты пропал, палач!»

Однако Любинди сделал вид, что ничего такого не слышит.

— Сегодня мы взяли с поличным нескольких гнусных возмутителей порядка. Они расклеивали на стенах домов аллаха — мечетей, на заборах по улицам и площадям гнусные листки с призывами и воззваниями, направленными против законной власти, против самого Шэн Шицая и... (он хотел назвать свое имя, но спохватился — кто-нибудь обязательно донесет, что он ставит себя наравне с «вождем края»)... и других представителей власти...

Любинди говорил с трудом, задыхался, кряхтел, голос у него срывался. Чтобы передохнуть, он достал носовой платок и стал вытирать пот с лица, надсадно откашливаясь. А в толпе тем временем шептались:

«Чтоб ты захлебнулся своей слюной, негодяй!», «Он же ничего делать не может, не притворяясь, и кашляет нарочно. Кто поверит словам этого предателя?!»

— Вы не должны давать веры тем, кто распространяет ложь и клевету, — продолжал Любинди. — Недолго им осталось вершить свои черные делишки. Уже совсем скоро мы уничтожим «шестерку воров», которая прячется в горах. И их сторонники в городе тоже будут разоблачены и арестованы. На что они надеются? Неужели кто-нибудь всерьез думает, что несколько воришек смогут противостоять великой державе?! Тот, кто им поверит и последует за ними, последний глупец и негодяй, отрекшийся от бога. Пусть подобные дураки пеняют на себя! Я за их жизнь ничего не дам!

Любинди болтал долго. Он и угрожал, и подслащивал свою речь увещеваниями, уговорами, обещаниями, снова переходил к угрозам и устрашениям. Закончил он речь так:

— Тот, кто станет поддерживать бунтовщиков, читать их паршивые листки и передавать их содержание другим, будет наказан примерно и жестоко. И не только он сам. Мы накажем и его близких, родных, знакомых, друзей, соседей, вам понятно? Очень жестоко накажем! И еще одно: ахуны, все почтенные и уважаемые люди обязаны следить за порядком и докладывать нам о лицах, которые нарушают этот порядок. В противном случае и им тоже не поздоровится — это мое последнее предупреждение!..

Усевшись в черный свой «форд», Любинди уехал. Черики, окружавшие мечеть, построившись в колонну, отправились вслед за ним.

Слова Любинди разошлись по всему городу, на что он и рассчитывал. Но он не рассчитывал, что в передаче этих слов будет звучать злая, издевательская насмешка и над ним самим, и над его чериками.

Многие солдаты, добравшись до казармы, обнаружили в своих карманах неизвестно каким образом попавшие в них те самые листовки, которые поносили Любинди.

* * *

Прослушав в мечети речь Любинди, Рахимджан и Касымджан встретились, как условились заранее, в одной из харчевен. Так как была пятница, харчевня буквально кишела людьми. Но хозяин, хорошо знавший гостей, освободил для них отдельный кабинет.

— Ну и как тебе речь Любинди? — с улыбкой спросил Рахимджан, беря в руки расписную пиалу с горячим чаем.

— Ты видишь — народ сейчас подобен остро отточенной сабле! Самое время сейчас. Нельзя более откладывать сроки вооруженного восстания. Нельзя! Иначе мы сами притупим лезвие этой сабли!.. — сказал Касымджан.

— Я с тобой целиком согласен...

Хотя они ничего не заказывали, кроме чая, но хозяин неожиданно зашел с подносом, на котором стояла бутылка водки и закуска, и громко сказал:

— Имейте в виду: я в долг отпускать не буду, если денег нет, то лучше сразу уходите, вон сколько людей дожидается, — и, кивнув головой в сторону соседней кабины, шепнул: «Там два шпика...»

Касымджан ответил тоже громко:

— Не бойся, друг, заплатим, разве ты нас не знаешь? Мы когда-нибудь, тебя подводили, а?

— Сейчас наше время, гуляй себе! Отец наш Шэн Шицай о нашем благоденствии сам печется! На, держи, сразу уплачу, чтобы ты не волновался, — еще громче поддержал игру Рахимджан.

Товарищи поочередно во весь голос произносили тосты в честь Шэн-дубаня, Любинди, за здоровье друг друга и своих родных, уговаривали один другого больше пить, сами же, разлив водку по бокалам, затем выплескивали ее на пол. Соседи — сыщики в это время тоже поочередно заходили в их кабинет, один попросил прикурить, другой закурить. И тот и другой внимательно запоминаяще разглядывали их. Второй, посмотрев на опорожненную бутылку, удивился:

— Ну, вы даете, за десять минут пол-литра раздавили...

— Что для нас пол-литра, дорогой? Так, горло смочить. Пока до «донь шауфаня» не доберемся — не успокоимся. Знаешь, какая там водка... — притворяясь пьяным, ответил ему Касымджан;

— Вы были сегодня в байтулинской мечети?

— А как же! Слушали там речь уважаемого Любинди и решили отметить ее здесь. А вы-то ее слушали? — спросил Сабири.

— Мы тоже не пропускаем дня молитвы, — ответил тот и поспешил ретироваться, чтобы не выдать себя ненароком. Но, вернувшись в свою кабину, он тут же приложился ухом к стене.

Догадываясь, чем сейчас занимается сосед, Касымджан сказал так, чтобы тот расслышал:

— А что, хороший парень, по лицу видно...

Поняв, что здесь им не удастся поговорить, — встречи в домах друг у друга они вынуждены были прекратить, чтобы не привлекать к себе внимания агентурной сети Гау — они решили найти место поспокойнее. Выходя из харчевни, в дверях нос к носу столкнулись с Мамашем, через которого осуществлялась связь с повстанцами в горах. Мамаш на ходу шепнул им: «Сестра приехала», — и прошел в закусочную.

— Ну, прощай, спасибо за угощение, друг, — протянув руку Сабири, Касымджан произнес эти слова громко и отчетливо, чтобы услышали шпики.

— Ты сейчас домой? — таким же громким голосом спросил Рахимджан.

— Нет, я должен по делам в одно место заглянуть, а ты?

— Я на базар пойду.

Так они распрощались. Рахимджан пошел в сторону базара, то и дело заглядывая по пути в разные магазинчики. На базаре он смешался с толпой. Сбив след, он вышел в другие ворота и остановил арбакеша:

— Давай в Дон махалля^[28], друг.

— Хоп! — арбакеш хлестнул коня, но тот хода не ускорил.

— Быстрее, быстрее, друг, я спешу, погоняй! — поторопил его Рахимджан.

— Да сегодня его бей не бей, быстрее не пойдет. Только вчера вернулся из десятидневной поездки, устал, — арбакеш начал погонять коня камчой, но тот лишь прыдал ушами, а хода не убыстрял.

— Далекое ездил? — заинтересовался Рахимджан.

— В Сиптай, Карасу...

— Что возили?

— Откуда мне знать? Что-то тяжелое в маленьких сундучках.

— Чериков много там?

— Хватает... Нас к Карасу не подпустили, заставили все выгрузить, не доезжая, и вернули назад. Но-о, поехали, ты что встал?

Действительно, когда какой-то прохожий поздоровался с Рахимджаном, конь словно принял это за приказ остановиться.

— А в других местах, кроме Карасу, есть черики? — спросил Рахимджан возчика, когда конь наконец тронулся.

— В Султанвайс-мазаре есть... Слушайте, лучше не спрашивайте меня о таких вещах, а то накличете беду и на меня, и на себя, — настороженно сказал возчик, оглядываясь по сторонам.

На подъеме копь вновь остановился, арбакеш спрыгнул на дорогу и стал подталкивать арбу. Рахимджан тоже слез и принялся помогать ему. С

великим трудом поднялись они в гору.

— Слушай, твоему рысаку надо бы хоть пару дней отдохнуть, совсем ты его загнал...

— Надо же мне хоть на еду сегодня заработать, да ему на пару охапок клевера, потом пускай себе отдыхает.

— И колеса не мешало бы смазать, уж очень жалобно они у тебя визжат.

— Какое там! Себе губы смазать нечем, а вы о колесах... Эх, совсем трудно нынче стало... — тяжело вздохнул арбакеш.

— Вот тебе за поездку, — Рахимджан сунул ему деньги.

— Так мы же еще не доехали до места, ака? — возчик взял их не без смущения.

— Я, пожалуй, пешком пойду. Так, наверно, быстрее будет, — ответил Рахимджан и спрыгнул с арбы. Чтобы сократить себе путь, он пошел не по улице, а через кладбище. Не успел он пройти по нему и нескольких шагов, как встретил похоронную процессию. Сабири удивило, что тело покойника было завернуто в грубую циновку. Никогда раньше так не делали, даже в самых бедных семьях. Но если материи совсем нет и взять ее негде?.. На крышку гроба брошен старый платок — значит, хоронят девушку или молодую женщину. Эх, жизнь. Бедная девушка, тебе и при жизни было не во что одеться и после смерти твое тело будет терзать жесткая камышовая циновка...

Тело понесли к вырытой могиле. Рахимджан поднял руку:

— Стойте, братья! Подождите немного. Я живу рядом, сейчас принесу для нее что-нибудь более подходящее...

— Ты опоздал, сынок, — ответил ему аксакал, опиравшийся на посох, — покойница не первая и не последняя. Скольких мы уже похоронили, завернув в дерюгу, скольких еще похороним. Время такое, что поделаешь? Кто знает, может, мы сами виноваты, что дошли до такого... И, может быть, услышит аллах наши стоны, наш плач и ниспошлет нам милость свою...

«Старик прав, — подумал Рахимджан, — нищету не прикроешь куском материи. Пусть видят люди, до чего они дожили, пусть Гнев переполнит их сердца. Ведь такие похороны — знак беды, символ нашего рабства, которое нам принесли тираны. Пусть народ ищет выхода из такой жизни!..»

Рахимджан в этот день третий раз встретился с тетушкой Хажакхан. Эта женщина ничего не боялась. Она мечтала о том, чтобы оказаться в горах вместе с Гани и другими повстанцами и бороться против врагов с оружием в руках, но ее убедили, что в качестве связной между Рахимджаном и Гани она пока принесет больше пользы, и Хажакхан с успехом справлялась с этим поручением. Однако сегодня она не выдержала.

— Ну сколько я могу взад-вперед носиться, как девочка на побегушках! Пойми ты, я сильнее многих мужчин, мое место там, в горах, рядом с ними, и я уйду туда, сегодня же уйду!

— Не торопись, все еще впереди, успеешь, — спокойно и твердо сказал Рахимджан, пригласив Хажакхан сесть. — Ну, давай рассказывай, какие новости ты нам принесла?

— Что ж, слушай, Гани просит передать тебе следующее: «Численность наших рядов растет не по дням, а по часам! Собравшиеся уже не размещаются в наших пещерах. Пришла пора начать „большую игру“!»

— «Большую игру»... — задумчиво повторил Рахимджан. — Мы тоже считаем, что время настало.

— Меня ждет Кусен, человек от Гани, что ему передать?

— В течение трех дней мы сообщим Гани о времени и месте начала «большой игры», так и передай!

— И это все?

— Есть для них листовки, написанные на уйгурском, казахском и монгольском языках.

— Бумажки, опять ваши бумажки... Вы что, собираетесь этими листовками города брать?

— Запомни: каждый такой листок равен по силе выстрелу из орудия!

— Ох, не знаю. Вам виднее... Зато силу вот этого кулака я хорошо знаю! — Хажакхан сжала громадный, как молот, кулак.

Рахимджан с восхищением смотрел на тетушку Хажакхан, думая про себя: «Какие у нас все же люди, какие женщины!» Он сказал ей:

— Ну вот, следующий раз мы с тобой, наверно, встретимся не в тесной комнатке, а на поле боя.

— Слава аллаху! Вот это слово настоящего мужчины! Дай я пожму твою руку! — Хажакхан так сжала ладонь Рахимджана, что тот едва удержался, чтобы не вскрикнуть.

— Ну что ты — руку сломаешь... Ну и медведица! — улыбнулся он и спросил, растирая кисть руки. — Лодочника Ибрагима знаешь?

— Мой старый знакомый...

— Листовки возьмешь у него, он ждет тебя на берегу, в условленном месте.

— Понятно...

— Эти листовки будут поднимать наш народ, на борьбу. Их нужно как можно скорее доставить верным людям и распространить среди народа повсюду в крае, поняла?

— Конечно, поняла, не первый ведь раз...

— Ну, счастливо, только ради аллаха, будь осторожна. — Рахимджан поднялся, но вдруг, вспомнив, спросил: — Ты так ничего и не рассказала Гани о судьбе Нусрата и его внучки?

— Несколько раз хотела, да язык не поворачивается...

— Нужно рассказать ему все. Гани много испытал за свою жизнь, много настрадался. Выдержит и эту весть. Ведь это все-таки лучше, чем совсем ничего не знать и терзаться неизвестностью.

Оба тяжело вздохнули. Трудно будет сказать Гани о том, что Нусрат замучен насмерть в тюрьме, а Чолпан насильно выдана замуж, но и скрывать это от батура — значит оскорблять его.

— Расскажу я все Кусену, а он пусть передаст по-дружески, как мужчина мужчине. А Чолпан ни в чем не виновата.

— Твоя правда...

Проводив Хажахан, Рахимджан вернулся в дом. Только он успел снять верхнее платье, как услышал сильный стук в ворота. Рахимджан удивленно пожал плечами и тихонько выглянул из-за занавески в окно. Перед воротами стоял знакомый черный «форд», двое чериков возились возле калитки.

«Так, выходит, и за мной пришли». Рахимджан метнулся к столу и вытащил из ящика наган. «Ну, живьем они меня не получают!» Сабири хотел выйти через задние двери в сад и пройти к соседям, но в дом уже вошел черик. Рахимджан стиснул в кармане револьвер, раздумывая, надо ли стрелять. Но черик спокойно поздоровался и сказал:

— Господин Любинди ожидает вас у себя дома.

— Вот как? — Рахимджан не верил своим ушам.

— Вы одевайтесь, я подожду.

— Сейчас. — Несколько успокоившись, Рахимджан оделся. Но в машине его одолели сомнения: «Кто знает, может быть, они решили меня обманом вывезти из дома, а тем временем обыск у меня делают. Наверно, надо было пристрелить обоих и бежать...»

Рахимджана привели в кабинет Любинди. Толстяк внимательно

посмотрел на него и насмешливо бросил:

— Ишь, как тебя перекорезило, почернел весь. Обиделся, что я так поздно тебя пригласил или попросту струсил?

Рахимджан взял себя в руки.

— А ты что, захотел узнать, каким человеком я стал? Мог не беспокоиться. Я-то такой же, как прежде, Мухаммар.

Любинди проглотил издевку, показал на стул:

— Садись. Поскольку мы с тобой старые знакомые, я решил с тобой поговорить накоротке, как бывало прежде.

— Ты еще не забыл своих старых знакомых?

Ренегата всегда бесит напоминание о его прошлом. Злился и Любинди, но он пригласил Рахимджана с особой целью и вынужден был сдерживаться. А Рахимджан уже совсем успокоился и был готов отразить любое нападение.

— Почему ты смеешься? Мы с тобой ведь на самом деле когда-то общались очень тесно. К сожалению, со временем мы отошли друг от друга, — издала начал Любинди, протягивая пачку сигарет.

— Ты стал большим человеком, — поблагодарив за сигарету, с легкой улыбкой сказал Сабири, — и теперь, сказать по правде, мы боимся тебя...

— Ну зачем же так?.. — помрачнел Любинди. Он хотел было сказать что-то резкое, но только натянуто рассмеялся и спросил: — Почему вы боитесь меня? Что я сделал вам плохого?..

— Ну, это ты знаешь не хуже нас, Мухаммар! — Внутри у Рахимджана все кипело, но он заставлял себя держаться предельно спокойно.

Его слова задели больное место. Любинди покраснел, вскочил с кресла, суетливо заходил по кабинету. Наконец успокоился, вернулся на свое место.

Рахимджан сидел в напряжении, готовый ко всему. Про себя он думал: «Если этот палач сейчас вызовет чериков и прикажет меня отвести в камеру, первую пулю ему. Живым меня не возьмут!»

А Любинди молчал, сопя и отдуваясь. Потом хрипло сказал:

— Этот ваш Аббасов делал все, что ты приказывал ему... Ни капли благодарности. Как я старался сберечь его, так нет же... Напакостил и убежал!..

— А разве он не арестован? — прикинулся ничего не подозревающим Рахимджан.

Любинди пристально уставился ему в глаза. Конечно, он понимал, что Сабири притворяется.

— Ты думаешь, что я поверю, будто ты не знаешь, где сейчас твой самый близкий друг, с которым ты не расставался ни днем ни ночью? — злобно спросил он у Рахимджана. — Так просто вы о своих единомышленниках, товарищах, не забываете, это не в ваших правилах. — Он особо подчеркнул слово «товарищ». Рахимджан растерялся и пока собирался с мыслями, Любинди уже продолжил — так же резко и напористо:

— Ты сам этого своего товарища и провожал...

Рахимджан опешил еще больше, но, стараясь не выдать растерянности, рассмеялся — несколько деланно.

— Зря зубы скалишь...

— Ну почему же зря? Твои фантастические подозрения очень смешны, — Рахимджан понял, что Любинди скорее всего многое известно, и ему ничего больше не оставалось, как все начисто отрицать.

— Подозрения? Фантазия? Ну уж нет, это факты! — Любинди с угрозой посмотрел на Рахимджана. Вопрос об Аббасове он задал, конечно, не случайно. Опытный контрразведчик, Любинди догадывался о многом. Однако никаких фактов об участии Рахимджана в побеге Аббасова он не имел. Имей их, он говорил бы со «старым знакомым» не у себя дома, а в камере пыток.

— Слушай, что это ты, начал так, а кончил эдак? Мы с тобой ведь вроде заговорили о нашей старой дружбе? — Рахимджан решил сам, перейти в нападение — если это еще можно сделать в сложившейся ситуации. Но в этот момент разговор прервал адъютант. Он вошел и доложил, что господина Любинди вызывает Урумчи. Толстяк, пыхтя, прошел в соседнюю комнату. Пока он отсутствовал, Рахимджан собрался с мыслями: «Откуда он узнал, что я провожал Аббасова? Неужели лодочник Ибрагим или Мамаш?.. Нет! Это невозможно. Оба проверенные люди, старые соратники. К тому же будь хоть один из них предателем, половина организации уже давно была бы арестована, и я в первую очередь. Сидел бы я в камере, а не в доме у Любинди!.. Совершенно верно, у Любинди нет никаких фактов. Старый провокатор! Надеется, что я растеряюсь, а он потом скрутит меня. Ну нет! Не выйдет у тебя ничего!..» Рахимджан продолжал размышлять. «А может быть, Любинди хочет установить контакты с нами? На первый взгляд — нелепость, но если подумать... Сегодня пришло внезапное известие о снятии с поста и отозвании Шэн Шицай. Так высоко поднял Любинди именно Шэн Шицай. Его преемник вряд ли будет доверять ставленнику прежнего генерал-губернатора. Кресло под Любинди качается. И он, спасая свою шкуру, может пойти на все,

вплоть до новой измены. Возможно, он думает пойти на сближение с подпольщиками, чтобы хоть как-то обелить свою прошлую черную жизнь и, предугадывая скорые перемены, хочет сам примкнуть к освободительному движению? Как бы важно было использовать его! Сколько бы через него можно было узнать, сколько сделать!» Но тут же Рахимджан вспомнил весь кривой и кровавый путь Любинди. «Да, сам этот изменник, вполне возможно, сейчас согласится оказать нам любые услуги. Но прибегать к его помощи — это значит марать чистое дело. Нет, организация не должна связываться с этим грязным негодяем!»

Любинди неожиданно вернулся и с ходу бросил Сабири:

— Хочу тебя, обрадовать, Рахимджан.

Рахимджан опешил от такого поворота и не смог сразу найти подходящей ответственной реплики.

— Ты что, уже не ждешь в жизни ничего хорошего? — ехидно спросил Любинди.

— Ну почему же... Добрые вести я с удовольствием выслушаю.

— Освобождены из тюрем все политические заключенные! Через несколько дней ты сможешь увидеться со своими друзьями — Теипом-хаджи и Заманом.

— Правда?! Они живы?! — Рахимджан вскочил с места, не в силах сдержать своей радости.

— Новый шеф проводит политику либерализации, отвечающую интересам народа. В ближайшее время жизнь народов Синьцзяна станет совсем другой, можешь мне поверить. Пришла новая эпоха, и в эту эпоху выступления пресловутых «шести воров» и членов подпольной организации в городе, я думаю, ты согласишься со мной, — бессмысленны и вредны. Они будут мешать начавшемуся обновлению жизни, движению вперед всего нашего общества! Бессмысленно прольется кровь, власть будет вынуждена опять прибегнуть к репрессиям...

Любинди воткнул взгляд в Рахимджана, проверяя какое действие оказывают на того его слова. Но Сабири его не слушал, он забыл, что находится в доме у Любинди, его мысли устремились в прошлое. Перед его глазами стоял Теип-хаджи Сабитов, руководитель организации «Уйгурское культурно-просветительное объединение», созданной 9 марта 1934 года в Кульдже. Та роль, которую, сыграло это объединение в организации народных школ, в подъеме культуры и образования, всей духовной жизни в крае, была огромна. С горьким сожалением Рахимджан думал: «Если бы не происки гомиьндановских властей, которые приложили все усилия к тому, чтобы задушить в колыбели это стремление к свету и знаниям, уйгуры

сегодня жили бы совсем другой жизнью...»

— О чем это ты замечтался, а? Обдумываешь, как будешь встречать Теипа-хаджи? — расхохотался Любинди. В голосе его слышалась злость.

— Людей, боровшихся за счастье и образование народа и отсидевших за это семь лет в тюрьме, следует встретить достойно.

— Молчать! — вспыхнул вдруг Любинди и, подойдя вплотную к Рахимджану, стал кричать, брызгая слюной: — Выпустили из тюрьмы, не выпустили — все равно все вы остаетесь пустыми мечтателями! А небось считаете себя деятелями, патриотами?!

— Мы будем рады, если останемся такими в народной памяти.

— Если ты настоящий патриот, ты должен приложить все силы для того, чтобы не пролилась сейчас напрасно и бесцельно кровь твоего народа. Нужно добиваться свободы и счастья своего народа мирным путем.

«Если вы не хотите, чтобы лилась народная кровь, отдайте нам нашу свободу и наше право!» — хотел было сказать Рахимджан, но сдержался. Вместо этого он по-деловому спросил у Любинди:

— Ты требуешь, чтобы я стал посредником между двумя сторонами?

— Зачем ты так говоришь? Я не требую. Я прошу.

— Твоей просьбы я выполнить не могу.

— Почему?

— Ну, во-первых, у меня нет никаких связей с подпольщиками в городе и, уж разумеется, с повстанцами в горах. Во-вторых, если они не слушают властей, то чего ради они станут слушать меня — простого человека, частное лицо. Ну, а в-третьих, вы же сами прозвали их «шестеркой воров», какие же переговоры могут быть с ворами и чего их бояться?

Любинди ничего не ответил на эти вопросы Рахимджана. Он молчал, изучающе разглядывая его.

Рахимджан тоже не раскрывал рта, ожидая ответа Любинди. Молчание продолжалось довольно долго. В соседней комнате зазвонил телефон, и вошедший адъютант сообщил, что Любинди просит начальник военного штаба. Оставшись один, Рахимджан посмотрел на часы — было ровно два часа ночи.

«Неужели произвели нападение раньше времени?» — с тревогой подумал Рахимджан. Он знал, что в шесть часов утра назначен налет на Ак-койское отделение службы безопасности.

Снова вошел адъютант и пригласил Рахимджана к выходу. Любинди уже ждал его в машине.

Когда автомобиль, вывернув на дорогу, направился не в сторону

управления безопасности, а к «Трем воротам», Рахимджан облегченно вздохнул, поняв, что его отпустят домой.

На перекрестке Любинди приказал шоферу остановиться и сказал Рахимджану:

— Советую тебе вести, себя тихо. Мы еще поговорим с тобой. Скоро!

Рахимджан вышел из машины, и автомобиль поехал в направлении военного штаба.

Глава семнадцатая

Одержав несколько побед в стычках с чериками, группа повстанцев превратилась в довольно крупный партизанский отряд, в составе которого было около пятисот человек. И хотя не все бойцы имели оружие, все они были полны решимости и жажды борьбы. А оружие тот, кто его еще не имел, надеялся в скором будущем добыть в бою. Бойцам, число которых росло с каждым днем, требовались кроме оружия и продовольствие, и одежда, тем более, что зима приближалась.

Сегодня руководители повстанцев собрались на совещание.

— Если мы освободим Нилку, — сказал Патих, — у нас будет и оружие, и одежда, и питание. Кроме того, это поднимет авторитет отряда и, наконец, наверняка намного увеличит его численность.

— А по-моему, надо напасть на Кульджу. Надо сначала раздавить голову змеи, а потом и до хвоста добраться легче будет, — высказал свое мнение Осман.

— Нет, — возразил ему Акбар, — с нашими малыми силами мы не сможем захватить Кульджу. А неудача при штурме для нас будет равносильна краху.

— Да, хорошо, если мы сможем захватить Кульджу, — поддержал его Нур, — ну, а если потерпим поражение? Тогда что? Если мы отойдем, народ перестанет нам верить, мы не оправдаем его надежд. И нам придется отступить еще дальше.

— Мне кажется, правы Акбар и Нур, — поддержал их Гани, — надо сначала Нилку взять, а уж потом, собравшись с силами, идти на Кульджу. А там и дальше можно будет пойти!..

К этому мнению присоединилось большинство вожаков партизан. Это решение было и стратегически верным, и соответствовало нынешним возможностям отряда. Нилка была одним из самых богатых животноводческих районов края. Этот горный район граничил на востоке с Кунесом и Юлтузом, на юге с Кульджинским районом, на севере с Тарбагатайским краем и был тесно связан с ними. В случае победы партизан в Нилке многие люди из Кульджи, Кунеса непременно придут к ним и примкнут к восстанию. Таким образом отряд увеличится в два или три раза, приобретет большую силу.

— Ну, что ж, значит — Нилка! — Патих повернулся к статному молодому джигиту-татарину. — Хамит, сейчас ты расскажешь нам о

сегодняшнем положении в Нилке.

— Хоп, — Хамит вынул из кармана лист бумаги и расстелил его на плоском камне.

— Что это ты нарисовал? Будто паутина на листке, — Гани внимательно рассматривал план.

— Это карта района, — ответил Хамит. — Я показал на ней расположение всех вражеских частей. Вот здесь управление, здесь казармы. Вот тут, на кургане, расположились основные силы местной власти. Они забаррикадировались в зданиях, в окнах мешки с песком, на крышах пулеметы...

— А это что за пятно?

— Это баррикада на главной дороге. Вот — клуб, на его крыше также расставлены пулеметы, — Хамит показал на красную линию, — а вот здесь их окопы вокруг кургана. Эти окопы связаны с управлением подземными ходами.

— Да, они роют подземные ходы не хуже кротов, — заметил Гани.

— Не уйдут, пусть на самое дно зароятся — все равно вытащим! — похвалялся Осман.

— Нельзя недооценивать врага! — сказал ему Патих и обратился к Хамиту: — А какова численность войск? Вооружение у них какое?

— Примерно около батальона, не считая полиции и караульных постов.

Хамит доложил не только о составе и расположении войск в Нилке. Он рассказал и о настроении местных жителей, о том, что народ с нетерпением ожидает прихода повстанцев и несомненно окажет им помощь и поддержку.

— Что ж, все ясно, — подытожил Патих Муслимов. — Какие будут предложения?

— Ты сам из Нилки, город и тамошнюю обстановку хорошо знаешь, вот тебя и послушаем.

— Ну слушайте, — Патих призадумался над картой и сказал: — Нам надо разделить на три отряда и направить главные удары по трем направлениям.

...Предложение Патиха после некоторых уточнений было принято в следующей форме:

1. Отряд во главе с Гани идет на город через большой мост. Ему предписывается захватить восточную часть города.
2. Отряд Акбара и Нура нападает на городе запада.

3. Отряд под руководством Патиха, Рапика, Хамита — с севера. Он будет идти навстречу Гани.

Начало выступления было назначено на 5 часов утра 5 октября 1944 года.

* * *

Около ста партизан двигались верхом по узкой тропинке такой длинной цепью, что когда авангард уже взобрался на вершину холма, замыкающие были еще у его подножия. Так цепь перевалила уже через несколько сопок и наконец выбралась в широкую долину. Монгол Галдан на вороном скакуне, находившийся впереди цепочки и указывавший отряду дорогу, повернул коня назад и высоко поднял правую руку. Это был знак остановки. Гани и остальные придержали коней.

— Здесь пора разделиться: вы пойдете направо, а мы налево, — сказал Галдан, подъехав к Гани (он две недели тому назад бежал из тюрьмы).

Гани вместо ответа молча посмотрел на широкую степь, освещенную лучами заходящего солнца, любуясь ее красотой. И кого бы не взволновала чудесная красота бескрайних полей, щедрых пастбищ и веселых речушек. Гани бывал здесь часто — и осенними вечерами, и летними ночами, и весенними утрами. И в каждое время года эти места были прекрасны.

Здесь жили казахи и калмыки, ставшие братьями уйгуров.

— Пора, — напомнил Галдан и тихонько ткнул Гани в бок рукояткой камчи. — О чем ты задумался?

— Вспомнил, как мы здесь втроем с Акбаром когда-то бродили...

— Расстались и вот теперь опять вместе.

— Теперь нас сможет разлучить только смерть, Галдан!

— Точно!

— Нам предстоит завтра идти в бой. Мы должны быть впереди всех, запомни!

— Я помню, Гани!

— Ну, желаю тебе удачи!

— И тебе удачи! До встречи!

Они распрощались. Галдан с тремя джигитами уехал налево — в Калмаккуре. Там он должен был распространить среди монгольских аратов воззвание и, набрав пополнение для отряда, присоединиться к повстанцам. Галдан спешил выполнить поручение и быстрее вернуться к Гани.

...До рассвета оставалось часа два. Утомленные трудным пятнадцатикилометровым горным переходом кони подрагивали под порывами холодного ветра. Да и джигиты, большинство из которых было легко одето, мерзли на ветру. Однако настроение было боевым. Все ждали приказа к началу действий. Все бойцы отряда были готовы выполнить любое приказание Гани — они безгранично доверяли своему командиру.

Темно, хоть глаз выколи, в пяти шагах ничего не видно... Тьма ночи еще более ощущалась из-за необычайной тишины. Ни звука не было слышно кругом. Лишь с шумом плескались волны реки Каш, напоминая Гана о детстве, прочно связанном с этой рекой. Шум воды казался до боли знакомой и родной песней...

Вернулись два джигита, посланные в разведку. Они доложили, что на мосту стоят караульные, за мостом их помещение. На берегу два дота.

Гани задумался. Хамит говорил о постовых на мосту, но про доты не упоминал. Видно, их построили буквально на днях. Это осложняло дело. В дотах наверняка установлены пулеметы. Во время захвата моста они, несомненно, откроют огонь, который быстро не подавить. Сколько джигитов может погибнуть! А Гани не хотел уже здесь, в самом начале боя, терять своих людей.

— Юсуп!

— Я! — отозвался Юсуп, стоявший рядом.

— Придется взрывать доты.

— Но как это сделать?

— Я сам этим займусь!..

— Сам? — испугался Юсуп.

— Да! Сам!

— Нельзя! Ты же командир отряда! Прикажи любому из нас!

— Здесь нужен человек, умеющий отлично плавать, а уж воды Каша лучше меня никто не знает!

— Тогда я с тобой!

— Нет, ты останешься вместо меня. Слушай: мы разделим наш отряд на три группы. Одна слева, другая справа, третья, во главе с тобой, прямо перед мостом. Когда я взорву первый дот, все группы бросаются в атаку! Понял?

— Понял!.. Но только как же ты?..

— Я все сказал! Бери своих людей. — Гани позвал Кусена и Бавдуна и приказал возглавить штурмовые группы. Они, отобрав по тридцать джигитов, разошлись по сорим местам.

— Ну, Юсуп, если что, бери все на себя, воюй как надо.

Гани разделся, повесил на шею связки гранат и вошел в воду. Проплыв по течению, он остановился под мостом и прислушался. Кроме шагов двух чериков на мосту, больше ничего не было слышно. Оставалось самое трудное, нужно было пересечь под мостом серединную часть реки, самую глубокую и поэтому с самым сильным течением. Гани снова нырнул, больше минуты плыл под водой и вынырнул вблизи западного берега. Он бесшумно выбрался из воды и затаился. Кажется, вокруг ни души. Он снял с шеи связки гранат, порвал соединявшую их веревку и, взяв по связке в каждую руку, направился в сторону первого дота.

Когда тишину нарушил первый взрыв, ему тут же ответил с того берега яростный крик бросившихся к мосту джигитов.

Второй дот торопливо откликнулся на крик лихорадочной пулеметной очередью. Но прогремел новый взрыв, и очередь захлебнулась.

Когда джигиты, сбросив караульных в воду, промчались через мост, Гани ждал их на высоком берегу Каша. Лишь теперь он почувствовал, как замерз.

— Эй! Где моя одежда?! Сколько вас можно ждать? Издрожался весь...

— На, на свою одежду...

Гани оделся, вспрыгнул в седло и приказал поджечь мост. Это было условным сигналом. Когда полыхнуло зарево, со всех четырех сторон Нилки послышались выстрелы.



Повстанцы ворвались в город и вскоре оказались у стен резиденции его бывших правителей — похожего на крепость дома управления службы безопасности и соседнего с ним здания клуба. Но здесь их быстрое движение приостановилось. Градом сыпались из бойниц крепости пули. Одновременно стреляло не менее десятка пулеметов, установленных на крышах и в забаррикадированных окнах зданий. Китайцы в ожидании нападения снесли вокруг крепости все дома, спилили все деревья и теперь

здание окружало обширное голое пространство, где наступавшим не за чем было укрыться. Повстанцы, многие из которых лишь недавно впервые взяли в руки оружие и не знали азбуки военного дела, ринулись было вперед, но тут же были остановлены градом пуль и откатились, оставив на этом голом поле многих своих товарищей. В группе Юсупа погибли десятки бойцов, да и в других потери были велики. Гани собрал командиров отрядов и накинулся на них:

— Вы что, голову потеряли?! Разве можно так подставлять бойцов под пулеметы?! — Гани был страшно зол и наговорил много горячих и резких слов. Те потерянно молчали — отвечать было нечего. Потом, несколько успокоившись, Гани сказал негромко охрипшим голосом:

— Дела наши плохи... Если мы не сумеем взять крепости, то скоро подойдет сюда отряд, посланный на помощь черикам из Кульджи. Тогда мы окажемся в окружении.

— Позвольте мне пойти вперед, — сказал Хамит. — Я взорву главные ворота крепости.

— Не торопись на смерть, Хамит, — Гани посмотрел на юного красивого джигита. — Ты еще молод. У тебя все впереди.

— В бою не надо смотреть на возраст. Разреши мне, Гани-ака, сделать это? — умоляюще попросил Хамит Муслимов.

— Я же сказал: у тебя все впереди. Успеешь еще совершить подвиг. Прежде нам нужно заняться другим и подавить пулеметы на крыше клуба. В них главная опасность.

— Но как?

— Мы подожжем клуб...

Несколько часов прошло в малоэффективной перестрелке. А когда стемнело, Гани с двумя джигитами, тащившими тяжелые бидоны с керосином, подполз к стене клуба. Гани с трудом вскарабкался по ней и заглянул во двор. Но в кромешной тьме трудно было что-нибудь разобрать уже в нескольких шагах.

— Где черный ход? — спросил Гани, соскользнув назад на землю, у одного из джигитов, жителя Нилки.

— Вот там, налево...

Гани достал из-за голенища кинжал и всадил его в глинобитую стену. Очень быстро он сделал в стене сквозное отверстие и продолжал его расширять. Потом сказал тому джигиту, что был поменьше ростом:

— Полезешь во двор и посмотришь, что там.

Молодой парнишка быстро пролез сквозь дыру. Гани стоял у нее с маузером в руках. Джигит быстро вернулся назад и сказал, задыхаясь

(видно, здорово перетрусил):

— Н-н-никого нет...

Гани и второй джигит тоже пролезли во двор. Втроем они пошли к черному ходу в клуб. На двери висел замок. Но что это было для Гани, рвавшего цепи кандалов! Крутанув раза три, он сорвал замок и прошел со своими помощниками внутрь помещения.

— Ну что, братишки, вы, наверно, хорошо знаете расположение помещений в клубе, показывайте, где тут что.

Оба парня, действительно, хорошо знали клуб. Не блуждая по коридорам, они вывели Гани к сцене. Перешли через сцену, прошли мимо гримерных и вышли в фойе. Отсюда они увидели свет в одной из комнат. Гани знаком остановил джигитов. Сам подошел на цыпочках к двери, прислушался, осторожно приоткрыл ее. Она тоненько заскрипела.

— Кто там? — раздался голос из комнаты.

— Это я, — тоже по-китайски ответил Гани и, резко распахнув двери, ворвался внутрь, подняв маузер:

— Не шевелиться!

Эта небольшая комната служила осажденным временной кухней. Здесь хранились еда и питье, и два черика разносили припасы по постам. Не пытаясь сопротивляться, они в ужасе забились под койку, стоявшую у стены.

— Заберите их винтовки! — приказал Гани, а сам вытащил за торчавшую из-под кровати ногу одного из чериков. Он расспросил его, как пройти на крышу, сколько там человек. Тот, немного придя в себя, сообщил, что на крыше установлено два пулемета и находится там примерно около взвода.

Второго черика связали, плотно заткнув ему рот тряпкой, первому дали в руки лампу и приказали вести в зрительный зал. Там джигиты Гани при свете этой лампы разлили керосин по стульям и полу, плеснули на занавес, на стены. Затем Гани, выслав джигитов и черика из зала, поджег тряпку, бросил на кресла и кинулся вон.

Когда они выбрались из клуба, огонь уже охватил все здание. Длинные языки пламени поднимались над крышей. Слышались дикие крики чериков, задыхавшихся от дыма и от страха потерявших голову. Они метались по крыше, иные прыгали с высоты во двор. Их черные силуэты на фоне пламени представляли отличные мишени для повстанцев. Пули же, сыпавшиеся градом из крепости, летели наугад, в пустую тьму, и никто из партизан не пострадал.

Поджог клуба воодушевил осаждающих. Гани приказал готовиться к

атаке. Он видел бодрое возбуждение своих бойцов и всем своим видом поддерживал их настроение. Это нелегко давалось ему. Как назло, он снова почувствовал страшную боль в левой ноге. Он просто не мог ступить на нее — видимо, болезнь вернулась оттого, что он застудил ноги в холодной воде реки. Но показать бойцам свою слабость Гани не имел права. Собрав их, он сказал:

— Ну вот, а теперь и настала пора взорвать ворота крепости. Без этого нам ходу вперед нет.

— Гани-ака! — обратился к нему Хамит. — Разрешите мне. Не разрешишь — все равно пойду.

Гани не знал, что ответить настойчивому джигиту. Ведь он же еще совсем мальчишка, опыта у него нет, значит, пойдет почти на верную смерть. Но что делать?! Если бы не нога, он сам пошел бы. Но теперь об этом думать нечего.

— Хамит, ты ведь, наверное, никогда в жизни гранаты не бросал?

— Нет, я умею, — твердо ответил парень.

Другого выхода не было, и Гани решился:

— Что ж, пусть будет по-твоему...

— Спасибо, Гани-ака! Я оправдаю ваше доверие! — В голосе Хамита звучала радость.

— Ты смотри, не лезь очертя голову, не торопись. Бросай гранаты только наверняка! А мы будем отвлекать внимание врага!

Хамит взял две связки гранат и сказал — спокойно и твердо:

— Не вернусь, пока не подниму на воздух эти проклятые ворота.

Хамит полез. Он добрался до середины пространства, отделявшего осаждавших от крепости, потом вдруг вскочил и ринулся вперед огромными прыжками. Через несколько прыжков он рухнул на землю.

— Что он делает, глупец! — Гани взмахнул руками. Он не сомневался, что джигит упал, сраженный пулей, и проклинал себя, что разрешил ему идти туда... Но Хамит, немного полежав неподвижно, быстро снова пополз по направлению к воротам. Гани, переведя дух, поблагодарил аллаха. Пули свистели вокруг Хамита, то и дело поднимая совсем рядом с ним фонтанчики пыли, но он полз, как заговоренный. Товарищи следили за ним, боясь вздохнуть.

Хамит приблизился к воротам крепости. Теперь пулемет, бывший из ворот, был ему не страшен — боец находился в мертвой зоне.

Гани, как и все затаивший дыхание, не отрывая взгляда от Хамита, бросил назад, чтобы слышали все:

— Как только раздастся взрыв — вперед, в атаку!

Хамит резко вскочил, крикнул: «За свободу!» — и метнул обе связки одну за другой. Взрывы слились в один. Хамит, подброшенный взрывной волной, упал на землю.

Повстанцы с криком «Ура!» бросились на штурм с четырех сторон. Гани подбежал к бездыханному Хамиту, поднял его тело на руки.

Атака повстанцев сломила защитников крепости. Над зданием поднялся белый флаг. Из окна высунулся глава Нилкинского района Нусупкан-чуйжан и громко крикнул:

— Не стреляйте! Мы сдаемся!

— Я требую сдать оружие! — сурово отозвался Гани.

Из окон на землю полетели винтовки и револьверы.

Наступал рассвет.

Глава восемнадцатая

7 октября 1944 года Нилкинский район Илийского вилайета Восточного Туркестана был освобожден. Вся власть перешла в руки коренного населения. В этот же день было создано новое народное правительство из представителей всех национальностей края. Были сделаны первые шаги новой власти, новой жизни.

Весть о победе распространилась по всему Восточному Туркестану, перевалив через Джунгарские горы, и стала новым мощным толчком в борьбе всего народа за свою свободу.

Подняв знамя свободы и независимости, повстанцы Нилки сделали самый первый решительный шаг. Впереди у них был долгий и трудный путь. Прежде всего следовало идти на Кульджу, а затем — через весь край сквозь преграды и заслоны врага. Через труднейшие и жесточайшие бои. Самое сложное было еще впереди.

После освобождения Нилки люди, с нетерпением ожидавшие этой вести, стали большими группами вливаться в ряды повстанцев, усиливая отряды партизан. Даже те, кто был недавно освобожден из заключения — политические узники, измученные, больные — вместо того, чтобы идти домой, услышав о восстании, добыв себе оружие, шли в Нилку, чтобы соединиться с восставшими и внести свой вклад в дело борьбы. Оружие, доставшееся повстанцам в результате победы, было роздано вновь прибывшим. Теперь число бойцов повстанческого отряда перевалило за тысячу. Он стал немалой военной силой. А Нилка превратилась в маленький военный городок.

Сегодня Гани-батур (после штурма крепости весь народ называл его именно так) и Патих Муслимов провели совещание штаба повстанцев. Впервые оно проводилось не в горных пещерах или на поляне среди зарослей — местом сегодняшнего сбора стала резиденция нового правительства.

— Защитить и удержать в своих руках город гораздо труднее, чем захватить его! — начал свою речь Патих. — Мы захватили Нилку, народ целого района получил свободу. Теперь перед нами стоит еще более важная задача — не только сохранить город, но и идти дальше. Но ни в коем случае мы не должны недооценивать врага. Нужно серьезно подготовиться к этому походу. Сейчас у нас тысяча вооруженных бойцов. Но многие из них — это присоединившиеся к нам после победы, они и в

руках-то раньше не держали никогда винтовки. В бою они могут и себя ненароком подстрелить...

— Кроме того, для этой тысячи человек нужно оружие, кони, одежда, питание, — добавил Гани. — Сейчас, когда народ радуется первой победе, он кормит нас, но ведь мы не можем все время сидеть на его шее.

— Так ведь в освобожденном районе есть богатеи, баи, имеющие отары в десятки тысяч овец, табуны в тысячи голов лошадей — вот у них и нужно взять необходимое, — как-то всегда быстро заговорил Осман. — Ну, если им будет так уж жалко своего добра, вернем со временем.

— Нет! — отрезал Патих. — Бедняк, батрак, бай — это все народ. У народа мы отбирать ничего не можем. Ну, если кто пожертвует добровольно, отказываться, конечно, не станем.

— Да где это видано, чтобы бай по доброй воле отдал, поступился своим богатством? — пожал плечами Осман.

— И правда. Нас приходят поздравлять бедняки, они радуются с нами, приносят нам последнее из дома, а баи попрятались по своим домам и носа не высовывают, — подтвердил Рапик.

— Да, к нам присоединились лишь дети бедняков, — согласился и Акбар.

— Соскучились по богачам? — усмехнулся Гани. — Не беспокойтесь: завтра, когда еда поспеет, они будут первыми у казана со своими ложками, нас всех растолкают!

Все посмеялись над шуткой Гани.

— Я думаю, что нам не следует сегодня так решительно противопоставлять друг другу баев и бедняков.

Если человек настроен против захватчиков, какое нам дело до его богатства. В любом случае он с нами, — стоял на своем Патих.

Действительно, как говорили джигиты, в рядах повстанцев на сегодня находились в основном середняки — дехкане и бедняки. Что же касается баев и купцов, разного рода богатеев, то большинство из них предпочитало тактику выжидания, а имелись в их числе и такие, кто хотел поражения революции и с нетерпением ожидал возвращения старой власти, с которой многие представители зажиточных слоев были тесно связаны. Несколько богачей в Нилке, запятнавших себя открытым предательством своего народа, были после захвата города казнены партизанами, но в целом руководство восстанием придерживалось политики прощения и милосердия, и возмездие за измену не постигло многих, кто этого вполне заслуживал. Руководители повстанцев еще не осознали, какие тяжелые последствия может иметь эта линия на всепрощение по отношению к

предателям народа и независимости. У них не имелось необходимого государственного опыта. Ведь уже ряд веков уйгурский народ не знал независимости, забыл о том, как надо управлять своей страной.

— Ну что ж, — Гани понимал, что Патих сейчас не уступит, — если ты надеешься с ними поладить, попробуй. Мы же займемся теми делами, где следует применять оружие. Я правильно говорю, джигиты?

— Верно! Пусть Патих ведает делами управления, пусть будет хакимом, а мы займемся войной! — снова заторопился Осман.

После того, как все высказались, выяснилось, что следует остановиться на трех основных положениях. Перед тем как выступить на Кульджу, необходимо провести обучение новых бойцов, научить их обращаться с оружием, усвоить элементарные правила ведения боя в различных условиях. Этим займется Гани. Это первое. Второе: Патих будет возглавлять административное руководство и ведасть снабжением войск. Третье: во всех селениях надо помочь народу избрать новых вожаков. Одной из самых главных их задач должен стать подъем населения на вооруженную борьбу против гоминьдановских завоевателей и активное пополнение партизанских войск.

* * *

В то время в крае славились три новых громадных здания, построенных на деньги известного богача Юлдашева. Первым было здание медресе в Яркенде. Вторым — банк в Кульдже. Третье выросло тоже в Кульдже, на севере города. Это было самое крупное, самое грандиозное в городе сооружение. Теперь здесь расположился штаб дивизии гоминьдановских войск. Но тут же размещались и другие руководящие учреждения режима. Здесь находилась и резиденция особого представителя генерал-губернатора Синьцзяна.

В сентябре 1944 года от генерал-губернаторского поста был освобожден Шэн Шицай, правивший краем на протяжении десяти лет, ставший широко известным своими кровавыми злодеяниями.

На его место пришел У Чжунсинь. Этот старый гоминьдановский лис с целью смыть кровавые следы правления Шэна повел политику убогатотворения и наобещал народу много хорошего в неопределенном будущем. Однако все-таки он вынужден был освободить томившихся в тюремных застенках края политических заключенных. Многие из освобожденных сразу же направились в отряды Патиха и Гани, а другие

добрались до Кульджи и влились в подпольную организацию. У Чжунсинь привез с собой из Внутреннего Китая давнего своего ставленника дивизионного генерала Дау, которого назначил своим чрезвычайным и полномочным представителем в Кульдже. С его приходом Любинди потерял былую власть, но поскольку он все же прекрасно знал здешние места и нравы жителей, то новый хозяин Кульджи с ним считался и в каждом важном деле запрашивал его мнение.

Вот и сегодня, собрав ночью приближенных на чрезвычайное совещание, Дау не начинал его из-за отсутствия Любинди. Он сделал жесткое внушение начальнику штаба за то, что тот не доставил Любинди вовремя. Но, наконец, толстяк появился, запыхавшийся и красный, хотя было совсем не жарко. Он прошел в глубь комнаты, вытер платком обильный пот и обратился к Дау:

— Я не очень задержал вас?

— Ничего страшного.

— Судя по времени нашего свидания, новости, наверно, малоприятные? — с иронией спросил Любинди.

— Как это и раньше бывало, господин Любинди. Наши войска из-за того, что они плохо знают местность и не привыкли к боевым действиям в горах, вынуждены отступать. От лиц, указанных вами, от этих чаньту Мухтара-хаджи и Нодара, мы не получили никакой помощи в наших затруднениях, — Дау воткнул сверлящий взгляд в глаза Любинди.

— Да, да, я слышал об этом, это прискорбно... Но что могут сделать эти два бедных безоружных человека, когда наши отлично вооруженные воины бегут при виде отрядов этих воров с гор. Этих двух господ еще следует поблагодарить за то, что они не переметнулись к мятежникам.

Слова Любинди были как нож в сердце для нового начальника вилайета. Оба сановника, хотя и понимали истинную причину поражения, но страшно боялись высказать ее вслух и старались поэтому переложить вину один на другого, чтобы снять с себя ответственность. Им, конечно, не следовало бы обмениваться шпильками с самого начала военного совещания. Один из них был отстранен от власти и, в общем-то, мог быть сейчас не более, чем советником, второй же только-только приступал к своим обязанностям. Но хотя они и понимали, что ссориться им бессмысленно и вредно, тщеславие затмевало рассудок, возбуждая взаимную неприязнь и даже ненависть.

После освобождения Нилки власти Илийского вилайета предпринимали все возможное, чтобы не допустить продвижения партизан дальше в глубь территории и продолжали строить планы уничтожения

отряда «шести воров». Прежде всего, против восставших был направлен полк отлично вооруженных солдат. Разбитый на три колонны, он должен был напасть на повстанцев с трех сторон — от Басилгана, Султан-увайса и Карайоты и взять Нилку в кольцо. Но отряды Гани встретили полк в самом начале его похода, разгромили и отогнали назад до самого Султан-мазара.

В этой битве Гани-батур потерял своего близкого старого друга Акбара. Он легко мог погибнуть и сам, потому что весь бой находился на самых решающих участках, совсем не заботясь о своей безопасности. Но об этом батур не думал ни во время боя, ни после, когда на него всей тяжестью обрушилась боль потери верного товарища.

После этого поражения гоминьдановцы перестали мечтать, что партизаны будут разбиты при первом же появлении регулярных войск. Они убедились, что «шесть воров» — это совсем не разбойничья шайка, готовая разбежаться при звуке первого выстрела, а достаточно хорошо организованный и обученный вооруженный отряд, которым руководят талантливые командиры. Мышь превратилась в льва, как говорит китайская поговорка. Теперь в Кульдже оценили партизан и поняли, что ликвидировать вооруженные силы повстанцев, — задача не из простых.

— Мы слушаем вас, Сао-цаньмоучжан, — обратился Дау к начальнику штаба. Тот подошел к большой карте, висевшей на стене, и взял в руки указку.

— Мятежники-зиваза (на последнем слове он сделал ударение) в настоящее время имеют своей основной базой городок Нилка. Сейчас они держат под своим контролем районы Нилки, Кунеса и Токкузтара. Продукция государственных ферм и предприятий этих мест поступает прямо в Нилку в руки руководителей мятежа. Бунтовщики усиленно агитируют население против законной власти...

— Какова ныне численность их войск? — прервал его Любинди.

— Около двух тысяч человек. Но у них лишь немногим более тысячи винтовок. Правда, и безоружные участвуют в боях — берут на крик, неожиданно выскакивают на своих конях из засады, пугая наши войска...

— Подождите, цаньмоучжан. Объясните мне, почему бунтовщики, захватив Султан-увайс, тут же оставили его и вернулись в Нилку?

— На мой взгляд, они боятся слишком далеко отрываться от своей базы.

— Нет! Это не так! — резко отверг Любинди предположение Сао. — Бунтовщики рассчитывают на то, что мы снова предпримем наступление. Они намереваются заманить нас в горы, там уничтожить и таким образом пополнить свои запасы оружия.

— Конечно, у них есть такие планы. Но, согласно полученным данным, имеют они и другие намерения и сейчас усиленно готовятся к выступлению на Кульджу, — сказал Дау. Глядя на карту, он добавил: — Мы сделаем передней линией фронта Мазар, Тар и Сиптай, создадим оборону вокруг этих селений, встретим там врага и перекроем ему дорогу на Кульджу.

— Мы начали с заявления, что, дескать, «уничтожим врага, не выпустив его из его норы», а теперь уже планируем, как не пропустить его в Кульджу, — холодно усмехнулся Любинди. — Если мы будем продолжать сражаться с противником так, как это было в Нилке, Улустае, Карасу, Басилгане, то, господа, может, правильнее нас освободить от должностей, которые мы занимаем? — Он с силой ударил по ручке своего кресла.

— Думаю, что вы заблуждаетесь, Лю-шансин, — остановил его Дау. — У нас есть, некоторый опыт в деле подавления бунтов. Я уверен, что и на этот раз у нас хватит сил справиться с этой швалью!

— То, что было вчера, нельзя сравнивать с тем, что мы имеем сегодня! Происходящее — это не бунт. Это народное восстание. Я ценю ваш опыт, но не забывайте, что мы не во Внутреннем Китае и что движение здесь носит особый облик. Край граничит с Советским Казахстаном и Узбекистаном. И его население хочет жить так, как живут там, — Любинди открыл папку и достал из нее несколько бумаг. — Вот пожалуйста! В прошлом местное население выступало за идеи ислама, поднимало газават. А теперь они сражаются за «Независимый Уйгуристан!» За «Восточно-Туркестанскую республику!» Вот какие лозунги у них сегодня!

Дау не спеша посмотрел текст листовок, переведенный на китайский язык. В этих прокламациях, составленных организацией «Свобода» от имени повстанцев, содержались лозунги, о которых говорил Любинди. Читая листовки, Дау чувствовал, как тысяча игл впивается ему в сердце. Эти слова просто немислимо было произнести вслух, настолько крамольно они звучали. Побледнев, Дау закрипел зубами.

— С-коты! — он повернулся к Любинди. — Пусть они пишат эти гадости, пусть, но... но... — Дау не нашел, что сказать, и повторил: — Неблагодарные скоты!

— Вы поняли, о чем мечтают?

— У нас сейчас другая забота, — ответил Дау. — Наша задача — не разбираться в их мечтаниях, а подавить восстание. Скажите, может ли случиться, что население Кульджи поднимется на помощь повстанцам?

— Я не могу сейчас твердо сказать ни да ни нет! Но в любом случае

необходимо принять меры предосторожности.

— Например?

— Прежде всего нужно арестовать тех, кто ведет людей на подобные выступления.

— Мало ли людей здесь арестовывалось раньше! Но ведь этот образ действий не принес ожидаемых результатов, более того, мы еще усилили ненависть к нам в народе, что способствовало бунту...

— И тем не менее я вынужден настаивать на этом. — Любинди вынул из папки список тех лиц, которых, по его мнению, требовалось немедленно изолировать от общества.

— Рахимджан, Хасимуджан, Маймайтиджан, Махисум... — начал читать список Дау и задумался. — Если мы арестуем всех этих людей, которые, как мне известно, пользуются немалым авторитетом в народе, не подольем ли мы масла в огонь? Не лучше ли внимательно присматривать за ними? Возможно, кого-нибудь сумеем перетянуть на свою сторону.

Перешли к обсуждению вопросов обороны. Был принят план, предложенный начальником штаба. Решили перевести из Куре и Суйдуна часть войск для укрепления Кульджи и просить дополнительной помощи из Урумчи. С этого дня во всем вилайете было объявлено военное положение. Переезды из села в село и тем более в Кульджу допускались лишь по особому разрешению.

Глава девятнадцатая

Глухая ночь. Город спит в полном безмолвии. Улицы пусты. Будто бы все жители покинули Кульджу и уехали куда-нибудь далеко-далеко. Лишь процокают изредка копыта конного патруля, послышится вдруг далекий оклик: «Стой!» или еще более отдаленный выстрел — и вызовут ответный лай бродячих собак...

Ближе к рассвету с реки поднялся легкий туман и словно белым покрывалом окутал город. Еще труднее стало разобрать что-нибудь на улицах. И, дождавшись этой поры, из разных домов северной и северо-западной части города стали выходить люди. Прячась за деревьями, стенами и заборами, они добирались до условленного места — квартала Алта шиар. Говорят: «Капля за каплей — озеро будет». Так и подходившие один за другим ночные гости вскоре переполнили двор одного из домов и уже не помещались в нем. Это были городские мятежники — люди разных профессий, представители разных Национальностей. Среди них были уйгуры, казахи, узбеки, татары, дунгане... Каждый из них прожил нелегкую жизнь, полную страданий и бед, принесенных угнетателями. Все они стремились к одной цели — свободе родной земли, все были готовы к борьбе с ее захватчиками. Это было видно и из того, что у каждого имелось хоть какое-нибудь оружие: у кого ружье, у кого копье или сабля, или просто увесистая дубинка. Цель, объединившая их — борьба за свободный Уйгуристан, — возникла не вчера. Эта мечта набирала силу с давних времен в сердцах многих поколений, переходя от отца к сыну. Нынешнее восстание было продолжением долгой борьбы народа за свою независимость. Это поднималась национально-освободительная революция.

Руководство движением разделилось на два крыла: правое — во главе с Елиханом, состоявшее из группы представителей духовенства, баев и землевладельцев, и левое, в которое входили деятели типа Аббасова, Рахимджана Сабири, Касымджана, а также Гани-батур и Патих. Оно выражало интересы широких слоев населения.

Активисты подпольной организации «Свобода» собрались сегодня, чтобы обсудить воззвание «К народам свободного Восточного Туркестана», написанное Ахметджаном Касыми. В этом воззвании кратко, но очень емко и четко говорилось о том, что Синьцзян — Восточный Туркестан издревле был и остается землей уйгуров, их родиной, о том, что

уйгурский народ обладает богатейшей и древней культурой, о том, что уйгуры имели прежде независимое государство, известное далеко за пределами Азии. Кроме того, разъяснялась колонизаторская и захватническая роль гоминьдановцев, разоблачались их черные замыслы полностью закабалить живущие в Синьцзяне народы, убить в них чувство национального самосознания, разобщить их интересы и противопоставить их друг другу. Воззвание, призывавшее всех жителей Восточного Туркестана к борьбе за свою свободу и независимость, заканчивалось следующими словами:

«Соотечественники! Мы люди, мы хотим жить как люди! Мы люди и имеем право защищать свое человеческое достоинство и требовать к нему уважения! Но это право, эта свобода и равенство сами к нам не придут, и никто их нам не пожалует. Только борьба, неустанная и мужественная борьба, может сделать нас свободными и независимыми. Так встанем же на борьбу, соотечественники! Высоко поднимем знамя нашей свободы! Вперед! Правда на нашей стороне, с нами в нашей борьбе и те, кто погиб за правое дело! Победа будет за нами, дорогие братья!»

Воззвание было одобрено. Его сразу же отдали размножить на шапирографе.

...Все было готово, еще через два часа наступит тот миг, которого все ждут с нетерпением, — начало восстания в Кульдже!

Два вооруженных человека вышли из здания татарской школы, прячась за деревьями, по задворкам пробрались на соседнюю улицу, по безводному арыку доползли до зарослей ивняка и там затаились. Прямо перед ними был дом Любинди, расположенный за три улицы от главного управления. По заданию организации они должны были уничтожить всем ненавистного палача и предателя, на черной совести которого были тысячи жизней их товарищей. Провести эту операцию вызвался Абдукерим Аббасов. Теперь он лежал со своим товарищем перед домом Любинди.

Но выйдет ли Любинди сегодня утром из квартиры? Что он ночевал сегодня дома, было точно известно. В двенадцать ночи его доставил сюда «форд».

Аббасов хорошо знал дом Любинди, не раз бывал в нем. Он знал также, что, хотя перед крыльцом и не видно часовых, во дворе и в самом доме непрерывно дежурят шесть личных телохранителей Любинди. И если

толстяк не выйдет на улицу, то пытаться проникнуть в дом бесполезно. Ничего не получится, кроме ненужного шума. Поэтому остается только терпеливо ждать его появления.

Третье от угла окно светилось. Это было окно рабочего кабинета Любинди. Аббасов не раз бывал в этом кабинете. Любинди часто вызывал сюда людей, с которыми хотел встретиться, а по ночам он здесь принимал своих секретных агентов.

— Почему зажегся свет? Может быть, к Любинди кто-то пришел? Или ему передали по телефону важные новости? — напряженно размышлял Абдукерим.

— Видите человека, что тайком пробирается к дому? — тихо спросил Аббасова его товарищ.

Начинало светать, и кое-что уже можно было разглядеть. Приглядевшись, Аббасов тоже увидел человека, который, прячась и оглядываясь, приближался к зданию. Но тут из переулка прямо на него выскочил патруль:

— Стой! — закричал патрульный на коне. — Руки вверх!

Подняв руки, незнакомец что-то сказал всадникам, видимо, пароль, те, отпустив его, поехали дальше. Аббасов не мог разглядеть лица шпика, но его голос показался ему знакомым. Кто же это мог быть? Ему были известны многие люди Любинди: Зайнулла, Шеривахун, Хашим, Давур... Кто же из них? Человек повернулся. Зайнулла! «Наверно, узнал о часе восстания...»

А тот тем временем подошел к окну и, тихо постучав условным стуком, прошел к воротам. Через некоторое время ворота с тягучим скрипом приоткрылись, и агент прошмыгнул внутрь.

— Хорошо бы прикончить обоих! — шепнул товарищу Аббасов и посмотрел на часы. — Без двадцати минут шесть.

Холод поздней осени пронизывал до костей, а они уже около двух часов пролежали в сыром арыке... Товарищ Абдукерима уже начал дрожать, но старался не подавать виду, что он замерз. Разве может холод испугать подпольщика, выполняющего важное задание?

Аббасов тревожно всматривался то в окно кабинета, то в ту сторону, где находилось управление. Оттуда должна была показаться машина, которая придет за Любинди.

Шесть часов. Тишина... Что случилось? Аббасов снова посмотрел на часы. Ведь они перед уходом сверили стрелки с Рахимджаном. Почему они не начинают?.. Прошла минута, две, три... Аббасову показалось, что они тянутся, как три долгие дня. Что же произошло? Пять минут... шесть...

семь...

— Ур-р-р-а! Ур-р-р-а! — донесся с запада мощный крик.

— Урра! Ур-ра! — еще громче отозвались на востоке, и этот мощный зов, слившись воедино, прогремел, подобно пушечному выстрелу. Началось! На востоке кинулись в бой воины Гани-баттура, пришедшие из Нилки, а на западе — кульджинцы...

В это время со стороны главного управления засветились фары приближающегося автомобиля, в тот же миг открылись ворота и оттуда стремительно выскочил Любинди. Теперь минута решает все, медлить нельзя! Машина все ближе... Аббасов выпрыгнул из арыка и с криком: «Смерть предателю!» — разрядил в Любинди весь барабан нагана. Рядом прозвучала автоматная очередь — это стрелял товарищ. Заревев, как раненый бык, Любинди рухнул на землю...

За три дня до этого на тайном совещании было решено начать восстание 7 ноября 1944 года. По выработанному плану отряды Гани должны были напасть на противника на востоке и северо-востоке Кульджи, а городские повстанцы атаковать с запада. Согласно этому плану и началось нападение на врага — одновременно с двух сторон.

Отряды под командованием Патиха Муслимова наступали на город с северо-востока со стороны Кепакюзи и Панджима. Однако, встретив сильное сопротивление врага на укреплении Лян-шань, они после ожесточенного боя вынуждены были отойти.

Отряды партизан под руководством Гани двигались к Топадону, Карадону, Жиргилану. Им было поручено подавить части гоминьдановцев, сосредоточенные возле двух районных управлений безопасности. В результате были бы освобождены два крупных, густонаселенных района города. Кроме того, это дало бы возможность очистить переправу через Или, в результате чего повстанцы получали свободную связь со всеми окрестными селами.

Бойцы Гани-баттура гордились тем, что им предстоит освободить от поработителей прекрасный город, сердце Илийского края. В отрядах царило радостное нетерпеливое возбуждение. Очень волновался перед боем и их командир. Именно здесь ему предстояло доказать, что не зря народ наградил его прозвищем богатыря.

Гани обвел глазами строй своих партизан, стоявших широким фронтом в три шеренги, и выехал в центр перед ними. В ночном тумане огромный всадник на могучем коне выглядел сказочно, легендарно. Перед ним стояли пусть не регулярные войска, но уже сцементированное, твердое единство товарищей по борьбе, добровольно выбравших свой путь, с

которого их ничто не могло заставить свернуть. В сердце каждого бойца горела ненависть к врагу и отвага.

— Братья! — вдохновенно воскликнул Гани. — Сегодня мы вступим в бой за освобождение Кульджи, славного города на Или. Я верю, что вы — настоящие джигиты, что вы не уроните чести илийцев!..

В ответ раздались крики:

— Кульдже быть свободной!

— Жизнь свою отдадим за свободу родины!

Потом отдельные выкрики слились в единое мощное «ура», и шеренги двинулись в бой.

Гани разбил свой отряд на три подразделения: первое во главе с Османом и Юсупом выступало в направлении Топадона, второе под командованием Нура и Сеита — Карадона. Самый трудный участок, жиргиланский, Гани оставил для группы, которой руководил лично. Выступили все одновременно. К партизанам во время их марша примкнули и городские жители, поднятые подпольщиками. Их возглавлял Рахимджан Сабири. Отряды Гани и Рахимджана бок о бок шли вдоль реки по направлению к кварталу Чимилак. Число повстанцев росло прямо на глазах — из проснувшихся домов выскакивали наспех одетые люди и присоединялись к партизанам. Колонны повстанцев ширились с каждым шагом — словно мчался яростный селевой поток, все сметающий на своем пути. Кто бы мог теперь остановить этот сель! Нелегко и медленно поднимаются и расправляют плечи народные массы, но раз они восстали — остановить их уже никому не под силу. Берегись, враг! И не жди пощады!

Войска Гани-батурса с трех сторон ворвались в город и окружили районное управление безопасности Карадона. Для охраны каждого из управлений враг выделил по пятьдесят-шестьдесят чериков. Они исчезли мгновенно — словно корова языком слизнула. Кто-то бежал, бросив в панике оружие, другие были уничтожены или схвачены живыми, прежде чем успели оказать хоть какое-нибудь сопротивление. Гани громко сказал окружившим его бойцам: «Мы вошли в Карадон так легко, как входит острый нож в курдючное сало!» Из тюрьмы районного управления было освобождено около ста заключенных. Среди них находилась жена Патиха Муслимова, взятая гомиьндановцами в качестве заложницы.

В приемной управления Гани раздавал бойцам трофейное оружие. В комнату вошел Рахимджан и, улыбаясь, произнес:

— Оставь и для нас хоть немного.

— Для тебя-то я всегда найду оружие! — воскликнул Гани, бросаясь к

другу. Он обнял его так, что тот едва не задохнулся.

— Пусти, раздавишь, а у нас еще впереди много дел, — рассмеялся Рахимджан, а потом добавил: — Спасибо, Гани, тебе за все!

Двух народных вожаков окружили партизаны и городские повстанцы. Их лица сияли радостью первой победы.

— Друзья! — обратился к ним Гани. — Мы с вами хорошо начали, но не забывайте — мы одолели лишь первый рубеж! Успешно одолели. Но у нас впереди много преград, опасных и грозных! Не будем забывать о них!

— Веди нас, Гани-батур! Мы готовы!

— Тогда в путь! — Гани вышел на улицу и вскочил на коня.

— По коням! Строиться! — раздались команды.

Повстанцы выстроились в ряды, отдельно конные, отдельно пешие. Потом двинулись к Айдону.

Пока они дошли до Айдона, черики, поставленные здесь, все бежали к зданию главного управления безопасности. И тут из тюрьмы было освобождено восемьдесят политзаключенных.

— Куда же делись солдаты? — удивился Гани. — На самом деле бежали или готовят для нас ловушку?

— Может, конечно, быть, и то, и другое, — ответил Рахимджан. — Надо держаться настороже на случай внезапного нападения.

— Вот он, Гани, вот он! — с такими словами к ба-туру приблизилась группа местных жителей. Тут были и старосты здешних кварталов, и старые знакомые Гани. Они протискивались к батуру с распростертыми объятиями.

— Где же вы раньше-то были? — спрашивал с укором Гани, хотя и не уклонялся от объятий. — Чего бы вам стоило хоть вчера прийти...

— Ничего, и сейчас не поздно, для нас еще осталась половина Кульджи! — бил себя в грудь Омар. — Дай нам оружие!

— Что?! — грозно посмотрел на него Гани. — У меня нет свободного оружия! Кто действительно хочет воевать, должен его добыть в бою!

— Ну что же... Если мы будем твоими бойцами, наверно, без оружия не останемся. Как ты считаешь, Абдулла, а? — Омар взглянул на приятеля.

— А что, нас мать не мужчинами родила?

— Эй, а что это у тебя за пазухой топорщится? — прервал его Гани.

— Да так, спички...

Кто-то объяснил:

— Он в китайскую лавочку уже к шапочному разбору попал. Добрые люди все успели разграбить. Так он решил хоть спичек набрать...

— Так, — разозлился Гани. — Мы, значит, бьемся с врагом, а кто

прячется по домам, будет магазины грабить?

— Мародерство и грабежи позорят восстание, — поддержал его Рахимджан.

— Бавдун! — позвал Гани.

— Я здесь! — тотчас отозвался тот.

— Возьми с собой трех-четырёх джигитов и найди мне этих грабителей. Хоть из-под земли достань! Мы их принародно судить будем!

Подъехали Касым-мираб и Хажахан с сотней всадников. Человек двадцать из них были вооружены. Они прибыли из Кайнука, Джагистая, Хонихая. Они успели даже где-то сшить белое знамя с полумесяцем и звездой...

В первый же день уличных боев была освобождена вся южная половина Кульджи, и повстанцы оказались прочно связанными с жителями селений, лежащих по обоим берегам Или.

Зато на западе и северо-западе дела повстанцев сложились не так удачно. Здесь их отряды, пройдя немного вперед от Трех ворот, были остановлены перед центральными улицами.

На вечернем совещании руководства восстания подводились итоги дня, ставились новые задачи.

— Наша главная победа в том, что мы подняли на борьбу массы. Восстание стало народным. Важнее этого нет ничего! — говорил Касымджан.

— Верно! Но теперь мы должны, не теряя инициативы, как можно скорее полностью освободить Кульджу! — добавил Сабири.

— Надо особо отметить мужество Гани-батура и его партизан. Они показывают всем, как нужно воевать. Там, где Гани, там победа! — отметил Аббасов.

— Да, действия отряда Гани-батура, который захватил три районных управления безопасности, освободил заключенных из тюрем, добыл много трофейного оружия и взял в плен более трехсот чериков, нанесли наибольший урон войскам гоминьдановцев, в этом нет сомнения. Ну, а мы, те, кто наступал с запада, не смогли пройти дальше Трех ворот. Отряды Патиха тоже не смогли разбить чериков и отступили в Турпанюзи. Что скрывать — это наши неудачи. Выходит, не все мы умеем воевать? — грустно сказал Махсум.

— Давно известно, что врага недооценивать нельзя! — начал выступление со своей любимой мысли Рахимджан. — Хотя мы и можем говорить о том, что основная часть Кульджи в наших руках, но нельзя забывать, что в городе еще полно вооруженных чериков. Такие важные

объекты, как аэродром, крепость Харамбах, укрепление Лян-шань все еще в руках врага. Вскоре им может прийти подмога, и тогда наше положение осложнится. Поэтому необходимо сейчас же бросить все силы на захват этих объектов.

— Прежде всего нужно занять главное управление! Там в застенках томятся тысячи наших братьев. В первую очередь нужно их спасти от смерти! — категорическим тоном высказал свое мнение Аббасов.

— Да, это наш долг, но все же я думаю, что прежде всего необходимо отделить голову дракона от его туловища! — не менее твердо заявил Махсум.

Предложение Махсума являлось очень резонным. Оружия повстанцам не хватало. Пушек, в частности, у них не имелось совсем. Поэтому разумно было, не разбрасывая силы, прежде всего ликвидировать главный штаб противника.

— Я согласен, штаб надо захватить в первую очередь, — поддержал Махсума Рахимджан. — Но чтобы обеспечить его успешный штурм, мы должны освободить Алтунлук.

— Это здравая мысль, именно с этого и начнем! — согласился с Рахимджаном Елихан.

* * *

В этот вечер отряды Гани-батура, хотя и разбили чериков, окопавшихся на спичечной фабрике, расположенной к северу от главного штаба, все же не смогли овладеть Алтунлукским укреплением.

Вокруг холма Алтунлук противник вырыл несколько рядов траншей, в которых надежно укрылись черики. Пулеметы били из каждой бойницы каменной крепости на холме. Пройти сквозь этот град огня было невозможно.

Гани метался на своем командном пункте, видя, что атака захлебнулась. Но что было делать?! Батура окружали его старые друзья, люди бесстрашные, много выдавшие на своем веку, готовые идти за своим Гани и в огонь, и в воду. Но одной храбрости, даже самой беззаветной, сейчас было мало.

— Слушай, давай я попробую пробиться к стене и взорвать ее. А вы броситесь в брешь, — вызвался Абдулла.

— Да ты же гранаты в руках не держал, как ты стену взорвать собираешься? Тебе жить надоело?

— Ну что ж, умирать так с толком. Сколько уже погибло наших товарищей...

— Нам не умирать надо, а жить, чтобы драться. Не торопись, брат, на таком безумном геройстве далеко не уедешь. Нынешний бой — это тебе не драка на кулаках...

В это время двое бойцов волоком втащили в комнату какого-то человека и бросили его на пол перед Гани.

— Кто это? — спросил Гани.

— Китаец!

— Китаец?

— Да, попался, гад. Хотел я его прямо там прикончить, но он вдруг заверещал, что должен непременно увидеть тебя...

Гани, не дослушав, нагнулся к человеку на полу, приподнял его и воскликнул:

— Сай Шансин!

Пришедший в себя Сай заговорил поспешно, кланяясь по-китайски.

— Моя знает, ты хороший человека...

Все в комнате с удивлением смотрели на него.

— Ладно, ладно, не надо передо мной, как перед Буддой, класть поклоны, Сай. — Гани помог старому другу подняться и усадил его в кресло, а потом, оглянувшись, объяснил:

— Это хороший китаец, наш товарищ.

— Фу ты, черт, а я его чуть не пристрелил! — сказал один из тех, кто привел Сая.

— Очень уж ты торопливый, — насмешливо заметил Гани.

— Дай тебя, брат, разглядеть, сколько моя тебя не видела, — Сай с любовью вглядывался в лицо батура.

— Ну что, друг, не будешь обижаться, если мы кое-кого из твоих сородичей на небо отправим? — спросил Гани. — Иначе нельзя.

— Кто несправедлив, злобен и жесток — пусть умирает.

— Смотри ты, китаец правду говорит, — зашумели вокруг.

— Поэтому-то мы с ним и друзья, — подытожил Гани и приказал приготовить для Сай Шансина крепкого чая.

А в комнату вошли еще двое — Хаким-шанъё и Рози-кари. Вошли как кающиеся грешники, прижав руки к груди и низко склонив головы.

— А, «земляки», — гневно сказал Гани. — Ну, где же ваша опора, ваша защита, где Нияз-лозун, Давур-тунчи? Что же это вы с ними расстались?

— Прости нас, прости, — оба рыдали, словно бабы.

— Тьфу! Противно глядеть на вас! Да будьте же в конце концов мужчинами! Даже если смерть ждет, надо вести себя достойно. Что вы нюни распустили?

— Повинную голову меч не сечет, дорогой, мы пришли к тебе с покаянием, мы в твоих руках, делай с нами что хочешь...

— Я вспоминать старое и мстить за него не хочу. Не такой я человек! — суровым голосом сказал Гани. — Если вы на самом деле поняли свою вину и обещаете больше не делать людям зла — прощаю вас!

— Что ты делаешь! — вмешался Абдулла. — Разве эти кровопийцы когда-нибудь изменятся! Если у тебя рука не поднимается, отдай их мне, я их сейчас же к стенке!

— Ты что?! Не убил еще ни одного вражеского черика, а безоружных единоверцев губить собираешься? — гневно вскинул руку Гани. Посмотрев на непомнящих себя от страха Хакима и Розы, бросил им: — Убирайтесь! — показав на Сая, добавил: — Но помните, что вот этот китаец мне в сто раз дороже таких уйгуров, как вы!

Выходя со словами благодарности аллаху за спасение, Хаким и Розы столкнулись в дверях с партизанами, которые вели связанного Давура.

— О, мой друг Давур пожаловал, — приподнялся с места Гани. — Проходи, же, дорогой, проходи! — И когда пленного провели на середину комнаты, иронически спросил: — Ты что же, решил к нам примкнуть? Или выполняешь какое-нибудь секретное задание своих господ?

— Сила у тебя, делай что хочешь, — ответил Давур и протянул руки вперед. — Видишь, они связаны.

— Я ведь не приказывал отыскать тебя. Прости, забыл о тебе за делами. Но, видно, народ тебя так любит, что обошелся без моих приказаний...

— Значит, не ты велел притащить меня? — удивился Давур.

— Нет, в этом моей вины нет. Когда ты отдавал меня в руки гомиьндановцев, ты, помнишь, сказал мне, что я, мол, сам виноват в этом. Теперь моя очередь произнести эти слова.

Давур опустил голову. Напоминание о том, что он предал друга, было для него тягостнее самого страха смерти.

— Если уж быть откровенным, — продолжал Гани, — то, скажу тебе, там, в тюрьме, когда мне на кожу лили кипящее масло, я про себя поклялся тебя и хромого Хашима поймать и уничтожить своими руками, как гадин. Твое счастье, что нынче мне было некогда выполнить старые клятвы и искать тебя. А человека со связанными руками я убить не могу. Даже тебя.

— Что же, ты прощаешь меня?.. — с затаенной надеждой поднял

голову Давур.

— Нет! Нет у меня права прощать тебя! Ты будешь отвечать перед судом народа, народ решит твою судьбу! — сказал Гани и жестом приказал вывести Давура. На минуту воцарилось молчание. Его прервал вихрем ворвавшийся Осман-батур (в последние дни к именам всех основателей «шестерки» стали прибавлять слово «батур») с автоматом на шее. Он с ходу разгоряченно закричал:

— Долго мы будем здесь прохлаждаться?! Гани! Если ты не можешь сам захватить укрепление, поручи это мне, я сделаю!

— Осман-батур! — Гани сделал ударение на слове «батур». — Ты прав, я не смог здесь ничего сделать. Что ж, может быть, у тебя получится...

— А что, я попробую! — Осман выскочил пулей. Этому бесстрашному джигиту была свойственна нерассуждающая торопливость и излишняя самоуверенность. А победы последних дней совсем вскружили ему голову. Он казался себе равным Гани по доблести. А сегодня он даже говорил с Гани несколько свысока, но тот сделал вид, что не заметил этого.

Осман добежал до передовых позиций партизан, на ходу кинул своему помощнику: «Укрепление возьмем мы!» — и, пока до того доходили его слова, громогласно скомандовал: «Вперед, братцы, вперед!» Подчиняясь его приказу, бойцы поднялись в атаку. Впереди всех с автоматом в руке бежал Осман.

Гани уже сожалел, что, поддавшись раздражению, не остановил Османа. Сколько ненужных жертв принесет эта поспешная атака. Но жалеть было поздно. Теперь оставалось только поддержать ее, иначе она захлебнется, и жертвы окажутся совсем бессмысленными. И Гани отдал команду к наступлению.

Джигиты во главе с Османом пробились уже к воротам штаба и сражались там врукопашную. Гани видел, как упал Осман, и на бегу подбодрил партизан зычным криком:

— Вперед, братья, вперед!

Не выдержав ураганного натиска, черики стали отступать. Гани и его джигиты ворвались в укрепление. Они закрепились у ворот и начали меткими выстрелами снимать пулеметчиков одного за другим. Огонь ослабел, и это позволило отрядам Патиха и Рахимджана начать атаку со стороны моста. Повстанцы прыгали в окопы врага, в рукопашной схватке уничтожали их защитников и переходили в новый ряд траншей. Вскоре бойцы достигли стен крепости и первые смельчаки перемахнули через них.

И снова крики «ура» разнеслись по всей округе, и враг бежал.

Повстанцы гнали его до самой Харамбахской крепости.

В этом бою пал отважный Сеит, принявший командование отрядом после того, как выбыл из строя Осман, раненный в правую руку.

После боя Гани-батур отправился вместе с Бавдуном во временный госпиталь узнать о состоянии Османа. Госпиталь расположился в здании совсем неподалеку от места боя. Гани, спрыгнув с коня, отдал поводья Бавдуну и пошел в палату, где лежал Осман. В дверях он столкнулся с девушкой — сестрой милосердия с повязкой на рукаве. Они оба подняли глаза — и сердце Гани на миг остановилось. Всего два раза в жизни он видел эту девушку, и много воды утекло с поры тех свиданий, но она прочно и навсегда заняла место в сердце Гани-батурса.

— Чолпан! — Встреча была такой неожиданной, что батур не находил слов. Он молча стоял перед молодой женщиной.

Чолпан бросила быстрый взгляд на батурса. Поймав его, Гани спросил:

— Вы не обиделись на меня, Чолпан?

— За что? — словно испугавшись чего-то, спросила девушка.

— За то, что я не защитил вас, ничего не смог для вас сделать...

— Не говорите так, Гани-ака...

— Вы не забыли меня?

— Я вас никогда не забуду! — ответила девушка и легким движением выскользнула в коридор.

Гани хотел было выйти за ней, но на полшаге остановился. Он прошел в палату, подошел к кровати, на которой лежали улыбающийся Осман с перевязанной рукой, и поднял кровать с раненым на высоту груди:

— Нашел! Нашел! Я нашел ее! — едва не кричал от радости Гани.

* * *

Революционный штаб перенес свою резиденцию в здание бывшего штаба гоминьдановской дивизии. Теперь повстанцы, которые за последние недели и ели на ходу, и спали порой стоя, получили возможность отдохнуть в теплой казарме и пообедать в просторной столовой. Руководители работали в удобных офицерских кабинетах. Появились условия и для издания газеты. Под редакцией Хабиба Юнчи и Ахметджана Касыми стала выходить газета «Свободный Восточный Туркестан». В освобожденной части города восстанавливался порядок, начали работать предприятия, торговали магазины, но по городу проходила линия фронта. В здании главного управления безопасности еще было логово врага. До его

ликвидации борьба, конечно, не могла считаться законченной.

Это дело было вновь поручено Гани. Руководители восстания верили его мужеству, его таланту военачальника. Батур дружил с победой. Повстанцы гордились своим героем, его имя слышалось повсюду, его сравнивали с самим Садыр-палваном, о нем слагали песни. Вот и сейчас на площади перед штабом, где всегда былолюдно, где толпились и горожане, и приехавшие в Кульджу сельские жители — все радостно возбужденные, празднующие рождение свободы, — какой-то человек, взобравшись на помост, читал, видимо, только что сочиненные стихи:

Шел на Нилку строй за строем.
Но разбился о гранит.
Среди доблестных героев
Самый доблестный — Гани.

Сам не ведающий страха
Он врагам внушает страх:
Петушились, но однако
Убежали в Харамбах!

Не очень складные строчки вызывают восторг:
— Молодец, парень! Здорово сочинил. Молодец!
— Да здравствует Гани! Слава Гани!

Как раз эту минуту батур выехал из двора штаба во главе сотни конников. Толпа зашумела еще пуще: «Вон наш герой, вот он наш Гани-батур!» Гани был одет, как обычно, скромно, зато оружием его можно было залюбоваться. Спокойную деловитую сосредоточенность выражало лицо батура. Спокойной уверенностью и силой веяло от колонны его всадников.

Гани остановил коня и поднял руку, призывая к тишине. Он всматривался в лица людей в толпе — радостные, счастливые лица — и горячая волна обнимала его сердце. Это был его народ, тот народ, ради которого он жил, страдал, боролся, шел в бою на смерть.

— Братья! — громко произнес он, когда установилась тишина. — Не для забавы взяли мы в руки оружие. Нет, мы взяли за него для того, чтобы победить — или умереть! Или будет жить на вольной земле свободный народ наш, или будут нас угнетать захватчики. Вот какой выбор стоит перед нами, и третьего пути нет! — Гани сделал паузу, собираясь с

мыслями. — Впереди еще много жарких боев. Вот только что я дал в штабе слово освободить наших братьев, которые томятся сейчас в застенках, и иду против войск противника, укрывшихся в главном управлении! Кто хочет идти со мной — становитесь в строй!

— Мы для этого и пришли сюда!

— Веди нас, Гани-батур, мы с тобой!

Вперед вышли четыре джигита, один из них развернул и высоко поднял белое знамя с вышитым на нем полумесяцем.

— Вперед! — дал команду Гани-батур. Первыми тронулись всадники, за ними строем двинулось пополнение.

— Да здравствует свобода!

— Да здравствует революция!

Человеческая масса текла по улице, как мощный поток, как горная река, выплеснувшаяся из теснин на широкий простор. Кто бы смог остановить этот неуправляемый поток...

Главное управление безопасности окружено со всех сторон высокой стеной, увитой поверху колючей проволокой в несколько рядов. В крепости кроме войск службы безопасности укрывался еще и целый батальон чериков. Вооружены осажденные были отлично, и Гау-жужан рассчитывал продержаться до прихода помощи из Урумчи. Он надеялся, что получит ее скоро. Солдатам внушали, что пробудут в окружении они совсем недолго, лишь несколько дней. Гау, отличавшийся большой самоуверенностью, и сам надеялся на это. Захват Кульджи повстанцами казался ему какой-то политической и военной нелепостью, которая, несомненно, должна скоро кончиться.

Гау-жужан только что обошел позиции защитников крепости, когда адъютант доложил ему:

— Воры прислали парламентаря!

— Переговоры! — расхохотался Гау. — Наглецы! Они рассчитывают, что мы будем вести переговоры с ворами! Ну, что же, введите его.

Парламентарь вошел и начал:

— Я представитель революционного комитета...

— Революционный комитет? — перебил его Гау. — Скажите правильнее: я представитель воров и грабителей, выступивших против законной власти. Я ведь знаю вас. Вы же сын крупного дунганского землевладельца. Как вы, забыв честь, оказались среди нищих воришек, грабителей-бутовщиков?

— Я — парламентарь, и требую, чтобы меня выслушали!

— Да зачем мне тебя слушать? Я и так знаю, что ты скажешь. Вы,

разумеется, требуете, чтобы я сложил оружие, сдался. Так?

— Да, так. Именно это я и пришел вам сказать. Думайте, Гау-жужан, думайте. Среди восставших не одни уйгуры, не одни чаньту, как вы их называете... У нас все народы, все национальности, поработанные захватчиками на своей родной земле.

— Молчать! Я не нуждаюсь в твоих нравоучениях, предатель!

— Кто предатель, об этом знает народ! Да и вы знаете это, только боитесь думать...

— Что?! — разгневанный Гау вскочил, влепил пощечину парламентару, да такую, что тот пошатнулся. Но все же он удержался на ногах и даже сохранил спокойствие.

— Возьмите себя в руки, Гау-жужан! Зачем понапрасну проливать кровь? Ведь у вас нет никаких надежд, вы в кольце. Если вы не сдадитесь, вас уничтожат!

— Сдаваться? Мне? Да я разорву твою поганую пасть, которой ты осмелился сказать мне это, — Гау вынул из кобуры пистолет и выстрелил парламентару в лицо. Тот упал, обливаясь кровью. Он был без сознания, но еще жив. Гау приказал сбросить его со стены — пусть полюбуются! Он закурил сигарету. Когда адъютант вернулся и доложил, что приказание выполнено, Гау сделал новое распоряжение — уничтожить всех заключенных в тюрьме. Ни в какие списки заглядывать не надо, ликвидировать всех подряд.

...Главное управление безопасности гоминьдановцев было окружено с четырех сторон. В первых рядах стояли хорошо вооруженные повстанцы, уже организованные в отряды, а за ними — масса, только что примкнувшая к партизанам — горожане и дехкане с пиками, дубинами, вилами и топорами.

Стараясь избежать кровопролития, руководители повстанцев перед началом атаки отправили к Гау парламентаря. Горе и гнев охватили всех, когда его окровавленное тело упало с крепостной стены на землю. Гани выхватил маузер и дал знак к выступлению.

— Вперед, братья, на врага! Никого не щадить!

Крепость ответила на атаку сильнейшим огнем. Через час лишь бойцам, наступавшим с запада, удалось пробиться к крепостной стене. Они оказались в сравнительной безопасности, в мертвой зоне. Но двигаться дальше было некуда.

— Придется взрывать эту дуру, иного выхода нет, — Гани-батур постучал по крепостной стене.

— Тола у нас хватит, — поддержал его Нур-батур.

— Наш славный предок Садыр-палван когда-то простым порохом подорвал огромную крепостную стену Баяндая. Если мы не сможем разрушить эту тоненькую перегородку, то грош нам цена. Как ты думаешь, Юсуп?

— Позволь мне заняться этим, батур.

— Давай, друг, я надеюсь на тебя...

Несмотря на то, что смерть подстергала осаждавших на каждом шагу, близость победы поддерживала в них веселое возбуждение. Кто-то, вспомнив страсть Юсупа передавать новости, крикнул:

— Юсуп так привык слухи разносить, что стену разнести ему ничего не стоит!

Под общий хохот другой повстанец добавил:

— Разносить он мастер!

Отсмеявшись, перешли к серьезному обсуждению плана действий. В помощь Юсупу выделили Нура, Кувана, Бавдуна. Они начали работать у стены под охраной товарищей. Гани же с другими партизанами вернулся в один из соседних домов, стоявших в нескольких саженях от крепости.

— В заборах этих домов, — объяснил он, — нужно проделать достаточно широкие отверстия, чтобы сейчас же после взрыва можно было выскочить и броситься в пролом крепостной стены.

— Да ведь сколько дыр проделать придется...

— Подумаешь, сложности. Дайте-ка я покажу вам, как это делается. — Гани приказал принести ему лом и мощными ударами стал разбивать глинобитный забор. Через несколько минут получилось отверстие, в которое свободно мог пролезть человек. Гани оглянулся.

— Турди! Иди-ка сюда! — позвал он одного из партизан. — Помнится мне, что в детстве ты увлекался такой невинной забавой — крал кур, пролезая в курятник вот в такие дыры. Вспомни золотое детство и покажи, как это делается! Измерь расстояние от забора до стены крепости.

— Так ведь там стреляют?..

— Боишься, что не успеешь рассчитаться с Гау-жужаном? Не бойся. Если тебя сразит вражеская пуля, я распоряжусь, чтобы тебя похоронили в одной могиле с ним. Там ты с ним еще поговоришь.

Все засмеялись.

— Ладно, пойду, — вздохнув, кисло ответил Турди. — Но если погибну, хороните меня со своими, а не с этим вонючим Гау.

Невысокий ловкий боец и вправду, как мышь, проскользнул через дыру. Спустя пять минут он вернулся назад:

— Восемь широких шагов, — доложил он, отряхиваясь от пыли.

— Понятно.

Весь вечер и всю ночь повстанцы неустанно беспокоили чериков огнем и вылазками. На рассвете раздался мощный взрыв, разбудивший весь город. Одновременно с ним со всех сторон послышалось громовое «ура!», заставившее чериков в крепости забиться в смертельном ужасе.

Повстанцы, разбившись на две штурмовые группы, бросились на крепость. Одна группа устремилась в пролом в стене, бойцы другой приставили к уцелевшим ее участкам лестницы. Они карабкались на бастионы, как кошки, и сверху кидались на обезумевших чериков, в броске распарывая их пиками и штыками. Партизаны гонялись за солдатами по двору, добывая на ходу. Те поднимали руки, моля о пощаде. Избиение прекратилось, пленных загнали в конюшню и заперли.

Гау-жужан забился в свой кабинет и не выпускал из рук телефонной трубки, пытаясь дозвониться до Урумчи. Он совершенно потерял голову и заперся изнутри на ключ, как будто дверной замок мог остановить партизан, взметнувших в небо крепостные стены! Кто бы распознал в этой жалкой дрожащей фигурке грозного властителя человеческих судеб, еще вчера приказавшего казнить сотни беззащитных узников! Когда в его кабинет ворвались Гани, Нур, Бавдун, он по-животному завизжал от ужаса и упал на пол, пытаясь прикрыть лицо телефонной трубкой.

— Ни хау, Гау-жужан? Гани зиваза лайла!^[29] — сказал батур по-китайски.

— Гани?! — Гау вскочил как ужаленный и, снова завизжав, бросился в ноги баттуру, моля о пощаде.

— А что ты сделал с нашим парламентаром?

— Пощади! Пощади!

Гани, скривив губы, поднял маузер и сунул дуло в раскрытый от ужаса рот жужана, но его остановил Нур:

— Не спеши! Этот подлец многое знает, надо сначала его хорошенько допросить.

— Что ж, ты прав...

Гани быстро вышел из комнаты. Здание управления ему было хорошо знакомо, не раз ему доводилось бывать здесь «в гостях». Он сразу же нашел путь в тюрьму-подвал и пошел вдоль дверей камер, срывая замки. Ему помогали товарищи. Узники, выходившие из камер, бросались на шею своим освободителям. Заключенных насчитывалось совсем немного. А где же остальные?..

Не найдя среди живых того, кого он искал здесь, Гани сразу как-то потух. Опустив голову, пошел назад, не замечая ни повстанцев, ни

освобожденных арестантов, ни пленных чериков. У него что-то спрашивали Нур, Бавдун, но ответа не получали. Гани не видел и не слышал их...

Перешагивая через трупы чериков, Гани вышел во внутренний двор и остановился, пораженный страшным зрелищем. Огромная яма для свалки мусора была переполнена изуродованными остатками человеческих тел, Гани и вышедшие за ним товарищи, онемевшие от ужаса, не могли даже сначала понять, что перед ними. Потом до них дошло. Узников не расстреливали. Их живыми рубили на куски.

— Это что?! — раздался чей-то потрясенный голос.

В углу двора был вырыт глубокий колодец. Он тоже до половины был заполнен трупами — узников сверху сбрасывали живыми, они умирали в медленных муках, разбившись при падении, задавленные телами упавших на них...

— Проклятые палачи! Проклятые! Смерть, смерть им всем!..

Партизаны начали вынимать трупы из колодца и из ямы. В это время кто-то закричал:

— Идите сюда, сюда!

Голос слышался из конюшни.

Подбежав, бойцы увидели: здесь лежали связанные попарно узники. Палачи собирались их рубить топорами, но начался штурм, и убийцам стало не до своих жертв: они бежали, спасая шкуры... Среди узников, оставшихся в живых, нашлись родственники и знакомые участников штурма. Их освобождали от пут, поднимали осторожно, выводили на воздух...

Тех, кого искал Гани, среди них не было. Неужели они где-то в глубине колодца? Сердце Гани сжалось от невыносимой боли...

— Гани-ака! — голос Бавдуна, полный слез и скорби, резанул батура по живому. Кого обнаружил там Бавдун? Кого он сейчас увидит мертвым и истерзанным? Братьев? Любимого друга Махаматджана? Или старого Нусрата? Кто из них?..

— Посмотри, Гани-ака...

Бавдун рыдал, не в силах больше сдерживаться. Гани увидел бездыханное тело Махаматджана и дико закричал. Столько горя было в его отчаянном крике, что все стоявшие вокруг почувствовали бездонную глубину страдания батура.

Родное лицо Махаматджана не было обезображено смертной мукой, на нем застыла его вечная улыбка. Казалось, что он вот-вот откроет мертвые глаза и скажет: «Это ты, Гани? Где же тебя черти носили? Не мог

прийти раньше, всегда ты так... Пока поднимешь свой тяжелый зад...»

Но никогда больше ничего не скажет друг. Гани опустился на колени перед его телом. Он приподнял голову Махаматджана, погладил его спутанные волосы и поцеловал в лоб. «Прости, прости меня, Махаматджан, что я опоздал, не успел...» Не зная, что такое слезы, Гани плакал, и слезы, стекая по его щекам, капали на мертвую улыбку Махаматджана...

Третий раз за последние дни он прощался с друзьями, близкими его сердцу. Первым ушел Хамит, совсем еще мальчишка, чье абсолютное бесстрашие покорило душу Гани и сделало этого юношу его младшим братом. Второй — казахский джигит Акбар, давний тамыр, спутник многих лет. И вот третий — друг с детства, самый близкий ему человек, его Махаматджан. И всех троих он лишился, за один месяц... Подняв тело друга на руки, как поднимает ребенка мать, Гани вынес его на воздух.

Двор был заполнен бойцами, освобожденными узниками, горожанами, пришедшими в крепость после ее падения. Батур встал перед ними с телом Махаматджана на руках.

— Сегодня мы прощаемся с нашими товарищами и братьями, загубленными палачами в застенках. Вот перед вами мой друг, он был и вашим товарищем... Во имя чего погибли они все?

Из толпы послышались голоса:

— Во имя народа! Во имя свободы!

— За независимость!

Гани немного помолчал.

— Мы ничего ни у кого не отнимаем. Это у нас отнимали — землю, свободу, жизнь. Мы боремся за то, чтобы самим быть хозяевами своей земли. И мы станем ими! Мы не сложим оружие, пока в нашем краю останется хоть один завоеватель! Вот за это и сложили головы наши братья!

И толпа загремела вновь:

— Да здравствуют герои восстания!

— Смерть врагам!

Глава двадцатая

На высоком флагштоке гордо трепещет на ветру флаг со звездой и полумесяцем. Это — знамя Свободы — знамя Восточно-Туркестанской республики, знамя временной революционной власти.

Новое временное революционное правительство, созданное 12 ноября 1944 года, обнародовало свою программу, состоявшую из десяти пунктов. В ней провозглашалось создание республики Восточный Туркестан на основе единства и равенства всех народов края, выдвигались принципы дружеских связей с Советским Союзом, всестороннего развития промышленности, сельского хозяйства, просвещения и культуры. Первоначально в правительстве республики оказались в немалом числе представители феодальной знати и духовенства. На первых порах они имели большинство и во многом определяли решение тех или иных вопросов. Но уже вскоре эти люди настолько разоблачили свою реакционность, что потеряли всякую поддержку в народе и были отстранены от власти носителями передовых идей. В республике начались демократические перемены. Большую роль в проведении реформ сыграли такие прогрессивные деятели, как Ахметджан Касыми, Рахимджан Сабири, Абдукерим Аббасов, Далилхан Сугурбаев, Гани-батур и их единомышленники, стоявшие у истоков борьбы за свободный Восточный Туркестан.

Среди членов временного правительства, представлявших восемь народностей республики, значился и Гани-батур сын Маметбаки.

...Сегодня на заседание правительства были приглашены также и другие руководящие деятели молодой республики. За Гани была специально послана коляска, но он ее вернул, велев передать, что он на колесах всегда чувствует себя неловко. Батур уселся на коня, серого в яблоках (своего любимого аргамака он сейчас не трогал, давая ему отдых). Пока он добрался до резиденции, за ним увязалось много людей, встретивших батурса на дороге, так что к дому правительства он прибыл как бы во главе внушительной группы. Спутники любовались осанкой всадника. Выкриками всячески выражали восхищение его деяниями, его героизмом. Популярность Гани стала теперь огромной.

У резиденции Гани сказал своим спутникам:

— Ну, братья, разойдитесь. А то, если мы все войдем в здание, Елихан-торе может напугаться.

Но и после того, как батур скрылся внутри, многие сопровождавшие его не пожелали уйти, остались у дома правительства, словно почетный караул.

Гани прошел через огромную приемную, великолепно убранную в национальном духе. Когда-то здесь сам Веливай Юлдашев устраивал приемы для своих наиболее почетных гостей. В продолжение веков переходило из рук в руки это здание и, наконец, досталось своему истинному хозяину — народу, который разместил в этом прекрасном доме органы своей власти.

Когда Гани вошел в зал заседаний, все уже были в сборе. Увидев героя-батура, все встали со своих мест и стоя приветствовали его. Мог ли когда-нибудь сын простого дехканина, выходец из самой гущи народа, думать, что ему станут оказывать такие почести? Смотрите, сейчас ему почтительно отдают «салам» крупнейшие баи, которые раньше и глазом бы не повели, если б вошел к ним подобный босяк.

Гани чувствовал неискренность этого байского почтения, угадывал в ее глубине язвительную насмешку богачей, привыкших только себя считать хозяевами жизни. Совсем не тот это был почет и не то уважение, которое от всего сердца оказывал ему на улице простой народ. Эта хорошо различимая фальшь заставляла Гани держаться довольно скованно.

— Проходите сюда, батур, вот ваше место, — послышался льстивый голос. Елихан-торе, сидевший во главе стола, показал на кресло слева от себя.

Гани, грузно шагая, так, что от каждого его шага жалобно скрипели половицы, прошел к указанному ему месту, Елихан-торе сделал знак садиться остальным.

Гани оглядел собравшихся на заседание: в раззолоченных пышных халатах сидели справа представители духовенства, а слева — светской власти. Из присутствовавших тут он знал лишь Касыми, Рахимджана, Аббасова, остальных или впервые видел, или знал только в лицо.

Аббасов успокаивающе кивнул ему головой, словно делая знак: «Мы здесь».

«Откуда они все взялись? Где они были, когда мы проливали в бою кровь?» — подумал Гани.

— Господа! — начал председательствовавший Елихан-торе. — Итак, мы, подняв священное знамя ислама, объявили газават!

— О всемогущий, о всепрощающий, да поддержит нас! — подхватили муллы.

— Любить родину — долг каждого человека, — продолжал торе, — и

мы любим свою родину, мы освободили ее от ига неверных кафиров, мы дали свободу всем мусульманам нашей страны. Мы считаем для себя священным долгом высоко нести знамя ислама и бороться с его врагами...

Торе медленно обвел взглядом зал, проверяя, какое действие оказывают на слушателей его слова. Представители духовенства подчеркнуто ловили каждое слово оратора, и в такт ему кивали головами, но большинство было спокойно и довольно равнодушно, трудно было понять, что они думают о смысле его речи. Немногие же, и, в первую очередь, Гани, выражали своим видом явное нетерпение и раздражение от напыщенной риторики. Опытный политикан Елихан-торе понял, что разглагольствования следует сократить, но все же привычка к краснобайству взяла верх, и он долго еще рассуждал об исламе, о правоверных и кафирах. За время его речи Гани несколько раз громко откашливался, и если бы не предостерегающие знаки Рахимджана, наверно бы, перебил оратора.

Наконец торе приступил к завершению речи:

— Наше дело — правое. За короткий срок мы добились значительных побед. Во время сражений многие сыновья и дочери народа показали чудеса героизма и получили всеобщую известность. Самым заслуженным батуром по праву считается сидящий среди нас Гани-батур.

— Гани-батур — знамя нашей победы! — крикнул с места Рахимджан.

— Да, да, Гани — знамя! — подхватил Аббасов.

Елихану-торе эти возгласы не очень понравились. Он сделал жест, означавший «Прошу не перебивать!» и продолжал:

— За исключительную доблесть и отвагу в боях с врагами-захватчиками правительство приняло решение присвоить Гани-батуру особое звание Народного героя!..

Все встали и долгими аплодисментами приветствовали батура.

— Прочтите указ, — обратился председатель к Абдураупу.

Тот встал и зачитал правительственный указ. После этого председатель приколот к груди награжденного большой орден. Снова раздались аплодисменты. Гани немного помолчал и произнес:

— Я не сделал и десятой доли того, что совершил когда-то наш предок Садыр-палван. А Садыра-палвана не награждали никакими орденами. Он не носил на груди никаких блях...

В зале раздался смех. Многие правильно поняли слова Гани, но иные баи и муллы увидели в них только темноту и грубость батура. «Какой невежа», — плюнули они про себя. Однако вслух, конечно, вежливо посмеялись вместе со всеми.

— За награду, разумеется, благодарю. Но и без всякого ордена я бы сражался с врагами до последнего дыхания. Не знать мне покоя, пока не вышвырну я всех их за пределы нашей земли.

— Да сбудутся твои слова, доблестный батур!..

— Мы будем продолжать борьбу, а вы сидите тут за своими столами и правьте народом! — продолжал между тем Гани. — Я уважаю вашу мудрость. Но имейте в виду, если вы попытаете так обращаться с народом, как обращались с ним прежние правители, то я скоро вернусь. Доиграю партию с общим врагом и начну новую игру — с вами! Так не обманите доверия простых людей.

Когда Народный герой Гани-батур вышел на улицу и стал садиться на своего серого аргамака, его окружила восторженная толпа. Оказывается, весть о его награждении уже облетела весь город и успела собрать сотни, если не тысячи, почитателей батура. Люди поздравляли друг друга. То тут, то там звучали стихи и песни в честь Народного героя. Играли на музыкальных инструментах, танцевали. Так, с песнями и танцами, все время провозглашая здравицы батуру, огромная толпа проводила Гани до его дома. Ликование народа продолжалось до позднего вечера.

Глава двадцать первая

Горный перевал занесен глубоким снегом. Трудно идти бойцам. Кони почти по грудь проваливаются в снег. Выбившись из сил, то одна, то другая лошадь падает прямо на тропе, и не встает, пока не снимут с ее спины груз. Да и сами бойцы уже на пределе усталости и бредут еле-еле. И все-таки идут вперед, стиснув зубы, преодолевая свинцовую усталость, стужу и голод, никто не хочет отстать от колонны, показать слабость. Они должны дойти до цели! Во главе отряда — Гани-батур. Он пробивает через заносы дорогу для всех. За ним Абдулла, Мусахан и Бавдун.

На высшей точке перевала на отряд внезапно обрушивается снежный шквал. Порывы ураганного ветра валят с ног, с силой бросают в лицо пригоршни снега, слепя, залепляя глаза.

— Стойте! — приказывает Гани. — Свяжите коней друг с другом в одну цепочку. — Бойцы выполняют приказ командира. — А теперь крепко держите поводья и идите след в след!

И они идут дальше, напоминая теперь группу связанных одной веревкой слепцов. Не зря этот перевал называют Талва — безумный. Прекрасные летом цветущие альпийские луга совершенно неузнаваемы в зимнюю пору. В эти месяцы обстановка здесь меняется каждую минуту: то налетит снежная буря, тег наступит недолгое затишье, то спустится густейший туман, то прокатятся, все сметая на своем пути, снежные лавины. Поэтому редкий смельчак решится зимой преодолеть этот перевал. Здешние жители отговаривали Гани вести отряд по этой дороге. Но выбрать другой, более безопасный путь, означало дополнительно потерять еще три дня, а время не терпело, поэтому батур должен был пойти на риск. Его товарищи, привыкшие верить своему командиру, беспрекословно последовали за ним по опасному маршруту. Это давало не только выигрыш во времени:— появлялся фактор неожиданности — противник не мог ожидать нападения со стороны непроходимого зимой перевала, что увеличивало шансы на победу.

Страшен перевал Талва. Теперь, когда буря заставила бойцов идти в связке, падение даже одного грозило гибелью всем — друг за другом могут они устремиться в пропасть. Сколько славных батуров погибло здесь!

Гани шел с предельной осторожностью, выверяя каждый свой шаг. Словно по живому шел, а не по мертвой промерзлой земле. Он хорошо знал подобные перевалы — Таламат, Куйкун, Музтаг. У него был опыт, и

не из безрассудной храбрости он взял на себя ответственность за жизнь двухсот человек.

— Осталось совсем немного, держитесь, братья, держитесь!

Голос Гани возвращал бойцам угасавшие силы. Кони, казалось, тоже понимали важность пути — в моменты опасности лошадь становится особенно чуткой и умной. Они выбирали дорогу не хуже, а может, и лучше своих хозяев. Лишь один из коней, нагруженный станковым пулеметом, сорвался в пропасть, порвав веревки. Он был еще жив, упав на дно, но спасти его не было возможности. Отряд прошел мимо, а умиравшее животное ржало вслед людям, словно умоляя не оставлять его наедине со смертью...

Ветер, бивший в лица путников, стих так же неожиданно, как налетел. Все вокруг мгновенно посветлело. Настроение сразу поднялось. В души бойцов вселилась уверенность в победе. Буран смел снежный покров с вершины, оставив лишь торчащие голые камни. И было в их суровой непоколебимости что-то близкое бойцам батура!

— Как дела, Сулейман? — спросил Гани у одного из своих бойцов, обведя взглядом строй и убедившись, что все на месте. Сулейман, в лисьей шапке — давний знакомый батура. Это был довольно богатый бай из Дашигруса, но лишенный обычных пороков богачей. Он на самом деле любил родную землю и ради нее был готов на жертвы. Он добровольно отдал в дар повстанцам полсотни скакунов и на свои средства одел всех бойцов отряда, после чего сам вступил в его ряды.

— Все в порядке...

— В порядке? А не врешь? Отчего же это лицо твое стало похоже на сморщенный баклажан? И чего ты поперся с нами на мороз, грелся бы себе между двух жен...

Бойцы засмеялись.

Гани объявил привал, а сам в сопровождении Бавдуна поднялся на голую вершину ближайшей горы. Полный летом прохладной воды Сайрам-коль теперь казался отсюда огромным куском льда. То там, то здесь на солнце остро сверкали гигантские ледяные глыбы, отражая солнечные лучи не хуже зеркала. Привольные джайляу с четырех сторон Сайрама лежали под толстым слоем снега. Все кругом выглядело уснувшим навеки.

Батур стоял, обшаривая взором огромные просторы, и вдруг с грустью спросил своего спутника:

— Бавдун, зачем мы лезли через этот чертов перевал? Зачем мы забрались сюда?

Бавдун недоуменно посмотрел на командира.

— Не понимаешь? Я спрашиваю, для чего мы бродим по этим горам?

— Ты сказал: «Пойдем!» — и мы пошли...

— Ну, а мне сказали: «Иди!» — вот я и пошел, — пробормотал Гани и, усевшись на корточки, свернул самокрутку.

Восточная часть Джунгарских гор, относящаяся к Илийскому вилайету — районы Кульджи, Нилки, Кунеса, Текеса, Монголкура, Токкузтара, Чапчала, Суйдуна, Чинпандзы — была освобождена от захватчиков. Северный же склон хребта с районами Аршан, Боратала, Джин был еще в руках гомиьндановцев. Его освобождение открывало дорогу на Чугучак, Тарбагатай, а потом и на Алтай. Стратегическая и политическая важность этого были ясны батуру, но его не оставляла мысль, что не только поэтому его отправили так далеко от Кульджи. Перед глазами Гани стоял короткобородый Елихан-торе с быстрым бегающим взглядом и толстыми короткими пальцами, тоже не знающими покоя. «Вы и только вы сможете выполнить эту задачу! Вам, нашему герою, нужно быть там!» — говорил этот хитрый лис, подписывая решение об экспедиции через Джунгарские горы.

Бойцы согрелись у костров, отдохнули. То там, то тут вспыхивал смех. В одной из компаний джигит-весельчак, энергично размахивая руками, рассказывал о своих подвигах.

— В захвате Чинпандзы главная заслуга моя, — повествовал он. — Дело было так: на крыше крепости в прочно укрепленном гнезде разместилось четыре пулемета. Они лупили без передышки, головы не поднять. Два раза командовали атаку, да где там... Только поднимемся, опять падаем — кто живой, а кто мертвый. Крошат они нас, как капусту. Жалко мне стало славных уйгурских джигитов — гибнут как мухи. Ну, думаю, мои дорогие, не тушуйтесь, ваш Юсуп-ака (это я про себя) вас в обиду не даст!.. Я к командиру: разрешите, мол! А он даже и не смотрит в мою сторону. Не любил он меня, завидовал доблести моей и бесстрашию. «Что тебе?» — спрашивает не оглядываясь. «Разрешите взорвать пулеметы». А он презрительно так: «Чего ты несешь?» А я ему снова: «Разрешите взорвать пулеметы». И стою на своем! Ну, ему делать нечего пожал плечами.

— О аллах, помоги мне, сказал я, обращаясь к всевышнему, связал материнским платком шесть гранат и пополз. Ползу, а пули так возле и свищут — вжик, вжик. Рядом в землю вонзаются. А в меня ни одной, словно я заговоренный!

— Может, тебя мать от пуль заговорила?

— Да нет, в него, наверное, не целились, за бревно принимали —

похож.

— Болтайте, что хотите, только дополз я до самых стен крепости. Полежал, отдышался, огляделся, потом как вскочу — и связку прямо в пулеметное гнездо! А сам бросился на землю. Такой раздался взрыв, что кругом все потемнело и в глазах у меня черно. Ну, потом отошел малость, гляжу — где были пулеметы — чистое место. Ничего нет. Как корова языком слизнула. Ну, чериков всех наверно прямо на небо забросило, а двое за стену зацепились и вопят: «Снимите нас!» Им кричат снизу: «Что это было, снаряд из пушки?» А они отвечают: «Нет! Хуже! Это гранаты Юсупа, друга бая Сулеймана!»

Хохот перекатывался от костра к костру...

Отдохнув, к вечеру бойцы снова поднялись в путь. Перед нападением на гомиьндановский гарнизон в Аршане отряд Гани должен был соединиться с отрядом Галдана. Галдан с группой бойцов-монголов прошел в монгольский аул, расположенный к западу от Аршана, чтобы там пополнить ее местными жителями.

Перед рассветом в ожидании подхода Галдана бойцы Гани укрылись за невысокими холмами. Городок Аршан лежал перед ними. Он вырос на источниках минеральных вод, широко известных своей целебной силой. Летом сюда приезжали лечиться со всех концов края. На привольных лугах здесь паслись тучные стада — жили тут, в основном, монгольские и уйгурские скотоводы. Из-за того, что недалеко от Аршана проходила граница с Советским Союзом, здесь был расположен сильный гомиьндановский военный гарнизон.

На рассвете бойцы Гани увидели, что с запада к городку подошел Галдан. Гани сразу же подал команду к атаке и сам первый с криком «ура!» побежал вперед. С запада в тот же миг тоже раздалась выстрелы и крики. Черики, разбуженные неожиданной тревогой, все же успели занять боевые позиции и оборонялись довольно стойко, однако отважные воины Гани и Галдана не давали им опомниться. Огромная фигура батура наводила на солдат отчаянный страх. Не брала героя вражеская пуля! А сам он сразил столько воинов неприятеля, сколько ему еще не приходилось уничтожать ни в одном бою.

Схватка была стремительной, а разгром врага полным. Через час Гани у входа в опустевшее здание штаба гарнизона вытер окровавленный клинок и засунул его в ножны.

Аршан был захвачен, трофеи розданы повстанцам. Позднее из монгольских джигитов, пришедших с Галданом был сформирован отдельный эскадрон. Потом он стал ядром кавалерийского полка под

командованием Эрдэ Булгунова.

И сравнительная легкость победы, и страшная усталость после тяжелого пути были причинами того, что отряд еще не привыкший к воинской дисциплине, вместо того, чтобы двинуться за бежавшими чериками и полностью уничтожить их, принялся отмечать свое торжество. Бойцы купались в целебных источниках, плотно ели — последние дни они питались впроголодь. В расположении отряда начали шмыгать пронырливые торговцы. Они предлагали за трофеи крохотные зернышки опиума, которые так приятно дурманили голову... Гани дремал, когда из караула прибежал боец и доложил, что черики наступают. Батур рванулся на двор и вскочил на коня. За ним помчалось человек пятьдесят. Галдан Кусен, Бавдун пытались удержать командира, но Гани не слушал их — он чувствовал себя виноватым в том, что позволил расслабиться себе и своим подчиненным.

Впрочем, тревога оказалась если не напрасной, то во всяком случае преувеличенной. Разбежавшиеся, а сейчас частично вновь собравшиеся остатки гарнизона и не думали о контратаке после сражения, которое показалось им подобием ада. Они мечтали лишь незаметно проскользнуть мимо партизан и уйти как можно дальше от места побоища. Но теперь батур уже не собирался их отпускать.

Ночная схватка оказалась яростной. Собака, увидев, что единственный выход, через который можно спастись, закрывает человек, бросится на него, как бы его ни боялась. Так поступили и черики.

Большая часть их была уничтожена партизанами. Но некоторым все же удалось прорваться. Преследуя беглецов, батур оторвался от своих. Он стиснул поводья зубами — в обеих руках у него были пистолеты, из которых он стрелял не переставая. Но вот кончились патроны. Гани с трудом остановил разгоряченного жеребца, что-бы перезарядить свои маузеры. Несмотря на темноту фигура огромного всадника представляла неплохую мишень. И пуля черика нашла ее.

Гани не упал с коня, он сполз на его шею, и верный скакун вынес его к своим.

— Гани ранен! Гани ранен!

Эти слова болью отозвались в сердце каждого бойца.

Так закончился этот поход под руководством Гани.

Глава двадцать вторая

У этого дома с воротами, выкрашенными в синий цвет, постоянно — и днем и ночью — толкуются люди. Он стал местом настоящего паломничества. И из близких, и из далеких мест приходят сюда самые разные люди. Приходят, чтобы узнать о здоровье Гани, повидать самого батурса, спросить его — не нужна ли ему какая-нибудь помощь. После свидания с Гани-батуром люди спешат в свои селения рассказать новости о герое своим землякам — всех интересует его здоровье.

— Смотрите, из дома вышел Касым-мираб! — произнес кто-то в толпе ожидавших, и люди окружили башмираба, с волнением нетерпеливо заглядывая ему в глаза.

— Братья, наш батур уже восстановил свои богатырские силы, он вновь такой же, каким мы знали его раньше!

— Ну как он там? Рассказывай!

— Не успел я войти, как он поднял меня, схватив за пояс! И на руках пронес в другую комнату! Вот как!

— Слава аллаху!

— А почему он на улицу не выходит?

— Да эти доктора, разве они дадут. Вцепились, словно репей: нельзя да нельзя!

— Что это такое? Да разве можно льва держать в клетке?..

— Истосковался он, наверное, в четырех стенах?

— Точно. Говорит: если доктора не выпустят меня на этой неделе, ночью сяду на коня и убегу в горы. Там-то меня никто не найдет!

— А что? Он может...

А в дом после Касыма-мираба вошли монгол и казах — посланцы Текеса и Кун-Кунеса... Рахимджан Сабири — теперь он занимал пост начальника управления внутренних дел — выходя из коляски, увидел Замана.

— Ты что здесь делаешь?

— Вот пришел проведать Гани-ака.

— Он вчера спрашивал у меня про тебя...

— Мне бы хотелось поговорить с ним.

— Отчего же не заходишь?

— Посмотри, сколько народу. Неудобно как-то — ему же совсем покоя не дают... Видишь вон тех древних стариков?

— Вижу, а что?

— Если у тебя есть время, подойдем к ним.

Рахимджан взглянул на часы, и оба они направились — к сидевшим у дома в ожидании старику и старушке.

— Здравствуйте, бабушка! Что вы здесь делаете? — почтительно спросил Заман.

Дряхлая старушка не без подозрительности посмотрела на франтовато одетого Рахимджана и, ничего не ответив, закрыла лицо концом платка.

— Не бойтесь, бабушка, мы тут все свои. Что это у вас? — Рахимджан показал на аккуратный узелок в руке у старушки.

— Это лепешки для батурса. Я сама испекла их и принесла из Чулукая.

— Из Чулукая? — переспросил Рахимджан.

— Да, из Чулукая. Я жена тамошнего мельника...

— Все, все, я понял. Вы жена мельника Момуна, так?

— А откуда вы его знаете? — старушка, успокоившись, открыла лицо.

— В тот день, когда Гани-батур спас вашу дочь Зайнап от Хакима, мы были в Чулукае.

— Ну, тогда ты все знаешь, сынок... Вот я и пришла посмотреть на нашего Гани, нашего хлеба ему принесла...

— Идемте, я проведу вас, — Рахимджан взял под руку старушку и повел в дом.

— А вы откуда, дедушка? — спросил Заман старика.

— Я из Опиярюзи, сынок.

— Ого, из какой дали приехали! Не тяжело вам было?

— Да ведь я приехал узнать о здоровье нашего Гани. Я бы для этого на край света поехал. Ведь он моего единственного сына от смерти спас!

— А в хурджунах у вас что?

— Груши из моего сада. Всю зиму хранил. Пусть поест наш батур — может, от них ему лучше станет.

— Обязательно станет, дедушка.

Рядом ждала своей очереди татарка с маленьким мальчиком.

— А вы, тетушка, почему пришли? — спросил ее Заман.

— Если бы не Гани, мои четверо детей остались бы сиротами. Гани спас моего мужа от казни. И я пришла поблагодарить его от всей души.

Заман и вернувшийся Рахимджан поговорили со многими людьми, ожидавшими встречи с Гани. Каждый из них с волнением произносил слова благодарности батурсу, каждый был чем-нибудь обязан ему. Это были совсем разные люди, оказался среди них даже русский священник.

— Наверно, это все-таки самое большое счастье в мире — когда люди

тебя так уважают и любят, — задумчиво сказал Рахимджан.

Заман кивнул:

— Редкая эта судьба, немногим она дается... Наш Гани занял место в сердце всего народа и — я уверен в этом — занял его навсегда...

МАИМХАН



MAUMXAH

Близился полдень, а Мастура-ханум все еще нежилась на высоких подушках, время от времени потирая мягкими розовыми ладонями веки, слегка припухшие от выпитого вчера мусалляса.

— Шари-и-ван!.. — слабым голосом, как бы через силу, позвала она наконец.

— Я здесь, госпожа. — Шариван, готовая исполнить любой каприз своей повелительницы, уже стояла на пороге, опустив голову и касаясь подбородком покорно скрещенных на груди рук.

Мастура попыталась грозно взглянуть на служанку, но ее глаза, подернутые дремотной поволокой, в ту минуту не смогли выразить ни презрения, ни гнева.

— Кажется, скоро мне самой придется будить тебя по утрам, — лениво зевнув, проговорила Мастура.

— Не сердитесь, госпожа, — робко начала Шариван, — я трижды подходила к двери, но не могла осмелиться...

Только после этих слов Мастура проснулась окончательно.

— Вон отсюда! — Холеную молочную кожу на ее щеках залил густой румянец. — Из-за тебя, разгильдяйка, пропустить утреннюю молитву!.. Пускай этот грех ляжет на твою душу!

— Слушаюсь, госпожа...

— Слушаюсь... А что ты теперь стоишь и таращишь на меня глаза, как корова? Одевай!

Только сейчас Шариван решила покинуть пороги приблизилась к Мастуре на два шага.

— Какое платье сегодня угодно госпоже?

— Машру жуяза^[30]... Да, кстати, а где же отец?^[31]

— Господин в саду...

— Он спал один этой ночью? Или... — Мастура оборвала начатую фразу. Лицо ее, цветущее, как роза на ранней заре, вдруг поблекло. Но простоватая Шариван не заметила перемены, да и где ей было догадаться, какие сомнения и тревоги мучат ее госпожу!

— Ханум из Дадамту... — заговорила Шариван, но Мастура тут же

перебила ее.

— Молчи! — приказала она властным и несколько театральным жестом. Этот жест сразу обозначил и ее происхождение и среду, с которой она была связана всей жизнью. — Для меня и твой господин и ханум из Дадамту — оба всего-навсего разменная монета...

Без помощи служанки Мастура соскочила с постели. Казалось, какая-то неведомая сила внезапно распрямила ее и поставила на ноги. Шелковая ночная сорочка с распахнувшимся воротом облегла ее тело, подчеркивая тонкую талию и трепетно-тугую, готовую вырваться наружу, грудь. Сейчас Мастура напоминала лебедицу, которая вот-вот взлетит, плеснув легким крылом.

Едва перешагнув за сорок лет, она ничем не уподобилась своим сверстницам, похожим на привядшие цветы, — тело ее только чуть-чуть расслабилось, не утратив свежести и живости. И хотя Шариван по нескольку раз в день одевала и причесывала свою госпожу, теперь, глядя на Мастуру, она приоткрыла рот, словно видела ее впервые.

Что на свете загадочней женской души, этой тайны тайн?.. В минуту внезапного испуга или в тот миг, когда женщина, вздрогнув во сне, размыкает черные стрелы ресниц, — порой в такие мгновения она подобна горному цветку, омытому дождем и насквозь просвеченному лучом закатного солнца. Такой сегодня казалась Мастура, и в сердце Шариван перемешались удивление, восторг и вполне простительная зависть...

— Ну, что ты уставилась на меня? — сказала Мастура насмешливо и шагнула вперед. Шариван, почуяв смутную угрозу в голосе госпожи, бросилась на колени и стала целовать ее ноги, бормоча какие-то жалобные, виноватые слова.

Прежде чем приступить к одеванию, она, по обычаю, приготовила тазик с теплой водой, затем бережно, как ребенка, поддерживая госпожу за локоть, усадила ее, осторожно умыла и вытерла лицо шелковым хотанским полотенцем с пышными кистями. После этого она расчесала длинные густые волосы Мастуры, черным облаком покрывавшие ее спину и плечи, заплела две толстые косы и украсила их золотым чач попуком^[32] с рубинами величиной в голубиное яйцо. Теперь можно было приступить к главному — Шариван облекла свою госпожу в отделанное кружевами платье со стоячим воротником, а поверх — в яркий камзол, расшитый золотыми пуговками, возложила на голову блестящий алтын-кодак и только тогда поставила перед Мастурой зеркало. Сложная церемония одевания повторялась каждый день, но этим утром она затянулась — наряд, пришлось не раз переделывать и подправлять.

Некоторое время Мастура пристально вглядывалась в зеркало, рассматривая собственное отражение. Наконец она властно повела бровью и довольно улыбнулась. Шариван с облегчением вздохнула — не так часто удавалось ей угодить прихотям своей госпожи.

— Иди, — сказала Мастура, глядя в зеркало и любуясь своими косами, — пусть готовят завтрак!

— Слушаюсь, госпожа, — обрадованно пролепетала Шариван, взяла из рук Мастуры зеркало и, вернув его в расписанную затейливым орнаментом нишу, засемила из комнаты. Но, оставшись в одиночестве, Мастура вновь подошла к зеркалу. Сегодня она нравилась себе самой, сегодня наверняка каждый бы дал ей лет на пять меньше...

Как всегда, неторопливо, с достоинством вступила Мастура в гостиную. Стройный тополь напоминала она, — тополь, когда его листья едва колышет легкий ветерок. Мастуру ждали, при ее появлении все поднялись со своих мест, сложили руки на поясе, почтительно склонили головы и низким поклоном встретили госпожу.

Мастура двинулась вдоль гостиной, скользя по лицам придворных и слуг острым, цепким взглядом. Вот и она, «ханум из Дадамту»... Ее поза — тоже воплощение смирения и покорности... А на шее — новая нитка бус, унизанная крупными жемчужинами... Мастура, готовая изничтожить Лайли своим презрением, вдруг невольно замедлила шаги и остановилась, увидев рядом с ненавистой соперницей незнакомую молоденькую девушку. Злые слова, скопившиеся на ее языке, как яд на кончике жала, так и остались несказанными.

Хмуро смерила Мастура незнакомку с ног до головы, но не сумела скрыть своего изумления:

— В нашем дворце появилась маленькая пери! — вырвалось у нее.

Нет, строгому ценителю красоты девушка, вероятно, не показалась бы полным совершенством, однако, взглянув на нее раз, потом уже трудно было оторваться. При дворе миловидные лица встречались часто, но, не в пример изнеженным красавицам, лицо незнакомки выражало твердый характер, умом и волей светились ее огромные иссиня-черные глаза.

— Как твое имя? — спросила Мастура, подойдя к ней и протягивая руку.

— Маимхан, — отвечала та. В голосе ее не чувствовалось ни подобострастия, ни робости, а рука оказалась на удивление крепкой и твердой.

— Откуда ты?

— Моя родина — Дадамту.

— Дадамту?..

Что-то больно кольнуло у Мастуры в груди, она побледнела. Заметив перемену, все насторожились, притихли.

— В этом... В этом жалком кишлаке, где не найдется и дюжины сносных хибарок... В этом грязном кишлаке, который вы называете Дадамту... Там что же, у всех кобылиц рождаются такие славные лошадки? — отрывисто проговорила Мастура. Вокруг раздались угодливые смешки.

Лайли и Маимхан, блюдя приличие, не проронили ни слова.

— Или, может быть, — продолжила Мастура, когда смех улегся, — мужчины у вас щиплют мергию^[33], как олени, а женщины питаются оленьими мозгами? По крайней мере, так можно решить, видя, каких кобылок поставляют они для наших дворцовых наездников. — На этот раз Мастура и сама рассмеялась, ей вторили остальные.

Маимхан, потупясь, ждала, пока прекратится смех.

— Мой учитель говорит, — произнесла она сдержанно, — что человек отличается от животного не только своим видом. Ему свойственно чувство стыда...

— Что?.. Что ты там мелешь?.. — прервала ее Мастура, не веря себе: как, ей осмеливается возражать какая-то девчонка?.. Глаза Мастуры грозно блеснули: — Смотрите, она еще дерзит!..

Все, кто был в гостинной, растерянно молчали, пряча боязливые взгляды. Надвигалась буря.

— Маимхан — умная девушка, но она слишком молода и неопытна, — виновато проговорила Лайли. — Не сердитесь на нее, хан-ача. Если вам будет угодно приказать, она споет кошак^[34], который сама сложила...

— Вот как?.. — Мастура неожиданно сменила гнев на милость — в ее характере была внезапная перемена настроения, и порой хватало мгновения, чтобы безудержная злоба в ее душе развеялась и, как случилось на этот раз, уступила место искреннему любопытству. — Так она сочиняет стихи?.. Что ж, интересно послушать...

Завтрак был недолгим. Даже не взглянув на манты и ютазу, Мастура обмакнула пару раз в сметану лепешку и пригубила пиалу с горячим подсолненным чаем. Капризы Мастуры давно сделались привычными для поварих, и их постоянно мучил страх прогневить госпожу.

— Шариван, полотенце...

— Слушаюсь, госпожа.

Шариван вытерла руки Мастуры полотенцем, смоченным в теплой воде, и принялась обмахивать ее веером, уберегая от зноя, который уже проникал в комнаты.

— Приготовьте малую гостиную и позовите музыкантов, — приказала Мастура молоденькой служанке, которая стояла перед ней, держа в руках стаканчик с зубочистками и пиалу с водой для ополаскивания рта. Та в ответ склонила голову. Опираясь на плечо Шариван, Мастура направилась к выходу. Все, кто был в гостиной, не кончив чаепития, последовали за ней.

Уже три года томилась во дворце гуна Хализата красавица Лайли. Она жила здесь на положении чуть ли не пленницы — больше всего Хализат опасался того, что ей каким-нибудь образом удастся встретиться со своим любимым. Единственное, в чем уступил он мольбам молодой жены — это возможность один раз в год, вовремя курбан айта, погостить в родительском доме. Измученная подозрениями и ревностью, Лайли пыталась бежать из неволи — и не сумела, хотела покончить с собой — и не смогла. Как бежать, если за каждым шагом следят стража и слуги?.. Как покончить счеты с жизнью, если муллы сулят адский пламень всякому, кто решится на это?.. Ей ничего не оставалось, как покориться своей горькой участи. Страдать и терпеть — разве не в этом судьба уйгурской женщины?..

Лайли много раз просила Хализата позволить ей повидаться с Маимхан, подругой, которая была ей ближе сестры, хотя их и разделяла разница в возрасте — целых пять лет. Хализат долго оттягивал решение, но однажды, когда на него снизошло хорошее настроение, Лайли опять подступилась к своему повелителю — и вот Маимхан во дворце!..

Разве можно за короткую летнюю ночь излить друг другу все, что скопилось в душе за три года?.. Обе плакали, целовались и, прижавшись щекой к щеке, вспоминали о прошлом. Маимхан вытирала слезы, которые, не иссякая, струились по лицу подруги, и утешала, как могла. Что же до самой Маимхан, то, полная сочувствия к бедняжке Лайли, она печалилась не только о ней...

Вдумчивая, наблюдательная девушка, готовая всем сердцем откликнуться на чужое горе, Маимхан частенько размышляла о том, что считается слишком серьезным и неподходящим для того легкомысленного возраста, когда девушки мечтают лишь об удачных женихах и дорогих нарядах. С детства видала она вокруг полунищих дехкан, которых грабят наглые маньчжурские чиновники, видала, как покорно и безгласно

страдает родной народ от податей и налогов, которыми душил его пекинский хан, и сама страдала, не зная, как избавить других от несправедливости, обид и унижений.

— Почему ты не скажешь Хализату, чтобы он уменьшил подати с бедняков? — горячо упрекнула она подругу.

— И ты считаешь, что этот человек с камнем вместо сердца, не пожалевший меня, годной ему во внучки, способен сжалиться над кем-то?..

Лайли горько плакала, и Маимхан уже не успокаивала ее, не вытирала слез. Молча лежала она около несчастной подруги, вспоминая, как Лайли оторвали от семьи и от любимого, как без свадьбы, словно какую-то вещь, подарили Хализату, и теперь на всю жизнь она заключена в эти стены, и ей никто не в силах помочь... Остаток ночи они проплакали вместе.

...Маимхан и Лайли прошли по длинному и темному коридору и приблизились к двустворчатой двери, сделанной из тутового дерева. Дверь распахнулась — это служанка Потам услышала их шаги и поспешила навстречу, согнувшись в приветственном поклоне.

— Ах, Потам-хада, как вы мило тут все убрали! — воскликнула Лайли, окинув взглядом небольшой зал и обнимая служанку.

— Как обычно, госпожа, — благодарно улыбнулась Потам.

— Нет, тут сделалось гораздо красивей! Вынесли наконец эти глупые вазы ростом с человека, — они только загоразживали свет. И теперь стало просторней, орнаменты на стенах и потолке играют всеми красками!.. Вот бы еще избавиться от посуды, которая стоит в каждой нише, — ее здесь как в хорошей базарной лавке...

— Разве можно перечить Мастуре-ханум!.. — испуганно возразила служанка.

Под звуки дутара и тамбура вошли музыканты. Они низко склонились перед Лайли и замерли в почтительных позах.

— Садитесь, ведь в ногах правды нет, — приветливо обратилась к ним Лайли.

— Спасибо, ханум...

Музыканты уселись на предназначенной для них бархатной корпаче^[35].

А Маимхан, войдя в малую гостиную, будто проглотила язык. Никогда еще не доводилось ей видеть такого блеска, и она, не отрываясь, ошеломленно разглядывала росписи на стенах и потолке, ковры, застилавшие пол, и остальное убранство, — всюду тонкое изящество спорило с роскошью, выставленной напоказ. «А мы-то у себя дивимся, попадая в дом этой хитрой лисицы старосты Норуза, — думала она. — Вот

где настоящее богатство... И откуда столько драгоценных вещей?.. Ведь каждая из них стоит больше, чем любой дехканин заработает за целую жизнь...»

Только услышав шум, с которым неожиданно распахнулись двери, Маимхан пришла в себя. Сопровождаемая целой свитой из придворных женщин и нянек, в зале появилась Мастура. Теперь она была одета иначе, чем утром: на голове восьмигранная шапочка с золотыми лентами, в ушах — серьги из знаменитой Кучи, на шее — девять переливчатых нитей жемчуга, на каждом из пальцев — золотое кольцо с рубиновым или алмазным глазком, на запястьях — браслеты, легчайшим шелком покрыты плечи, мягко ступают по ковру туфли, расшитые золотом... Но хотя все это убранство должно было только подчеркивать природную красоту Мастуры, она казалась в нем несколько обрюзгшей.

— Пусть каждый займет положенное место! — приказала Мастура, едва переступив порог.

— Повинуемся, госпожа! — ответили все ей хором, и торопливо устремились на свои места, распределенные раз и навсегда в строгом соответствии с придворным этикетом. Мастура села на высокое плетеное кресло, рядом с нею, но на кресло поменьше и пониже, села Лайли.

— Ты тоже проходи, — обратилась Мастура к стоявшей в сторонке Маимхан и жестом указала ей на корпачу, разостланную возле кресла Лайли. — Твое искусство мы оценим позже.

Повернувшись к музыкантам, Мастура повела правой бровью. Бровь изогнулась дугой. Это был знак, по которому музыканты приступали к своему делу.

Хотя нынешний день и не отличался ничем от прочих будней, музыканты, желая угодить своей суровой госпоже, начали с ее любимой мелодии ажам, исполняемой лишь на больших торжествах.

Приди ко мне, моя любовь,
Не прячь от меня свое лицо:
Ты солнца весеннего горячей,
Живу я, увидев твое лицо...

Зачин ажама — так называемый мукам — пела женщина, игравшая на дойре. Ее голос и звук дойры слились в одном страстном призыве, завладевая слушателями, а пальцы музыкантов, казалось, касались не струн, а самих сердец — такая волшебная сила заключалась в их

движениях,

Стою в стороне — одинокий, угрюмый,
А возле тебя базар и шум,
Веселье и песни... Ну что ж, я рад:
Блестит улыбкой твое лицо!

Мукам окончился. Женщина с тамбуром в руке поклонилась, едва не задев лицом инструмента, и объявила маргул — ту часть ажама, которая исполняется без пения. Теперь каждый из музыкантов стремился в полной мере проявить свое мастерство. Искусные, не знающие устали пальцы дутаристов походили на резвых скакунов, стремящихся вырваться вперед на азартных скачках, Рубаб, как ему и полагалось по природе, в тот момент, когда набегающие друг за другом повторы достигали высшего предела, вклинивался и заглушал стройные звуки тамбура, что же до непрерывных ритмических ударов дойры, то они как пунктир указывали направление мелодии, которую вели дутары и тамбуры.

Но вот завершился и маргул. Искусные руки дутаристов теперь выводят начало главной части ажама — чон нагма, «большую песню».

Впервые томлюсь и жду,
О перы с райских высот!
Где лунолика, та,
Что радость и боль несет?
Но вижу я в третий раз
Родинки дивный взлет...
Четвертая встреча меня
Погубит или спасет?

Пенье и музыка сопровождали всю жизнь Мастуры, не удивительно, что она знала толк в музыкальном искусстве. Это служило еще одним поводом для ее высокомерия — никто во дворце не умел оценить качество исполнения лучше, чем ханум. В ее присутствии музыканты обычно старались превзойти самих себя: будь то немногочисленное развлечение, как сегодня, или праздничный пир, госпожа, уловив фальшивую ноту или разнобой в игре, тут же без всякого стеснения вставляла резкое слово. Но на этот раз она слушала с видимым наслаждением, и пока музыканты

переходили от мелодии к мелодии, ее лицо напоминало безмятежным, счастливым выражением лицо ребенка, нежащегося в материнских объятиях. Это ободряло музыкантов, они играли легко и свободно. Особенно отличалась старшая из них, та, что вела за собой весь оркестр. Бубен словно ожил в ее руках, рассыпая перезвон серебряных колокольчиков. Но по мимолетным взглядам, которые она время от времени бросала в ту сторону, где сидела Маимхан, можно было заподозрить, что ей не столько хотелось добиться одобрения своей госпожи, сколько доставить радость незнакомой девушке, целиком обратившейся в слух...

Веселье продолжалось. Одна известная песня следовала за другой: за «Чон Ханлайлун» — «Кичик Ханлайлун», и дальше — «Жанан киз», и снова маргул, и чтобы связать маргул с новым напевом — дастан «Гариб и Санам»:

Мой сокол, ты далеко,
Тебя не найду нигде.
С тобой пропал мой покой,
Его не найду нигде.

Я жду тебя, сокол мой,
И летом жду и зимой,
Дневной порой и ночной...
Но сокола нет нигде.

Печальный напев и ласкал и бередил душу, — а музыканты, не давая опомниться, уже перешли к озорным танцевальным мелодиям. Все покрывал, над всем господствовал ритм бубна.

Мастура, до того неподвижно полулежавшая в кресле, теперь словно очнулась от тайных дум и мечтаний и первая ударила в ладоши.

Расправив грудь, как парус, наполненный свежим ветром, покачиваясь, поплыла в танце Потам. Руки ее то распластывались в стороны, подобно ястребиным крыльям, то взвивались вверх, легкие, как крылья голубки, и трудно было определить — скользят ли ее ноги по воздуху или ступают по земле. Волосы, заплетенные в две тугие косы, вздрагивали на плечах, взлетали и падали то на спину, то на грудь. Шариван, увлеченная танцем, не спросив разрешения у госпожи, поднялась со своего места и двинулась вслед Потам... Но Мастура не рассердилась,

наоборот, она одобрительно кивнула служанке и в такт музыке еще громче захлопала в ладоши.

Теперь танцевали обе, Потам и Шариван, они строили друг другу глазки, поводили плечами, поигрывали бровями — как голубки, что кувыркаются в небе, то сближались, то удалялись вновь. Музыка гремела все сильнее, и веселье было в самом разгаре, когда осторожно приоткрылась дверь и в гостиную вошел ишик агабек^[36].

Он молча приложил правую руку к груди, сплошь закрытую длинной седой бородой, и трижды степенно поклонился. Это означало одновременно и приветствие госпоже, и то, что ишик агабек принес ей вести от бека Хализата, ее мужа. Мастура-ханум подняла правую руку и этим жестом словно перерезала все струны. В зале наступила тишина.

— Не гневайтесь, госпожа, на мой неуместный приход, — проговорил ишик агабек, — господин наш, да продлит аллах его дни, просил вас явиться к нему.

Мастура-ханум тут же поднялась со своего кресла.

— Потам!

— Слушаюсь, госпожа.

— Танцы продолжим вечером. — Ни на кого не взглянув, Мастура-ханум вышла из комнаты.

Резиденция и кабинет гуна Хализата располагались в центральной части дворца, и на всякого, будь то знатный вельможа или простолюдин, производили впечатление гнетущего холода и суровости. Одна только мысль, что где-то здесь хранятся именная печать и утогат^[37] гуна — символы и атрибуты власти, от которой зависит множество судеб, — в каждое сердце вселяла трепет.

Неожиданный вызов Хализата, и не куда-нибудь, а прямо в резиденцию, встревожил Мастуру. От недавно приподнятого настроения не осталось и следа. Ступив на разноцветные плитки, выстилавшие пол поблизости от кабинета гуна, она вдруг вспомнила о небольшой пирушке, устроенной вчера на ее половине, и невольно замедлила шаги. О всемогущий аллах, неужели ему все известно?..

Для Мастуры Хализат никогда не был просто мужем — гуном, вот кем он был для нее, только гуном — таким же коварным, хитрым и жестоким, как и для любого подданного. И он и она едва скрывали под маской приличия взаимную подозрительность и неприязнь. Вражду их подстегивало еще и сознание того, что оба нерасторжимо связаны на всю жизнь и в равной, мере зависимы друг от друга. Хализат — ходжа,

происходит из знатного рода, но и Мастура — дочь богатейшего бая, тысячника Исрапила, владельца обширных земель. Никто из них не уступал другому в родовитости и знатности.

Разумеется, Хализат ценил красоту Мастуры и гордился ею, но жена была для него всегда лишь приятным развлечением, и только. Мастура не обманывала себя на этот счет. Унаследовав власть и сан отца, Хализат сделался хакимом и совсем перестал ощущать землю под своими ногами. Мастура, к тому времени мать двух детей, забытая мужем, старалась найти утешение и развеять тоску с помощью музыкантов, певцов и танцоров.

За последнее время она пристрастилась к вину. Тут имелась своя причина. За эти годы Хализат дважды женился и дважды развелся. Впрочем, среди мусульманских вельмож такие случаи не являлись новостью, Мастура приняла все как должное и не слишком убивалась. Но Лайли... Эта деревенщина без рода и племени... После того как Лайли переступила порог дворца, Мастура три дня пролежала в постели, отталкивая от себя еду и питье.

Раньше Мастура могла месяцами не видеть Хализата — теперь она следила за каждым его шагом. Ревность лишила ее покоя. А однажды, зная, что все вечера Хализат проводит у Лайли, Мастура дождалась, пока уснула прислуга, выпила два-три бокала вина и, захмелев, направилась к комнате своей счастливой соперницы. Потихоньку, на цыпочках подкралась она к двери и прислушалась. Раздался едва уловимый шепот Лайли — она не то плакала, не то смеялась... Мастура не сразу признала и голос Хализата — ласковый, вкрадчивый, а не отрывистый и резкий, как обычно... Ей представилось, что в этот момент Хализат стоит на коленях перед этой ломакой и пытается и не может найти в целом мире, что сравнить с ее красотой, и клянется исполнить любое желание... Каждый звук, доносившийся из-за двери, отравленным жалом вонзался в ее сердце. Не владея собой, Мастура уже вцепилась в ручку и чуть было не распахнула дверь, но в последний миг одумалась. Однако и уйти, вернуться в свои покои у нее не хватило сил. Мастура приникла ухом к двери и замерла.

— О аллах!.. Дайте же мне уснуть... — донеслось до нее.

«Ишь ты, — подумала Мастура, — эта деревенщина, эта притвора еще и смеется над ним... Ничего, так тебе и надо, старому дураку...»

В комнате на некоторое время все стихло. Боясь упустить малейший шорох, Мастура вся превратилась в слух и почти срослась с дверью.

— Ведь я обещал тебе — все, чем я владею, будет твоим... Повернись же ко мне...

Рано утром, выходя из спальни, чтобы совершить намаз, Хализат

оступился, наткнулся на спавшую вдоль порога Мاستуру. Его сердце было глухо к жалости. Злобно пнув жену носком, он перешагнул через нее и вышел во двор. Окончательно унизив себя в глазах Хализата, два месяца Мастура не смела взглянуть на него и лишь теперь начала оправляться от пережитого позора...

— Вы чем-то обеспокоены, ханум? — спросил Хализат, подняв на вошедшую Мастуру блеклые потухшие глаза. Не ожидая ответа — да и что могла она сказать в ответ?.. — Хализат протянул ей листок бумаги с четко выведенными буквами. — Прочтите вот это.

Мастура вздохнула с некоторым облегчением и взяла листок.

— Садитесь, — разрешил Хализат, указав на стул.

— Благодарю... От кого же это послание? — спросила Мастура, осмелившись поднять на Хализата глаза.

Вместо ответа Хализат пристально взглянул на Мастуру. Возбужденная, взволнованная, вся во власти тревожных сомнений и неясных надежд, в тот момент она была еще прекрасней, чем обычно. В душе Хализата шевельнулось давно умолкшее чувство и, глядя на Мастуру, на ее лицо цвета яблоневых лепестков, на глаза, полные лучистого блесна, он, казалось, сопоставлял ее мысленно с Лайли, но так и не пришел ни к какому выводу. Или его больше, чем красота одной, влекла к себе молодость другой?.. Кто знает...

— Читайте, — вновь повторил он, поглаживая усы.

Мастура постаралась сосредоточиться и стала читать письмо, хотя его суть вначале ускользала от нее, мешаясь с посторонними мыслям.

— Странно, — произнесла наконец она, пробежав последнюю строчку, и заметно побледнела. — Но какое отношение имею я к тому запутанному делу?

— Какое отношение? — переспросил Хализат, усмехнувшись. — Значит, вам ничего не известно о проделках вашего отца?

— Аллах не даст мне солгать, но если бы я хоть что-нибудь подозревала...

— Значит, вам ничего не известно? — еще более язвительно проговорил Хализат. — И вы никогда не слышали о том, что янчи^[38] из сел Чулукай, Булукай и Саптай я передал вашему отцу?..

— Об этом я знаю.

— А если так, то получается, что этого мерзавца Ахтама, о котором говорится в письме, освободил не кто иной, как ваш отец...

— Как можете вы так думать, господин мой! — невольно вырвалось у Мастуры.

— А кто может думать иначе?.. Вместо того чтобы прикончить этого негодяя, ваш отец помог ему!

— Всемогущий аллах!.. — испуганно выдохнула Мастура, хватаясь руками за ворот платья, который вдруг стал ей тесен. Впрочем, она понимала, что Хализат лжет, вина в случившемся ее отца, но у нее не хватило смелости ответить на это единственным достойным образом — повернуться и демонстративно выйти из комнаты.

— Вор Ахтам бежал из тюрьмы. Что я скажу ханским сановникам?.. Пусть спрашивают не с меня, а с вашего отца!..

— Мне достаточно и дворцовых дрызг, господин мой, — негромко, но с затаенным вызовом проговорила Мастура.

— Вот как?.. — Взбешенный тем, что она, женщина, отважилась возразить ему, Хализат вскочил со своего кресла. В гневе его густые брови смыкались на переносице, редкие, но жесткие усы, как две пики, устремлялись острыми концами вверх, а длинная коса, которую он носил в подражание маньчжурам, начинала метаться на затылке из стороны в сторону.

— Так-так... Значит, дворцовые дрызги... Дрызги?.. Какие же дрызги вы изволили увидеть, ханум?.. Грязная женщина! И мысли у тебя под стать — темные и грязные, я тебя знаю!.. — Хализат отбросил остатки вежливости и перешел на «ты». Это было дурным предвестием.

Но Мастура не дрогнула, не побледнела, как обычно в подобных случаях. Гордость возобладала в ней над всеми другими чувствами, — гордость и самолюбие смертельно оскорбленной женщины.

— Здесь каждому известно, у кого из нас в самом деле грязные мысли, — сказала Мастура. Ее глаза налились слезами. Не ожидая, что он получит такой ответ, Хализат в первое мгновение опешил. Он чувствовал — голова у него пошла кругом, уж не ослышался ли он?..

Но в следующий миг Хализат заревел как раненый медведь, забегал по комнате, в ярости подскочил к Мастуре, вырвал бумагу и ткнул пальцем в дверь:

— Вон отсюда! Чтобы я больше не видел тебя здесь! Прочь!..

С уходом Мастуры веселье тотчас прекратилось и каждый предоставленный себе занялся своим делом. Пользуясь свободой, Лайли и Маимхан обошли весь дворец, восхищаясь его великолепием, а когда устали, отправились в сад, к беседке, которая, по восточному обычаю, располагалась над бассейном с проточной водой.

Наступил час дневного отдыха, дворец со своими многочисленными

обитателями погрузился в ленивую сонную тишину.

— Что ты примолкла, Махим? — спросила Лайли, тронув за плечо подругу.

Маимхан погрузилась в раздумья. С виду могло показаться, что она пристально разглядывает что-то в глубине бассейна, но мысли ее были далеки от всего окружавшего, а душа полна противоречивых, неясных ощущений. Ведь за какие-нибудь сутки она увидела здесь столько, сколько другой не увидит и за целую жизнь.

— Наверное, в этом застенке многое показалось тебе отвратительным, — вновь проговорила Лайли, глубоко вздыхая.

— Не знаю, что тебе сказать... — начала Маимхан нерешительно. — Ведь ты помнишь, как я люблю музыку. У вас во дворце прекрасный оркестр, а Шариван и Потам-хада... Им позавидуют самые искусные танцовщицы. Там, в малой гостиной, я была как путник, нашедший в безводной степи прохладный ручей. Но... — Маимхан замолкла и снова устремила взгляд на быструю струю.

Лайли не тревожила ее больше вопросами и тоже сидела задумчивая, поникшая. Спустя некоторое время Маимхан первой нарушила тишину, чтобы спросить о том, что мучило ее со вчерашнего вечера.

— Когда наш учитель узнал, как ты теперь живешь, ему на память пришли такие стихи:

Вдали от родины своей — не ведать счастья.
Вдали от дома и друзей — не ведать счастья.
Хоть прутья клетки золотой укрась цветами —
В ней соловью уже не петь, не ведать счастья.

— Скажи мне правду: этот дворец для тебя подобен золотой клетке?..

Лайли ничего не ответила, только вплотную под села к Маимхан, обняла и прислонилась щекой к щеке.

— Не сердись на мою прямоту, сестрица, — продолжала Маимхан, — не тебе одной приходится терпеть унижения и обиды. Где найдешь человека, который не страдал бы сейчас от несправедливостей и горя?..

— Ты права, — сказала Лайли с безнадежным отчаянием. — Мое горе — как гора, оно раздавило меня, я погибла, Махим...

Лайли, вздрагивая, еще крепче прильнула к Маимхан, словно испуганный ребенок.

— И все-таки ты не должна падать духом. Нужно набраться терпения,

надеяться, верить... Может быть, Умарджан вызволит тебя отсюда...

— Умарджан! Что ты говоришь об Умарджане?... — перебила подругу Лайли. — Кто я, чтобы он меня спасал?.. Трусливая, слабая, беспомощная. Ради меня он рисковал жизнью, а я... Нет, нет, я не достойна его!..

Разговор снова оборвался, и наступила тишина. Даже деревья в саду замерли — не шелохнется ветка, не затрепещет листок, — все вокруг, казалось, прислушивается к горькой исповеди Лайли. Лишь однообразное журчание ручья нарушало общее безмолвие.

Кто знает, случайно ли в тот момент вспомнила Маимхан об Ахтаме или чувство подсказывало ей, что он еще недолго будет томиться в зиндане, если уже не обрел для себя свободу... Во всяком случае, мысли ее сейчас были где-то там, рядом с Ахтамом. «Может, на месте Лайли я тоже покорилась бы судьбе и ничем не сумела ему помочь, — думала Маимхан. — Нет, пусть только настанет час — и я докажу, что готова идти с ним вместе куда угодно!..»

Каждая из подруг погрузилась в свои думы, и обе не заметили, как подкрались вечерние сумерки. В саду, за деревьями, замерцали ночные светильники. Где-то вдалеке раздались звуки ная. Протяжные, вначале почти неуловимые, они слышались все отчетливей, громче. Спустя несколько минут мелодия превратилась в бодрый походный марш и затем вдруг разлилась такой безбрежной тоской, будто это женщина стонала и оплакивала невозвратную потерю... Не губы — само сердце неизвестного музыканта изливало ночи свою печаль.

— Это он, он!.. — вскрикнула невольно Лайли. Она не в силах была подняться — только прижала руки к груди и повернулась в ту сторону, где звучал пай.

— Умарджан?.. — Маимхан произнесла это имя так тихо, словно боялась своего голоса.

— Да, да!.. Умарджан!.. Но что делать?.. Его снова схватят, он не должен приближаться к дворцу... Слуги гуна бросят его в зиндан...

Поблизости раздалось:

— Дадамту-ханум, Дадамту-хану-у-ум! — и у входа в беседку возникла Потам.

— Что случилось, Потам-хада? — спросила Маимхан, подходя к ней.

— Нукерам приказано поймать Умарджана.

— О аллах! — взмолилась Лайли сквозь слезы. — Пусть не исполнятся все мои желания, кроме единственного: сделай так, чтобы Умарджан остался на свободе! Спаси его!..

— Прощайте, я ухожу, — сказала Маимхан твердо.
— Куда же ты?..
— Надо предупредить этого безумца!..
— Не бросай меня, что я буду делать одна?..
— Будь спокойна и не тревожься за меня. — Маимхан звонко поцеловала подругу в щеку и, решительно разжав ее объятия, вышла из беседки. Но прежде чем исчезнуть в сумерках, она обернулась еще раз:
— Помни, Лайли, ты должна крепиться во что бы то ни стало. А я... Возможно, мы скоро встретимся. Прощай!..
Лайли смотрела ей вслед, как птица, прикипшая к прутьям своей клетки.

2

— Ваше мнение, господин гун?.. — нетерпеливо спросил жанжун, прикрыв глаза своими уродливо пухлыми веками. — Зерно нам необходимо. Зерно!.. Зерно!

— Слово великого жанжуна — это слово великого хана. Мы повинемся. — Хализат привычным движением поднес правую руку к груди.

— Средства, отпущенные для нашего содержания, временно сокращены, поэтому... — Раскосые, маслянистые, как у жирной мыши, глаза жанжуна уперлись в Хализата. — Поэтому для покрытия наших расходов следует повысить налоги.

Хализат не вынес взгляда жанжуна, уставился в пол и ничего не ответили. Некоторое время оба молчали.

Ни гун, ни жанжун не уступали один другому в стремлении побольше урвать для себя из награбленного добра. Жанжун пополнял и свою собственную и государственную казну тем, что изобретал новые налоги и увеличивал старые, а Хализат в свою пользу присовокуплял к ним дополнительные надбавки. Сейчас он как раз я был озабочен размышлениями, какую выгоду сулит ему то, на чем настаивал жанжун.

— Взгляните на это, — перебил его мысли жанжун, указывая на пачку листов тонкой бумаги. — Здесь подсчеты нашего казначея. — Длинные пальцы жанжуна с острыми ногтями легли на лист сверху. — По этим подсчетам вместо двенадцати хо^[39] зерна, которые мы изымали прежде с каждого двора, теперь следует брать двадцать четыре хо.

— Понимаю, господин жанжун. — Хализат бережно принял бумаги с

расчетами, мелко исписанные китайскими иероглифами; он не только говорил, но и читал по-китайски.

— Мы — ваша, а вы — наша опора, — сказал жанжун, когда Хализат окончил чтение. — По-моему, такой налог не будет для населения в тягость? Не так ли?

Хализат ответил не сразу. Ведь речь шла о его подопечных, тут положение обязывало несколько помедлить с ответом.

— Я полагаю, что преданные хану подданные не станут противиться этому налогу, не правда ли, господин гун?

— Конечно, конечно, господин жанжун, — поспешил согласиться Хализат, чтобы его затянувшееся молчание не было истолковано как-нибудь превратно.

Однако жанжун и не нуждался в согласии Хализата: он привык, что любое распоряжение верховной власти исполнялось беспрекословно. Тем не менее, зная, в каком положении находится народ, задавленный непомерными налогами, жанжун, опасаясь конца его долготерпения, считал необходимым заручиться поддержкой местной знати, чтобы ее руками обделывать свои дела. С этой целью он и затеял разговор и вел его по намеченному плану.

— Во всяком случае, главное — обеспечить спокойствие... — Жанжун умышленно оборвал начатую фразу, испытующе глядя на Хализата.

Что же до господина гуна, то у него имелся основательный опыт в подобных предприятиях, который подсказывал, на что способны люди, доведенные до отчаяния. Но, разгадав замысел жанжуна с первых слов, Хализат, умея не только повелевать, а и подчиняться, не возражал жанжуну, пытаясь до поры до времени держать свои сомнения при себе.

— Конечно, будет хорошо, если удастся избежать недовольства и возмущения...

— Недовольства и возмущения?.. — не проговорил, а прорычал жанжун, зло плюнув прямо на ковер. — О каком недовольстве и возмущении вы говорите?..

— Простите, господин жанжун... Если где-нибудь и возникнут волнения, будут приняты надлежащие меры. Наши беки умеют обуздать мятежников...

— Ханьхау!^[40] Благодарю вас за преданность, господин гун. — К жанжуну вернулось спокойствие, но улыбка, которую он выжал на лице, получилась бледной.

Хализат поднялся, приложил руки и груди и поклонился.

— Мы приветствуем и ценим безграничную преданность господина гуна великому кагану, — сказал жанжун и в ответ также наклонил голову. — Присядьте, гун, есть еще одно дело, которое нужно обсудить.

Некоторое время оба молчали. Затем жанжун, для которого разговор с Хализатом был не более, чем заранее продуманной игрой, продолжал:

— Вероятно, мне нечего добавить к тому, что известно самому господину гуно о беспорядках на медных рудниках?

Отличный ход! У Хализата, который до сих пор неплохо справлялся со своей ролью, от изумления округлили глаза.

Жанжун облизнул кончиком языка зубы, клыкообразно выступающие наружу (если волки умеют улыбаться, то, вероятно, улыбаются они именно так).

— Какие беспорядки имеет в виду господин жанжун?.. — Хализат не мог скрыть полнейшей растерянности, он даже слегка заикался от волнения. Что еще на уме у ханского вельможи, способного одной своей улыбкой уничтожить человека?..

— Что вас так встревожило, господин гун? Или вам ничего не известно?

— Аллах свидетель, — заговорил Хализат, оправдываясь, — я ничего не знаю о том, что там случилось...

— Тогда хотелось бы знать, чем заняты беки, которые кормятся вокруг гуна? Почему они не стали вашими глазами и ушами?

— Это правда, правда, господин жанжун, сам аллах говорит вашими устами, отец мой... — В смятении Хализат не заметил, как назвал жанжуна своим отцом. — Эти дармоеды и ослы только и умеют сытно жрать, сладко пить да дрыхнуть без просыпу...

— Мы это знаем, господин гун, — кивнул жанжун и прибавил с двусмысленной усмешкой: — И вам тоже цену знаем, истинную цену...

— Если бы не ваша защита, не защита великого кагана, эти скоты давно съели бы меня с головой...

Судя по всему, Хализат не преувеличивал. Жанжун продолжал:

— Нам стало известно, что некто по имени Ахтам убил трех наших солдат и бежал...

— О аллах...

— Но беда в том, что наши люди до сих пор не могут схватить его, так как он скрывается не где-то, а у стен вашего дворца.

— О великий аллах...

— Мы не стали ловить разбойника, чтобы не причинять вам беспокойства.

Последние слова жанжуна были ложью: солдаты не только обыскали все окрестности дворца, но и арестовали по подозрению несколько человек.

Хализат ощутил себя мальчишкой, который попался в чужом саду и не может ни слова вымолвить в свое оправдание.

— Ну, что было, то было и пускай порастет травой, как говорят в ваших местах, — смягчился жанжун.

— Прошу простить меня, великий жанжун, — виновато бормотал Хализат. — Последние дни я плохо себя чувствую и отошел от дел... — Он и тут солгал: ему было известно о бегстве Ахтама.

— Хорошо, — жанжун освободил Хализата от петли, которую сам затянул на его шее. — Пока я жив, гуна некого бояться.

— Да продлит аллах ваши дни, великий жанжун!

Теперь на душе у Хализата чуть отошло, он с облегчением вытер со лба холодную испарину. Что же до самого жанжуна, то он вполне удовлетворился достигнутым: Хализат был в его руках. Жанжун набил длинную трубку и с наслаждением закурил. Хализат преданными глазами смотрел, как жадно всасывает он табачный дым и выпускает густыми струями из широких ноздрей.

Спустя немного времени жанжун, не откладывая трубки, медленно поднялся, подошел к окну, оперся на разрисованный в шахматную клетку подоконник и сделал знак Хализату. Гун торопливо подскочил к нему.

Из окна была видна огромная площадь, на которой проходили военные занятия. В одном конце тренировались копьеметатели, в другом солдаты стреляли из длиннотвольных ружей по мишеням, на окраине плаца расположились фитильные пушки.

— Смотрите, господин гун... Это войско всегда стоит на страже нашей безопасности... Нашей и вашей, господин гун...

Устрашить Хализата зрелищем своих солдат — это тоже входило в заранее намеченную жанжуном программу сегодняшней встречи.

«О всемогущий аллах!..» — только и вздохнул про себя Хализат, а вслух произнес:

— Нет силы, которая не покорится такому войску.

Жанжун был доволен произведенным впечатлением, но продолжал играть гуном, как мячиком:

— Мы надеемся вскоре создать особое войско из уйгуров, — во главе этого войска мы поставим вас, господин гун.

Хализат верил и не верил своему счастью...

— Но пока о том, что вы слышали, никто не должен знать. Таково

желание великого кагана.

— Я во всем повинуюсь вам, господин жанжун... — с готовностью откликнулся Хализат, уже представляя себя в роли главнокомандующего.

Жанжун с почестями проводил Хализата.

Когда они шли по просторной веранде, жанжун сказал ему, похлопывая по плечу:

— Вы видите там, у входа, каменных львов?.. Один из них — это вы, другой — это я.

— Воистину так, господин мой...

— Если новый налог будет собран, вы получите чин вана, — сказал жанжун в заключение.

— Из ваших уст исходят не слова, а сахар и мед, мой господин, великий жанжун. Я во всем доверяюсь вам.

Витая мыслями в блестящем будущем, которое открывалось для него о этого дня, Хализат даже не заметил, как сел в свою коляску, запряженную мулом.

3

«Длиннобородым дарином»^[41] прозвали шанжана^[42] Вана за его бороду, черную, длинную, похожую на волосяное опахало. Маленький, невзрачный, напоминающий своим усохшим телом подростка, со смуглым сморщенным личиком и зелеными стрекозиными глазами, которые, однако, светились недюжинным умом, этот человек выделялся среди остальных сановников при жанжуне и был одним из немногих, на кого тот опирался в своей деятельности.

За двадцать лет управления Илийским вилайетом длиннобородый дарин основательно изучил географию, народные обычаи и историческое прошлое Синьцзяна, поэтому ни в одном серьезном деле жанжун не обходился без его советов. И хотя разговор с Хализатом закончился именно так, как хотелось жанжуну, у него было достаточно причин сомневаться в исполнимости своего замысла. Перечитав еще несколько раз секретное послание, прибывшее из Пекина, и стараясь до конца проникнуть в смысл каждого иероглифа, жанжун решил переговорить с дарином.

— Мне нечего скрывать от шанжана, — сказал он, кладя перед ним секретное письмо.

Оно было направлено из резиденции хана и адресовано всем

управителям провинций. В письме речь шла о трех вопросах. Во-первых, сообщалось о том, что в бассейне реки Янцзы крестьяне подняли восстание, и оно, как пожар, уже перекинулось на средние провинции — Ганьсу, Пинша и Чинхай, в свою очередь граничащие с Синьцзяном. Если не принять своевременных мер, восстание грозит распространиться дальше.

«Во-вторых, следует учесть, — говорилось в письме, — что мятежные настроения среди крестьян внутренних районов могут объединиться с непокорством мусульманского населения, а это представит серьезную опасность для империи. Особенно сложно сохранить спокойствие и порядок на окраинах, удаленных от столицы. В случае необходимости местные власти должны принять меры, рассчитывая на собственные силы...»

В третьем разделе письма говорилось о русском царе, чье влияние продвигается все далее на восток и требует неослабного внимания и бдительности.

Письмо содержало многочисленные примеры и наставления и заканчивалось так:

«В сложной нынешней обстановке управление местным населением требует особого искусства, государственной мудрости и дальновидности: в одних случаях нужно оказывать всяческое покровительство и поощрение, в других поступать по всей строгости, а самое главное — сеять рознь между нашими противниками и уничтожать их поодиночке».

— Что вы думаете обо всем этом? — спросил жанжун, когда дарин прочитал письмо.

— Если бы у чаньту, — раздумчиво проговорил шанжан, попыхивая трубкой, — если бы у чаньту нашелся кто-нибудь, у кого в голове есть хоть малая толика мозгов, он бы понял, что сейчас самое время для мятежа.

— Так-так... — Жанжуна покорило прямой ответ Вана.

— Но господину жанжуну нечего опасаться, — продолжал дарин, от которого не укрылась растерянность жанжуна. — У чаньту еще не родился такой человек.

Жанжун опустил глаза, пристыженный спокойствием собеседника.

— Хотелось бы знать, что еще думает досточтимый шанжан о письме из Пекина...

Дарин не спеша облизнул своим желтоватым языком тонкие губы и,

прежде чем ответить, некоторое время собирался с мыслями.

— Истории свойственно повторяться. На двадцать втором году правления великого Чанлун-хана^[43] мусульмане убили дутун Аминдава и подняли над Кашгаром свое знамя, главарь же их объявил себя Батурханом...

— Шанжан, — нетерпеливо перебил жанжун, — до старых ли побасенок нам сейчас?..

— Сановник, управляющий чужим народом, не зная его прошлого, допускает много ошибок, — наставительно заметил дарин и, не дав жанжуну раскрыть рта, дважды повторил эту фразу. — Что же касается Аминдава и джунгарского хана Дабаджи, а с ними вместе и наших маньчжурских правителей, то их ошибка заключалась в следующем. Хан долгие годы держал в тюрьме Батурхана и его братьев, но затем выпустил их на свободу. В результате Батурхан стал добиваться и добился-таки престола...

— Не думает ли-досточтимый господин Ван, что повторить историю так же легко, как перебросить костяшки четок? — рассмеялся жанжун. — Стоит ли трудиться пересказывать то, что всем давно известно?

— Прошедшие времена дают уроки нынешним, — невозмутимо сказал дарин.

— Например?

— Например, нам полезно вспомнить, при каких обстоятельствах генералы Иекапин и Джаухуэй свергли власть Батурхана.

— То есть?.. — Жанжун недоверчиво взглянул на своего советника.

— Батурхан лишился власти потому, что кучарские и турфанские ходжи и беки перешли на нашу сторону и выступили против Батурхана, — продолжал дарин, поглаживая свою жидкую бородку. — А кучарские и байские ходжи и беки, — разве они не присоединились к нам тоже? Но как эти люди стали врагами для своих братьев по крови и вере и друзьями для тех, кого сами называли «кара капиры», что значит — «черные неверные»? Почему они сами вырыли себе могилы?.. Каждый из них стремился к власти, каждый добивался господства над Синьцзяном, своя слава была им дороже родины — и они перегрызлись между собой, как собаки из-за кости...

Несколько минут оба молчали и сосредоточенно курили трубки.

— Сейчас мы имеем дело с точно такими же обстоятельствами. Воспользоваться ими для нас важнее, чем снарядить любое войско.

— Превосходно! — Жанжун одобрительно похлопал своего собеседника по плечу и вынул из ниши небольшой сосуд с изображением

тигра.

— Пусть ваша мудрость процветает многие годы, шанжан!

Выпив хучуджу^[44], они начали чистить лежавшие на столе мандарины. Разговор продолжался.

— Итак, что же вы предлагаете, господин Ван?

— Прежде всего сохранить за собой Илийский округ, сердце всего этого края...

— Дальше, дальше, господин Ван, — нетерпеливо перебил жанжун.

— Я снова должен обратиться к истории.

— Что ж, я слушаю.

— Как известно господину жанжуну, — начал дарин, демонстрируя обширность своих познаний, — на девятнадцатом году царствования великого Чанлун-хана главнокомандующий джунгарскими войсками Амурсана убил своего брата Ламаджи и возвел на его престол Дабаджи. Вскоре между Амурсаной и Дабаджи возникли раздоры, и Амурсана, объединив под своим знаменем монгольские племена хошут, торгут, хут и другие, перешел на сторону маньчжур. Я, разумеется, не сказал ничего, что было бы для вас новым...

— Продолжайте, продолжайте...

— Тем самым Амурсана облегчил маньчжурам возможность вновь овладеть Джунгарией. Ныне для нас Амурсанами должны стать кумульские, турфанские, кашгарские, аксуйские, хотанские беки и в первую очередь — под самым нашим носом — бек Хализат.

— Вы на верном пути, господин Ван...

— Мой план таков: первое — мы создаем из местного населения «отряды охраны и порядка» и назначаем их главой бека Хализата. Второе — мы объявляем Хализата хакимом всего Синьцзяна. Чтобы отсечь кумульских беков от дунган, им надо тоже кинуть какую-нибудь подачку. В-третьих, на юге следует усилить давнюю борьбу между «черногорцами» и «белогорцами». Если удастся вовлечь во все эти междоусобицы беков, тогда...

— Тогда они сами будут пожирать друг друга...

— Еще раз повторяю, господин жанжун, — продолжал Ван, — мы до тех пор сумеем удерживать в своих руках этот беспокойный край, пока будем натравливать одних беков на других и не допускать между ними единства...

Наместник из Пекина и его длиннородый советник в полном согласии с инструкциями секретного письма подробно разработали план действий и затем утвердили его окончательно на военно-государственном

СОВЕТЕ.

Еще в те времена, когда мулла Аскар только поселился в кишлаке Дадамту, ему дали прозвище «Коротышка мулла». Он и в самом деле был не очень-то высок ростом, мулла Аскар, но своими коротенькими ножками исходил немало дорог, изведаль и радость, и горе, и ледяной холод вершин, и мрак таких пропастей, куда не дерзнет заглянуть и сильный. Скучна и пуста жизнь без крутых подъемов и спусков, однако мулла Аскар не мог пожаловаться, что путь его ровен и гладок...

Редко кто мог сравниться с Аскаром в учености и красноречии, но не умел он ладить с беками, ишанами и муллами, ему никогда не находилось места среди них, да и не в его характере было тереться возле знати. Богачи считали Аскара чудачком и нелюдимом, при встрече скалили зубы, смеясь ему в лицо, а за спиной грозились, готовые в любой подходящий момент лягнуть своим ослиным копытом — большинство из них на собственной шкуре познали остроту языка Коротышки муллы и язвительность его ума.

— Эй, Аскар, — обратился к нему однажды во время какого-то большого чаепития кази^[45] города Кульджи, — что ты там топчешься в стороне, иди к нам! — и рукой, с которой свисали перламутровые четки, указал место. Аскар подошел и молча остановился, скрестив руки на груди.

— Вот что я тебе скажу, — продолжал кази, — ты все упрямишься, все ворчишь, все рыщешь неизвестно где, а мог бы сидеть рядом с этими достойными людьми, — он кивнул на своих гостей, которые своими высокими чалмами напоминали бодливых кочкаров^[46]. — Зачем ты себя мучишь, зачем терзаешь свои ноги, шляясь, как бродяга, из города в город, из кишлака в кишлак? Ведь ты не глуп, ты одного только не знаешь — мадара-мурассе^[47]... Ну, взгляни на себя, ведь ты похож на оципанного беркута, разве это жизнь?

Раздался такой хохот, что те, кто находился во дворе, начали заглядывать в двери. Смеялся кази, его заплывшее салом лицо побагровело и раздулось, как пузырь. Стонали, задыхались от смеха, подталкивали друг друга плечами муллы — точь-в-точь дохлые лошаденки, что трутся боками о дерево.

— Ловко вы его, кази-ата!..

— Ощипанный беркут!..

— О-ох, не могу...

Коротышка мулла и бровью не повел, видя издевки кази и его блюдолизов. Спокойно дождался он, пока затих смех, и медленно обвел взглядом всех сидящих:

— Чем сто лет жить, как вороны, клюющие кизяк, лучше один день прожить, как беркут, питаясь свежим мясом.

Сказал — и вышел из гостиной. Муллы смотрели ему вслед с таким выражением, будто по их головам прогулялась хорошая дубинка.

Немало таких случаев было в жизни Аскара, не раз его недруги пытались кулаками своих пособников проучить его, избив до полусмерти, но простые люди не давали в обиду своего любимца и заступника.

...В тот день, о котором мы рассказываем, мулла Аскар отправился на шумную базарную площадь: ее пестрые краски, веселая суета и многолюдство всегда успокаивали муллу, когда он чем-нибудь бывал сильно раздражен. Сегодня утром Аскар видел, как по улицам города проезжал Хализат со своей свитой, и чем больше думал он о Хализате, тем больше разъярялся. «Ведь это болван, отлитый из меди и золота, обыкновенный болван, — думал он. — Какая надменность, сколько важности и тщеславия в каждом движении, каждом слове!.. Что ему народ, о благе которого он должен заботиться?.. Так, прах под копытом коня!.. А свита?.. Всякий стремится подражать своему господину!.. Чего стоит хотя бы этот медведь Абдулла-дорга^[48]... Да разве такие ничтожества когда-нибудь постигнут величие науки, оценят пользу знаний, разве станут они заботиться о просвещении, заводить школы, покровительствовать искусству?.. Э, Аскар, ты был бы последним глупцом, поверив такой чепухе!»

Аскар шел, ничего не замечая вокруг, пока его не дернули сзади за рукав. Он обернулся и увидел старого дехканина.

— Салам, мой мулла, — сказал старик, участливо глядя на Аскара. — Чем вы встревожены? Какая беда случилась с вами?

Сумрачное лицо Аскара посветлело: он узнал своего земляка из Дадамту.

— И ты здесь, дорогой? — обрадовался он неожиданной встрече.

— Да вот приехал в город за покупками, а собрался назад и увидел вас. Не отправимся ли домой вместе?.. Я кричал вам издали, только вы идете и не слышите... Что-нибудь скверное случилось, мой мулла?

— Все в порядке, дорогой, ничего не случилось. Просто слишком много разных мыслей набилось в мою голову, и я иду и думаю, кому мне

их подарить?..

Оба, забыв, что стоят посреди дороги, громко рассмеялись.

— Не зайти ли нам в ашпузул^[49] мой мулла? — предложил дехканин.

— Оставь ашпузул другим, дорогой, заглянуть в ашпузул одним глазом — все равно что кинуть на ветер целое хо пшеницы. Мы пойдем в чайхану, выпьем горячего чая и закусим свежими лепешками.

В маленькой чайхане, куда они свернули, было почти пусто, лишь несколько посетителей чаевничали, расположась в уголке. Хозяин, человек могучего сложения, с густыми черными усами, встретил муллу как давнего знакомого, тотчас разостлал перед гостями белую кучарскую кошму, заварил чай и через минуту вернулся с подносом, на нем лежали три лепешки, от которых еще шел пар, и несколько горстей черного кишмиша.

— Прошу отведать, мулла Аскар, — приговаривал он, улыбаясь и разливая душистый напиток в цветные пиалки.

— Рахмат, рахмат, бурадар^[50]. Присаживайся и сам, расскажи, как твои дела, — в свою очередь пригласил его Аскар, принимая пиалу.

Но не успели они перекинуться и парой слов, как чайхана наполнилась людьми. Кого здесь только не было! Портные и сапожники, ювелиры и мелкие торговцы из ближних лавочек — все оставили свои занятия, услышав, что появился Аскар.

— Ну-ка, ну-ка, дорогие мои бурадары, подходите поближе, садитесь, места хватит для всех, — приветствовал их Аскар, ласково здороваясь с каждым.

Его окружили плотным кольцом старые верные друзья.

— Что-то редко стали вы нас навещать в последнее время, мулла Аскар. Не в обиде ли вы за что-нибудь? — спросил Аскара сутулый Саяя, который всю жизнь гнулся над своей иглой.

— У бешметов, что тышьешь, бурадар, рукава уже, чем шумяк^[51]. Как же не обижаться, если они трещат по швам, едва наденешь!.. — сказал Аскар.

— Что делать бедняге Саяю, мулла, — вмешался словоохотливый чайханщик, — если купец Тохсун мерит свой материал кривым аршином.

— А ты, дорогой, собрал наконец десять тилла^[52], чтобы отправиться в Мекку? — обратился Аскар к худощавому человеку в длинном заплатанном переднике. Лицо его было желтым, как шафран.

— Э, мулла, видно, я никогда не дождусь, чтобы мне улыбнулось счастье, — ответил тот мрачно, почесывая переносицу черными от копоти пальцами.

— Сначала найди, Семят, охотников до фальшивого золота... — заговорил кто-то, но не кончил — со всех сторон послышался едва сдерживаемый смех.

— Вот оно что, бурадар... Понятно, — сказал Аскар, сочувственно улыбаясь. — Так ты, Семят, попался в когти ворону... Тому самому ворону, что разрывает могилы китайцев, крадет фальшивое золото и потом сбывает простакам вроде тебя... Хотя это золото пригодились бы самим китайцам, чтобы было чем в аду откупаться от дьявола... Бедняга Семят, не видать тебе Мекки, как собственных ушей!..

Смех налился новой силой: единственной мечтой богобоязненного ювелира было посетить Мекку и стать хаджи...

— Ну, а ты, дружок? — обратился мулла Аскар к своему любимцу — молодому сапожнику. Тонок и строен был он станом, как звонкий длинногорлый кувшин, и голова его высоко и прямо сидела на гордой шее, одно только портило юношу — бельмо на правом глазу.

— Вся кожа, которую продал ему кожевник Давут, оказалась гнилой, — ответил вместо юноши Салим.

— Ай-яй-яй... Что же теперь, прощай свадьба с Хавахан, так выходит?.. — Шутке Аскара первым рассмеялся сам юноша. Но невесело рассмеялся.

— Не печалься, мой милый... Из всякого положения найдется выход. Как ты смотришь на то, чтобы с самого обманщика Давута содрать кожу и надеть из нее чувяков?.. Пожалуй, денег хватит не только на свадьбу!

Так, вникая в дела своих друзей и рассыпая веселые шутки, беседовал мулла Аскар, находя для каждого ласковое слово. И прояснялись хмурые липа, пропадала усталая горечь, являлась надежда, и люди уже смеялись над своими бедами. Как иссохшая земля жаждет дождя, так сердца их жаждали все новых и новых речей Аскара, муллу не отпускали долго, до самых сумерек, а еще точнее — до той самой минуты, пока в чайхану не заглянул мальчуган с наголо обритой головой. Он тихонько прокрался к мулле Аскару и шепнул на ухо так, что расслышал и понял один Аскар:

— Ахтам бежал!..

Всякому, кто взглянул бы в эту сторону с высоты крепостных стен Кульджи, кишлак Дадамту показался бы просто рощицей из зеленых вязов. Он и вправду не отличался размерами, кишлак Дадамту самый маленький

из окрестных селений, но зато все в нем цвело и благоухало с весны до осени, и воздух в густой тени деревьев был, как нигде, чист и прохладен, и потом — чье название могло сравниться с его гордым именем: Дадамту! Если разобраться доподлинно, то первого человека, заложившего здесь дом, звали Дара, и по его имени кишлак тоже называли Дара-ту, однако Дара-ту вскоре заменилось более звучным Дадамту и в таком виде закрепилось навсегда. Но все-таки, если жители кишлака заводили разговор о давних временах, память им обязательно подсказывала имя Дара.

Внук Дара, дядюшка Сетак, какие бы ни приходилось ему терпеть лишения, свято берег дом, в котором, казалось, еще витал дух его предка. И дом этот, самый высокий в кишлаке, полностью сохранил прежний вид, годы почти не оставили на нем следов. Но если когда-то просторный двор не вмещал всего скота, то теперь поборы и налоги оставили дядюшке Сетаку только лошадь с коровой и ничего больше. С каждым днем жизнь в Дадамту становилась все тяжелее, с каждым днем все ниже клонилась голова дядюшки Сетака от горьких дум. «О аллах, — говорил он, обращаясь к всевышнему, — неужели ты допустишь, чтобы я лишился дома своего деда?.. Нет больше ничего доброго в этом мире...»

Вот и сегодня, раньше обычного возвращаясь с поля, дядюшка Сетак шел, повесив голову и размышляя о неизбывных своих заботах: «Только бы вывести в люди обеих дочерей, свет очей моих, а потом и умереть можно спокойно». Но такой далекой, такой недостижимой казалась ему заветная мечта, что он предпочел бы сейчас и дальше оставаться на пересохшем поле под жгучим солнцем, — там, за работой, по крайней мере, не одолевают печальные мысли. Не было дня, когда бы дядюшка Сетак не трудился, не было молитвы, которую бы он пропустил, но к пятидесяти годам он поседел и сгорбился, как старик, и лишь в глазах его, светлых и прозрачных, будто родниковая вода, еще порой зажигались живые огоньки. Так случалось, когда он приходил к себе в дом и встречал во дворе дочерей, похожих на два юных кипариса, когда слышал их переливчатые голоса — только тут покидала его усталость, легчало на душе.

Вот и теперь: едва появился он во дворе с кетменем на плече и тыквяной бутылкой для чая, как старшая дочь увидела его, вскрикнула: «Отец, отец!» — и бросилась навстречу.

— Ой, отец, что с тобой?.. Ты устал?.. Хочешь, я налью тебе холодного чая?.. — Не дожидаясь ответа, она отобрала у отца кетмень и тыквянку, стряхнула пыль с одежды и тонкими нежными пальцами

принялась расчесывать бороду, слипшуюся от пота.

— Тише, тише, шалунья, — говорил Сетак, а лицо его расцветало от удовольствия. — Или ты, Маимхан, решила оставить мою бороду без волос?

Оба — отец и дочь — весело смеялись. Тем временем младшая сестра Маимхан — ей не исполнилось еще и десяти — принесла в тыквяном ковше холодного аткенчая, взобралась на большой камень и тонкой струйкой стала лить чай прямо в рот отцу. Сетак, приученный к этой забаве, только разевал рот пошире, ловя подрагивающую струйку.

— Ну вот, — проговорил он, допив все до последней капли и вытирая губы, — ну вот, кажется, я уже и отдохнул...

Потом дядюшка Сетак умылся — одна из дочерей принесла воду, другая — полотенце — и, вымывшись, взобрался на супу^[53], застланную кошмой. Дочери уже успели крошить хлеб в отцовскую чашку.

— Подлей-ка еще, Азнихан, сегодня твоя лапша удалась на славу, боюсь проглотить язык, — сказал Сетак, опорожнив чашку, и, утирая пот со лба, протянул ее своей жене.

— Э, быстр же я на ногу — подросел прямо к обеду! — раздалось у калитки. Все обернулись и увидели муллу Аскара, входящего во двор.

— Балли, балли^[54], прошу вас, мулла! — поднялся ему навстречу обрадованный дядюшка Сетак.

Пока длился обмен взаимными приветствиями, Маимхан принесла для своего наставника тазик с водой, заскочила в дом, вернулась с корпачой и подстелила ее мулле Аскару.

— Кушайте, кушайте, мой мулла, пока не остыло, — приговаривала тетушка Азнихан, протягивая Аскару чашку с горячей лапшой.

— Пах-пах... Верно говорится, что дурная голова не дает покоя ногам, а хорошие ноги накормят даже дурную голову... — сказал Аскар, приступая к еде.

Весь обед неистощимый на шутки Аскар веселил хозяев и посмеивался сам, когда же была убрана грязная посуда и произнесена дуга^[55], мулла сказал:

— А теперь приступим к серьезному разговору, — и обратился к Маимхан: — Расскажи нам, дочка, понравилось ли тебе во дворце?

— Никогда я не видела такой красоты, — призналась чистосердечная Маимхан, — мне вспоминались там сказки, которые я слышала от вас, учитель. Сколько мастеров трудилось, чтобы сотворить на земле такое чудо! Но там... Там нечем дышать, в этом дворце! Да, да!.. Там даже

воздух не такой, как у нас — он давит на душу!.. И люди... Одни проводят свою жизнь в пьянстве и роскоши, другие — в слезах и горе...

Аскар внимательно слушал Маимхан и потом долго Молчал, погруженный в свои мысли.

— Что ж, значит, ты ездила не напрасно, — заговорил наконец он. — Теперь давай подумаем, почему одним суждено весь век плакать, а другим — смеяться.... Ведь не для того создал аллах людей, чтобы они проливали слезы...

— А для чего?.. Для чего, мулла Аскар?.. — вмешалась в разговор маленькая Минихан.

— Ты смотри! — удивился Аскар. — Значит, и тебе интересно это узнать, букашка ты этакая!.. — Он ласково ущипнул девочку за щеку.

Должно быть, не скоро кончилась бы беседа, если бы ее не нарушили подружки Маимхан, сбежавшиеся во двор дядюшки Сетак.

— Как вы разузнали, что я здесь, доченьки? — спросил Аскар, отвечая на шумные приветствия девушек.

— Мы соскучились по вашим рассказам, мулла Аскар!

— Ты только послушай их, Сетак!.. Эти баловницы могут забыть причитающуюся мне пятницу^[56], но никогда не забудут попросить муллу Аскара, чтобы он рассказал для них что-нибудь поинтересней, — как бы не так!..

— Как бы не так! — добродушно подтвердил дядюшка Сетак и подмигнул девушкам. — И мы вместе с ними послушали бы вас, мулла Аскар...

— Ну, будь по-вашему, — сказал Аскар. — Но сначала прочтем вечернюю молитву, а уж потом...

Аскар, а вслед за ним и Сетак поднялись со своих мест.

Маимхан со своими подружками занялась приготовлениями: супа, над которой раскинули свои ветви два старых чилана^[57], посаженных еще благословенными руками деда Дара, была чисто выметена, и на ней появились два маленьких коврика.

Тем временем солнце, словно вложив свои лучи в ножны, скрылось за горизонтом, и в небе засияла круглая двухнедельная луна. Поверхность колчака — водоема, вырытого во дворике, покрыли серебристые блики. Вечерняя молитва кончилась.

— И ты, моя госпожа, исполнила свой долг и можешь спокойно отдохнуть, — сказал Аскар, снимая в головы старую чалму и вешая ее на ветки чилана.

Все уже собрались и расселись у водоема в нетерпеливом ожидании.

— С чего же мы начнем? — спросил мулла Аскар, обращаясь ко всем сразу.

Разгорелся спор: кто требовал «Кмяк хяйяр», кто «Боз джигит», кто «Чин томур батур».^[58]

— «Ипорхан»! — вдруг предложила Маимхан и даже привскочила с места. Ее звонкий голос заставил умолкнуть все остальные, да и кто не присоединился бы к ней?...

— Барикалла^[59], дочка, — согласился Аскар. — Ты угадала мои мысли. История Ипорхан может многому научить каждую из вас и послужить уроком на будущее.

С этими словами мулла Аскар подобрал под *себя* ноги и расположился поудобнее.

— Слушайте же меня внимательно и призадумайтесь над тем, что я вам расскажу.

Не спеша начал свою повесть мулла Аскар, медленным широким потоком разливалась она, незаметно увлекая и захватывая слушавших, и вскоре наступил момент, когда было забыто все вокруг, все исчезло, пропало, кроме негромкого голоса рассказчика и юной Ипорхан, чей облик все ясней, все отчетливей проступал в его словах.

Разве для истинного мастера существует что-нибудь в целом мире, кроме ритма и мелодии, которую извлекают из струн его пальцы?.. Любимейшей песней была для муллы Аскара старинная легенда, которую — и в который раз! — пересказывал он сегодня. Казалось, он сам сейчас где-то рядом с ней, с прекрасной и отважной Ипорхан, в гуще схватки, в жарком пламени битвы. Блистая доспехами, врубается острым мечом красавица Ипорхан в ряды врагов, направо и налево разит смелая тонкая рука проклятых иноземцев, задумавших покорить ее народ. «Где Ипорхан — там победа!..» — несётся клич. Но все тесней сжимается кольцо; все дальше и дальше она от своих, все туже захлестывается петля вокруг не знающей страха воительницы... И вот она в плену... О горестная судьба, о муки, которые ждут ее впереди!..

Ах, все это уже давно наизусть, слово в слово, знает и сама Маимхан, она слушает и не слышит муллы Аскара, она видит — вой, вон там, в темной гуще листвы, куда убегает по воде светлая лунная дорожка, только что промелькнула Ипорхан!.. Белый конь, золотые доспехи... Не по ним ли отличили ее враги?.. И теперь увлекают в коварную ловушку?.. Как спелые колосья под серпом, падают они под мечом Ипорхан, но нет, не

редуют их ряды, саранчой налетают со всех сторон, черным облаком, заслоняющим солнце. Спотыкается, оступается белый конь — и на всем скаку рушится в глубокую яму. Всем телом дрожит Маимхан — от боли, досады, от бессильного гнева — разве так поступают воины в честном открытом бою?.. Не сумели взять силой — взяли хитростью! Смертным хрипом, кровавой пеной исходит ее белый конь, а сверху, по краям ловушки — ямы, хохочут, издеваются, победно торжествуют мерзкие рожи...

— Вот так, дети мои, — доносится до нее голос муллы Аскара, и Маимхан пробуждается от своих грез наяву. — Говорят, не было в те времена никого на свете могущественней и богаче пекинского хана, но плененная Ипорхан не склонила перед ним головы. Напротив, самого хана пленила она своей красотой, и чего только не делал он, чтобы она ответила ему на любовь любовью!.. Все желания и прихоти ее тотчас исполнялись — но напрасно. Призывал к себе хан чародеев и магов — но зря. Только по родине своей тосковала Ипорхан, думала только о своем несчастном народе.

Тогда хан, чтобы утолить печаль ее сердца, приказал построить дворец, красоту которого не опишешь словами. И все в нем было таким, как принято на родине Ипорхан: уйгурские росписи украшали его стены и внутри и снаружи, и все вещи были доставлены из Хотана и Кашгара. Мало этого, — пожелай Ипорхан выглянуть в окно, она увидела бы вокруг дворца своих земляков, их жилища — целый город построил хан, и даже мечеть с высоким минаретом стояла здесь!..

Но ничего не добился он от гордой и прекрасной Ипорхан, даже коснуться полы своего халата не позволила она ему.

— Скажи мне, чего ты хочешь еще? — спросил ее хан. — Хочешь, твое имя будет Шанфи^[60], и пороги в твоём дворце отольют из чистого золота, и покой украсят жемчугами?..

— Благодарю вас, о великий хан Китая, за ваши заботы, но ни престол, ни ваша роскошь мне не нужны.

— Чего же ты хочешь от меня?..

— Свободы, свободы для моего народа...

При этих словах муллы Аскара такой глубокий вздох вырвался из груди Маимхан, что Аскар оглянулся на нее и продолжал, не сводя с нее глаз:

— Тогда хан грозно нахмурился и сказал: «Вот тебе три дня сроку. Если ты и дальше станешь упрямиться, я прикажу казнить тебя».

Мулла Аскар наклонил голову и замолк, как бы раздумывая,

продолжать ли ему свой рассказ. Нарушив ночную тишину, с испуганным кряканьем пролетела стая диких уток и немного спустя то же кряканье и громкий шелест раздались со стороны протекающей речки.

— Не дождалась Ипорхан, когда исполнится ханская угроза, — вернулся к своему рассказу Аскар. — Старый друг избавил ее от жестокой казни, не дал грязным рукам коснуться ее чистого тела. Только ему открыла она свою грудь... Кинжал, с которым никогда не расставалась Ипорхан, пронзил ее сердце...

— Вот какой она была, наша Ипорхан, — закончил мулла Аскар.

Но все еще долго сидели, не двигаясь, не говоря ни слова, как будто надеясь на какое-то продолжение, и не отводили взгляда от муллы Аскара, похожего в этот момент не то на таинственного колдуна, не то на звездочета, — маленького грустного звездочета с блестящим от луны теменем. И Маимхан, вся наполненная странным волнением и тревогой, смотрела пристально прямо перед собой и шептала что-то...

— Спасибо, учитель, — ваш рассказ послужит нам уроком, — сказала одна из девушек, и остальные подхватили ее слова.

— Хороший урок — большое дело, дети мои...

Вскоре после приезда муллы Аскара в Дадамту открылась школа, но ненадолго. Двадцать-тридцать пытливых головок только-только обучились грамоте, как богомольные ханжи поднялись против Аскара. Страшась всего нового, они добились своего: по указанию старосты Норуза школа была закрыта. Ученики разбрелись. Одна Маимхан да еще ее друг Хаитбаки продолжали тайком брать у Аскара уроки.

Два года хлопотал Аскар, но восстановить школу ему так и не удалось. Тогда он решил обратиться к гуну Хализату. Но дворцовые беки, услышав о его просьбе, не подпустили его вчера даже к воротам.

— Вот так, дети мои, — проговорил мулла Аскар со вздохом, рассказав о своей неудаче. — В наши времена все двери раскрыты настежь только перед глупостью и невежеством. Что же до ума и знаний, то их не пускают дальше порога.

В этот момент с улицы донеслась песня, — ее пел сильный юношеский голос:

Думаешь, с горем не знаюсь я?
Горем душа налита до краев.
Думаешь, сердце беспечное спит?
Гнев закипает в сердце моем!..

— Слышите?.. — взволнованно сказал мулла Аскар. — В этой песне правдиво все до последнего звука...

— Это сложила Маимхан.

— Да, да, я знаю... Прекрасная песня — о нашей доле, о нашем горе... Оттого и поют ее люди... Сочиняй и впредь такие же, доченька, — Аскар погладил Маимхан по голове. — Каждая твоя строка да будет подобна отточенной стреле.

Время уже было позднее, Аскар поднялся, собираясь уходить, и простился с хозяевами.

— Наш Ахтам бежал... Ты слышала об этом, дочка? — спросил мулла Аскар, когда Маимхан вышла проводить его.

— Бе-жал?... — выдохнула она, не в силах больше выговорить ни слова.

— Бежал, да еще как — заколол трех солдат при этом!

— Что же... Что же теперь?..

— Не так легко нашего сокола снова залучить в клетку... Но все мы должны быть вдвойне осмотрительны.

Маимхан молчала, что-то напряженно обдумывая.

— Прощай, дочка. Я тоже не стану сидеть сложа руки. А ты... Прошу, веди себя осторожно...

3

— О всемогущий аллах... Спаси и помилуй бедных рабов твоих... — шептал испуганно дядюшка Сетак, проснувшись от страшного шума и крика. Не понимая, что происходит, он растерянно уставился на тетушку Азнихан.

— Та-мади!^[61] Выходи! Все выходи из дома! Скорей, скорей! — орали во дворе.

— Это солдаты... Куда же мы упрячем наших девочек?.. О аллах, чем прогневили мы тебя, за что новая беда свалилась на наши головы? — запричитала тетушка Азнихан и бросилась в комнату, где спали дочери.

Вконец растерявшийся Сетак поплелся во двор. К нему подскочили солдаты. Серая дорожная пыль покрывала их с головы до ног; смешавшись с потом, она коростой запеклась на их лицах, залепила ноздри, потеками грязи разрисовала рты; от солдат разило потом, как от коней после доброй скачки.

— Ты Се-та-ки? — по-уйгурски выговорил один из них, вероятно,

старший.

— Да, я, — ответил дядюшка Сетак, не в силах унять дрожь в голосе.

— Кто скрывается у тебя в доме? — спросил тот же солдат, подняв к глазам дядюшки Сетака свитый из ремней кнут.

— У меня никого нет...

— Хе... — Солдат вытянул тонкую змеиную шею. — Ты прятал человека? Отвечай! Или на тебя наденут вот эти игрушки! — Он указал рукой на койзу — деревянные кандалы и наручники, которые держали наготове двое других солдат.

Все потемнело, закружилось в глазах у дядюшки Сетака. Но не за себя испугался он в эту минуту. Что будет с девочками, как они останутся без него?..

Между тем тетушка Азнихан силой старалась удержать в доме своих дочерей: они рвались на помощь к отцу...

Во дворе, задыхаясь от быстрой ходьбы, показался староста Норуз.

— Пайджан, хома?..^[62] — Он хотел еще что-то сказать, но закашлялся.

— Бей ху жан ни хо?^[63] — осклабился пайджан.

— Ай, Сетак, Сетак!.. Давно ли ты стал таким скупым? — заюлил хитрый, как лисица, Норуз. — Неужели у тебя не нашлось пиалы с чаем для господина пайджана?..

Сетак стоял молча. Он, казалось, не понимал, что говорит ему Норуз.

— Как могли вы миновать мой дом и не заглянуть ко мне, пайджан дарин? — продолжал вилять Норуз перед китайцем.

— Вор Ахтам бежал из тюрьмы, его всюду ищут.

У старосты Норуза всегда слабели ноги, когда ему приходилось слышать имя Ахтама. Но тут, стараясь не уронить себя перед пайджаном, он грозно засучил рукава и надвинулся на Сетака.

— Так вот оно что, старый плут!.. Ты тайком от меня скрывал у себя Ахтама?..

— Двери моего дома всегда были открыты перед вами, бек Норуз... Видит аллах, если бы я... — Сетак только и смог пробормотать эти слова, в душе еще надеясь, что Норуз поможет ему, как мусульманину мусульманин.

— Не болтай попусту! — топнул ногой пайджан. — Где этот разбойник? Говори все, что знаешь!

Столько ярости было в его голосе, что даже у старосты Норуза тревожно екнуло сердце.

— Ну, ты, паршивая собака! — закричал он, багровея от усердия. —

Если тебе что-нибудь известно — отвечай!

— Пусть ослепнут мои глаза, если я его видел...

Дядюшка Сетак был уже не в состоянии говорить, ноги его подкосились, и, медленно оседая, он рухнул на землю.

— Обыщите дом!

Словно голодные псы, которым швырнули кость, солдаты бросились выполнять приказание. Они перевернули вверх дном все в доме, перерыли сундуки, обшарили каждый угол в курятнике и на конюшне.

— Уже поздний час, пайджан дарин, — говорил между тем Норуз медовым голосом, налегая на слово «дарин». — Погостите сегодня у нас, а завтра засветло мы разыщем и схватим Ахтама, никуда он от нас не уйдет!

Пайджан круто повернулся к солдатам, которые стояли за его спиной, ожидая новых приказаний, и кивнул им на Сетака. Те с привычной ловкостью накинута бедняге на руки койзу и потащили через двор к воротам. Но тут выскочила вперед Маимхан.

— Сначала убейте меня, а потом уводите отца! — крикнула она, преградив им дорогу. Ее и без того огромные глаза стали еще огромней, они так и пламенели от ненависти, кулаки были стиснуты. Маимхан в упор смотрела на солдат, еще миг — и она кинулась бы на них очертя голову.

Солдаты растерялись от внезапного натиска бешеной девчонки. Не зная, как быть, они оглянулись на своего начальника, и пайджан сам решительно направился к Маимхан, чтобы оттолкнуть ее прочь. Но и его обожгли глаза, полные ярости, пайджан опустил занесенную было руку.

— Скажи, красавица, кто тебе дороже, отец или вор Ахтам?..

Что могла ответить она этому человеку, этому зверю, который произнес имена двух самых близких для нее людей?.. Маимхан бросилась к отцу и крепко обхватила его шею.

Норуз, подбежав к китайцу, что-то быстро прошептал ему на ухо.

— Доченька, — обратился он затем к Маимхан, — ты что, забыла, что это ханские солдаты?.. Не противься же им, иначе это плохо кончится... Закон...

— Закон?.. Какой это закон — убивать неповинных?..

— Зачем ты говоришь такие слова, доченька!.. Твоего отца только распроят об Ахтате и отпустят...

— Нет!.. Кто попался им в лапы, тому не вернуться живым!..

— Ради аллаха!.. Ради аллаха смилуйтесь над нами, пайджан дарин! — Тетушка Азнихан как стояла, так и рухнула в ноги пайджану. Китаец с равнодушным лицом пихнул ее в грудь, и она откатилась в сторону. Маленькая Минихан кинулась к матери и заголосила.

— Встань, мама, встань! — кричала Маимхан. — Разве это люди?.. Палачи!

— Дочка, послушай... Не ввязывайся из-за меня в беду... Такова наша судьба... Аллах все видит, он один наш защитник...

Никто не слышал последних слов Сетака, Во дворе поднялся шум, набежали соседи, крики, вопли, женский плач — все смешалось.

— Что вам нужно? Тут не свадьба! А ну по домам! — голос Норуза, и без того тонкий, теперь звенел от злости.

Наконец ему кое-как удалось добиться порядка. Но никто не ушел. Все стояли молча, насупленные, хмурые. Пайджан окинул взглядом угрюмые лица дехкан.

— Всем разойтись! Сетак скрывал у себя Ахтама, и за это...

— Неправда! — крикнула Маимхан. — Отец никого не скрывал!..

Боясь, как бы дело не приняло дурной оборот, Норуз с помощью солдат оторвал Сетака от Маимхан, его чуть не волоком потащили со двора. Как ни билась Маимхан — что могла она против троих мужчин?..

Односельчане стояли вокруг, смотрели, но не двигались с места: всякому была дорога жизнь. Тетушка Азнихан с младшей дочерью долго еще шли за солдатами, не переставая причитать, как над покойником. Однако ни слезинки не пролила Маимхан. Все отчаянье скопилось у нее где-то внутри, ледяным обручем сдавило сердце. Смертельно бледная, стояла она посреди безмолвного двора. И только чей-то негромкий вздох нарушил тоскливую тишину:

— Будьте вы прокляты, убийцы!..

Если не считать старух, которые кое-где поглядывали на дорогу сквозь решетчатые окна, поджидая своих сыновей, ушедших на хашар, — если не считать этих беспокойных старух, все вокруг было погружено в ночную тишину. Натрудившись за день, люди спали крепким мирным сном. По пустынной дороге устало плелась лошаденка, запряженная в крестьянскую двуколку. Возница, сидя на телеге, сквозь дремоту тянул бесконечную песню, чтобы отогнать неотвязный липучий сон. Время от времени пение прерывалось и возница обращался к своей кляче. «Эй, ты, бездельница, — говорил он, — или ты думаешь, я не вижу, как ты хитришь?.. Вся в своего хозяина!..» Он подхлестывал кобылу кнутом и снова заводил унылую мелодию.

На мосту возле старой мельницы телега остановилась, застряв задним колесом в щели между бревнами. Как ни тужилась, как ни напрягалась лошаденка, повозка не трогалась с места. Возница в сердцах сплюнул, слез с телеги и начал орудовать кнутом.

— Но, но, срамница! — приговаривал он. — Ты что, хочешь так стоять до самого утра?.. Я тебя... — Но ни кнут, ни уговоры не действовали, лошадь окончательно заупрямилась и, вместо того чтобы вытягивать телегу, присела на задние ноги. Это показалось вознице особенно обидным, и он, отыскав на обочине дороги палку, решил выместить на строптивой клячонке свою досаду.

— Вот когда ты у меня запляшешь! Я тебе покажу, как подставлять меня под плетку Норуза!.. — Но едва он взмахнул, как позади послышался возглас:

— Эй, погоди! Чем виновата бедная скотина?

Возница так и замер с поднятой рукой.

— Астахпурулла^[64]... Да эту негодную тварь давно пора продать мяснику...

— Не горюй, дядя. Давай попробуем вместе!

Молодой парень уперся в задок телеги плечом, напружинился всем телом, а возница между тем бегал вокруг лошади, подбадривая ее уговорами и проклятиями. Наконец бревна под колесом закрипели, и телега подалась вперед.

— А ты, стало быть, настоящий джигит, и силенки тебе не занимать, — сказал возница, на радостях вынув из-за пояса маленькую тыквянку с насваем. — Спасибо тебе, выручил меня из беды. — Он засунул за губу щепотку табаку, пожевал и с удовольствием сплюнул.

— Да, время теперь позднее... Откуда едем, дядя?

— Э, ука^[65]... — возница махнул рукой. — Только вернулся с хармана — погнали на бахчи... И еще, наверное, до рассвета прикажут кормить этих ненасытных коней...

— Коней? Каких же коней кормят среди ночи?

— Э, ука... Говорят, приехал к нам... то ли пайджан, то ли майджан, со своими солдатами... Я и везу им дыни, а коням — зеленый клевер.

— Вот оно что...

— А сам ты откуда идешь, ука?.. Ишь, как зарос щетиной!..

— С рисового поля, отец... — Джигит скользнул взглядом куда-то вбок.

— Значит, из самого лайлуна?..^[66] Наверное, был у ботуна^[67]

должником?

— Кто же другой отправится в это болото?

— Ну, что ж, садись. Подвезу до Дадамту.

— А по какому делу явились к вам эти маньчжуры, дядя? — спросил джигит, усаживаясь на телегу.

— Да что им... Все, наверное, за людьми охотятся, кровососы...

— За какими же людьми?

— Да вроде Ахтама поминали...

— Ахтама?.. — Джигит подавил усмешку. — И что, уже схватили?

— Видно, нелегко заманить такого сокола в клетку...

Некоторое время оба ехали молча, потом возница снова затянул свою заунывную песню.

— А вы, дядя, поговору не из Дадамту родом, — сказал джигит.

— Твоя правда, ука. Родом я из Араустана. Отобрали у меня за долги всю землю: одну половину — бай, другую, чтоб не обидно было, — маньчжурские чиновники. А сам я вот брожу теперь с пустыми руками из кишлака в кишлак. Скоро год, как батрачу в Дадамту у Норуза... Н-но, н-но, шайтан тебя возьми!..

— В Дадамту, кажется, жил один человек... По имени Сетак...

— Жить-то жил, да вот попался в клетку...

— Как ты говоришь, дядя?..

— В клетку попался, говорю. Придумали, будто прятал у себя Ахтама, и дело с концом. Сидеть бедному теперь, если хорошенько не подмажет...

— Когда это все случилось? Вчера?

— Да совсем недавно, нынче ночью. Заперли, беднягу, в амбар у Норуза, где зимой мясо хранят... Э, ука, давай поговорим о другом, и так веселого мало на свете, а тут еще мы разговор завели... Н-но, дочь шайтана!..

Вместе с возницей замолк и его спутник, о чем-то напряженно размышляя. Возчик не обращал на него внимания и только тянул свою песню.

— А я-то думал — заночую у Сетака, да, видно, не придется...

— Где уж там... Ты посмотри, посмотри-ка на эту лентяйку: почуяла, что стойло близко, и шагу прибавила... Эй, хитрая тварь!.. Недаром говорится: каков хозяин, такова и скотина...

— Что ж делать?.. У меня и знакомых вроде больше тут нет... — Джигит выжидательно посмотрел на возницу.

— Если так, можешь в моем «курятнике» переспать, ука.

— Вы что, во дворе у хозяина живете? — не понял джигит.

— Где там, неужели эта хитрая лиса Норуз станет держать семью работника в своем доме?

— Тогда, может, возьмете меня на конюшню? Я и лошадей покормить помогу.

— Дело твое, ука. Только ничего хорошего там не увидишь, кроме вонючего навоза...

На том и порешили. Немного спустя телега остановилась, въехав во двор.

Староста Норуз никому не доверил своих гостей, сам принял на себя все хлопоты. Единственный, кто пришелся бы сейчас впору, был его сын Бахти, но этот гуляка куда-то запропастился, и Норуз один бегал из гостиной на кухню и обратно. Было выпито уже изрядно, у солдат заплетались языки. Норуз умел приголубить гостя — правой рукой подносил пайджану вино, левой придвигал закуску, пуховые, шелком шитые подушки подкладывал большому гостю под бока.

Но когда, казалось, дело шло к концу и пайджан опрокинул в рот последнюю чарку, дряблая кожа на его лице вдруг стянулась в густые морщины, и он бросился на Норуза.

— Ой, ой, пайджан, чем я прогневил вас?.. — залепетал растерявшийся Норуз.

— Хочу... спать... с бабой... — обалдело прохрипел китаец.

— Господин дарин, где же я найду бабу в полночь?.. Пускай сначала рассветет, господин дарин...

— Синку!..^[68] — вопил пайджан.

Норуз с робкой надеждой посмотрел на солдат, но те лишь громко хохотали, потешаясь над своим начальником, и продолжали глушить водку.

Пайджан скандалил, требуя женщину, пока Норуз кое-как не утихомирил его, наобещав с три короба; он сам раздел его и уложил спать, — не всякая мать так заботливо укладывает в колыбель свое дитя. Наконец и солдаты повалились и захрапели прямо возле покрытого обедками стола.

Норуз вышел из дома — продышаться и заодно взглянуть на лошадей. Он сам отправил всех людей в поле, оставив при себе только уже знакомого нам работника. Но не то по забывчивости, не то для собственного ободрения — безмолвие и темнота обступили его со всех сторон, — проходя по двору, Норуз крикнул:

— Эй, кто здесь?..

Ему никто не отозвался. Наверное, возница тоже залег в своей

конюшне и спал, бездельник, мертвым сном. Однако Норузу померещились чьи-то осторожные шаги.

— Эй, кто тут?.. — снова закричал он, боязливо озираясь.

И в тот же момент из темноты перед ним вырос незнакомый силуэт.

— Ты... Ты кто?.. — спросил, слегка заикаясь, Норуз.

— Тот самый, кого вы ищете.

— Ты... Верно, сам шайтан занес тебя сюда...

— Может, и шайтан... Теперь узнаешь меня?

— А... А-хтам... — испуганно выдохнул Норуз.

— Вот так... Значит, ты меня еще помнишь?.. Ну, что же ты стоишь? Свяжи меня и передай солдатам, а?.. Что ты хотел сделать с дядюшкой Сетаком?

— Это... Это не я, аллах не даст мне солгать... Я ни при чем... — бормотал Норуз, отступая от Ахтама, и вдруг диким голосом закричал: — Эй!.. Сюда!.. Убивают!..

Железные пальцы сдавили ему шею, приподняли, встряхнули легонько и опять вернули на землю. Норуз покорно позволил снять с себя шелковый пояс и сам сложил за спиной руки, тотчас затянутые тугим узлом.

— Одно слово — и считай, что ты на том свете. Понял?..

Подтолкнув Норуза вперед, Ахтам вместе с ним прошел в гостиную. Солдаты спали — хоть стреляй их поодиночке на выбор. Ахтам запер дверь изнутри на крючок, собрал ружья с боеприпасами и приступил к делу: каждому солдату заткнул тряпкой рот, связал руки, потом сложил всех вместе, как поленья, и перетянул одной веревкой. У Норуза, который наблюдал за всем этим, душа окончательно переселилась в пятки.

— Видел? А теперь и с тобой будет то же, что с ними! — Ахтам выдернул из ножен короткий кинжал и провел у Норуза под носом.

— Ох... Пусть аллах наградит тебя долгой жизнью, сынок...

— Не болтай по-пустому, старая лиса!.. — Ахтам помолчал. — Хорошо, поверю тебе в последний раз. В последний! Слышишь?.. А теперь поклянись...

— Клянусь, клянусь тебе, сынок... Аллах свидетель, я не стану чинить тебе зла...

— Поклянись над Кораном. — Ахтам вынул из висевшего на стене мешочка Коран, положил его перед Норузом и развязал ему руки.

— Повторяй за мной: «Если когда-нибудь хоть пальцем трону Сетака, пускай меня покарает аллах самой страшной карой!»

Норуз повторил и прибавил от себя еще множество обещаний.

— Теперь запомни: будешь мучить народ — слетит не только твоя голова, поплатится вся родня... Я тебя знаю, но и ты меня знаешь тоже... Все сожгу, а пепел пущу по ветру!.. Слышишь?

— Слышу, все слышу, Ахтам...

— Теперь проходи вперед.

— Куда мне идти, сынок?

— Сам своими руками освободишь Сетака.

— Иду, иду, сынок...

Прихватив ружье, Ахтам двинулся за Норузом.

По давнему обыкновению, мулла Аскар каждое утро копался на своем огороде. Вот и сегодня, полив лук и морковь, он хотел было пустить воду к грядке с фасолью, но ему помешал запыхавшийся от бега мальчуган с наголо обритой головой. Он вручил Аскару исписанный листок бумаги. Еще не читая письма, мулла Аскар по веселым глазам гонца понял, что его ждут хорошие вести.

— Ты спешил порадовать меня, сынок?..

— Я от Ахтама-ака...

— Так-так...

Аскар развернул письмо и, пробежав до середины, не удержался: «Молодец! Вот это джигит!..» Заканчивалось письмо следующими словами: «Учитель, не сердитесь, что не смог повидать ни вас, ни Маимхан. Встретимся в другой раз. Не тревожьтесь за меня. Я не один...»

— Не один... Да, да, это хорошо, что он не один... — пробормотал мулла, перебив чтение, и продолжал вслух: — «Я понял, что не ждать нам добра, если станем все сносить и терпеть молча. Нам еще крепче сядут на шею, чтоб удобней было сосать из нас кровь. Смерть кровопийцам! Прощайте, учитель и Маимхан...»

— Так... — задумчиво проговорил мулла Аскар. — Приходит время — птенец превращается в сокола... А джигит берется за дело, достойное настоящего мужчины... — Мулла Аскар долго стоял, не выпуская из рук письма и позабыв про свои грядки. В сердце у него боролись и радость, и страх, и гордость за своего ученика...

Селения, разбросанные в предгорьях, еще спали глубоким сном, а снежные пики Тянь-Шаня уже розовели под первыми лучами солнца.

По узкой, скользкой от наледи тропе поднимался человек. Снизу он походил на муравья, ползущего по стволу высокой ели. Вблизи его можно было принять за дровосека: крепкая веревка перепоясывала его несколько раз, а тропа вела туда, где все гуще и сумрачней обступали ее стволы могучих елей.

Он был среднего роста, коренаст, широкоплеч, одет в рубашку из грубой ткани, синий чекмень и такого же цвета штаны, закатанные до колен. Малахай из белого войлока, окантованный черной полоской, покрывал его голову, ноги были обуты в крестьянские чорухи^[69], на поясе висел короткий кинжал в кожаных ножнах.

Налегая на палку, человек поднимался все выше и выше, не останавливаясь, не оглядываясь назад, до самого перевала; только на вершине он распрямился, снял малахай, вытер со лба крупные капли пота и свободно, глубоко вздохнул. И с наслаждением потянулся всем телом, нывшим от усталости, и так широко при этом раскинул руки, будто хотел обнять весь мир, простершийся внизу, по обе стороны от горного хребта.

Теперь кое-где уже начали пробуждаться кишлаки, первые дымки завивались змейками и таяли в воздухе. Но легкий сизый туман пока не рассеялся, и утренняя земля казалась окутанной морозным паром...

Окинув взглядом путь, проделанный за ночь, Ахтам опустился на траву, достал обшитый бахромой кисет, набил табаком трубку и разжег ее кремнем. Это была маленькая медная трубочка, с которой он никогда не расставался, и он сидел, посасывая сладковатый дымок, сидел долго, не замечая в задумчивости, что табак давно уже выгорел, — сидел, пока солнце, поднявшись над горизонтом, не заглянуло ему прямо в лицо. Тогда он встал, подобрал с земли свою палку и, огибая скалистые склоны, начал спускаться в долину за перевалом.

Ущелье заросло ельником, березой и дикой яблоней, ветки деревьев переплелись над тропой, мешая идти, но Ахтам упрямо продирался сквозь лесную чащобу. Он то отгибал, то ломал ветви, то брел напрямик, защищая

ладонью глаза, и острые иглы в кровь расцарапывали ему кожу. Встревоженные хрустом и треском птицы испуганно выпархивали у него из-под ног — хлопотливые серые куропатки, яркоперые фазаны, красноклювые вороны. Рыжие белки в смятении прыгали над головой. Редкий путник нарушал тишину этих мест, и появление Ахтама привело все здешнее население в движение и беспокойство.

Где-то вдали послышалось конское ржание, но Ахтам, казалось, не заметил его и только чуть замедлил шаги. Лес впереди стал редеть, Ахтам уловил журчание воды и вскоре увидел быстрый горный ручей — он искрился и пенился, ударяясь о камни.

Ахтам жадно припал к воде губами.

По берегам потока росли яблони, спелые плоды оттягивали книзу их ветви и просто валялись на траве. Ахтам выловил несколько яблок, упавших в ручей, и кое-как с их помощью утолил голод.

Пройдя сотни две шагов, он увидел на дереве белый лоскуток — им была перевязана ветка старой яблони. Ахтам остановился, что-то припомнил и свернул вправо. Спустя еще сотню шагов ему встретился новый знак — три березы с метками на стволах. Ахтам свернул левее и убыстрил шаг — впереди появился большой черный камень, похожий формой на юрту.

Долгий путь и непрестанные думы утомили Ахтама. Едва он прилег на черном камне, едва расслабил спину и ноги, как им овладела дремота. Но дремал он чутко, казалось, не дремал, а блуждал где-то посредине между сном и явью, и то слышался ему сквозь дрему приглушенный расстоянием крик горного козла, то голосистая кукушка, то краем глаза следил он, как в бездонном небе плывут высокие медлительные облака, — они, может быть, и напомнили Ахтаму иное время, не такое уж давнее, и все-таки далекое, страшно далекое для него теперь...

Весна вспоминалась Ахтаму — весна, когда вся земля покрывается белым и розовым цветом, и кровь звенит и бьется в каждой жилке, и все живое трепещет от полноты сил, тревожной радости и жадных надежд... Из года в год приходит весна, но такой еще никогда не было послано людям с тех пор, как в небе светят звезды и солнце сменяется луной... По крайней мере, так казалось самому Ахтаму.

Той весной Ахтам однажды задержался в своей кузнице позднее обычного. Он не мог отказать дехканину, у которого сломалась соха, и когда, покончив с делом, возвращался домой по излюбленной тропке вдоль густого тальника, над селом уже взошел молодой месяц. Легкий ветерок, дующий с гор, шуршал в листве, аромат цветущих садов дурманил голову.

Ахтам шел и пел, — во всем селе не было человека, который не знал бы его молодого сильного голоса, его веселых песен:

В сердце вошла ты, моя любовь,
Сердце зажгла ты, моя любовь...

Но странно — то ли на этот раз у Ахтама не хватало голоса, то ли еще что-то помешало ему — песня вдруг оборвалась на полуслове. Ахтам не успел даже оглянуться, как рядом очутилась девушка.

— Что же вы замолчали? — огорченно спросила она.

Ахтам не ответил. Он только смотрел и смотрел на нее. Он мог бы поклясться, что видит и слышит ее рядом впервые, но в то же время... В то же время-он как будто именно ее видел и слышал всю жизнь — таким знакомым, близким и милым было все в этой девушке!.. И он смотрел на неё, и молчал, и верил, и не верил своим глазам.

В тот вечер они долго бродили по лунным улочкам. О чем они говорили?.. Этого Ахтам не запомнил. Да и говорили ли?.. Разве нужны слова там, где все их заменит один-единственный невзначай брошенный взгляд?..

— Когда мы встретимся снова? — спросил Ахтам, прощаясь.

— Когда вы захотите. — Так она ответила. Или не так?.. Нет, она так и сказала ему: «Когда вы захотите».

— Я хочу каждый день.

— Ну что же, значит, — каждый день...

И с тех пор не проходило вечера, чтобы они не встретились. Это для них отныне цвели все цветы, для них благоухали в садах яблони, а соловьи прерывали свое пение, чтобы прислушаться к нежному шепоту Маимхан, к ее журчащему смеху. Узелок любви, связавший обоих, затягивался все туже.

Кончилась весна, промелькнуло лето, в золотую парчу осени оделись деревья. Однажды Ахтам и Маимхан, взявшись за руки, молчаливо бродили по саду. Палая листва вкрадчиво шуршала у них под ногами. Маимхан в белом платье из хан атласа казалась Ахтаму еще прекрасней, чем всегда. И в саду, светлом от красок осени, стало еще светлей с ее приходом — так бывает, когда четырнадцатидневная луна засияет в самой середине неба.

Обычная сдержанность на этот раз изменила Ахтаму. Он обнял Маимхан и сухими, горячими губами прижался к ее лицу. Она не

противилась, обвила руками его шею и приникла щекой к его щеке.

Они расстались за полночь. Когда их уже разделяли несколько шагов, она вдруг догнала Ахтама, кинулась ему на грудь:

— Нет, нет, я не отпущу тебя!..

Потом случилось так, что их разлучили на целый месяц — Маимхан уезжала с матерью, чтобы, как велит обычай, посетить кладбище Томурхана. Этот месяц тянулся для Ахтама, как год... как сто... как тысяча лет! Он приходил в сад, который они считали своим, в одиночестве ступал по тропинкам, казалось, хранившим следы ее ног, но пусто было в саду, и облетевшие, мертвые деревья только наводили на сердце тоску.

И вот Маимхан вернулась, но встреча их была непохожа на прежние — не было радости в глазах Маимхан, не рассмеялась она, не улыбнулась даже — ни слова не говоря, повела за село, в сторону Ак остана^[70], и там, усадив Ахтама на изогнутый корень боярышника, присела рядом сама и сказала:

— Теперь поговорим...

Но, не совладав с собой, вскинула руки ему на плечи и беззвучно заплакала, глядя Ахтamu прямо в глаза. Он растерялся, он никогда не видел Маимхан плачущей и не знал, что делать.

— Маимхан, что случилось?..

— Я скорее умру, чем расстанусь с тобой!..

— О чем ты, Маимхан?.. Ты говоришь или бредишь?

Он недоумевал — о какой разлуке может идти речь? Кто их разлучит?..

Маимхан отстранилась, расцепила руки; слезы на ее ресницах мгновенно высохли, и в глазах зажглась ненависть. Она неподвижно уставилась на воду канала и долго не отрывала от нее взгляд. Наконец, не оборачиваясь к Ахтamu, она сказала:

— Ты согласился бы умереть вместе со мной?

Теперь Ахтам понимал ее еще меньше. Но сердце его сжалось от голоса, которым она произнесла эти слова.

Но Маимхан неожиданно рассмеялась.

— Я пошутила, только пошутила, разве ты не видишь?.. И потом — что такое смерть?.. Разве человек умирает, разве он может умереть?.. — Она вновь прильнула, к Ахтamu, он пытался — и не мог отыскать смысла в ее путаных речах, но от ее слов его бросало то в жар, то в холод. Он запомнил только одно: эта хитрая лиса Норуз, уверенный в силе своего кошелька, намерен женить на Маимхан своего сына.

Беда никогда не приходит одна. Вскоре Ахтама за то, что он избил

сборщика налогов, схватили и отправили на медные рудники... С тех пор прошло два года...

Когда Ахтам поднял отяжелевшую голову, был уже полдень и солнце палило во всю силу своих лучей. Стояла духота, черный камень нагрелся подобно кошме, и только от ручья, бежавшего рядом, веяло прохладой. Ахтам расстегнул ворот, распахнул грудь, и, глубоко вздохнув, снова потянулся к кисету, который вышили руки той, что была ему дороже всех на свете.

Не всякий смельчак отважился бы проникнуть в глухие чащобы Пиличинского ущелья. Это ущелье, к северу от Кульджи, начиналось там, где стоит крепость Актопе, тянулось до привольных пастбищ Тограсу. Со всех сторон стекались сюда те, кого гнали и преследовали За непокорность, кто устал терпеть вечную нужду и унижение и с отчаянья вступил на тропу грабежа и разбоя, — словом, здесь находили убежище люди обездоленные, обделенные жизнью, но все народ бесстрашный, гордый, любым благам в мире предпочитающий свободу. Ахтам тут был еще новичком, но его сразу признали своим — ведь смельчака видно с первого взгляда, а больше всего здесь ценили в человеке смелость — и не только признали — вскоре Ахтам уже считался вожаком.

Та часть Пиличинского ущелья, которую облюбовали себе «лесные смельчаки», носила имя «Гёрсай» — «Ущелье могил» и вполне соответствовала такому названию. Дикая, угрюмая, окруженная труднопроходимыми горами, долина эта изобиловала пещерами, похожими на старинные могильники, — они служили надежным укрытием на случай опасности. Не так-то просто было сюда проникнуть: вход в ущелье Гёрсай преграждала неприступная скала, и тех, кто решился бы на такую отчаянную попытку, встретил бы град пуль и камней. Обитатели пещер чувствовали себя в полной безопасности и говорили: «Мы сумеем встретить любого, кто, имея десять сердец, попробует вышибить нас из нашего гнезда...»

Ахтам остановился у пещеры, где горел костер и в котле, поставленном на треногу, варилось мясо джейрана. В отсветах пламени стены пещеры казались выложенными красным мрамором, всюду поблескивало оружие — короткие сабли, длинные пики, стальные кинжалы, несколько винтовок. Сидевший у костра джигит жарил шашлык, нацепив крупный кусок грудинки прямо на рогатину, и низким голосом распевал, видимо, не мешая товарищам, которые спали крепким сном, распластавшись на камнях.

Сухой ельник горел с треском, то и дело постреливая искрами. Равномерный храп спавших как бы спорил с клокотаньем кипящего котла. Стекая с грудинки, шипел и таял в огне жир, наполняя всю пещеру ароматным запахом.

— Балли, друзья! Значит, вы тут спите и ведать не ведаете, что творится вокруг!

— Хой!.. — Джигит оборвал песню и вскочил.

Ахтам усмехнулся:

— Если бы сейчас нагрянули солдаты, вариться бы вам самим в этом котле...

Джигит виновато опустил глаза и принялся подправлять костер длинной палкой.

— На посту, Умарджан, полагается смотреть в оба.

— Твоя правда, Ахтам... Да ведь сам знаешь — чуть останусь один — и все те же думы... О Лайли...

Ахтам подавил дальнейшие упреки, сочувственно помолчал и, присев у огня, начал резать поджарившийся шашлык.

— А теперь, — сказал он, покончив с шашлыком, — вынимай мясо, оно давно сварилось.

Они приготовили мясо и разбудили своих товарищей.

— Э, вроде воротился наш Ахтам, — проговорил бородатый джигит, протирая заспанные глаза. — Какие новости принес, ука?

— Умные речи не говорят на пустой желудок, дорогой. Вставай да поторапливайся, а то я сам за тебя разделаюсь с завтраком.

Джигиты наскоро ополоснулись водой, которая сочилась тут же в углу пещеры, и, утерев лица полами своих ватных халатов, расселись вокруг деревянного блюда с ломтями мяса.

— Добрых вестей я не принес, — заговорил Ахтам, слизывая с пальцев капли жира.

— Рассказывай, — загудели джигиты.

— Вчера схватили моего друга калмыка Зоку...

— Кто схватил? — нахмурился бородач.

— Все те же, друг, все те же... Сейчас хватают любого, только посмотри косо в их сторону...

— Верно, верно, — закивали вокруг.

— А где же твой конь, Ахтам?

— Конь?... Коня я отдал.

— Отдал коня? Кому?..

— Отдал старухе матери Зоки и его молодой жене, надо же было чем-

то помочь людям в горе. Коня отдал, а сам добирался пешком...

— Ты хорошо сделал! Пускай хоть какая-нибудь опора будет у них в трудный час! — воскликнул Умарджан.

— Послушай, Ахтам, — вспомнил вдруг бородатый джигит, — ведь ты говорил однажды, что у Зоки есть пара ружей? Они как раз нам бы игодились.

— Зоку выдал его старый друг. По-твоему, этот человек постыдился прихватить ружья с собой?..

«Не скрывается ли такой человек и среди нас?» — неизвестно почему подумалось вдруг Ахтаму. Он пристально оглядел своих товарищей, но их лица ничем не подтверждали вспыхнувших у него было подозрений.

— Мы не давали клятвы над Кораном, — сказал Ахтам сурово. — Мужчина верит мужчине. Но тот, кто нарушит свое слово и предаст друзей, рано или поздно поплатится, ему не миновать кары... Страшной кары!

— Тебе виднее, ука, что делать, — сказал бородатый. — Ты веришь нам, а мы верим тебе. Каждый из нас нашел здесь убежище, потому что выступил против закона, и хотим все мы одного и того же...

— Вот теперь ты правильно говоришь, ака, — поддержал Ахтам. — Мы поможем нашим братьям, которые томятся под гнетом беков и ханских чиновников, мы отомстим за них!..

— Шайтан!.. — выкрикнул в ярости Умарджан, потрясая руками. — Я сам по волоску выдержу Хализату всю бороду!..

— И чего добьешься?.. Нет, друг, пока не свалишь опору, на которой держатся такие, как Хализат, считай, все останется по-прежнему!

Слова Ахтама заставили призадуматься его товарищей. Может быть, они впервые стали понимать, на какое дело решил поднять их Ахтам... Долго сидели в этот день у костра, размышляя и беседуя о том, что ожидало их впереди.

Глава четвертая

Когда Хализату стало известно о случившемся в Дадамту, он тотчас отдал строжайший приказ — во что бы то ни стало поймать Ахтама. Его решимость подогревало уязвленное самолюбие. Что касается китайских властей, то со своей стороны они обдумывали ряд мер против «лесных смельчаков», понимая, как легко в сложившихся, обстоятельствах из малой искры вспыхнуть большому огню.

Но не дремали тем временем и друзья Ахтама. Правда, у них не было ни войск, ни пушек, ни высокопоставленных советников, за их спиной не стояла непоколебимая мощь огромной китайской империи — они надеялись только на самих себя и на силу справедливости своего дела.

Муллу Аскара весь день не покидали мысли о сообщении, которое получил он утром. Договориться с Ахтамом и действовать заодно — вот что казалось ему сейчас самым важным. А если Ахтаму не удалось повидаться с муллой Аскарком, то почему бы мулле Аскару не предпринять кое-что самому?..

Вернувшись к вечеру домой, Аскар изменил старой привычке и не направился, как всегда, прямо в хлев, чтобы подбросить охапку сена своему ослику, которого он нежно называл Иплатхан, и не приласкал у порога пса, не менее нежно именуемого Илпатджаном, — нет, сегодня ему было не до этого. Прямо от калитки он прошел к дому, с шумом распахнул дверь и на какое-то мгновение, соображая, задержался посреди комнаты. Еще по дороге в мечеть он решил отправиться к Ахтаму, оставалось взнуздать осла и переменить одежду. Пожалуй, самое подходящее — это кула^[71] и джянда^[72]... Да, да, удачней наряда не придумаешь!.. — Когда-то — ах, как давно это было! — в таком наряде он заявился к кази-калану^[73]. Он смиренно стоял перед кази-каланом и твердил: «Я шейх^[74], дивана^[75], я пришел из Мазандарана», — и его накормили досыта и в придачу бросили несколько медных монет... Правда, когда хитрость раскрылась, он получил пятьдесят ударов палкой... Но это не помешало ему теперь улыбнуться, вспоминая о своих приключениях, и даже рассмеяться, да так громко, что проголодавшийся Иплатхан, слышав смех своего хозяина, отозвался на него пронзительным ревом, вслед за ним закричали все ослы по соседству и дальше, и от этих, скорее громких, чем мелодичных, звуков содрогнулось все село. Что же касается Илпатджана, то и он не счел возможным промолчать и пролаял несколько раз, обратив морду к звездам.

Аскар зажег свечу, сделанную из говяжьего жира, сходил в прихожую, где в небольшой нише хранилась еда, принес лепешек, сухих сливок, десятка три яиц, по горсточке соли и чая, выложил все это на джозу^[76], а затем не торопясь начал укладывать в подсумки хурджуна. Справившись с этим делом, он переделся, подклеил бородку и стал неотличим от бродячего шейха. Не только ночью — днем никто не признал бы теперь муллу Аскара. «Только вот ноги слабоваты, — с грустью подумал он, — иначе я увидел бы Ахтама еще затемно...»

— Э, — проговорил он вслух, словно обращаясь к кому-то, кто мог его услышать, — человек, не совершивший своего в молодости, всегда торопится в старости, как будто можно наверстать упущенное...

Во дворе залаял Илпатджан, и мулла Аскар различил чьи-то легкие шаги.

Маимхан — а это была она, — прежде чем постучаться в дверь, на цыпочках подкралась к окну, заглянула внутрь — и тут же отпрянула. Что такое?.. Она не поверила своим глазам и снова потянулась к окошку. Нет никакого сомнения — там, в глубине комнаты, стоял все тот же шейх!..

— Кто здесь?

Только теперь, услышав голос, который она узнала бы даже во сне, Маимхан переступила порог...

— Это ты, доченька? Барикалла!..

— Я принесла вам это письмо, учитель, — сказала Маимхан, протягивая мулле Аскару листок. Она была возбуждена, взволнована — чем?.. Мулла Аскар приблизил письмо к свече, но из-за мелкого почерка не разобрал и вернул листок Маимхан:

— Читай, дочка, я послушаю.

«Дорогая Махигуль, — говорилось в письме, — вот уже два дня, как мой отец Норуз и Бахти-ака не покидают порога дворца. Идут слухи, что Норуз хочет набрать отряд и во главе с Бахти отправить его против Ахтама. Не могу найти себе места, пока не сообщу вам об этом. Будьте начеку. Молюсь за вас всех. Отблагодарите тетушку-дойристку, которая доставит вам это письмо.

Твоя Лайли».

— Умница Лайли, — сказал мулла Аскар, когда Маимхан замолкла. — Выходит, даже во дворце есть наши люди... Значит, дело не так плохо, а,

Маимхан?..

— Учитель, вы собираетесь в путь?

— Да, доченька. Теперь вдвойне надо спешить. Мы еще раньше должны были связаться с Ахтамом.

— Учитель, разрешите поехать мне. Я хорошо знаю те места, — сказала Маимхан, серьезно и просто глядя на муллу Аскара.

— Что?.. — не понял тот. — Ехать?.. Тебе?.. — Ему показалось, он ослышался.

— Я сделаю все, что нужно, — упрямо проговорила Маимхан.

«Или ты забыла, что ты девушка и не по плечу тебе мужские заботы?» — хотелось сказать мулле Аскару, но что-то удержало его от этих слов. Однако Маимхан догадалась, о чем подумал учитель.

— Да, я девушка, но сию на коне не хуже джигита! — воскликнула она пылко и обиженно.

— Я не спорю с тобой, — сказал мулла Аскар, зажав рукой бородку и прикусывая кончик ее зубами. — Я не спорю, Маимхан. У тебя смелое сердце... Но представь сама, что случится с тобой, если вдруг ты попадешься в лапы к этим бешеным псам?.. Да спасет тебя от этого аллах!.. — Он, казалось, и сам испугался своих слов.

— Я сойду за подростка, — настаивала Маимхан. — Там, где остановят взрослого, на подростка и не глянут.

Несколько мгновений длилась тишина. Мулла Аскар, похоже, взвешивал последние слова Маимхан, пытаясь определить грозящую ей опасность. Маимхан сняла со свечи нагар и поправила фитилек.

— Ведь мы столько раз ходили с отцом за смолой в Пиличинское ущелье, — стараясь придать своему голосу убедительность, заговорила она снова. — Я хорошо знаю лесные дороги, мы с Хаитбаки...

— Погоди, погоди, дочка, — мулла Аскар поднял правую руку, как бы защищаясь, — ведь вот ты сама говоришь — собирала смолу... Но одно дело — собирать смолу и ежевику, а другое...

— Знаю, знаю, я все знаю, учитель! — перебила его Маимхан. Обычно она слушала муллу Аскара без возражений, но сегодня сам дух противоречия вселился в нее и заставлял стоять на своем.

— Нет, — покачал головой мулла Аскар, — ты не думаешь, что говоришь.

— Я обо всем подумала, все решила!.. Отпустите меня, учитель!..

Неизвестно, долго ли Маимхан уговаривала бы муллу Аскара, удалось ли бы ей добиться его согласия, но мулла Аскар, глядя на Маимхан, вдруг начал что-то припоминать, вдруг рядом с ней, тоненькой и гибкой, как

виноградная лоза, представился ему Ахтам, сильный, крепкий, возмужалый в трудных испытаниях, посланных ему судьбой... Разве мудрой старости не дано понимать трепетных порывов юности?.. И мулла Аскар сдался.

— Большие дела не делаются без риска, — сказал он, со вздохом заключая свои размышления. — Будь что будет, я не стану вам мешать. Ступай, куда велит сердце, и да послужит тебе опорой твоя смелость. Аминь!..

Мулла Аскар торжественно, как в мечети, благословил свою ученицу.

Что же до Маимхан, то в этот момент она напоминала птицу, у которой развязали крылья, и вот — один-два взмаха — и перед нею бескрайний синий простор!..

Мулла Аскар достал из маленького сундучка узелок с вещами, которые хранил много лет. Здесь были: малахай из оленьей кожи, простроченный по краям затейливым орнаментом, брюки и бешмет из верблюжьей шерсти, пояс и прикрепленный к нему кинжал, ножны которого украшали яхонты. Все это мулла Аскар разложил перед Маимхан с видом человека, наконец-то вручившего истинному хозяину бесценные сокровища.

— Бери, доченька, это твое...

Давно не был так взволнован мулла Аскар, как в тот вечер, давно не говорил с таким вдохновением и красноречием, и Маимхан, подавляя нетерпение, старалась запомнить каждое слово своего учителя, провожавшего ее в опасный путь.

Уже за полночь она покинула дом муллы Аскара, но, несмотря на поздний час, направилась к протекавшему поблизости ручью. Свежий воздух, струящийся с гор, подействовал на нее успокаивающе, вода охладила разгоряченное лицо. Маимхан напилась прямо из ручья, и недавнее возбуждение сменилось ощущением уверенности и легкости во всем теле. Небо было черным, безлунным, но темнота никогда не страшила ее, а редкие звезды, мигавшие над головой, как светлячки, манили, звали к себе.

Маимхан свернула к своему дому, когда невдалеке послышались голоса, — о чем-то спорили два человека. «Странно, — подумала Маимхан, — кто бы это в такое время?..» Она пошла на звук голосов.

Посреди улицы стояли всадник и пеший.

— Какое тебе дело до меня! Езжай своей дорогой!..

— Ты что, собака, не узнал Бахти-ака?.. Говори, куда и откуда идешь! Видно, ходил к Ахтаму? Носил что-нибудь, а?..

Сердце у Маимхан так и подпрыгнуло. Ах ты, подлая скотина... Ах

ты, жирная свинья!.. Но почему Бахти один? Или он опередил своих солдат?..

— Твоего Ахтама завтра же отправят гулять на тот свет! А я... Я получу пять тысяч сяр серебром — будет на что отпраздновать свадьбу с Маим!.. — Посмеиваясь, Бахти тяжело спрыгнул с коня.

— Еще увидим, кто будет свадьбу играть, а по кому — поминки справлять, — сказал Хаитбаки (Маимхан давно уже поняла, чей это голос).

— Да знаешь ли ты, что, если бы не Маимхан, Сетак у меня давно бы уже сгнил в тюрьме!.. Погоди, только расправлюсь с Ахтамом — до всех вас доберусь!..

— Прикуси свой глупый язык и отправляйся подобиру-поздорову... — Хаитбаки было тронулся с места, но Бахти надвинулся на него, огромный, как раздутое ветром чучело.

— Тебе бы еще сосать молоко своей матери, — Бахти поддел Хаитбаки за подбородок и вздернул руку вверх.

Вслед за-тем Маимхан услышала глухой удар и увидела, как грузное тело Бахти осело и рухнуло на землю.

«Молодец, Хаитбаки!» — чуть не вырвалось у нее на всю улицу.

То ли Хаитбаки решил, что с этого паршивца достаточно, то ли ему не хотелось связываться с Бахти всерьез, — как бы там ни было, он набросил на плечи свой бешмет и скрылся. Маимхан тоже не стала дожидаться, пока Бахти придет в себя и откроет глаза...

— Махи, Маим...

Тетушка Азнихан, в одной руке держа свечу, другой мягко погладила спящую дочь по лбу — Маимхан не шевельнулась. Все так же ровно дышала она, смежив густые ресницы и чуть приоткрыв маленький рот. Видно, беспокойную ночь провела тетушка Азнихан, лицо ее поблекло от усталости, веки набрякли над покрасневшими глазами, но, как всегда, глядя на Маимхан, она не могла оторваться, словно любовалась ею в первый раз. «Не надо бы ее будить, — думала она, — набегалась за день, ведь куда только не носит эту непоседу...» Тетушка Азнихан поправила одеяло, сползшее краем на пол, прикрыла открывшиеся во сне руки и нежные груди, похожие на половинки спелого яблока. Рядышком, уткнувшись в плечо старшей сестры пухленьким, как булочка, личиком, безмятежно посапывала Минихан. Как было не улыбнуться, видя их обеих! Как не поцеловать — осторожно-осторожно, чтобы не потревожить! — каждую в лоб!.. «Дай вам аллах счастья, вместе растите, а придет время — вместе и старьтесь...» — прошептала тетушка Азнихан. Ей вдруг

показалось, что за один только вчерашний день неуловимо изменились черты Маимхан, — изменились и повзрослели...

— Махи, Махи!..

Наконец Маимхан открыла глаза.

— Ты просила разбудить тебя, доченька, — виновато сказала тетушка Азнихан.

— А разве уже пора?.. — Маимхан с трудом оторвала от подушки голову.

— Я уже приготовила золук^[77], отец тоже, кажется, проснулся, — слышишь, покашливает...

Когда Маимхан умылась и наскоро расчесала волосы, родные уже поджидали ее за столом. На большом, блюде, источая вкуснейший запах, лежал мясной хлеб, только что из казана.

— Садись, дочка, садись, — торопил ее дядюшка Сетак, с вожделением поглядывая на блюдо. Маимхан заняла свое место между родителями.

Дядюшка Сетак с аппетитом съел немалую порцию предписанного традицией кушанья и, смакуя каждый глоток, выпил одну за другой три чашки чаю. Азнихан едва прикоснулась к еде. Что же до Маимхан, то она через силу проглотила несколько кусочков, да и то лишь из боязни обидеть мать. В это утро ей было не до еды, не до шуток, которыми она обычно веселила родителей за столом, — странное, отрешенное лицо ее казалось не то задумчивым, не то просто невыспавшимся.

— Аллах простит тебе, если ты вздремнешь еще немного, доченька, — жалостливо пробормотала тетушка Азнихан.

— Что ты такое болтаешь, мать, — ведь это же ураза! — строго нахмурился дядюшка Сетак. — Тут уж болен ты или не болен, а соблюдай свой долг перед богом...

Маимхан не вмешивалась в воркотню родителей. Да и к чему — разве сегодня, в первый день уразы, не поднялась она до света, чтобы вместе с ними исполнить обряд, который для них так важен?.. Все мысли ее теперь сосредоточились на том, что предстояло ей в этот день...

Ни у кого из обитателей Дадамту не было часов, здесь испокон определяли время по звездам и петушину пению. Но, видно, беспокойная тетушка Азнихан на сей раз переусердствовала — уже покончили с едой, а еще не прозвучал тягучий голос муэдзина, призывающий правоверных к бандат — утренней молитве. Дядюшка Сетак, встревоженный тем, что пища раньше положенного переварится у него в желудке, вышел во двор, прислушался — но ни единый звук пока не

нарушал ночной тишины. С великим смущением в душе, донельзя расстроенный, вернулся он в дом. Досада его длилась впрочем, недолго.

«Рано подняться — это ведь тоже значит совершить, богоугодное дело», — утешил дядюшка Сетак сам себя. Но не успел он так подумать, как голова его сама собой склонилась к подушке, глаза сомкнулись, и раздался густой храп. Бедняга Сетак! Разве успеешь отдохнуть за короткую летнюю ночь от забот и трудов, которые одолевают тебя с восхода и до заката?..

Между тем тетушка Азнихан всполоснула посуду, убрала со стола остатки еды и принялась подметать вокруг очага. При этом она что-то бормотала себе под нос и не расслышала, как позвала ее Маимхан. Тогда Маимхан, заглянув в окно снаружи, окликнула ее тихонько второй раз:

— Да это же я... Выйди ко мне поскорее...

— Ох-хо-хой, как хорошо играют, — проговорила тетушка Азнихан, появляясь во дворе и уловив звуки нагира^[78], которые доносились со стороны города. Не ради ли этого позвала ее Маимхан? Она посмотрела туда, где раздавалась четкая барабанная дробь, приглушенная расстоянием, потом обернулась — и вскрикнула: на нижнем выступе дома сидел незнакомый юноша.

— Неужели от мясного хлеба можно ослепнуть? — расхохоталась Маимхан. Растерянность матери привела ее в полнейший восторг.

— Так это и вправду ты, дочка?..

— А кто же? Или это шайтан в моем образе?..

— Моим глазам и вправду померещился мужчина!

Маимхан обняла мать:

— Глупенькая ты моя...

— И что такое ты придумала?.. Откуда взялась эта одежда?

— Мулла Аскар подарил.

— Мулла Аскар?.. Что ты мелешь?..

— Правда, правда!.. И я собираюсь в этой одежде... в город! Я хочу съездить в город, мамочка!..

— В го-ород?..

— В город!

— Выбрось такие шутки из головы! Как это — в город?.. Ведь ты девушка, мало ли что станут говорить люди!..

— И пускай говорят!.. Раз нет у вас сына, значит, я вам сразу — и за сына и за дочь, разве не так?..

— Ты совсем задурила мою старую голову... Да, вот еще, забыла я, беспамятная, тебе сказать: отец хочет, чтобы ты пореже ходила к своему

мулле... Он, конечно, хороший человек, а все же...

— Ах, мама, что говорить пустое!.. И потом — мне пора...

Тетушка Азнихан вздрогнула, словно ее ущипнули:

— Куда?..

— Как куда? Я же сказала — в город!

— В такую темень?.. О аллах всемогущий... И это когда всюду рыщут солдаты... Нет, нет, никуда я тебя не пущу!

— Не бойся, мама... Я ведь не одна, — нашлась Маимхан. — Мы поедем вместе с Хаитбаки.

Последние слова дочери немного успокоили тетушку Азнихан, но она продолжала волноваться.

— Если уж вы решили ехать, подождите хотя бы, пока рассветет...

— Нет, нет, мама, мы должны отправляться сейчас! Так надо, милая моя, дорогая, золотая...

Маимхан еще что-то говорила матери, ласково упрасивала, настаивала, умоляла, пока не добилась своего — тетушка Азнихан не могла ни в чем долго сопротивляться дочери.

— Но если об этом узнает отец...

— Мапочка, он ничего не узнает, я скоро вернусь!..

...Сразив такого гангуна^[79], как Бахти, одним ударом, Хаитбаки будто вырос на целую голову. Он шел по улице, геройски сдвинув малахай набекрень, как полагалось признанному ночи^[80]. Ему хотелось запеть во все горло, но от воинственного возбуждения у него пересохло во рту, а знакомые слова повыскакивали из памяти. Но кровь молодецки играла в его жилах, сердце прыгало от радости, и что там обжора Бахти — даже знаменитый черный бык самого. Норуза был бы ему сейчас нипочем!

В таком состоянии Хаитбаки казалось просто невозможным заявиться домой и улечься спать. Трижды подходил он к своему порогу и трижды уходил прочь. Все чувства в нем бушевали, искали выхода, наконец он решил, что нужно немедленно увидеть Маимхан. Зачем?.. Этот вопрос его мало беспокоил.

Как мотылек вокруг свечи, кружил он остаток ночи возле ее дома, но стоило ему приблизиться к воротам, как все тело Хаитбаки пронизывала дрожь, а в горле спекался горячий ком, и он в растерянности отступал назад. Что же случилось? Ведь прежде он сотню... Нет, тысячу раз прежде бывал он в этом дворе, играл с Маимхан в прятки, получал от дядюшки Сетака в подарок асыки... Тогда тетушка Азнихан еще держала коров, и они, малыши, лакомились кисмаком^[81]... Сколько воды утекло с тех пор!

Теперь он заглядывает сюда так редко... Да, прошлого не вернешь!.. Хаитбаки не заметил, как снова очутился у ворот Маимхан. И опять крадучись прошел мимо.

В этот момент послышались звуки нагира. «Вот и утро, поневоле надо уходить», — подумал Хаитбаки, однако сами ноги не дали ему отойти далеко: отступив к густым зарослям тальника, он присел на пень от карагача, не сводя глаз с дома напротив.

Хаитбаки порядком утомился так сидеть, когда вдруг из ворот вышел какой-то человек... Хаитбаки не поверил себе и потер глаза: ему привиделся молодой джигит, совсем юноша... Так и есть: вот он пересек улицу быстрыми шагами и, не оглядываясь, поспешил дальше... Уже не вор ли это? Вор... А если это вовсе не вор, а... Ему сделалось не по себе при одной мысли, которую он даже побоялся довести до конца. Не медля больше ни мгновения, Хаитбаки вскочил и кинулся в ту сторону, где скрылся незнакомец.

Предвещая зарю, все громче стучал нагир, наливаясь радостью, ликованием и торжеством. Быстрые удары думбака словно подзадоривали средний и главный барабаны, дробь учащалась, переходила в бешеный, неистовый ритм и, пронизывая предутреннюю тишину, будила окрестные селения.

В полусотне шагов от дома Хаитбаки Маимхан услышала позади топот и — уже совсем рядом — запаленное от бега дыхание. Она остановилась, обернулась и узнала Хаитбаки.

— Не Бахти ли гонится за тобой по пятам?.. — Поняв, кто перед ним, Хаитбаки не сразу сообразил, о чем идет речь.

— Так это ты?! — вырвалось у него изумление.

— Я, как видишь.

— А...

— Что — «а»?..

— А эта одежда? — Хаитбаки даже рукой провел по бешмету из верблюжьей шерсти, чтобы убедиться — не лгут ли глаза.

— Одежда как одежда.

— Ну откуда ты раздобыла ее?

— Стащила с обжоры Бахти!

Они расхохотались.

— Дома ли твой чипар бяштя?^[82]

— А где же ему быть...

— Слушай, Хаитбаки, дай мне своего коня.

— Куда ты собралась?

- Не спрашивай. Видишь вот этот хурджун?
- Ох-хой... Ты что, направляешься в Мекку?
- Все узнаешь потом. Хочешь ехать со мной?
- С тобой? Куда угодно!

Преданность Хаитбаки тронула Маимхан, но брать его с собой она не думала.

— Нет, Хаитбаки, я пошутила... Мне нужен только твой конь.

— Как хочешь, Маимхан. Только скажи, куда ты едешь.

— Скажу, скажу... когда возвращусь, хорошо? А ты только смотри в оба и не попадайся на глаза Бахти!..

Маимхан схватила Хаитбаки за кончик носа и больно ущипнула, но добряк Хаитбаки даже не почувствовал этого, только сердце еще сильнее заколотилось у него в груди.

Спустя немного времени он оседлал своего коня и тайком, через сад, вывел его на поле, заросшее клевером. Маимхан, с нетерпением ожидавшая здесь Хаитбаки, тут лее вскочила на коня, стегнула его плетью и скрылась в предрассветных сумерках.

А нагир заливался все громче, все раскатистей, будто невидимые музыканты заметили девушку в мужском одеянии и провожали ее в опасный, но славный путь...

Самым крутым поворотом в ее жизни казался этот день Маимхан, и странным чувством была охвачена ее душа. Все мечты Маимхан, все ее сокровеннейшие надежды, доньине мерцавшие, подобно звездам в недоступных далях, внезапно вспыхнули, загорелись ярким, зовущим светом — и вот она летела теперь им навстречу, и никакая сила не могла ее повернуть назад. Легкая, свободная, словно птица, набравшая высоту... Где-то там, впереди, ее ждал Ахтам, только рядом с ним опустится она, коснется земли...

Быстроногий конь в лад ее мыслям, нес Маимхан вперед, и далекое становилось все ближе, ближе...



— Стой! — Одновременно с грозным криком из-за большого камня показался человек с ружьем в руках. — Ты кто такой?

— Разве не видишь? Путник, — Маимхан придержала коня.

— Путник?.. Что тебе надо в этих местах?

Маимхан, не отвечая, разглядывала человека, преградившего ей дорогу. Лицо его заросло густой щетинистой бородой, а поношенная шубенка и рубашка из когда-то белой ткани теперь не отличались цветом

от серого камня, возле которого он стоял. Судя по всему, этот человек порядком одичал и давно отвык от домашней жизни.

— Что присматриваешься? А ну, слезай с коня!.

— Лесной смельчак?..

— Все может быть... Слезай, тебе говорят! — Бородатый схватился за уздечку.

— Веди меня к своему атаману.

— Отведу, если даже не попросишь!..

Маимхан спрыгнула с коня, джигит пропустил ее вперед и повел к пещере. Как раз в это время лесные смельчаки перед входом в пещеру упражнялись в сабельных приемах, но, увидев незнакомого пришельца, прекратили занятия.

С возгласом «Ахтам!..» Маимхан бросилась к одному из джигитов.

Ахтам как стоял, так и замер с поднятой в руке саблей. Маимхан чуть не кинулась к нему на шею, но в последний миг сдержалась — ведь они были не одни... Об этом же, наверное, пожалел Ахтам.

— Так это ты?.. — только и сумел выговорить он.

— А кто же еще?..

Джигиты, не понимая, в чем дело, обступили их плотным кольцом. Значит, это девушка?.. Каждому хотелось лучше разглядеть ее, увидеть в лицо.

— Здоровы ли дядюшка Сетак и тетушка Азнихан? Как они поживают?

— Все живы-здоровы, все велели кланяться...

— Спасибо...

— Я с важными вестями. Можно ли говорить при всех?

— Можно, только сначала подкрепись чем-нибудь с дороги.

Все расселись, Умарджан подал чашку с напитком из отварной пшеницы.

— Хоть мы и живем в пещере, а еда и питье у нас — редко где такие сыщешь, — сказал бородач, который привел Маимхан.

Она с удовольствием опорожнила чашку и почувствовала себя бодрой и свежей.

— Так вы уже догадались, кто пришел к нам в горы? — обратился к своим товарищам Ахтам. — Это Маимхан, я рассказывал о ней немного...

— Ма-им-хан?! — чуть не хором повторили джигиты.

— Слово мое чужое, — сказал Умарджан. — Прости, сестренка, ведь односельчане, а я не признал тебя... — И заговорил нараспев:

Бек наш милостив, да только
Грабят нас его нукеры...
Хан-ходжа наш свят, да только
Кровь сосут его дорги...

— Вот видишь, Маимхан, твои кошаки знают и в наших горах... Но послушаем, какие новости ты принесла нам, — сказал Ахтам.

Маимхан коротко изложила все, что ей было известно об отряде солдат, который вот-вот должен появиться.

— Пускай пожалуют, — хмуро усмехнулся Ахтам. — Правда, барана для таких гостей мы резать не станем, но для каждого найдется по камню размером с хорошего барана.

— Правильно говоришь, Ахтам! — подхватил густобородый. — Нам бы заманить их в ущелье, а тут мы знаем, чем их попотчевать!..

— У меня давно ладони чешутся от безделья, — сказал Умарджан, потирая руки.

— Учитель просил, чтобы на этот раз вы не вступали в схватку с солдатами, — спокойно возразила Маимхан.

— Что?.. Мы должны упустить добычу, когда она сама идет к нам?.. — удивился Ахтам.

— Учитель думает так: сначала все и всюду подготовить, а потом... Потом подняться всем народом. Нас поддержат в городе, там много недовольных, они верят учителю и пойдут за ним.

— Выходит, мы должны как зайцы бежать от солдат? — негодуя воскликнул Умарджан.

— Совсем нет, — отвечала Маимхан. — Просто и храбрость выбирает себе дорогу. Учитель говорит, до поры до времени надо соблюдать осторожность. Всему свой час — он просил обязательно напомнить вам об этом.

Лесные смельчаки призадумались. Легче всего, конечно, было заманить врага в узкое ущелье, как в западню, и здесь уничтожить, засыпать камнями. Но теперь, после слов Маимхан, Ахтам усомнился в том, что самое легкое будет и самым верным...

— Смелости и боевого духа у нас достаточно, — сказал Ахтам, — но, братья, каким оружием пока мы обладаем?.. У нас два ружья с десятком зарядов и пять сабель... Учитель прав, он не дает пустых советов.

— Правители хотят покончить с вами, пока из искры не вспыхнул огонь, — сказала Маимхан.

— Хорошо, согласимся мы с муллой Аскарком, а дальше? — спросил Умарджан.

— Пока наше дело — уничтожить за собой все следы. Пускай думают, что «лесные смельчаки» разбрелись кто куда. А мы тем временем ударим там, где нас не ждут, — сказал Ахтам.

— Вот это ты толково рассудил! — одобрил густобородый. Последние слова Ахтама всем пришлись по душе.

— Тогда — готовьтесь!

Джигиты, не теряя времени, принялись за дело.

— Я провожу тебя до села, — предложил Ахтам, когда они остались вдвоем.

— Если я сама добралась к вам, значит, сумею сама и вернуться. А тебе сейчас незачем разлучаться с джигитами.

— Ну пройдемся вместе хотя бы до входа в пещеру?..

— Это можно.

— А когда опять мы встретимся?

— В будущую пятницу, вечером, на усадьбе Норуза...

— На усадьбе Норуза?..

— Так сказал учитель. Там никого нет, кроме старого Илияса, сторожа.

— Хорошо, я приду. — Ахтаму хотелось о многом еще расспросить Маимхан, полюбоваться ею подольше, просто побыть рядом, но его уже дожидались товарищи.

— Ну, что ж, Махи, нам пора трогаться, джигиты посматривают на нас...

У лесных смельчаков было всего пять коней, им пришлось разместиться по двое на каждом скакуне...

Едва Ахтам с друзьями покинули свое убежище, как в ущелье Гёрсай с отрядом в тридцать человек появился Бахти. Половина солдат спешила и, целясь из ружей, направилась к пещере. Вокруг не было слышно ни звука, это особенно настораживало. Бахти — а он двигался впереди, перебегая от камня к камню, — подошел к пещере, прислушался... Тишина. Он кивнул крившимся по пятам солдатам, те мгновенно окружили его.

— Никого нет?..

— Похоже, никого...

— Ты сам не знаешь, куда нас завел! — прикрикнул на Бахти начальник отряда.

— Здесь и есть самое их логово...

— Смотрите, смотрите! — закричал один из нукеров Хализата. Там,

куда он указывал рукой, на головокружительной высоте, у самого края скалы виднелось несколько джигитов. Снизу они напоминали беркутов, угнездившихся на каменном выступе.

— Стреляйте! — приказал начальник отряда солдатам. Прогремело два десятка выстрелов — и эхо, которым ответило ущелье, слилось с цоканьем пуль о камни.

— Отправимся в погоню? — спросил Бахти.

— Пока мы поднимемся на скалу, они всех нас перебьют камнями, — зло ответил начальник отряда.

— Но как же нам возвращаться с пустыми руками?..

— Кто говорит — с пустыми?.. Разве мы не прогнали их с насиженного места?.. На первый раз хватит и этого!..

Солдаты, которые явились сюда без всякого желания, — впрочем, разве когда-нибудь кто спрашивает о желаниях солдат? — одобрили слова своего начальника.

В это время один из джигитов, наблюдавших за солдатами сверху, не удержался от сожаления:

— Эх, сейчас бы сдвинуть несколько камней — места мокрого от них бы не осталось.

— Еще дойдет черед и до-камней, а пока...

— Пока пускай Бахти порадует, что заставил нас взобраться на эту скалу, — сказал Умарджан.

— Ты прав, Умарджан. А теперь — вперед! — Маимхан первая натянула поводья и тронула коня.

Глава пятая

Много раз за этот день распахивались и затворялись разрисованные драконами дворцовые ворота. Судя по тому, как суетились слуги, у гуна Хализата собралось важное совещание, быть может, даже по случаю ярлыка от самого хана. Шестеро стражников застыли по обе стороны ворот, словно изваяния, держа в руках длинные пики, украшенные бахромой в виде конской гривы.

Три всадника осадили перед дворцом загнанных иноходцев. У коней раздувались ноздри, грудь вздымалась и опадала, словно кузнечный мех, — верно, долгий путь остался позади. Всадники спешили. Одним из них был Абдулла-дорга. От быстрой езды, от жара, которым так и веяло от запаленной лошади, его лицо покраснело и походило на хорошо пропеченную тыкву. Абдулла-дорга снял с головы соболью шапку, вытер взмокший лоб, выпирающий вперед, подобно — сжатому кулаку. Грузный, тяжелый, покачиваясь, как беременная женщина, подошел он к дворцовым воротам и преклонил колени — в знак почтения и покорности. Его спутники, ведя коней за повод, двинулись к задним воротам — тем, что вели на так называемый скотный двор.

Соблюдая правила, миновав наружные ворота, Абдулла-дорга низко поклонился направо и налево. Затем, приблизившись к внутренним воротам, снова отвесил поклон — в этот раз дуган-беку, начальнику дворцовой охраны. Наконец, сняв обувь и оставшись в одних ичигах, он направился к приемной, но и здесь, перед раздвижной красного цвета дверью стража опять преградила ему дорогу. «Раб ходжи падишаха Абдулла бинни Заир», — назвал он себя. Только тогда скрещенные копыта раздвинулись, двери отворились.

Едва переступив порог, Абдулла-дорга бросился на колени.

— Абдулла-дорга явился во дворец вашей милости! — объявил шагубек — начальник стражи. Хализат, сидевший неподвижно, словно мумия, в глубине комнаты, чуть заметно кивнул.

По заведенному обычаю, опоздавший был обязан проползти на коленях до того места, где восседал Халифат. Под тяжестью тела Абдуллы хрустнули его тонкие ноги, когда он, подобно верблюду, согнулся, опускаясь на колени. Дорга полз, волоча по полу свой огромный живот, багровея от натуги, пыхтя, как бык, что пытается вытащить застрявшую в грязи телегу. Беки, сидевшие по обе стороны от Хализата, отворачивались,

пряча насмешливые улыбки, — один Хализат жадно, не отрываясь смотрел на Абдуллу, словно наслаждаясь его унижением.

Абдулла-дорга покрылся черным потом, уже хрипел, ему не хватало дыхания, а впереди оставалось еще шагов семь-восемь. Он хотел было изменить позу и приподняться на четвереньки, но, заметив, как смотрит на него Хализат, не решился. «Да будут прокляты и хозяева и все их обычаи», — твердил он про себя; он проклял и гуна и свою должность, которая привела его сюда, и кое-как продвинулся еще шага на два. Еще немного, немного... Но Абдулла совершенно обессилел, глаза его закатились, он вдруг обмяк, осел, как мех, из которого вышел весь воздух, и растянулся на полу. Раздался хохот, да такой, будто в соседней комнате выстрелили из ракетницы. Сигнал подал сам Хализат — он первый закатился смехом. Абдулле-дорга простили оставшиеся шаги...

— Абдулла-дорга, ваше место — шестое слева от бека! — возгласил начальник стражи. Абдулла кое-как поднялся, трижды поклонился Хализату и прошел на указанное место.

Вся знать съехалась сегодня к гуноу Хализату. Все ждали, о чем он поведет речь.

Хаким легким движением брови сделал знак вытянувшемуся у дверей ишику агабеку.

— Приглашенные собрались, — торжественным голосом объявил пшик агабек.

Беки с шумом поднялись со своих мест.

— Садитесь! — разрешил Хализат.

— Благодарим, наш многомилостивый ходжа...

— Читайте ярлык великого кагана! — приказал Хализат. При этих словах все опять вскочили и повторили за верховным кази: «Пусть великий каган живет тысячи лет!» На Хализате было гунское одеяние, шапка украшена знаком гуна. Он повелительно поднял правую руку.

— Слушаюсь, ваша милость. — Ишик агабек склонился чуть не до земли и вынул послание из восьмигранной тыквянки.

Ярлык был составлен по-китайски, но агабек, хорошо зная язык своих верховных повелителей, без запинки переводил на уйгурский.

— «Желаем славы и процветания гуноу Хализату, чьи дела известны всему свету, желаем благоденствия его бекам и семье...»

Тут верховный кази воздел руки и выкрикнул: «Аминь!» За ним все остальные хором прокричали: «Илахи!.. Аминь!» После этого опять продолжалось чтение.

— «Вы, господин гун, всегда пребывали надежной опорой нашего

трона, храпя и ограждая его своей верностью от любых опасностей и посягательств. Заслуги ваши золотыми буквами записаны в нашей памяти...»

— Милость кагана не ведает пределов... — раздалось вокруг. Даже Хализат не выдержал и присоединился к общему хору.

— «Ваша преданность служит щитом западных границ империи, залогом внутреннего спокойствия и порядка. Мы высоко ценим бескорыстную помощь, которую вы оказываете нашим жанжунам и дутунам, которые в свою очередь покровительствуют уму и смелости господина гуна...»

— Поистине так! — Хализат возложил на грудь правую руку. Окружающие трижды повторили его слова.

Далее в ярлыке кагана говорилось о практических вопросах, суть которых сводилась к следующему: Необходимо увеличить подати и различные повинности, учитывая при этом, что подобные меры привели к смутам в провинциях внутреннего Китая, несмотря на доблесть императорских солдат. Если же в Синьцзяне — новой провинции Китая — возникнут волнения и беспорядки, то для нормализации положения, наряду с другими ван-гунами, гуну Хализату предоставляются все необходимые полномочия и права. На него возлагают большие надежды и ждут исполнения этого приказа...

Дочитав ярлык, ишик агабек почтительно вручил его Хализату. Тот осторожно принял свиток, поднялся, коснулся его губами. Остальные последовали его примеру.

В приемной возникла настороженная тишина. Всем уже стало понятно, что скрывалось за первыми медоточивыми строками ханского послания. Но никто не осмеливался выразить свои чувства вслух. Конечно, меньше всего эти люди думали о новых бедах, угрожавших народу, «отцами» которого они себя считали. Нет, единственное, за что они дрожали, были их собственные головы.

За последние годы в Или выпадало мало дождей, на богарных землях сократились урожаи. Уже две зимы подряд стоял гололед, падал скот, гибли целые стада. Все имеет свои пределы, народ, истощенный прежними налогами, мог не вынести новых. Когда нож достигает кости — жди вспышки ярости и гнева. И так уже кое-где жестоко расправлялись со сборщиками податей и удалцы, вроде Ахтама, сколачивали мятежные отряды. Но это было еще не все. С каждым годом в Синьцзян проникало все больше русских путешественников и купцов, они привозили сюда не только товары — новые мысли, новые обычаи. Не это ли было причиной,

что все больше становилось таких вольнодумцев, как мулла Аскар?.. Ведь умники вроде него сбивают правоверных с пути, заставляя вникать в разные книги, заражающие сомнениями... Как будто для мусульманина мало одного Корана! Стоит ли удивляться, что многие отказываются платить подати и бегут в земли русских?..

Все это не могло не беспокоить правителей и местных беков, а также «ревнителей истинной веры» — кази и мулл. Но в такое тревожное время увеличить число солдат и возложить их содержание на само население было все равно, что подбросить огонь под стог сухого сена. Беки колебались: потянешь в одну сторону — бык сломает себе шею, потянешь в другую — телега не уцелеет... Пожалуй, одного Хализата не мучили сомнения. Польщенный похвалами кагана, он мечтал только не упустить случая удостоиться титула вана. Именно теперь можно или добиться крупного повышения, или потерять все, что имеешь, включая голову. Однако Хализат, уверенный в себе, рассчитывал на первое.

— Ну, что же вы молчите? Проглотили языки? — сердито проговорил он, очнувшись от грез, в которых уже достиг желанного.

Беки начали переглядываться. Но никто так и не обмолвился ни словом.

— К кому я обращаюсь? С кем разговариваю?.. — Обычно Хализат не слишком стеснял себя в выражениях, беседуя с подчиненными, но сегодня много зависело от доброй воли сидящих перед ним, и Хализат сдерживал закипающий гнев.

— Волю бога и хана следует исполнить. — Главный кази погладил короткую бородку.

— Пусть исполнится желание господина ходжи. — Эти слова нелегко дались бажгир-беку^[83], произнося их, он вздохнул тяжело, как ишак, на которого навалили непосильную ношу.

И снова в приемной — тугая, напряженная тишина.

— Или все здесь и вправду лишились языков, или... кто-нибудь мне объяснит, как понимать это молчание? — через силу сдерживаясь, улыбнулся Хализат.

— Думаю, нам надо все хорошенько взвесить, мой падишах, — выразил общее мнение угольный бек. По своим обязанностям он близко и часто сталкивался с народом и лучше других смыслил в практических делах.

— Объявить о новой подати просто, гораздо труднее добиться, чтобы ее уплатили, — напрямик высказался Исрапил-бек, известный прямоотой и независимостью характера. Слова его ножом полоснули Хализата по

сердцу. Не будь этот безбородый его тестем и братом ишик агабека, он поплатился бы за свою дерзость!.. — Хализат ограничился тем, что наградил Исрапила злым взглядом.

Откровенность Исрапил-бека все собрание завела в тупик. Никто не рисковал поддержать его во всеуслышанье, но и отпора ему тоже никто не дал, все только перешептывались, переговаривались вполголоса друг с другом... В таких, случаях Хализат обрушивал на непокорных громы и молнии, не думая о последствиях, и, наверное, тем кончилось бы и теперь, однако ему помешал рассудительный ишик агабек, угадавший, что творится в душе гуна.

— Беки, — сказал он тихо, но настойчиво, — есть два пути, на ваш выбор. Вы можете ответить «нет» и тем самым отвергнуть повеление хана. Это значит навсегда распрощаться с должностью бека, связать себе руки и отправиться к жанжуну добровольно просить место в тюрьме. Другой выход — ответить «да» и постараться исполнить ханскую волю...

Беки обреченно вздыхали, ничего не отвечая.

— Само собой понятно, — продолжал агабек, — на сей раз не все пройдет гладко... Но если возникнет необходимость, войска хана готовы нам помочь...

2

В один из ближайших дней на черном заборе, рядом с воротами караван-сарая, появился листок небольшого размера. Половина его была исписана китайскими иероглифами, среди них выделялись четыре, крупно выведенные в самом начале черной тушью: «Гун си гун бян» — «Государственное дело исполняется по-государственному». Это был ханский ярлык.

Не часто доводилось горожанам видеть такие ярлыки, а если уж доводилось — то каждый заранее чувствовал — новая беда пришла из Пекина. С утра множество людей толпилось перед караван-сараяем, тревожно переговариваясь, теряясь в догадках: грамотные были здесь редкостью.

Появился повар Салим:

— Эй, народ! Кто разумеет в чтении — выходи вперед! — Толпа загудела, качнулась в его сторону, но никто не откликнулся на призыв.

Толпа волновалась, спорила, негодовала, вздыхала тяжело и безнадежно:

— Хороших вестей ждать нечего, а плохие лучше не слышать...

— А если тут про нашу гибель написано?.. Хоть узнать перед смертью, за что умираем...

— Воля хана — воля аллаха... Чем навлекли мы на себя гнев божий?..

Кто-то громко выкрикнул:

— Может, это наш добрый отец жанжун скончался и теперь мы должны нести его тело на руках до самого Пекина?..

— Эй, Семят, прикуси язык! Смотри, не отправили бы тебя в тюрьму за такие шутки! — отозвался повар Салим. Он взобрался на тонур самсипаза, отсюда ему было хорошо слышно и видно все, что творится вокруг.

— А что дурного сказал мой язык?.. Случись такое несчастье, мы все бы лили горькие слезы... Лили слезы и приговаривали: «Зачем?.. Зачем ты умер, о жанжун, один?.. Зачем не захватил с собой еще тысячу наших дорогих и почтенных амбалов^[84]?..»

Будто свежий ветерок дунул на приунывшую толпу — вся площадь хохотала, из уст в уста передавая язвительные слова ювелира Семята.

В гуще толпы возник разодетый в шитье и серебро джигит, видно, из дворцовой стражи гуна Хализата.

— Эй, вы... Над чем глотки дерете?.. Или жизнь надоела?.. — попытался он унять смех, то замирающий, то с новой силой взлетающий над толпой.

Но в ответ раздалось:

— Убирайся, откуда пришел!..

— Блюдолиз!..

— Кто там рядом — дайте по заднице этому бездельнику!..

Почувяв, что ему несдобровать, обладатель соболиной шапки поспешил исчезнуть.

— Мулла Аскар! Мулла Аскар! — пророкотал густой, звучный голос повара Салима, заглушая остальные голоса. И все лица, обрадованные, потеплевшие, мгновенно повернулись в одну сторону.

— Салам, друзья, салам!..

— Салам! Салам!.. — на разные лады повторяло множество голосов. Не было, наверное, в толпе человека, который не знал муллы Аскара, и все тянулись, тесня соседей, чтобы пожать его маленькую суховатую ладонь, заглянуть в ласково-насмешливые, не замутненные старостью глаза.

— Ну, дорогие мои бурадары, по какому случаю вы тут собрались? Или жена хана родила мальчика?.. — привычным своим тоном заговорил Аскар, обращаясь ко всем сразу.

— Э, нет, мулла Аскар! Тогда палили бы в небо ракетами, били в набат и стреляли из деревянных пушек, — не задумываясь, ответил ювелир Семят.

— Вошь всегда кусает за больное место, — повар Салим указал мулле на ханский ярлык.

— Вот оно что... Ну-ка, посмотрим, кто это кусает, вошь, или блоха, или, может, что-нибудь другое... — Мулла Аскар, бормоча, направился к забору, и толпа раздалась, отступила, давая ему дорогу.

В ханском ярлыке было два параграфа. В первом сообщалось, что в целях защиты народа от возможных смут создаются отряды национальной обороны под командованием хакима Хализата. Во втором населению предписывалась своевременная уплата податей и добросовестное исполнение различных повинностей. За неподчинение ханский ярлык грозил жестокими наказаниями.

Не спеша, как бы взвешивая каждое слово, прочитал мулла Аскар вслух текст ярлыка на уйгурском языке и, закончив, повернулся к тесно обступившим его людям. Сотни глаз выжидающе наблюдали за ним. И опять обратился мулла Аскар к ярлыку и стал читать так же громко и внятно во второй раз. Каждый звук, каждый слог вонзался в самое сердце толпы, как ржавый зазубренный нож, стоны и причитания слышались то в одном, то в другом конце площади. Если бы вместо Аскара был кто-то другой, его давно заставили бы замолкнуть, но мулла Аскар продолжал читать, тщательно выговаривая длинные, как бы змеящиеся фразы.

Смысл той части ханского ярлыка, где шла речь о национальных отрядах, остался непонятным для массы простодушных темных людей, не умеющих разгадать изощренной хитрости многоопытных китайских правителей, — тут еще требовались усилия, чтобы развернуть яркую обертку и увидеть не сладкую конфетку, а отравленную пулю. Зато все, что касалось налогов и повинностей, было каждому ясней ясного...

В мертвой тишине закончил мулла Аскар чтение ярлыка во второй раз, и такое же безмолвие — душное, тяжелое, предгрозовое — стояло всюду, где в тот день читали и перечитывали ханский ярлык: на городских площадях, у крепостных ворот, в ближних и самых далеких селениях. Страшным был этот день, и страшной была тишина над Синьцзяном!..

— Братья!.. — Голос Аскара, как эхо дальнего грома, прозвучал над толпой, и встрепенулись люди, и во взорах, обращенных к нему, загорелась... Нет, не надежда, но... Какое-то смутное подобие надежды вспыхнуло в сотнях глаз.

— Братья!.. — повторил мулла Аскар, и руки его, простертые вперед,

слегка дрожали. — Кто сложил из камней эту крепость? Не наши ли отцы и деды?.. Кто прорыл эти каналы, кто пустил в них воду, кто вспахал эту землю, кто покрыл ее полями и взрастил на ней сады?.. Не отцы ли наших отцов, не деды ли наших дедов?..

Одобрительный гул валом прокатился по площади.

— Но кто ныне пожинает плоды их трудов?.. Ответьте мне, люди!

Молчала наполненная народом площадь. Прямой вопрос требовал прямого ответа, но те, кто стоял сейчас перед Аскар, привыкли думать каждый о своем, о собственных неудачах и бедах, и не думали, а может быть, и боялись задумываться над причиной общих страданий. Или дело в другом: и самые великие истины таятся в глубине самых простых сердец, но не каждому дано подыскать нужные слова?.. Те слова, которые давно уже вызрели у муллы Аскара и теперь взлетали над площадью...

— Родупай^[85] сидят на ваших, шеях! Вы кормите их всю жизнь, но они никогда не бывают сыты! Им мало вашего пота и вашей крови, пришел час — и вот уже хотят вас лишить насиженных гнезд, отобрать все, что еще у вас было!..

Глухо, угрюмо заворчала толпа, заворчалась, где-то раздались возгласы — еще редкие, слабые, раздались и потонули, сгнули в напряженной странной тишине. Мулла Аскар повысил голос:

— До каких же пор, братья, мы будем покорно нести на своих плечах позорное бремя?.. До каких пор мы будем только стонать и жаловаться аллаху?.. Не пора ли нам расправить согнутые спины, поднять головы и громко сказать: хватит! Мы терпели, долго терпели, но больше нет у нас сил терпеть!.. Довольно!..

Вот когда треснула, разбилась в осколки тишина! Яростным смерчем, взлетевшим от земли до неба, повисло над площадью:

— Твоя правда, Аскар!

— Довольно!

— Хватит!..

Густой голос повара Салима пробился сквозь шум и вопли:

— Не станем платить подати!..

— Верно!..

— Не станем платить!..

— Не дадим наших сыновей в солдаты!..

— Не дадим!..

— Не дадим!..

Мулла Аскар — маленький, властный, — поднял руки на уровень лица, требуя спокойствия:

— Помните, братья, — никто не добьется от нас ни зернышка, ни паршивого цыпленка, если все мы будем держаться вместе! Вместе, бурадары, и не отступать ни на шаг от своего!..

— Правильно!..

— Ни на шаг!.. Упереться — и стоять на своем!

— Как народ захочет — так и будет!..

Теперь уже не из отдельных людей состояла толпа — она срослась, слилась в единый порыв, единое сердце, единый громовой голос. Но когда этот голос достиг такой мощи, что никто, никакая сила не могла бы, казалось, его заглушить, послышался протяжный призыв муэдзина к вечерней молитве. Петля упала, захлестнула горло толпы...

Мулла Аскар терпеливо ждал, пока закончится молитва и площадь поднимется с колен. И заговорил снова, но тут во второй раз оборвалась его речь:

— Эй, неверный, замолчи, пока я не заткнул твою вонючую глотку!..

В толпе оборачивались, искали — кто выкрикнул эти слова?..

— Бунтовать против ханского указа?... Я вам покажу!..

На краю площади, в синих вечерних сумерках, похожая на бесформенную глыбу, возвышалась на коне грузная фигура толстяка Бахти. Его здесь знали, и каждому было известно, за какого рода доблести ценят его тюремные чиновники и начальники стражи, — с таким человеком лучше не связываться, держаться от него подальше...

Мулла Аскар почувствовал, как заколебалась толпа.

— Эй, Бахти! — крикнул он. — Иди, приятель, занимайся своим делом — вылизывай в притонах днища винных бочек да обсасывай кости, которые тебе сметают со столов дарингов и беков!..

Под хохот всей площади Бахти дернулся, хлестнул коня и направил его прямо на Аскара, стоявшего на тонуре. Но народ не дал ему прохода.

Мулла Аскар не ошибся: Бахти только что вышел из притона сильно навеселе, еще издали услышал шум и, как пес, почуявший запах мяса, решил, что его ждет новая пожива. Конечно, он сразу же понял, кто верховодит толпой, и по обрывкам доносившихся до него речей уразумел, о чем здесь говорит и спорят.

— Эй, Бахти, — продолжал Аскар, — нечего тебе тут делать, народное горе поймет лишь тот, кто страдает вместе с народом... А ты... Как был жирной скотиной, так и останешься навсегда. Уходи, не мешайся, куда не просят!

Каково было слышать Бахти эти слова, в которых не было ни гнева, ни ярости, а только спокойное, непобедимое презрение!.. Это вконец

распалило его, и будь его воля и не помешай сейчас ему проклятые оборванцы, он с наслаждением бы размоzzил о камень голову муллы Аскара! А еще лучше — арестовал бы его, а там уже сумел распорядиться по-своему...

Но сейчас он был бессилен что-либо сделать и, страдая от не находящей выхода злобы, только крикнул:

— Ну, погоди, мулла Аскар!.. Я доложу про тебя кому следует! — и, пришпорив коня, исчез так стремительно, что народ на площади не успел опомниться. Но не грозен, а смешон в этот час казался Бахти собравшимся здесь людям, и толпа смеялась и, как роща под порывами ветра, шумела, отпуская острые словечки и шутки на его счет.

Все, что случилось в тот день на площади перед караван-сараям, назавтра, с преувеличениями и добавлениями, распространилось по уйгурским кишлакам всей Илийской долины. Призыв Аскара, перелетая из уст в уста, проник в самые отдаленные уголки, и всюду у людей, погруженных в тревогу и смятение, вспыхивали погасшие было глаза и сжимались кулаки...

Кто умеет ждать — дождется. Долго, многие годы ждал мулла Аскар своего часа, и только на закате дней сбылись его давние надежды — он пробил, этот час. Смело, не терзая себя сомнениями, шагнул мулла Аскар навстречу судьбе.

Что сомнения!.. Они расслабляют волю, мутят разум, да и слишком много было их в прошлом, сомнений и споров с самим собой, и ночей, проведенных в тягостных размышлениях над Кораном и над старинными книгами великих мудрецов и поэтов, — пора, пора словам обратиться в действие, мечте стать делом!..

«Надо ковать железо, пока оно горячо, — думал Аскар. — Сейчас не время заниматься пустыми разговорами, дорог каждый день, каждая минута...»

Он вышел на широкую базарную площадь. Время было перед новолунием, на город опустилась темная, непроглядная ночь, но здесь еще встречались люди. Одни торопились домой после таравиха^[86], другие бесцельно слонялись вдоль опустелых рядов, топтались вокруг чадающих мангалов, где в тусклом свете динхулу^[87] можно было разглядеть палочки с шашлыком, куски вареного мяса, облитых жиром кур, жаренных прямо на огне. Уже крепкие замки повисли на дверях лавок, закрылись шумные чайханы, только кое-где мигали окна, маня запоздалых посетителей, да прерывистое, нестройное пение доносилось из ночных кабаков. Но здесь, как голодные волки, рыскали сборщики налогов: за освещение — особый налог, за каждую свечу или лампаду — плати, не то горе хозяину: и свечу погасят, и произдеваются вдоволь, и вытянут все, что положено, до последней монетки.

Стремясь не попадаться на глаза прохожему люду, мулла Аскар направился в самый глухой угол базарной площади и там юркнул в неприметный узенький переулочек. Тут он задержался возле одной из дверей и постучал в нее — отдельно, через равные промежутки, пять раз. Дверь приотворилась, на пороге дома показался какой-то человек. Он молча взял муллу Аскара за руку и повел за собой. Тесный проход, по которому они двигались, напоминал вход в пещеру.

В маленькой комнатке мерцал самодельный светильник, и в полутьме едва различались лица людей, сидевших за чаем. При появлении муллы Аскара все они поднялись, приветствуя вошедшего. Для него было уже приготовлено почетное место.

Даже тому, кто не знал Хасана-тумакчи, стало бы ясно, в чей дом он попал: по стенам висело множество тюбетеек и шапок, всюду виднелись колодки, различные по формам и размерам. Комната, где сидели собравшиеся, очевидно, служила хозяину и жильем и мастерской и была так мала, что в ней едва умещались четыре-пять человек.

— Наверное, у вас есть оптовый заказчик? — спросил мулла Аскар, окинув взглядом низкие стены комнатки.

— А как же, — ответил вместо хозяина кузнец Махмуд. — Сегодня приходил, пересчитал все шапки и тюбетейки.

— Если аллах допустит, чтобы выросли налоги, вам до самой смерти не рассчитаться с долгами... — Голос муллы Аскара звучал задумчиво и серьезно, в нем исчезли шуточные интонации, которые прежде сопровождали каждое его слово.

Вчера мулла Аскар беседовал порознь со многими — с ювелиром Семятом, поваром Салимом, кузнецом Махмудом, с портным Салаяем и кое с кем еще из мелких ремесленников и кустарей. Они сговорились встретиться сегодня вечером в доме мастера-тумакчи. Все это были люди надежные, близкие друзья муллы Аскара, все стояли заодно и одинаково ненавидели тех, кто именем пекинского кагана мучил и угнетал родной народ. Правда, среди собравшихся не хватало Ахтама, но с ним не успели вовремя связаться.

— Так вот, дорогие мои бурадары, — начал Аскар, — сегодня нам предстоит большой разговор... Разговор о, судьбе наших братьев, нашего народа... Сегодня мы будем говорить о том, как завтра же перейти к делу...

Внимательно, пристально оглядел всех сидящих мулла Аскар, и на каждом лице задерживался его: испытующий взгляд, будто проникая всякому в самую душу.

— Что тут говорить, мулла Аскар, у нас нет другого выбора: победить или умереть! — воскликнул повар Салим, засучивая рукава по локоть — он во всяком деле предпочитал рубить сплеча.

— Да, победа или смерть, — повторил за ним Махмуд. — Что до меня, то я готов умереть хоть сейчас, только сначала дайте мне рассчитаться кое с кем из этих кровососов! — И он угрожающе вскинул свой жилистый кулак, мало чем отличающийся от, кузнечного молота.

Его поддержали остальные. Все смешалось: проклятия китайцам, горячечные выкрики с призывом немедленно поднять народ и отправиться громить дворцы ханских вельмож, яростные, мстительные возгласы, нетерпеливые мечты о всеобщем счастье и свободе, — все, все было сказано здесь, в темной, тесной, жаркой лачужке тумакчи, но мулла Аскар ждал другого: трезво, спокойно надо было взвесить и обсудить, с чего начинать, как двигаться к намеченной цели, как поднять народ, и если уж суждено пролиться крови, то чтоб пролилась она не зря... Портной Саяй, который хорошо усвоил мудрое правило своего ремесла — «прежде чем раз отрезать, следует семь раз отмерить», — заикнулся было об осторожности, о том, что надо учитывать собственные силы и силы врага, но его тут же осадили, заставили умолкнуть, и, не желая прослыть трусом, он сдался перед напором друзей.

Муллу Аскара терпеливо выждал, пока уляжется возбуждение, пока сам собой иссякнет, выдохнется спор, — и когда так в самом деле случилось, и все затихли, повыкипев, и обратили взоры к нему, заранее согласные с тем, что он, их учитель, должен сказать самое последнее, самое верное слово, — мулла Аскар заговорил тихо, не напрягая голоса, как бы размышляя вслух.

— Вот что мы должны помнить, дорогие мои бурадары, — нам не на кого надеяться, кроме самих себя. Если мы сами не сбросим ярма, в которое запрягли наш народ, если не защитим нашу землю, наших детей, жен и отцов, то наступит время, когда не окажется в живых ни одного уйгура, все мы сгинем, и ни песен наших, ни преданий не останется после нас... Никакого следа... Все это может случиться очень быстро, если мы будем медлить, или ждать чьей-то милости, или, не готовые к борьбе, поднимемся и дадим врагам и насильникам нашим растоптать себя, расстрелять из ружей и пушек. Ведь без счета солдат у пекинского кагана, империя его подобна океану, а народ наш — как малый островок, затерянный среди волн. И потому всякий шаг наш следует рассчитать, каждый удар нацелить в точку... Тогда за нами пойдет весь народ, и все вместе мы или погибнем, или обретем жизнь и свободу...

Муллу Аскара слушали, боясь шевельнуть и бровью, — слушали не перебивая, в глубоком молчании и тишине. Мулла Аскар говорил о том, что предстояло сделать в ближайшие дни, где и как должно начаться восстание, определял роль каждого из сидящих перед ним и ближайших их друзей, — план этот давно вызревал в голове Аскара, давно был им продуман во всех подробностях, теперь пришло время посвятить в него сподвижников — заветный, долгожданный час!..

Их-было пока немного, — верных сынов своего народа, сошедшихся

поздней ночью в домике на краю базарной площади, но они знали, что затевают священное дело, и поклялись друг другу, что никогда не предадут и не отступят от него.

— Ты что же, дочка, думаешь, тебе позволено делать все, что ни взбредет в голову? — Этими словами дядюшка Сетак встретил Маимхан, едва та переступила порог.

Впервые, кажется, она видела отца таким рассерженным — лицо хмурое, глаза красные, бородка трясется... Маимхан так и замерла у двери, не решаясь шагнуть дальше. Даже тетушка Азнихан, первая ее заступница, на этот раз не проронила ни звука и сидела в углу, теребя пальцами край кошмы. А младшая сестренка, будто испуганный зайчонок, прижалась к матери, со страхом наблюдая то за отцом, то за Маимхан.

Дядюшка Сетак и в самом деле не на шутку был обижен всем случившимся, он дошел до того, на что никогда не решался: приготовил волосяной кнут, чтобы проучить своевольницу, и сейчас держал его под собой. Пора, пора задать ей хороший урок!.. Но Маимхан с таким удивлением, так растерянно смотрела на кнут в его руке, что дядюшке Сетаку внезапно сделалось стыдно за самого себя.

— Проходи и садись! — прикрикнул он на дочь, стараясь казаться еще грознее.

Маимхан бросила быстрый взгляд на мать, прошла вперед и опустила на кошму, поблизости от места, где стоял отец. Глаза ее встретились с глазами сестры. В комнате возникла напряженная тишина, слышалось только, как тяжело посапывает дядюшка Сетак. И тут не то старшая сестра подала ей знак, не то мать незаметно толкнула, но Минихан вдруг вспорхнула и, подсев к Маимхан, положила на ее плечо головку. Теперь они сидели, тесно прижавшись, и были так похожи друг на друга, что напоминали два цветка, распустившихся на одной ветке. Какое же родительское сердце могло тут устоять?.. Если дядюшка Сетак еще хмурился, то разве ради того, чтобы подавить улыбку. И тетушка Азнихан едва удержалась, чтобы не подсесть к дочерям, посреднике, и не обнять, не прижать обеих к своей груди. Но она вовремя подумала о муже и пересилила себя...

— Ты иногда забываешь, Маимхан, что ты — девушка, — наставительно говорил дядюшка Сетак. — А ты ведь уже не ребенок,

дочка, и должна понимать... Люди смотрят на тебя и болтают разное...

Он помолчал, повторил: «Да, дочка, разное...» — и многозначительно взглянул на жену. Тетушка Азнихан кивнула, подтверждая вздохом его слова. И правда, последнее время по Дадамту бродили всякие толки о Маимхан, старикам было обидно их слышать. Чего-чего не наговаривали на их дочь! Одни говорили: «Достигла совершеннолетия, а не избегает мужских глаз, нет в ней стыда!» Другие возражали: «А чего ей стыдиться?.. Она наполовину женщина, наполовину мужчина, потому и наряжается в мужскую одежду». Третьи нашептывали: «Сколько ни засылали к ним сватов, все остаются ни с чем... Видно, потеряла свою девичью чистоту...» Четвертые добавляли: «Недаром же она подливает воду мулле-коротышке во время омовения: надеется, что хоть на старости лет получит благословение...» Все эти сплетни, одна другой злее и нелепей, рождались в доме лисы Норуза, который сам не раз посылал к дядюшке Сетаку сватов, уверенный, что тот с радостью и благодарностью выдаст свою дочь за его сына. Но Маимхан и смотреть на Бахти не могла без смеха!

Однажды Норуз, встретив дядюшку Сетака на улице, сказал ему:

— Сколько ты думаешь еще откармливать свою телочку?.. Мой черный бычок и твоя непутевая телочка скоро взбесятся от жира, как калмыцкие зейлиры^[88].. Смотри, не отдашь ее по-хорошему — напуцу на нее китайцев или предам дарра шариати^[89]...

От слов Норуза похолодела душа у дядюшки Сетака.

К тому же кривотолки, которые злоязычная молва сплетала вокруг Маимхан... Впрочем, она сама в последнее время подавала для них немало поводов, исчезая вдруг неизвестно куда на день, а то и на два. Как было не тревожиться за нее, если, не считая младшей сестры, она для семьи дядюшки Сетака была единственным светом, единственной радостью и богатством?.. Но девушки, которых аллах награждает не только красотой, а еще и упрямым, своевольным характером, — сколько горя приносят они иной раз своим родителям!..

В общем, настало время для серьезного разговора.

— Я думаю, ты и сама все понимаешь, дочка, — заключил дядюшка Сетак, высказав то, что давно смущало и мучило его сердце.

— Да, отец, понимаю... — тихо ответила Маимхан. В голосе ее не было и нотки обиды, напротив, она как бы сочувствовала своему отцу.

— Вот видишь, я всегда считал тебя умницей.

— А то как же, — с облегчением подхватила тетушка Азнихан и под села к дочери поближе.

— Отец, — сказала Маимхан, и глаза ее заблестели, как блестит, играя на солнце, родниковая струя. — Отец, уже не сегодня и не вчера я поняла, что стала взрослой...

— Ишь ты, Азнихан, послушай только, что говорит наш бесенок...

— Но я не хочу прожить свою жизнь, как другие, ничего не видя, кроме четырех стен, не поднимая головы от очага...

Дядюшка Сетак улыбался и кивал ей в ответ, вряд ли схватывая полностью смысл ее слов.

— Я хочу, чтоб ты знал, отец... Я не зря училась, не зря читала книги, которые приносил мне мулла Аскар... Я обо многом передумала... Не могу объяснить, но что-то... Я чувствую, что-то растет, зреет в моей душе, будто легкий ветерок наполняет мою грудь... Ах, что люди!.. Пусть себе мелют языками, клянусь тебе, мои помыслы чище детской слезинки! Вам никогда не придется краснеть за свою дочь, поверьте мне, никогда!..

— Родная моя, золотая моя... — Тетушка Азнихан обдала дочь и начала целовать ее в лоб, глаза, щеки, в густые шелковистые волосы. И в дом, где, казалось, должна была неизбежно разразиться гроза, теперь будто заглянуло ласковое солнце взаимного примирения.

Как всегда, на ходу мулле Аскару легче думалось.

По дороге домой он продолжал размышлять о надвигающихся событиях. Кто сумеет их возглавить? Кому поверят, за кем пойдут люди?.. Какой человек обладает всеми нужными качествами и в то же время свободен от недостатков и слабостей, которые можно поставить ему в упрек?.. Мулле Аскару невольно представилась Маимхан. Эх, не будь она девушкой... А молодость?.. Молодость в таком деле не помеха. Важно другое: горячее сердце, ясный ум, сила духа, способная увлечь за собой других... Ахтам?.. Он тоже справится с этой ролью... И кузнец Махмуд для нее неплох... Только слишком простодушен кузнец, легковверен... Крепки его кулаки, да темновата голова, ему бы хоть немного грамоты, знаний... Мулла Аскар перебрал еще несколько человек, но ни один его не удовлетворил. Были, были у него на примете люди твердые, смелые, преданные всей душой великому делу, но каждому чего-то не хватало... Так и не сумел он определить свой выбор, а мысли его постоянно возвращались к одному и тому же: Маимхан... Он верил в свою ученицу, недаром столько лег росла она под его присмотром, недаром он сам,

подобно искусному ювелиру, обтачивал и чеканил ее ум и характер. Но что поделаешь, ведь и мулла Аскар был мужчиной и никуда не мог уйти от предрассудков, свойственных этой половине рода человеческого. Женщина, девушка, — всякий раз это оказывалось препятствием, перед которым отступала его решимость...

Знакомый лай Илпатджана возвестил мулле Аскару, что он наконец приблизился к своему дому. Собака кинулась навстречу хозяину, повизгивая от радости, ткнулась в ноги, лизнула руку теплым влажным языком.

— Да, да, ты соскучился, мой дружок... Но я не забыл про тебя, нет, не забыл... Вот поешь... — Мулла Аскар вытащил из-за пазухи лепешку и кусок мяса и положил перед псом. — Ну, а как поживает наш Иплатхан? Или он гоняется до сих пор за какой-нибудь шустрой ослицей?..

Мулла Аскар прошел в комнату, зажег свечу и только теперь ощутил, как устал и как ему хочется пить. Он налил из ковша воды в тыквянку, на дне которой сохранилось немного прокисшего молока, помешал, отпил несколько глотков. Затем из ниши, где в несколько рядов стояли книги, достал одну из них, в толстом твердом переплете, разложил ее на джозе и принялся неторопливо листать.

— «Нет жизни для человека, вне жизни его народа», — прочитал вслух мулла Аскар и улыбнулся. Морщины усталости разгладились на его лице.

«Эта истина поможет укрепить души слабых и пробудить погруженные в дремоту», — подумалось ему.

— «Любовь к Родине — свойство достойных», — прочел он дальше. «Что ж, неплохо, если эти слова усвоят все, кто называет себя уйгуром...» Мулла Аскар поставил перед собой чернильницу, расправил чистый лист бумаги и занес над ним перо...

«Земли Восточного Туркестана с незапамятных времен населяли уйгуры, эти земли были и вовеки пребудут родиной их предков и потомков. Но маньчжуро-китайцы пришли сюда, установили свою власть, огнем и мечом утвердили свое господство. Некогда свободный и гордый народ много лет терпит насилие и издевки чужаков, честь и достоинство его растоптаны, стерты в пыль, вырождение и гибель прочит ему будущее...»

Об этом писал мулла Аскар, писал раскаленными от гнева и боли словами.

«О народ мой, носивший славное имя и утративший его! Вспомни: ведь мы не скоты бессловесные, мы — люди! Не твари бездушные — чувствами и разумом одарил нас аллах, создавая! Мы не безвестные странники в этом мире, не сироты, не пасынки среди других народов! И у нас есть свои обычаи, своя история, свои герои. Вечным светом сияют имена Махмуда Кашгарского и Юсуфа Хас-Хаджиба среди ярчайших созвездий на небосклоне науки и разума. Почему же мы сносим все унижения, не стыдясь ни предков наших, ни наших детей?.. Древние могилы зовут нас к борьбе и отмщению! Пробуждайтесь, братья! И пусть заклятым нашим врагам не останется места в нашей земле, пусть она обжигает ступни их ног, пусть ядовитым станет для них наш воздух! Соединим наши силы, сомкнем плечи! Наша победа — в сплоченности, наше торжество — в единстве! Поднимайтесь, братья!»

Мулла Аскар перечитал написанное, подумал немного и добавил:

— Если погибнуть, то шейтом^[90], если остаться в живых, то газии^[91].

Он еще раз пробежал строчки, начертанные тонкой арабской вязью, остался доволен. «Таков будет наш первый выстрел, — усмехнулся он. — Теперь эти листки надо переписать, размножить... Но тут нужна помощь Маимхан и Хаитбаки...» — Мулла Аскар допил остатки разбавленной простокваши, зевнул, распрямил затекшую спину не хрустом потянулся.

Во дворе залаял Илпатджан. Потом заскребся в дверь лапой. Мулла Аскар насторожился, прислушался, затаил дыхание. На цыпочках прокрался к двери, сквозь щелку выглянул наружу. Возле забора стоял какой-то человек. Кто бы это мог быть?.. Незнакомец обернулся и кому-то помахал рукой. Собака, почуяв, что хозяин подошел к двери, залаяла громче. «Уж не китайские ли это ищейки?» — подумал мулла Аскар. На всякий случай он быстро собрал со стола, исписанные листки, сунул в выходную трубу очага и опять подошел к двери. Теперь незнакомец стоял посреди двора, неподвижный, как столб. Мулла Аскар взгляделся в него...

— Нет, — пробормотал он, приоткрывая дверь, — не такой уж это незнакомец...

Старые глаза не подвели муллу Аскара и на этот раз.

— Эй, Ахтам, что ты испугался моего щенка? Какой же ты после этого джигит?..

Ахтам почтительно поздоровался с учителем и взял муллу Аскара за руку, коснулся его ладонью своих глаз.

— Я не ожидал тебя сегодня, — говорил мулла Аскар, широко распахивая дверь своего дома и пропуская Ахтама вперед. — Значит, наш вестовой оказался быстрым!

— Не зря сказано, что конь — крылья джигита. А мой конь — настоящий тулпар!

— Ты прав, сынок, людям нужны крылья... Ох, как нужны!.. — Мулла Аскар задумался.

— Я... В прошлый раз, когда я был здесь, я не смог вас увидеть, учитель...

— Не стоит говорить о прошлом, дорогой мой, — перебил его мулла Аскар. — Думай о завтрашнем, только о завтрашнем. У нас много дел, они не ждут.

Ахтама удивил суровый, повелительный тон, которым были произнесены эти слова.

— Но ты голоден?.. Я забыл, ведь раньше, чем говорить о деле...

— Не беспокойтесь, учитель. По пути сюда я заехал к тамуру^[92] накормить коня и сам напился у него коже^[93].

— Тогда пеняй на себя... — Мулла Аскар подошел к очагу, вынул спрятанное письмо и протянул его Ахтamu: — Прочитай-ка вот это!

Ахтам перевел, вопросительный взгляд с учителя на исписанный листок и принялся за чтение. По мере того как он углублялся в текст, глаза его разгорались все сильнее, губы шевелились, повторяя отдельные выражения, лицо, прежде озабоченное, светлело. Кончив читать, он вздохнул, как бы освобождаясь от давней тяжести, и восторженно посмотрел на учителя.

— Если бы вот сейчас, сразу... Если бы все кишлаки, все города и деревни поднялись и ударили... Эх!.. — Скулы его сжались, зрачки расширились.

— Не кипятись, джигит, — осадил его мулла Аскар. — Нужно все обдумать, нужно за два-три дня разъяснить народу все, что тут написано. Кто сумеет это сделать? У тебя есть друзья, которым можно довериться?

— О чем говорить! — с готовностью ответил Ахтам. — Моим джигитам можно поручить любое дело!..

— Сколько у тебя джигитов?

Ахтам задумался. Нет, он не сомневается в своих лесных смельчаках, он думал только о том, на ком остановить выбор для начала.

— Что же ты молчишь?

Ахтам, загибая пальцы, назвал несколько имен, потом прибавил:

— Кроме того в Пиличинском ущелье десять джигитов, из которых каждый стоит отряда солдат.

Мулла Аскар одобрительно кивнул.

— Чем занимаются они сейчас?

— Чем?.. Да ничем, бесятся от безделья.

— От безделья?..

— Ну не то что от безделья... Просто не знают, куда девать силы, за что взяться... Но способны они на многое!

Мулла Аскар довольно потер руки.

— Это их называют «лесные смельчаки»? Или как там еще... Да, «воры-разбойники»?..

— Они не разбойники, ака, наоборот, те, на кого они нападают, и есть настоящие воры и разбойники...

— Значит, говоришь, это смелые джигиты?.. — Мулла Аскар помолчал. — Пожалуй, ты прав. Истинные разбойники и воры в наше время не бросают своих домов, не уходят в пещеры, — они живут во дворцах и прячут свои черные грехи в роскошные одежды... Для нашего дела понадобятся отважные люди, Ахтам, — вроде твоих друзей...

— Понимаю, учитель.

— Но пока... Пока не наступит время — попридержи их, мы дадим знать, когда нужно быть готовыми...

— Опять ждать! — вырвалось у Ахтама с досадой. — Терпение тоже имеет предел, учитель!

— Теперь уже недолго... Наш праздник не за горами, сынок... Но подготовка требуется для каждого праздника, тем более — для такого...

На несколько мгновений в комнате наступила тишина. Где-то на улице замычал бык, в ответ раздался залиvistый лай Илпатджана.

Мулла Аскар указал на листки с обращением к народу:

— Нужно, чтобы это знали все. Но повсюду рыщут сыщики, будьте осторожны...

— Самое удобное место — мечеть. Тут никто ничего не заподозрит.

Слова Ахтама, казалось, навели муллу Аскара на какую-то мысль, он загадочно улыбнулся:

— Пожалуй, и в этом ты прав, сынок... Мечеть... В самом деле, удачней ничего не найти...

На том и условились: Ахтам обещал, переписав обращение, прочесть его в мечетях Панджима, Турфанюзи, Чулукая и в других кишлаках.

— Нужно и Хаитбаки не оставлять в стороне, — сказал Ахтам.

— Хаитбаки? Да, конечно... На кого же можно рассчитывать еще?

Среди нас так мало грамотных... Пстой, пстой, а Маимхан?.. Правда, может быть, не стоит ее подвергать опасности... Мало ли что может случиться?..

— Правильно, учитель, мало ли что... Но она сама — что сама она скажет?

— Разве ты не знаешь Маимхан?.. Она ни за что не захочет остаться в стороне... Ладно, подумать о ней еще будет время. Давай поговорим о тебе. Ведь многие помнят тебя в лицо, за тобой следят, тебя ищут — смотри, не попадись в ловушку. Там, где будешь выступать, измени внешность, одежду... Ты должен кое-чему поучиться у плутов и волшебников из сказок, а?..

— Я все сделаю, как надо, учитель. Не беспокойтесь за меня.

— погоди, — остановил мулла Аскар поднявшегося было Ахтама, — договоримся о самом главном: нам, возможно, не удастся часто видеться. Ты знаешь Маимхан, Хаитбаки, Махмуда. Кто-нибудь из них будет поддерживать с тобой связь.

— Хорошо, учитель.

Быть может, это — наша последняя встреча перед большими событиями, а, сынок?..

Когда Ахтам вскочил на своего коня, на небе уже всходила Чолпан — вестница утренней зари.

Молодой кари^[94] вошел в мечеть, огляделся по сторонам. В мечети было еще немногочисленно, правоверные только собирались на вечернюю молитву. Горели свечи, но в тусклом их мерцании с трудом удавалось рассмотреть размытые полутьмой очертания лиц. Впереди на полу лежали яркендские коврики, ближе к порогу — плетеные циновки из камыша, на них расположились люди в бедной, изношенной одежде. Все они сидели, низко склонив головы, уныло бормоча молитву, упрашивая аллаха простить им неведомые грехи. Главный имам мечети, в чалме, напоминающей мантницу, перебирая пальцами четки из белого перламутра, восседал перед алтарем. Молодой кари занял место позади имама, что-то шепнул ему на ухо. Имам оглянулся. Может быть, его поразила красота юного кари, — имам смотрел на него долгим, неотрывным взглядом, а губы, сухие, топкие, сами собой растягивались в непривычную для его лица улыбку.

— Садитесь ближе, мой кари, — указал он на место рядом с собой. Глаза имама, который провел все молодые годы в стенах мечети., закаляя дух и смиряя плоть, загорелись жадным, неутолимым огнем. Кари, ощутив на себе его взгляд, нагнул голову и уставился в землю.

— Для таких юных кари, как вы, двери моей мечети всегда открыты, — проговорил имам, положив левую руку на колено пришельца. — Сегодня предстоит читать суру таха^[95], — думаю, вы готовы?..

— Готов! — коротко отвечал кари, не поднимая глаз.

— И прекрасно. — Имам еще ближе пододвинулся к кари. Немногословность юноши он объяснял скромностью, украшающей молодость.

— Ведь мы с вами оба принадлежим к духовному сану, — продолжал имам вкрадчиво. — Нам есть о чем побеседовать, не так ли, кари-махсум?^[96]

— Да...

— Я просил бы вас после окончания тарави пожаловать в мой дом... Для меня это будет большой радостью...

Тем временем народу прибавилось, мечеть была уже почти полна, муэдзин возвестил о начале молитвы.

Имам поднялся и громко, так, что голос его свободно взмыл к высокому потолку мечети, объявил:

— Сегодня молитву прочтет наш гость — молодой кари.

Все повернули головы в сторону кари. Но пока тог шел к алтарю, как следует его сумели разглядеть лишь сидящие впереди, остальные увидели только гибкую юношескую фигуру, несколько скованную от застенчивости.

На первых порах кари волновался. Он даже несколько раз споткнулся, читая начало молитвы, но имам помог ему преодолеть смущение. Постепенно юноша овладел собой, голос его зазвучал ровно, размеренно, середину и конец суры таха он прочитал без единой запинки. Однако было замечено многими, что голос этот не похож на мужской — слишком нежен и переливчат. Странное дело, — думалось иным из молящихся, — такой голос может принадлежать только девушке... Но разве не было безумием — предположить, чтобы девушка переступила священный порог мечети?.. Нет, просто кари еще слишком молод, вот и все...

Никто из сидящих, как всегда, не понимал смысла арабских слов, но тем не менее самый тон чтеца, произносившего чужие для уйгурского уха звуки, постепенно завораживал, овладевал молящимися. Он как будто

выводил какую-то Певучую мелодию, он тосковал, плакал, он падал вниз, как птица с перебитым крылом, и снова взлетал, наполняясь неясной, смутной надеждой, утешая и обещая что-то впереди... От этого странного голоса и сжималось сердце, слезы выступали на глазах, тревога пронзала души — в мечети слышались вздохи, похожие на сдержанный стон, многие плакали, не стыдясь своих горестных рыданий. Никто не заметил, как уже завершилась молитва и кари замолк. Люди, как будто еще не насытятся, как будто ожидая продолжения, сидели, не двигаясь, вытянув шеи вперед, вглядываясь в лицо затихшего чтеца. Имам крепко сжал в своей руке руку юноши.

— Пусть читает еще!.. — раздалось вокруг. Имам в знак согласия кивнул. Между тем кари достал из-за пазухи листок бумаги и обратился к наполненным мечеть.

— Братья мои! — крикнул он. Глаза его горели, голос дрожал, и рука с листом тоже вздрагивала мелко и часто. — Прошу вас, выслушайте, что я вам скажу, братья мои!..

— О, чем ты говоришь?.. — тихо спросил имам. — Что ты собираешься делать?..

— Я должен прочесть им это письмо.

— А?.. Какое письмо?..

Но люди, с нетерпением ожидающие, когда вновь заговорит юноша кари, закричали, не дав имаму опомниться:

— Пускай читает!.. Читай, мы тебя слушаем!..

Кари чуть ли не бегом вернулся на хутби^[97].

— Слушайте меня внимательно, братья! — начал он и высоким, торжественным голосом произнес первые слова: — «Нет жизни для человека вне жизни его народа», — и поднял над головой руки, как бы призывая в подтверждение высшие силы. Слева, которые юн произносил теперь, будто зажигались одно о другое, каждое из них трепетало, наливаясь пламенем, и вот незаметно случилось чудо: тот самый народ, который только что с умилением внимал речам о милости аллаха, о неминуемых страданиях земной жизни и блаженстве загробной, — тот же самый народ, слушая кари, проникался совсем иными чувствами: не к смирению и покорству судьбе звали они, но к бунту и мятежу, к тому, чтобы этот печальный мир, полный горя и скорби, сокрушить своими же руками, и на его месте воздвигнуть новый — для света и радости... И когда кари кончил, вокруг заволновались, заговорили какими-то обновленными, пробужденными голосами:

— Ты хорошо сказал, сынок... Пусть будет счастлива твоя жизнь...

Пусть будет счастлив отец, родивший такого сына...

Никто не заметил, как это случилось, но люди уже покинули свои циновки, на которых прежде сидели в молитвенных позах, — теперь они все столпились, теснясь возле кари. А что до баев и прочих достойных, из тех, что восседали впереди, на яркендских ковриках, то с первых же слов юноши им стало не по себе, и они переглядывались в смущении и страхе, не зная, что делать, как прервать возмутительные речи.

— Эй, прекрати! Попридержи язык, совратитель!.. — крикнул кто-то из них.

— Читай! Читай все до конца, сынок!.. — раздавалось со всех сторон.

— «Если погибнуть — то шейтом, если остаться в живых — то гази»... — Последние слова кари будто прорвали плотину.

— Аминь! Да будет так! — крики сотрясали своды старой мечети, шум и волнение росли с каждой минутой.

— Все правильно, сынок... Ты сказал то самое, что думал каждый из нас, — говорил, протискиваясь к кари, какой-то высокий сухощавый старик.

— Наши деды поднимались на газават, чем мы хуже?..

— Эй, — выходил из себя имам, замахиваясь на старика, — ты что болтаешь?.. Старая кляча!.. Если тебе самому не дорога жизнь...

— Старик Ислам верно говорит!.. А сытые бездельники пускай помалкивают и нам не мешают!..

В мечети началась настоящая свалка. Никто уже никого не слушал, все кричали, перебивали один другого, потрясали кулаками. Несколько человек во главе с имамом стали было потихоньку продвигаться в сторону кари, но не смогли преодолеть преградившей им путь живой человеческой стены. А молодой кари, пользуясь общей суматохой, бросился к окну и, выпрыгнув из мечети, скрылся в узкой улочке.

Поблизости как раз двигалась веселая ватага детей и подростков. Со светящимся фонариком, тыквянкой, бродили они из дома в дом, распевали рамзан-чилла^[98], славили щедрых на угощение хозяев и осмеивали скупых. Кари незаметно смешался с ними и ускользнул от своих преследователей, которые выскочили за ним из мечети, но так и не поняли, куда мог подеваться проклятый. Юноша успел снять со своей головы чалму, и теперь заметить его среди горластой толпы ребят было нелегким делом.

Кари достиг окраины кишлака. Сюда уже не доносились ни шум, ни пение рамзана. Но вскоре и тут послышались тревожные голоса и стук копыт. Кишлак Баяндай охватило беспокойство... Однако к тому времени виновник неожиданных происшествий, а точнее — виновница, как вы,

вероятно, и сами догадались, пробиралась вдали от кишлака по вьющейся между холмами тропинке. И от сознания, что первое важное задание муллы Аскара выполнено, играло и звенело радостью сердце Маимхан.

Глава седьмая

Казалось, все в этой маленькой уютной комнатке предназначалось для тою, чтобы доставлять усладу глазам, а сердцу — отдых и забвение суетных забот и волнений. Пестрый орнамент украшал потолок, оклеенный цветной бумагой, широкое низкое ложе манило к любовной неге, ласкали взор тончайшего шелка занавеси, расшитые искусными руками ханжуйских мастеров — пионы всех оттенков утренней зари как бы струили благоухание, над ними порхали ярkokрылые бабочки, готовые вот-вот ожить и закружиться в воздухе. Панус, подвешенный к потолку на золотистых витых шнурах, не нарушая таинственного полумрака, струил свой трепетный свет, рождая ответные блики на багряных тканях. Края шелкового занавеса колыхались, словно их касалось чье-то слабое дыхание, но там, за ним, было тихо, и только изредка бледная, почти прозрачная женская рука мелькала в узкой прорези...

Здесь, на тонких шелковых одеялах, в блаженной истоме раскинулись двое, между ними, на медном подносе, горела опиумная свеча. Мужчина и женщина неотрывно следили затуманенным взглядом за ее красноватым язычком. Время от времени женщина брала с подноса иглообразный стерженек, разогревала над свечой острый кончик и размешивала им мелко раскрошенный опиум в крошечной, с наперсток, тарелочке. Так повторялось несколько раз, пока на конце стерженька не выросал шарик, готовый для того, чтобы начинить им бамбуковую трубку с тонким длинным чубуком.

— Прошу вас, — проговорила женщина, протягивая свободный конец трубки своему напарнику. Тот с жадностью ребенка, которому вернули материнскую грудь, стал всасывать ядовитый дурман. Вдоволь накурившись, он передал трубку своей подруге. Трубка переходила из рук в руки, пока оба не впали в полузабытье и, казалось, перестали подавать признаки жизни. В сизом чаду, наполнявшем теперь комнату, слабо трепетал красноватый огонек, высвечивая бледные лица, оголенную нежную грудь и впившиеся в нее цепкие жилистые, пальцы, похожие на когти беркута. По виду обоих трудно было заключить, спят ли они или просто обессилели от опиумного дурмана, от крепких напитков, от порочных наслаждений.

Что касается мужчины, то это был знакомый нам длиннобородый дарин. Власть и положение давали ему возможность утолять свои

распутные страсти, развращая местных девушек и женщин. Ломода^[99], утратив остатки совести — хотя можно ли подозревать совесть у такого сорта людей? — часто присылал к нему в подарок не только своих родственниц, но и жен. Одной из подобных жертв оказалась и та, что лежала теперь в его объятиях, молодая и прекрасная, как райская гурия. Все в ней соответствовало имени — Моданхан^[100]. В шестнадцать лет, когда она расцвела, как пион, Модан почти насильно выдали замуж за человека, который посвятил себя ремеслу жезхо^[101]. Спустя год он проиграл все деньги и имущество, но не сумел расквитаться с долгами и, в согласии с обычаем картежников, должен был отрезать себе ухо. Вместо этого он отвез Модан в Аксу и продал за двести серебряных монет ростовщику китайцу. Тот решил извлечь выгоду из «живого товара»: комнатка, отведенная Модан, никогда не пустовала, перед любым раскрывалась ее дверь — но, разумеется, за немалую плату. Шесть лет такой жизни, понятно, не прошли бесследно: красота Модан стала увядать, а сама она, овладев всеми тонкостями науки продажной любви, превратилась в ненасытное, алчное, неутолимо-сладострастное существо и не находила себе места, если на какой-нибудь день ее лишали вина, опиума или мужчины. Хозяин Модан, разбогатев на разного рода спекуляциях и темных сделках — главным занятием для него оставалась торговля «живым товаром» — уехал в Тяньцзинь, предварительно перепродав ее другому китайцу, который доставил Модан в Илихо. Здесь же все самое лучшее из «живого товара» сразу попадало к длиннородому дарину...

Однако в последнее время Модан играла не только роль наложницы дарина, умело и покорно исполнявшей все его разнузданные желания. Благодаря тому, что уйгурский язык был для нее родным, она сделалась надежным агентом длиннородого. Чтобы ввести ее в круг высокопоставленной знати, Модан выдали замуж за переводчика Шанганской тюрьмы — полууйгура-полукитайца Таипа-тунчи^[102]. Теперь Модан превратилась в Мо-тайтай и получила доступ в любые дома, в том числе в семьи чиновников, близких гуну Хализату. Таким образом, длиннородый дарин мог следить за настроениями среди беков и по своему усмотрению использовать добытые сведения...

Личный секретарь дарина с кошачьей осторожностью прокрался к двери, прислушался, выждал несколько мгновений и робко постучал.

— Прошу позволения доложить, мой господин... — проговорил он, но ему никто не ответил. Секретарь постучал чуть громче. Снова тишина. «Спят... Как же теперь быть?..» — растерялся он. Однако помялся,

преодолел страх и постучал опять.

— Кто это? — послышался недовольный голос дарина.

— Я! — Секретарь немного приотворил дверь.

— Что надо?

— Бахти пришел с важной вестью...

— А?.. Бахти?.. Он что, не мог выбрать другого времени?.. — но голос длиннобородого дарина прозвучал тревожно. Он снял руку с груди Модан, поднял голову, глаза его расширились и мгновенно протрезвели. Модан потянулась, прикрыла поплотней одеялом нагое тело...

...Шанжан вошел в свой кабинет, проклиная последними словами тех, кто нарушил его сладостный кейф. Если причина окажется пустячной, этим дуракам не поздоровится...

— Ну, что ты бродишь по ночам? А?.. — спросил он у Бахти, грозно сводя брови.

— Народ...

Бахти осекся от волнения.

— И что же — народ?..

— Народ подбивают...

— Подбивают?.. Кто подбивает, на что подбивает?..

— Коротышка... Коротышка мулла...

— Что еще за мулла?!

От крика, который обрушился на Бахти, тот совсем лишился речи. Он вздрогнул и опустил голову.

— Что же ты молчишь, Бахти? — приблизился к нему дарин. — Или ты только для того и явился, чтобы нарушить мой кейф?

— Нет, нет, мой господин...

— Тогда говори и не бойся, — приказал дарин, чувствуя, что Бахти принес и в самом деле какую-то важную весть.

Заикаясь, не находя нужных слов, Бахти кое-как рассказал, что сегодня вечером неизвестный человек в мечети Дадамту призывал народ к бунту, что народ возбужден разными слухами и в некоторых местах вот-вот готов подняться и выступить против властей.

— Я так думаю... Всею причина — Коротышка мулла...

Длиннобородый дарин уже слышал кое-что о нем и решил добраться до этого смутьяна, но пока его сдерживало то, что мулла Аскар пользовался большой известностью среди простого народа. Однако последние слова Бахти насторожили дарина и развеяли остатки опиумного хмеля в его голове.

— Безмозглый ишак, — неожиданно накинулся он на Бахти, —

почему ты не сообщил обо всем раньше?

Бахти, который скакал всю ночь, надеясь за усердие получить достойную награду, сник и весь сжался.

— Прочь отсюда, негодяй!.. — крикнул длиннобородый, ткнув пальцем, словно острым шилом, в лоб перетрусившего Бахти. — И не сводить глаз с этой хитрой собаки, понял?

— Понял, все понял, господин...

— И не упусти чего-нибудь, если не хочешь, чтобы я нацепил твою голову на кол!

Бахти, пятясь задом, вышел из комнаты.

Секретарь доложил, что в приемной дожидаются старосты Желилюзи, Баяндая, Чулукая, Панджима, Актопе, Турпанюзи и просят немедленно принять их. Теперь настала очередь растеряться дарину.

— Мне кажется, пока нам еще нечего опасаться, — робко проговорил секретарь, от которого не укрылась тревога шанжана.

— Пусть войдут, — приказал дарин, помолчав.

— Слушаюсь, мой господин...

— Погоди! Этим проклятым чаньту нельзя верить, хоть они и старосты... На всякий случай обыщи их!

— Повинуюсь, господин мой...

...Вошедшие в один голос заговорили о том, что было уже известно дарину со слов Бахти.

— Вы называетесь старостами, но сами не способны даже раскрошить куриный помет, — с откровенным презрением проговорил дарин, не дав им высказаться до конца. Его гнев привел всех в замешательство.

— Так-так, — продолжал дарин с издевкой, — значит, вместо того чтобы хватать и казнить подстрекателей бунта, вы торопитесь ко мне выплакивать свои слезы. А?..

Старосты покрылись холодным потом.

— Уж не заодно ли вы сами с этим сбродом? А?

— Мы?.. Аллах нам свидетель...

Только вконец перепугав старост и напустив страху, шанжан несколько смягчился, велел не сводить глаз с каждого, кто вызывает сомнение, и выпроводил своих гостей из кабинета. За какие-нибудь несколько минут старосты натерпелись таких унижений и оскорбления, и за какие грехи? За свою же преданность! — что опомнились, только порядком отъехав от города.

В эту ночь волнения и тревоги не миновали и верховного кази. События, подобные уже описанным, произошли во многих мечетях

Кульджи — в Карадоне, Тахтивине, Айдоне. Узнав о случившихся бесчинствах, верховный кази утратил покой. И в такие-то дни гун Хализат не нашел ничего лучшего, чем разъезжать по гостям... Верховный кази посоветовался с имамами и бросился к шанжану.

— Я ожидал, господин верховный кази, что хоть вы принесете мне радостные известия, — язвительно сказал ему длиннобородый.

— Если у рабов аллаха укрепить пошатнувшуюся веру... — начал было кази, сдвигая с покрытого испариной лба свою огромную чалму, — если...

— Это ясно и мне самому, — перебил его длиннобородый. — Мне только не ясно, чем занимаются ваши духовные наставники, которым до сих пор мы вполне доверяли...

— О аллах, ты сам видишь, как я предан хану!.. — выкрикнул кази, потрясая четками.

Глаза собеседников встретились: пугливые, лживые верховного кази и ядовито-презрительные, властные, жестокие — шанжана. Кази первым заморгал, сощурился, виновато опустил голову.

— По сведениям, которые получены нами из вполне достоверных источников, — заговорил дарин, растягивая слова и внимательно наблюдая за впечатлением, которое они производят на кази, — зачинщиком возникшей смуты является духовное лицо...

— О ходжа Бахауддин!.. О имамай Азям^[103]...

— Я изумлен, кази, не меньше вашего, но это суцая правда!

У верховного кази было такое лицо, как будто, ни в чем не повинного, его уже вели на казнь. Дарин наслаждался эффектом.

— Да, я изумлен. Ведь это значит, что ваши храмы, мечети, медресе превратились в обители сатаны, а ваши муллы учат не смирению, а мятежу...

Каждое слово пронзало сердце кази, как отравленная стрела. Все сводилось к одному — главная вина за беспорядки ложится на самого верховного кази. Как доказать свою непричастность, какие оправдания переубедят шанжана?.. Запоздалое раскаяние терзало кази: и дернуло же его бежать за полночь к этому проклятому маньчжур!..

— Я верю, однако, — говорил длиннобородый дарин, подчеркивая свое сочувствие к потрясенному кази, — я верю, что высокопоставленные духовные лица, которым оказывает покровительство наш великий каган, которых он щедро одаряет и окружает почетом, — я верю и надеюсь, что они не последуют по стопам жалкой горсточки негодяев...

— О боже!.. — Вскочив с места, кази вскинул руки кверху. — Наша

любовь к великому кагану, свидетель аллах, не ведает предела...

— Прошу вас сесть, кази, — сказал шанжан, раскуривая трубку. — Теперь мы должны обсудить, как отвести опасность, нависшую над народом, а если выражаться точнее — над нашими головами. Не так ли, кази? А?..

— Так, так, господин мой...

— Мы давно приметили этого Коротышку муллу, но не трогали из почтения к его духовному сану, и он, пользуясь нашей снисходительностью, разгуливал на свободе. Дальше это продолжаться не может.

— Гнилая душа, сбившаяся с пути праведных! — воскликнул кази, грозя невидимому мулле Аскару.

— По-моему, он сбился не только с пути, по которому идут праведные сыны аллаха, но и с того пути, по которому должны следовать слуги кагана...

— Так, так, господин мой, мудрость вещает вашими устами... Он должен быть строго наказан!

— Наказать его легко, — холодно улыбнулся дарин, — мы раздавим его, словно куклу, слепленную из сырой глины. Все дело в том, как выбить из множества голов мысли, которыми он их засорил. Знаете ли вы, кази, что в некоторых местах избивают и даже убивают наших сборщиков податей...

— О боже, не лишай нас своей милости...

— Могущество ханских войск безгранично. Но мы не желаем бесполезного кровопролития. Надо вернуть народу спокойствие мирным путем.

— В этом деле мы можем оказать помощь, — сказал кази, поняв, на что намекает длиннородый. Взгляды собеседников снова сошлись. Но теперь это были взгляды единомышленников... И долго еще длилось обсуждение неотложных мер, вызванных нарастающими беспорядками.

Длиннородый дарин, действуя по правилу: «мясо жарят в собственном сале», возложил на верховного кази ответственные поручения и самолично проводил его до выхода.

Глава восьмая

Пятеро всадников подскакали к бурной, пенистой реке и, хлестнув коней, бросились в воду. Не в силах противиться стремительному потоку, кони поплыли по течению и кое-как добрались до противоположного берега.

Всадник на рыжем иноходце молча указал в сторону пологого холма и повернул коня. Остальные последовали за ним. На вершине холма спешили, чтобы дать передохнуть лошадям, которые запаленно дышали, широко раздувая ноздри.

Вокруг раскинулась бесконечная степь. Озаренная теплыми лучами солнца, она уже налилась всеми красками осени. Воды Или блестели на изгибе словно ртуть. Дальние сады и рощицы казались отсюда пригоршнями золотых монет. На юге гордо поднимал свою величавую голову седой Тянь-Шань, как бы охраняя покой долины.

— Смотрите, вон там, на дороге, цепочка телег, — заметил первым все тот же всадник, которому принадлежал рыжий иноходец.

— Мы успели в самый раз!

— Теперь на коней!..

По дороге тянулся длинный скрипучий обоз. Дехканские телеги двигались одна за другой, впритык, — судя по сопровождавшей караван охране, везли хлеб. Впереди брели человек десять, связанные одной веревкой. Когда обоз достиг низины, превратившейся после дождей в вязкое болото, головные телеги сразу же застряли в грязи.

— Куда вы смотрели, негодяи?.. У вас что, полопались глаза?.. — крикнул один из охранников.

Погонщики, засучив штаны выше колен, полезли в грязь. Но как они ни напрягались, колеса засасывало все глубже. Испуганно храпели лошади, увязнув до самого брюха в густой непроходимой жиже.

— Разгружайте свои телеги, бездельники!..

Погонщики стали перетаскивать мешки с возов на обочину дороги. Двое поскользнулись, упали, не выдержав тяжести, распластались прямо в грязи, едва не захлебнулись, — их подняли, усадили в сторонке. Но стражники безжалостно подгоняли остальных погонщиков, действуя плетью.

Неожиданно среди криков, ругани и злобных проклятий прозвучал сухой хлопок выстрела, и в тот же миг один охранник свалился с коня. Не

успела охрана опомниться, как из высоких придорожных зарослей кустарника выскочили пятеро всадников с занесенными над головами саблями.

— Кто пошевелится — прощайся с жизнью! — крикнул передний всадник на рыжем иноходце.

— Ахтам!.. — узнал его кто-то из погонщиков. Стражники оторопели, может быть, растерявшись не столько от выстрела, сколько от имени, которое им приходилось уже слышать.

Тем временем Ахтам обратился к погонщикам:

— Братья, разве не лучше спалить весь хлеб в огне, чем отдавать его нашим кровососам?.. Но теперь все ваше: и хлеб, и обоз, поступайте, как знаете.

— Послушай, сынок, — сказал пожилой погонщик, выдвигаясь вперед, — ты отомстил за нас этим разбойникам, спасибо тебе. Однако что дальше? Ведь вы-то уйдете, а расплачиваться за все нам...

— Расплачиваться?.. Или у вас в жизни осталось что-нибудь кроме страха?.. Что еще вы боитесь потерять?.. — ответил Ахтам вопросом на вопрос.

— Чем тянуть ляжку до самой смерти, лучше хоть раз испытать судьбу, — поддержали Ахтама из толпы. — Вот что ждет каждого из нас: они виноваты только в том, что не сумели уплатить все налоги! — Группа связанных дехкан — впопыхах никто не догадался перерезать веревку — стояла в сторонке, особняком, как молчаливое подтверждение горьких слов Ахтама.

— Всему есть предел, и вашему терпению тоже, братья! Когда мы выступим локоть к локтю, с гнетом будет покончено...

— Верно... верно... — переговаривались в толпе.

— Кто с нами — выходи вперед! Кто домой — поворачивайте обратно, друзья.

Около тридцати дехкан, считая и десятерых, освобожденных от сурового наказания, вступили в отряд Ахтама. Остальные, то ли боясь последствий для себя самих, то ли не решаясь покинуть семьи, не рискнули на это и, завернув лошадей, отправились восвояси.

— Скоро наступят светлые дни! — напутствовал их Ахтам. — А у вас, наверное, крепкие поясницы, а? — шутливо обратился он к своим новым товарищам. — Смотрите, как бы не пришлось потом и вам дать стрекача!

— Наши отцы называли нас сыновьями, — ответил один из них.

— Ответ, достойный мужчин, — одобрил Ахтам. — Что ж, братья, в путь!

Новички распрягли своих коней и, оседлав, вспрыгнули на них.

— Не слышали, в каком селении сейчас Абдулла-дорга? — спросил Ахтам.

— Вчера ночевал в Чулукае. А сегодня будто бы в Турпанюзи, отправляет хлеб в ханские закрома.

— А какая с ним охрана?

— Да человек десять.

— Пока мы не покончим с Абдуллой, не будет конца податям, — сказал Умарджан.

— Может, попытаемся?.. — предложил чернобородый.

— Сынок, нельзя ли поговорить с тобой? — От дехкан отделился старик Колдаш и взял под уздцы коня Ахтама.

Они присели на берегу арыка.

— Что же вы хотели сказать мне, тага?^[104] — спросил Ахтам.

— У меня серьезный разговор, сынок. Эта ваша затея мне кажется напрасной...

— Какая затея?

— Да как же... Если вы уничтожите четырех стражников, завтра их нагрянет четыре сотни! А что вы поделаете с четырьмя сотнями?.. Смотрите, как бы на народ не обрушились новые беды, тяжелее прежних...

— Чего вам бояться на склоне лет, тага?

— Не о себе я говорю, сынок, — о народе, которому, ты сам знаешь, и так живется несладко... А вы поднимаете его на смуту...

— Что ж из того? «Если умирать — умри, но выстрели», — разве не сам народ так говорит?.. — усмехнулся Ахтам.

— Это верно, сынок, — ответил старик, подсаживаясь к Ахтаму поближе и доверительно глядя ему в глаза. — Но вспомни, когда, начав дело, доводили мы его до конца?

Ахтам задумался. Впервые, может быть, представилось ему, как огромно то, что они замыслили, как жестока будет борьба, сколько жизней захватит она и унесет с собой ради торжества народной свободы и счастья...

— Наши мусульмане говорят, что разгорится газават и воспрянет Ислам, — продолжал старик, обращаясь к погруженному в тревожные думы Ахтаму. — А что, если, заварив кашу, не найдем того, кто возьмет в свои руки знамя?.. Вот тогда и разбежимся — ты туда, я сюда... И считай — все погибло.

— Грозен гнев народа. Разве газават уже не вспыхнул вокруг?..

— Хе-хе, — ехидно подхихикнул старик, — таких «газаватов» я на

своем веку перевидел немало. А что потом? Потом всегда находятся такие, кто, еще не начав дела, уже дерется из-за постов и званий...

Эту горькую правду хорошо знал и сам Ахтам. Но в его представлении она была правдой давних времен и не могла повториться ныне.

— Тага Колдаш, — упрямо возразил он старику, — для нас один выход: не повторять старых ошибок. Или, по-вашему, мы должны обрубить острие народного гнева?

— Хе-хе... — старик опять ехидно хихикнул.

— Почему вы смеетесь, тага? — с обидой спросил Ахтам, и глаза его сердито блеснули. — Что может быть позорнее, чем жить в вечной кабале?

— Говорить легко, сынок, — перебил его старик. Он уже не улыбался, взгляд сделался решительным, твердым, — чувствовалось, он не раз обдумал все, что высказывал теперь Ахтаму. — Прежде чем болтать об уничтожении маньчжур, надо покончить с нашими собственными «маньчжурами». На них недолго свернуть себе шею, я это знаю наверняка, сынок. Я варился в кровавом котле Насруллы-бека в Учтурфане, сражался, когда ходжи объявили газават в Кашгарии. Тогда все копали друг другу могилу и становились лакомым кормом для врага...

— Вы ведете речь о наших старейшинах?

— А о ком же еще?.. Пойми, хакиму Хализату нет никакого дела до народа, ему важна судьба единственного человека в мире — его самого. Говорят, «голова двух козлов не варятся в одном котле», так и беки: они не умеют действовать сообща.

— Народ поднимается и без них!

— Даже пчелы имеют своего вожака, сынок. Людям нужен вожак, телу — голова. А где вожак, который сумеет управлять целым народом?

Не все, что говорил старик, пришлось по душе Ахтаму, но многое было справедливым и внушало уважение к уму и опыту неожиданного советчика. Ахтам пожалел, что ему не довелось побеседовать со стариком раньше, ведь его устами говорила сама жизнь. Кто в одиночку найдет правильный путь, сумеет все понять, во всем разобраться?.. Правда, у Ахтама есть неизменный наставник — мулла Аскар... Однако ведь и тот не пренебрегает чужим мнением...

— А что, тага, чем старше становишься, тем больше, наверное, дрожишь за свою жизнь?

— Я три раза был в бою, сынок. И все, что я прошу у аллаха, это позволить мне в бою и умереть.

Ахтам изумленно уставился на старика.

— Вот так, сынок. Если я лгу, пусть бог накажет меня за это, — старик

гордо ударил себя в грудь. — Но, сынок, я не хочу погибать зазя!

— Как это понимать — зазя?.. — удивился Ахтам снова.

— А так: не хочу, чтобы меня срезала сабля, как незрелый кукурузный початок.

— В этот раз все будет иначе: мы доведем дело до конца, и зазя никто не погибнет!

— Как знать... Если призадуматься над тем, что говорил вчера мулла после вечернего омовения, тогда, считай, все пропало...

— Мулла?.. Что же говорил вчера мулла?

— Всех, кто выступит против власти, причислят к неверным.

— К неверным?..

— Такая угроза — как хорошая бородавка на глазу, сынок...

— Он сам неверный!.. Ваш мулла!.. Он обманывает простаков, предатель, продавший совесть и душу!

— Так думаешь ты, но многие мусульмане прислушиваются к его словам...

— Ну что ж, посмотрим... — Ахтам не подал вида, но его смутило сообщение старика. Он растерялся и на какое-то мгновение почувствовал себя слабым и одиноким перед надвигающейся бурей.

— Идите к нам, тага, — сказал он на прощанье. — Нам нужен человек, который сумеет учить нас уму-разуму...

— Когда наступит время, мы, может быть, встретимся... А пока прощай. Всего вам доброго, сынок...

Ахтам и сам не заметил, как взлетел на коня, как сдавил его крутые бока. Свистнул в ушах, ударил в лицо ветер. Значит, вот оно что... Все, кто выступит вместе с нами, буду прокляты, объявлены неверными... Нет, опасения старого Колдаша не напрасны! Слова муллы испугают многих... Да, бородавка, огромная бородавка проросла над глазом, не так просто избавиться от нее! Когда между тобой и врагами появилась стена, ее надо разрушить, как иначе добраться до ненавистных? Сблизиться с муллами? Нет, нет, нельзя с ними садиться на одну лошадь — обманут, продадут... Но пусть, пусть только встанут на нашем пути — раздавим, подомнем, как ядовитых гадюк!..

Он гнал коня, словно стремился избавиться от неотвязных сомнений, словно неистовой этой скачкой решалась теперь вся его жизнь. В нем бушевала ярость, в груди пекло, бешено билось сердце...

Ахтам обогнал своих спутников, они остались далеко позади. Заметив близости от дороги ручей, Ахтам спрыгнул с коня, распластался над

водой, приник губами к студеной, ломившей зубы струе и пил долго. Ручей охладил его. Ахтам поднял голову, огляделся и только тут увидел, что небо покрылось тяжелыми, разбухшими черными тучами. На западе потемнело, там сверкала молния и глухо, рычащими раскатами, гремел гром. Предгрозовой ветер взметал клубы пыли, заволакивая все вокруг, до самого неба, густой беспросветной мутью. Мгла опускалась на землю, давила душу. Не успел отряд Ахтама доскакать до ручья, возле которого он остановился, как из толстых слоистых туч хлынул дождь...

Когда отряд подъехал к ложбине Турпанюзи, Ахтам приказал придержать лошадей.

— Ты поведешь наших новых товарищей, — сказал Ахтам Умарджану, — мы вас догоним.

— А как с этими? — Умарджан кивнул на стражников, которые охраняли обоз.

— Прихвати с собой. Выпадет случай — обменяем на оружие. — Ахтам роздал своим людям ружья, отобранные у охраны, и велел обменяться с конвоирами верхней одеждой.

— Если у Абдуллы десять солдат, то нас — девять, померяемся силами, — сказал Ахтам, когда Умарджан скрылся со своими товарищами за поворотом дороги. — Тронулись!..

Они добрались до Турпанюзи еще засветло, но из-за дождя улицы были совершенно безлюдны. Наконец им повстречалась женщина, которая шлепала по лужам босыми ногами, держа в руках обувь и накинув на голову драную мешковину. Завидев вооруженных всадников, она кинулась в соседний двор, но Ахтам, ехавший впереди, удержал ее.

— Не бойся, тетя, мы свои люди. Откуда держите путь?..

Женщина стояла, пряча лицо, но, видимо, чувствуя, что ей никто не угрожает.

— Из байского дома, — тихим голосом проговорила она.

— Что слышно про Абдуллу-доргу?

— Ничего не слышно. Если бы приехали большие люди, все бы всполошились, а наш бай сидит у себя дома.

— Спасибо, тетя.

Женщина торопливо зашагала прочь.

— Значит, их тут нет! — Чернобородый с досады выругался. — А если они нарочно сказали, что направляются сюда, а сами двинулись в другое место? Ведь это хитрые лисицы...

На самом деле так и получилось: Абдулла-дорга, объявив, что едет в Турпанюзи, взял путь на Джелилюзи.

— Неужели нам возвращаться с пустыми руками? — нахмурились товарищи Ахтама.

— Нет, — отвечал Ахтам, — подожжем хлебные амбары Хализата...

— Что?.. — Чернобородый не скрывал смущения. — Ведь это тяжкий грех — поджигать хлеб!

— Кормить хлебом собак в солдатской одежде — грех еще тяжелее, — решительно возразил Ахтам.

Лесные смельчаки остановились в ста шагах от хлебных амбаров. Очевидно, боясь дождя, охрана попряталась, во всяком случае, у ворот никого не было видно. Приказав двум джигитам стеречь коней, Ахтам повел остальных товарищей к воротам и, подойдя поближе, выкрикнул уверенным, повелительным тоном:

— Есть ли кто-нибудь здесь?

Никто не отвечал. Он принялся стучать в ворота.

— Кто там? — раздалось изнутри.

— Солдаты Абдуллы-дорги!

— Абдуллы-дорги?..

— Мы возвращаемся из Джелилюзи!

Охранник приоткрыл маленькое окошко в боковой дверце, выглянул, но вид людей в солдатской форме успокоил его. Раздался звон ключей.

— Да скорее, скорее, промокли до костей, — нарочито злым голосом покрикивал Ахтам.

— О боже, и в дождь нет покоя, — ворчал охранник, открывая ворота. Сильные руки сдавили его горло, охранник успел только икнуть. Его товарищи сидели в дежурке и варили мясо в чугуне. За разговором они не заметили появления джигитов.

— Салам, друзья, — поздоровался Ахтам, входя первым. При взгляде на незнакомых вооруженных людей охрана оцепенела.

— Не бойтесь, вас мы не тронем, — продолжал Ахтам. — Но ни с места. Где ключи от амбаров?

Один из охранников указал на углубление в стене над очагом.

— Брат, — обратился Ахтам к чернобородому, — заведите коней во двор и дайте им корму.

— Не следует слишком долго тут задерживаться, — настороженно огляделся по сторонам чернобородый.

— Мы здесь как за семью замками, никому не придет в голову нас заподозрить... А ну-ка, друзья, расстилайте пошире свой дастархан, самое время полакомиться вашим мясом.

— Слушаемся... — проговорил нетвердым голосом один из

охранников, поспешно поднимаясь с места.

— Есть у вас сухие дрова на растопку? — спросил Ахтам, когда на блюде появились дымящиеся разваренные ломти мяса.

— Есть... А что вы собираетесь делать? — испуганно спросил охранник.

— Скоро увидишь. Да вы не бойтесь, вы сами не получите даже щелчка в нос... Разве что заберем вот эти три ружья да еще лошадей в придачу, и дело с концом.

— А кто вы такие?

— Если завтра люди Хализата спросят, — скажите, что амбары поджег Ахтам, с них этого хватит...

...Когда Ахтам со своими друзьями добрался до богарных земель, расположенных к северу от Турпанюзи, пламя, охватившее хлебные амбары гуна Хализата, поднималось высоким багряным столбом, освещая далеко вокруг дома и деревья. Лесные смельчаки несколько мгновений, оставив коней, любовались игрой огня, потом свистнули плетками и помчались прочь.

2

— Значит, у Ахтама в отряде сейчас больше семидесяти человек... А как с оружием?

— Пятнадцать ружей и тридцать сабель, учитель. Но пуль и пороху маловато.

— Что скажешь ты, Махмуд?

— Мои кузнецы выковали пятьдесят сабель, мулла Аскар. Можно сковать еще сабель тридцать. Было бы хорошо, сумеи мы добыть настоящую сталь.

— Сколько людей ты собрал?

— Джигитов, которые только и ждут первого сигнала, у меня не меньше, чем у Ахтама.

— Теперь очередь за Семятом. Выкладывай, что у тебя за душой, сынок.

— Мы подбирали людей очень осторожно, поэтому их не так много. Что же до оружия, то мы выменяли на золото у беглых солдат пять ружей...

— Не вилай, Семят, сколько у тебя человек?

— Я и не думаю вилять, Махмуд. Тридцать пять, зато один к

одному...

— Все вы молодцы, мои родные, для начала хватит, и этого.

— Мулла Аскар, долго ли мы будем считать да пересчитывать? Время перейти к делу!

— Не горячись, Махмуд. Сегодня мы для того и встретились, чтобы все решить.

— Слава аллаху.

— Наверное, самое подходящее время для начала — день хайта^[105].

Что скажете, бурадары?

— До хайта еще десять дней. Зачем опять откладывать, мулла Аскар?

— Уста^[106] прав. Десять дней — немного, мы ждали дольше, Махмуд...

— Нам нужно время, чтобы основательно подготовиться, дети мои. В любом деле все решает подготовка, особенно в таком, которое мы затеваем...

Этот разговор между муллой Аскаром и его друзьями происходил в старой заброшенной усадьбе старосты Норуза, поблизости от Дадамту. Здесь никто не жил, кроме сторожа Илияса, и можно было не опасаться чужих глаз и ушей. После долгих горячих споров решили поднять народ в день хайта, во время молитвы, в самом крупном селении — Панджим, затем захватить крепость Актопе и с возросшими силами штурмовать Кульджу.

— Судя по всему, о наших замыслах уже известно, и восстание попытаются задушить в самом зародыше. Мы должны соблюдать величайшую осторожность, — говорил мулла Аскар. Он не одобрял Ахтама за поджог амбаров Хализата — к чему увеличивать число врагов в тот момент, когда надо всячески привлекать к себе новых союзников? Если даже среди маньчжур найдутся готовые помочь, не надо их сторониться. Ведь главная цель — свергнуть правительство, пускай соединяются все, кому оно ненавистно.

— Вряд ли мы дождемся помощи от маньчжур, уста, — начал было Ахтам, но мулла Аскар прервал его:

— Не смотри так на вещи. В грязи можно встретить бриллиант. Я ведь не говорю о богачах и сановниках, которые только и живут нашей кровью.

— И все же трудно поверить людям из чужого племени.

— Ты что же, веришь Хализату и подобным ему?

— Им я не верю, вся беда идет от них...

— Теперь ты рассуждаешь правильно, сынок, да будет смазан медом

твой язык... Запомните накрепко: честным людям, которые живут трудами рук своих, наше сердце всегда открыто, уйгуры они или китайцы... А сейчас, когда речь идет о восстании, мы не побрезгуем и нашими давними недругами, если в этом польза делу. Ведь вы все знаете Исрапил-бека? Я с ним беседовал... Он, правда, держался высокомерно, заносчиво, но и он тоже недоволен правительством, и мы не оттолкнем его, если он примкнет к нашим рядам... Единство, единство — вот наша сила!

Мулла Аскар учил своих молодых, порывистых друзей рассудительности и гибкости, уроки его усваивались с трудом: куда проще броситься на врага очертя голову, чем овладевать хитрым искусством дипломатии! Но так или иначе все пришли к выводу, что нужно использовать различные средства, если от них зависит победа. Один только Махмуд, которому по простоте душевной претили всякие тонкости, казался несогласным, но помалкивал. Под конец обговорили еще кое-какие подробности о продовольствии, лошадях, дальнейших встречах и расстались.

Чтобы не возбуждать подозрений, мулла Аскар погрузил на своего ишака пару мешков соломы и как ни в чем не бывало тронулся домой, всю дорогу распевая песни. Впрочем, ему и вправду хотелось петь. Как никогда, был он близок теперь к заветной цели, к исполнению давнишней мечты, и разве у всякого на его месте не озарилась бы ясным, радостным светом душа, не возликовало бы сердце, опьяненное предчувствием близкого торжества?.. Он пел и думал о своих юных друзьях и сподвижниках — о Маимхан и Ахтаме, о Махмуде и Семяте, о многих других, кто так же, как и он сам, с тревогой и надеждой будет ждать десятого дня, хайта, часа молитвы... Мулла Аскар не заметил, как добрался до дома.

Но странно — у порога к нему не выскочил, как Обычно, Илпатджан. И на двери нет замка. Каких воров прельстила его лачуга? Или тут постарались не воры?

Мулла Аскар не успел обернуться, как послышалось грозное: «Стой!» — и перед ним выросла громоздкая фигура Бахти.

— Что-то слишком уж вы развеселились, дорогой мулла... Развеселились, распелись, прямо как соловей на заре... Придется нам спутать ваши крылышки!..

— Ты нашел себе дело по душе, Бахти...

Два солдата вышли из домика муллы и надели Аскару наручники.

— Нет, Бахти, не на меня ты надел наручники — на свою совесть. — Мулла Аскар презрительно усмехнулся Бахти в глаза.

Солдаты во всем оставались верны своим правилам: прежде чем увести муллу, они с двух углов подожгли его ветхую лачугу.

Все это произошло поздним вечером, когда сгустились сумерки, да и хибарка муллы Аскара стояла на окраине селения, так что вначале никто ничего не заметил. Только двое подростков, которые возвращались с поля, навьючив ишаков соломой, при въезде в кишлак увидели, как вспыхнул домик Аскара. Оба оторопели, не веря своим глазам, а потом с пронзительным криком «Пожар! Пожар!» кинулись бежать вдоль улицы. Зловещая весть мигом облетела все селение и достигла дома дядюшки Сетака. Маимхан, не раздумывая, первой выскочила за ворота. Всюду слышались голоса: «Ведро!.. Везите бочку с водой!..» — и все бежали туда, где на фоне темного ночного неба вздымался столб огня.

Когда Маимхан, задыхаясь, примчалась к месту пожара, пламя уже полностью овладело домом, старые подгнившие балки громко трещали, длинные багровые языки уже лизали крышу.

— Воды, воды!.. — кричали в толпе. — Скорее!..

— А где же учитель?.. Где мулла Аскар?..

Маимхан, казалось, ничего не соображая, с мертвым, неподвижным лицом стояла перед пылающим домом, и вдруг — никто и опомниться не успел, как она ринулась прямо в огонь. Неизвестно откуда вынырнувший Хаитбаки закричал: «Махи!.. Куда ты? Сгоришь...». Со всех сторон раздавалось: «Махи! Махи...» Но она уже исчезла в дымных клубах пламени.

О, каким ярким, каким яростным светом была залита теперь знакомая ей комната, в которой обычно стоял тусклый полумрак! Маимхан бросилась к нише, где находились книги, — учитель так дорожил ими! «Кутадгу билик»^[107], «Диван лугат турки»^[108], «Джан намэ»^[109]... Она хватала все, что попадалось под руку, потом кинулась обратно, притиснув к груди тяжелую кипу, — но на пороге прямо на голову ей упал кирпич, выскользнув из-под обгоревшей балки. Маимхан покачнулась, шагнула еще раз, другой и упала, не выпустив при этом зажатые в охапку книги. Если бы не Хаитбаки, ее, возможно, погребла бы внезапно рухнувшая крыша...

Где тут было справиться с огнем, если у сбежавшихся на пожар не оказалось под руками ничего, кроме ведер! Водой плескали в пламя, но оно, казалось, не гасло, а, напротив, разрасталось все больше... Домик муллы Аскара, памятный в Дадамту каждому, — на глазах у всех превратился в груду пепла. Но односельчане жалели не столько о доме,

сколько о его хозяине, попавшем в лапы своих заклятых врагов...

— Учитель... Где мой учитель?.. — бормотала в бесспамятстве чуть живая Маимхан.

В ответ слышались горестные вздохи.

Тускло мерцал светильник, лица сидящих вокруг людей были так же темны, как размытые черные тени на глинобитных стенах. Такие лица бывают у тех, на кого пала неожиданная непоправимая беда и кто еще не успел оправиться от страшного удара. Кузнец Махмуд, ювелир Семят, портной Саляй — все они, друзья и единомышленники муллы Аскара, поникли головами и смутились сердцами, оглушенные вестью об аресте своего наставника. Разное толковали в народе по этому поводу. «Газават — вот к чему он призывал», — утверждали одни. «Давал читать книги против шариата, муллы и засадили его в тюрьму», — говорили другие. «Распуская слухи, позорящие хана», — шептались третьи. Обычно в подобных случаях власти разъясняли свои действия специальным указом, но на этот раз арест муллы Аскара был окружен зловещей тайной. Она повергла в еще большую растерянность его друзей, не знающих, с чего и как начинать действовать, каким должен быть их первый шаг.

— Ладно, что случилось — то случилось, — нарушил тяжелое молчание Махмуд. — Сколько теперь ни прячь голову в колени, это не поможет.

— Зря мы поспешили, подняли шум в мечетях...

— Подняли шум?.. — загрохотал Махмуд. — А ты думаешь, в таком деле, как наше, можно обойтись без шума, друг Саляй?..

— Бросьте ворошить прошлое, — вмешался Семят. — Давайте решать, как нам вызволить нашего учителя.

— Верно, — согласился Махмуд. — Сейчас это самое главное — как его вызволить... Тюремная сволочь все сделает за деньги. Но денег надо столько, сколько теста за один раз можно просунуть в горло верблюду!

— Это все не шуточное дело... — подавленно проговорил Саляй, покачивая головой.

— Кто же говорит, что шуточное!.. Но мы все продадим, себя самих заложим, а учителя освободим!..

— Ты лучше скажи — как? Как освободим? — перебил Махмуда Саляй. — На словах все просто...

— Мы дали клятву над Кораном, — сказал Семят. — Помнишь ли ты

ее, Саяй?.. Мы поклялись всегда и во всем быть вместе, даже если нам будет грозить смерть!..

— Правильно, Семят! — подхватил Махмуд. — Мужчина хранит верность своему слову! И к делу, к делу, братья...

— К делу... О каком деле ты еще говоришь? — возразил Саяй, беспомощно разводя руками. — Самое лучшее для нас — закрыть крышку котла, который кипел несколько дней, а теперь, когда погас огонь...

— Что?.. Что ты сказал, портняжка?.. — Махмуд подскочил к Саяю, стиснув свои громадные кулаки. Боязливые глаза Саяя сверкнули стеклянным, неживым блеском.

— погоди, Махмуд, сядь, — остановил кузнеца рассудительный Семят. — Самое время сейчас затеять побоище между нами самими...

Махмуд, через силу сдержав себя, вернулся на место, сел, сжимая кулаки, похожие на два молота, — не вмешайся Семят, Саяю, наверное, пришлось бы испытать на себе их тяжесть.

— Я не могу идти наугад с закрытыми глазами, — проговорил Саяй после недолгого молчания.

— У каждого из нас один повелитель — совесть, — сказал Семят. — Мы не станем тебя удерживать.

— Нечего было тебе и путаться с нами, заячья ты душонка, — презрительно отозвался Махмуд. — Бери в руки ножницы да крои свои тряпки...

Они разошлись, ничего не решив.

Как раненый тигр, метался по своему двору разъяренный кузнец, сокрушая все, что ни попадало под руку. Одна за другой разлетелись на части две сабли — сам ковал, сам и сломал их о наковальню.

— И это люди?.. — повторял он про себя, меряя двор взад и вперед широкими шагами. — Те самые люди, которым так верил мулла Аскар?.. Болваны! Пышнохвостые индюки! Еще кровью не пахло, а они уже... Бабники! Растирала бы сурьму для своих жен, а не болтали о сражениях!.. — Махмуд чувствовал себя опозоренным перед муллой Аскаром, перед всеми на свете! Он был готов схватить обоюдоострый меч, кинуться к тюрьме и, если не освободить муллу Аскара, то, по крайней мере, — принять смерть, достойную джигита!.. Он был готов, готов на все! Но всякий раз, уже чуть ли не у ворот, его настигал плач ребенка, только что родившегося первенца-сына, — и Махмуд останавливался, сумрачно вздыхал и возвращался в дом, чтобы унять надрывающий душу крик. Здесь его встречал утомленный, больной от бессонницы взгляд жены; опершись

о люльку локтем, она кормила грудью малютку-сына. И столько щемящего тепла было в этой картине, что сердце кузнеца таяло, подобно железу на огне, и таяли прежняя решительность и твердость... Но и в такие мгновения Махмуда не оставляла мысль, что он не отступит от намеченного, кузнец стряхивал с себя предательскую слабость, сжимал зубы, возвращался во двор и... все повторялось сызнова.

Кто-то постучал в ворота. Махмуд, забыв об опасности, которая могла нагрянуть в любую минуту, отворил калитку. Оказалось, что это Семят.

— Поговорим здесь, не заходя в дом, — сказал он, — только закрой ворота поплотнее... Ты что, собрался куда-то? Что это за меч в твоих руках?

— А ты уже испугался, заяц?..

— Дело покажет, кто заяц, а кто коршун...

— Вижу вас всех насквозь!

— Значит, не насквозь. Тебе только играть с мечами да саблями...

— А ты что, дрожишь за свою поганую жизнь?

— Я ничего не хотел говорить при Саляе...

— Струсил?

— Может быть. Но в таких случаях лучше выбрать осторожность.

Портной-то, похоже, раскаивается...

— С самого начала надо было всыпать ему, куда следует, и отпустить на все четыре стороны.

— Он знает все наши планы, так что я на всякий случай...

— Что — на всякий случай? Не тyani, выкладывай, что у тебя за душой?..

— Саляй — трусливый человек, ты сам знаешь. Как бы его трусость для нас не обернулась бедой.

— Тогда покончим с ним — и концы в воду.

— Ни с того ни с сего — покончить?.. Так нельзя.

— Что же мы, миловаться с ним должны, пока он вас всех не выдаст?

— Оставим Саляя. Перейдем к нашим собственным делам. Мы не сможем дальше оставаться в городе, Махмуд. Нам нужно соединиться с Ахтамом и начать восстание с гор.

— По мне хоть с пустыни. Лишь бы не мешкать.

— Готовь тогда на завтра своих джигитов. Я тоже подготовлюсь, а вечером выступим из города.

— Мои джигиты готовы в любую минуту.

— Повара Салима оставим для связи. Его никто не заподозрит. А насчет муллы Аскара посоветуемся с Ахтамом. Я думаю, освободить

нашего учителя придется силой, другого выхода нет.

— Вот теперь ты говоришь дело, брат.

— Я пошел. Если Салим вернулся из кишлака, надо кое-что ему передать. Прощай, Махмуд...

2

Миновало несколько дней, и ранка на голове у Маимхан затянулась, что же до ее душевной раны, то день ото дня она болела все больше. Бедный мулла Аскар!

Он томится в тюрьме, он в кандалах, он страдает, одному аллаху известно, что его ждет, а она ничего не делает, чтобы ему помочь, ее даже не выпускают из дома! Вдобавок — ничего достоверного о судьбе учителя никто не знает, хотя слухами и домыслами полно все Дадамту! Хаитбаки ездил в город за лекарствами для Маимхан, но и там не добился ничего путного... К тому же дядюшка Сетак и тетушка Азнихан последнее время очень явно давали понять Хаитбаки, что не желают видеть его в своем доме. На них, впрочем, было трудно обижаться — напуганные базарными сплетнями и пересудами о связях Маимхан с взятым под стражу муллой, старики совсем потеряли головы от страха за свою дочь. А староста Норуз по-прежнему не оставлял их в покое, коварно пользуясь обстоятельствами, чтобы исполнить давний, замысел... Вот и сегодня он вызвал к себе дядюшку Сетака с женой, прислал за ними своего работника, и в его сопровождении оба старика поплелись по заплывшим грязью улицам.

Увидев, что Маимхан осталась без бдительного присмотра, Хаитбаки мигом очутился у нее во дворе. Маимхан расчесывала густейшие волосы у своей младшей сестренки, заплетая их в тонкие косички.

— Куда это направился дядюшка Сетак? — спросил Хаитбаки.

— А сам ты не догадываешься? — ответила вопросом на вопрос Маимхан, не поворачивая головы.

— Наверное, опять старая лиса...

— Если догадался, к чему спрашивать?

— Да так, с языка сорвалось...

— Тогда незачем переливать из пустого в порожнее, — резко заключила Маимхан. — Лучше позаботимся об учителе...

Хаитбаки раскрыл было рот, чтобы что-то возразить, но так ничего и не сказал. Глазенки маленькой Минихан, похожие на ягоды черной смородины, с любопытством следили за ним и сестрой.

— Пойди-ка, вертушка, поиграй у Селимам, — проговорила Маимхан, заплетая последнюю косичку. Минихан подозрительно оглядела Хаитбаки и сестру, облизнула кончиком языка губы цвета китайской черешни и с сожалением пошла со двора.

— Ты можешь добыть лошадей и телегу? — спросила Маим.

— Лошадей и телегу? — удивился Хаитбаки. — Зачем они тебе вдруг понадобились?

— Я спрашиваю — можешь?

— Отчего же...

— Тогда нагрузи телегу дынями, а когда стемнеет, жди меня у мельницы.

— Куда ты собралась ехать?

— Во дворец.

— Во дворец?!

— А дыни мы привезем в подарок от лисицы Норуза...

Не задавая лишних вопросов, Хаитбаки поспешно отправился исполнить поручение.

Когда Маимхан и Хаитбаки на телеге, доверху нагруженной дынями, подъезжали к дворцовой площади, в самом дворце веселье было в разгаре. Звучала музыка, слышались оживленные голоса, и всюду так ярко сияли огни множества фонарей, что при их свете, казалось, даже иголка не останется незамеченной. Однако страже и слугам передалась общая беспечность, и Маимхан, которая в прошлый раз хорошо запомнила все ходы и выходы, без большого труда сумела пробраться через хозяйственные ворота во внутренний двор, где искусные танцоры услаждали представлением пеструю толпу гостей и придворных.

В центре двора под мелодию «Санем сада» плавно двигалась как бы сотканная из цветов лодка, впереди выступал одетый в красный атлас лодочник. Суденышко раскачивалось, кренилось набок, снова выпрямлялось и горделиво продолжало путь. А смелый кормчий отважно правил хрупким челноком, борясь с бурей.

Женщины, затаив дыхание, следили с верхних галерей за танцем, и даже не склонные к утонченным переживаниям беки, окружавшие гуна Хализата, то и дело издавали восторженные возгласы. Наконец лодочник, словно вынырнув из-под крутой волны, остановился перед хакимом и вместе с танцором, вышедшим из лодки и одетым во все белое, склонился в глубоком поклоне. Гун в ответ слабо кивнул — это значило, что и он доволен.

Потом новые актеры исполнили песню «Рамзан шерип», за ними акробаты в зеленых одеяниях прыгали, как мячи, и вращались, как мельничные колеса. И хотя Маимхан спешила выполнить то, ради чего проникла во дворец, ее так захватило зрелище, что она не в силах была оторваться, особенно, когда появились борцы. Лица их напряглись, ноги так уперлись в землю, что, казалось, вот-вот вдавятся в нее; оба стояли, свирепо стиснув друг друга, пока тот, у которого длинные, как грива, волосы падали до плеч, не поднял соперника и не ударил оземь; при этом раздался гул, будто рухнуло дерево. Все зашумели, приветствуя победителя.

Воспользовавшись этим шумом, Маимхан юркнула внутрь дворца, на женскую половину. Ее остановила служанка, стоявшая у лестницы, ведущей на галерею.

— Кто ты? — спросила она, приблизив руку со свечой к лицу Маимхан, и тут же с радостным изумлением узнала ее. — Откуда ты взялась, доченька?..

— Скажите, тетушка, как мне увидеть ханум из Дадамту?

— погоди, погоди, дай-ка хоть посмотреть на тебя... Мы тут часто о тебе вспоминали, тревожились — как ты, что с тобой... Ведь твой учитель, говорят...

— Тетушка, родная, я очень спешу...

— Поднимись по этой лестнице и сверни направо. Ханум из Дадамту сидит на крайнем балконе. А у Мастуры-ханум разболелась голова, и она ушла к себе... Как же ты теперь живешь, доченька?.. Ведь столько времени прошло...

Маимхан было не до разговоров. Стремительно взбежала она наверх, отыскала дверцы в угловую балконную нишу — и, на цыпочках прокравшись в нее, обвила сзади шею Лайли руками. Та испуганно обернулась и в первое мгновение не поверила глазам.

— Это ты?.. Как тебе удалось?..

— Я все, все тебе расскажу, только чтобы нам никто не мешал...

— Пойдем... — Лайли сжала руку Маимхан и повела за собой. Через минуту подруги очутились в комнате Лайли. Защелкнув дверь на задвижку, Лайли пододвинула к Маимхан красивый низенький столик, уставленный фруктами и сладостями.

— Хочешь, я велю подать чай?

— Нет, не беспокойся, это лишнее. — Маимхан взяла с расписного блюда грушу, спелую, нежную, тающую на губах — и на какой-то миг все беды, обрушившиеся на нее, вдруг показались ей просто дурным сном.

Словно собираясь с силами, она молча, не проронив ни звука, съела всю грушу, слизнула сладкий сок с кончиков пальцев и только тогда приступила к своему горькому рассказу.

Лайли слушала ее, не отводя от лица подруги глаз, полных слез.

— С тех пор как арестовали учителя, я больше не могу ни о чем думать. Его надо спасти, Лайли, сласти, чего бы то ни стоило.

— Что можем мы сделать, ты или я?..

— А Мастура-ханум? Что ты скажешь о ней?..

Лайли медлила с ответом. Со слов самого Хализата она знала, что мулле Аскару предъявляют очень тяжелые обвинения.

— Мне тоже кое-что известно обо всем этом, — сказала наконец Лайли, глубоко вздохнув. — Судя по тому, как о мулле Аскаре говорил длиннобородый дарин, он вряд ли...

— Ну, ну, что же ты замолчала?.. Не скрывай! — Маимхан обхватила подругу за плечи.

— ...Он вряд, ли выйдет из тюрьмы живым, добрый наш мулла Аскар...

— Вот как... — Маимхан поднялась и, ничего не замечая вокруг широко раскрытыми глазами, направилась к двери.

— Куда же ты, куда ты, Махим!.. — Лайли бросилась к Маимхан, обняла и усадила на прежнее место. — Ты стала на себя не похожа за это время, Махим...

— Не знаю, может быть...

— Давай попробуем поговорить с Мастурой-ханум, — сказала Лайли, сама не особенно надеясь на успех, но чувствуя, что необходимо хоть как-нибудь облегчить страдания Маимхан. — Ты пока посиди, отдохни, я скоро вернусь.

...Она едва перешагнула порог — и тут же бросилась Мастуре в ноги. Та растерялась: впервые видела она в таком состоянии Лайли.

— Какое горе привело вас ко мне? — В голосе Мастуры звучало искреннее участие. Следует заметить, что с недавних пор она вообще начала благосклонней относиться к ханум из Дадамту: то ли поняла Мастура, что вина за все лежит не на бедняжке Лайли, а на самом Хализате, то ли по какой-то иной причине, но было похоже, что гнев она сменила на милость.

— Сестра, — сказала тихо Лайли, подняв глаза на Мастуру, — я осмелилась прийти с такой... такой просьбой, что она покажется вам...

— Говорите все, не бойтесь. Для меня будет приятно выполнить любое ваше желание. Пока еще аллаху угодно, чтобы ключи дворца

хранились в моих руках.

— Но это... Вы даже не догадываетесь, о чем хочу я вас просить...

— Полно, полно, милая моя. Или, может быть, вы убили человека?!

— Что вы, Мастура-ханум, разве я решилась бы на такое?..

— Так что же случилось? — В голосе Мастуры пробились нетерпеливые нотки.

— Аскар... Тот самый, которого называют «мулла-коротышка»...

— Да, я знаю. Но что вам до него за дело? — Мастура приблизилась к Лайли. Теперь она смотрела на молодую женщину с недоумением.

— Не мне, Мастура-ханум, — речь о Маимхан.

— Маимхан?.. Постой, постой... Кажется, и в самом деле я что-то такое слышала... — Мастура, силясь вспомнить, сдвинула на переносье густые брови.

— Маимхан хлопочет об освобождении своего учителя. Она надеется только на вас, ханум.

— Где же она?

— У меня в комнате.

— Пусть она придет сюда.

Пока Лайли ходила за Маимхан, Мастура с помощью Шариван привела себя в порядок. Ей нездоровилось, и на ее побледневшем лице резко выделялись длинные густые ресницы и черные запавшие глаза.

— Входи, входи, милая, — ободрила она Маимхан, когда та появилась на пороге. — Как ты себя чувствуешь? — Она первой сделала шаг в сторону Маимхан.

— Простите меня, ханум, — благодарно улыбнулась ей девушка.

Мастуре было известно, какое значение придавалось делу муллы Аскара в правительственных кругах. Но ей не хотелось безжалостно перечеркивать надежды Маимхан, и она молчала, стараясь подобрать нужные слова.

— Пойми, Маимхан, — заговорила наконец Мастура, — сейчас трудно и думать о том, чтобы освободить муллу из зиндана...

Маимхан кинулась к Мастуре: все ее тело была нервная дрожь; надежда, мольба, отчаяние — чего только не было в ее лице в эти мгновения!..

— Потерпи, дочка, — продолжала Мастура, прощая девушке ее порыв, — но ты сама должна понять, как просто попасть человеку в большой зиндан и как сложно выбраться оттуда.

— Неужели нет никакого спасения, ханум?.. — еще боясь расстаться с остатками надежды, переспросила Маимхан.

— Я думаю, что нет, — ответила ханум решительно и так же решительно и резко продолжала: — Ты должна знать всю правду, дочка: нечего черную кошму выдавать за белую.

Они стояли друг против друга и так близко, что Маимхан, казалось, чувствовала на своих щеках холодное дыхание Мастуры, и это дыхание обдало ее с ног до головы и проникло к самому сердцу. Она пристально посмотрела на Мастуру, не обмолвилась больше ни словом и вышла из комнаты.

Теперь ей хотелось одного: поскорей выбраться отсюда. Она торопливо простилась с Лайли.

— Постой, постой же, мне надо еще кое-что тебе сказать, — пыталась удержать ее подруга. Но Маимхан смотрела на нее, как бы спрашивая: «О чем еще нам разговаривать?..»

— Возьми себя в руки, — бормотала растерянная Лайли, — и ты и Ахтам — будьте осторожны..

— Не беспокойся за нас, Лайли...

— Может быть, все еще кончится благополучно... Отыщется выход..

Ей так хотелось утешить свою единственную подругу, но чем?.. Маимхан молча слушала ее беспомощный лепет. Лишь на прощанье они обнялись и крепко, словно в последний раз, приникли одна к другой.

В тот момент, когда опорожненная от дынь телега выезжала из задних ворот дворца, дважды выстрелила пушка, оповещающая подданных великого кагана о наступлении часа ночного сна.

Хаитбаки сумрачно нахлестывал лошадь. Маимхан сидела рядом с ним, погруженная в свои мысли, неподвижная, сосредоточенная. Что-то надо сделать, что-то предпринять, пока учителя еще не передали в руки палачам... О чем думает Ахтам? Куда попрятались друзья и сторонники муллы Аскара, которых он ей однажды перечислил? Нет муллы Аскара — нет головы у тела... Неужели все погибло и дело, начатое с таким трудом, обречено?.. Нет, нет, его надо продолжить во что бы то ни стало...

— Видно, мало толку от ханум, на которых ты рассчитывала? — спросил Хаитбаки. Они уже миновали городскую стену и ехали по дороге, ведущей в Дадамту.

Ветер гнал в небе облака, луна то и дело ныряла в них, и тогда все вокруг погружалось в густую тьму. В сыром воздухе пахло гнилью. Лошаденка, которой и без дальних поездок хватало работы в крестьянском хозяйстве, плелась из последних сил. Немазаные колеса, оставляя неровный след, жалобно и неумолчно скрипели, словно пели свой

извечный тоскливый мукам.

— Скажи, Хаитбаки, о чем ты думал все это время?..

— Пока ты была во дворце?.. Ни о чем. Просто переживал за тебя.

До самого Дадамту она больше не проронила ни слова. Вблизи от своего дома Маимхан прыгнула с телеги, прошла рядом несколько шагов и, не поворачивая головы, бросила:

— Не позднее, чем завтра, надо связаться с Ахтамом.

— Не беспокойся, Махи, все будет сделано.

— Прощай, Хаитбаки! — Она побежала к дому.

Ночь прошла тихо, но утром, когда семья собралась за чаем, Маимхан ждало неприятное объяснение с отцом. Получилось так, что лиса Норуз вынудил не отличавшегося твердостью дядюшку Сетак согласиться выдать свою дочь за Бахти. Разумеется, бедняга Сетак решился на это с таким чувством, как если бы от него потребовалось подписать смертный приговор для самого себя, но обстоятельства не оставляли ему другого выхода.

Все эти дни тетушка Азнихан ходила словно помешанная. Если с ней заговаривали, она смотрела перед собой с тупым напряжением, не понимая ни слова. Страдая за дочь, она таяла на глазах у всех, таяла и гасла, как догорающая свечка.

— С нынешнего дня чтоб ты и носу из дома не высунула без моего разрешения, — сказал Сетак дочери, и лицо его при этом из багрового стало до синевы белым.

— Лучше уж сразу привяжите меня веревкой, как овцу — с усмешкой отвечала Маимхан.

— Бесстыдная девчонка... Это все от ученья, да!.. — Дядюшка Сетак хотел казаться очень грозным, но в горле у него запершило, закололо, будто там застряла кость.

— О аллах, ты все сам видишь, все знаешь... — вздохнула тетушка Азнихан.

— Бесстыдство — это все-таки лучше, чем раболепство... — Маимхан поднялась, прошла к себе в спальную комнату. Родители остались молча сидеть за опустевшим столом.

«Со всей ответственностью сообщаю вашей светлости, господин жанжун, — так начиналось письмо длиннородого дарина, — что опасность предупреждена. Предводитель заговорщиков, человек по имени Аскар схвачен и брошен в зиндан. Таким образом, голова змеи раздавлена. Что касается хвоста, то уничтожить его не представляет большого труда. Руководствуясь указаниями вашей светлости, раскрыв глаза, насторожив уши, нацелив рассудок, мы неустанно следим за чаньту, держа наготове вверенные нам войска. Наши агенты действуют смело и находчиво. Судя по достоверным донесениям, нити недавнего заговора ведут к названному Аскару. Установлено, что среди черни арест Аскара возбудил волнение. Во избежание всякого рода случайностей я решаюсь просить не прекращать состояния боевой готовности еще некоторое время. Аскара допрашивали дважды, но на обоих допросах преступник отрицал предъявленные обвинения. Видимо, этот человек — не рядовой чаньту, и будут испытаны все средства, чтобы принудить его заговорить. О дальнейшем развитии событий я своевременно извещу вашу светлость.

Ваш верный раб Ван, шанжан».

Письмо длиннородого дарина несколько успокоило его превосходительство, но было ясно, что опасность еще не миновала. Получив письмо, жанжун той же ночью приехал в Кульджу. Обычно, когда он еще только приближался к городу, раздавался залп из семи пушек, и, заслышав выстрелы, все жители должны были прервать любые дела и занятая и застыть на месте, скрестив руки на груди. На этот раз традиционная церемония не состоялась, ее заменил усиленный наряд патрулей на городских улицах и площадях.

— Меня удивляет, — сказал жанжун, просматривая материалы допросов муллы Аскара, — меня удивляет, господин дарин, что среди

бунтовщиков появляются люди духовного звания. Религия и бунт — невероятное сочетание!

— Мне кажется, Аскар всю свою жизнь не столько проповедовал религию, сколько подрывал ее основы. Я достаточно хорошо изучил его, чтобы утверждать это. Аскар всегда выступал соперником и противником духовенства, призывавшего к сотрудничеству с нами и повиновению властям. Обратите внимание на эти бумаги, ваша светлость. — Длиннобородый пододвинул жанжуну стопку бумаг.

Жанжун, кисло поморщившись, начал читать, но перевернул только несколько листков.

— Эти чаньту подобны язвам на здоровом теле, — проговорил он, хлопнув себя по коленям. — Никакой им пощады, никакого снисхождения, вы слышите, господин дарин?

— Все это, ваша светлость, не просто прошения в пользу Аскара, это его оправдание и защита.

— Опасный человек... Но при удобном случае следует расправиться и с теми, кто вздумал его защищать.

— Совершеннейшая правда, ваша светлость. Я прибавил бы к вашим словам только то, что мы должны соблюдать величайшую осторожность.

— То есть?

— Легко убить тигра, попавшего в капкан. Важно посадить в клетку тех, кто еще на свободе.

— Говорите яснее.

— Если мы поспешим с казнью Аскара, то лишь подольем масла в огонь.

— Так что вы предлагаете? — Жанжун поднялся с места и начал набивать свою длинную трубку.

— Я думаю, до тех пор, пока мы не обрежем крылья мятежникам, таким, как Ахтам, живой Аскар для нас полезней мертвого.

Потягивая трубку, жанжун размышлял над сказанным. Длиннобородый хотел упомянуть еще о Маимхан, но не посмел больше тревожить жанжуна. Да и неловко было докладывать его сиятельству всего-навсего о какой-то девчонке.

— Чем же вы занимались до этого времени, если не могли поймать беглого каторжника?

— Он прячется в таком месте, где его очень трудно захватить. Две наши попытки не дали результатов. Солдаты не привыкли действовать в горных условиях...

— А почему бездельничает Хализат? Этого осла надо использовать в

подобных случаях...

— Мы ждали ваших указаний.

— Я даю вам срок — одну неделю. Если вы не покончите с Ахтамом, тогда... Тогда пеняйте на себя...

— Последние дни я занимался заговором Аскара. Теперь наступает очередь приняться за Ахтама и прочих.

— Шанжан, именно сейчас необходимо взяться за создание уйгурских военных отрядов, о которых мы с вами говорили прежде.

— Сейчас ли?..

— Вы возражаете? — Жанжун побледнел: он все время чувствовал, как длиннобородый незаметно, с подобострастной улыбкой переиначивает его мысли, поправляет, подправляет и в заключение получается так, как хотел бы он сам, а не так, как желал жанжун.

— Если мы создадим военные части из чаньту, то не вложим ли тем самым в руки врага оружие против себя, и притом в столь критический момент?

Жанжун, сознавая превосходство длиннобородого, мрачно уставился на него и ничего не ответил.

— Но все, разумеется, будет исполнено, как хотелось бы вашей светлости...

— Ладно, поговорим об этом после, — проворчал жанжун.

Обсудив вопросы, связанные с Аскарком и подавлением зародившегося мятежа, в частности — вопрос о неотложной экспедиции против Ахтама, жанжун выехал из Кульджи в Куру. Что же до длиннобородого дарина, то он отправился ро дворец к Хализату.

— Господин гун, — сказал длиннобородый, снимая кожицу с розового суйдунского^[110] персика, — по вашей милости и милости кази-калана мне пришлось забыть, что такое покой. — Он усмехнулся и проглотил персик, наполненный ароматным соком.

Хализат и кази-калан переглянулись и тоже рассмеялись, правда, несколько смущенно.

— Светлый разум господина шанжана — залог спокойствия не только для каждого из нас, но и для всего Илийского вилайета, — вкрадчиво заметил Хализат.

— Вот именно, — подхватил кази-калан, — для всего вилайета. Ведь такие разбойники, как этот Аскар, — это враги не только правительственной власти, они выступают против порядка, установленного аллахом.

Длиннобородый дарин желчно улыбнулся последним словам кази-калана. «Уж тебе бы держать язык за зубами, бухарский ишак, объевшийся кизяком», — хотелось сказать ему, но он смолчал. В расчеты шанжана не входило ссориться с гуном и его окружением.

— Смута подавлена. Все войдет в свою колею, если будет на то воля аллаха, — проговорил Хализат.

— Нет, господа, — отрицательно покачал головой длиннобородый. — Я посетил сегодня его превосходительство жанжуна...

— И что же, господин дарин?..

— Я думаю, в ближайшие дни нам предстоит еще немало хлопот. Нам, то есть не одному мне, но и вам, господин гун, и вам, господин кази-калан... — Длиннобородый одарил каждого из сидящих перед ним любезной улыбкой. — Если, разумеется, вы дорожите благорасположением жанжуна...

У обоих его собеседников беспокойно вздрогнули зрачки.

— Жанжун доволен арестом Аскара, но считает, что еще рано радоваться нашим успехам. Семь дней, и ни единым днем больше — вот срок, которым мы располагаем для поимки Ахтама и остальных мятежников. — Длиннобородый потянулся к блюду с фруктами, выбрал персик покрупнее и не спеша принялся очищать его от кожицы.

— Я готов служить его сиятельству всем, чем могу, — сказал Хализат, настороженно следя за движениями тонких гибких пальцев дарина. — Я широко раскрою двери своей казны перед любым смельчаком, который доставит голову этого разбойника...

— По закону шариата его нужно засечь до смерти! — воскликнул кази-калан, лихорадочно теребя бороду. — Только бы получить его в руки живым!..

— Господин кази, от самых страшных проклятии, которые мы станем произносить, сидя в комнате, не будет никакого проку, — холодно прервал длиннобородый и с таким выражением, с каким плюнул бы ему в лицо, сплюнул на пол.

— Вы правы, господин дарин...

— Сейчас не время играть в кошки-мышки. Нас ожидают более серьезные занятия.

— Господин дарин всегда может рассчитывать на нашу помощь, — сказал Хализат.

— Тогда с завтрашнего дня принимаемся за дело.

— Да пошлет аллах нам удачу!..

— Понадобятся люди, хорошо знающие горную местность.

— Такие люди у нас найдутся, господин дарин!..

Длиннобородый разделил персик на половники и, поочередно переводя взгляд с Хализата на кази-калана, проглотил — сначала одну половинку, затем другую.

2

Судя по тому, как прибрано было во дворе старосты Норуза, — даже улица перед его домом была выметена и полита водой, — ожидался приезд гостей, и гостей высоких. Сам хозяин, бледный от волнения, осунувшийся и словно похудевший за одну ночь, истерзанный тщеславием и множеством забот, в этот день поднялся раньше всех. Его резкий, пронзительный голос раздавался и на скотном дворе, и в поле, и на винограднике, и в кухне, никому ни на минуту не давая покоя. Староста Норуз самолично наблюдал, как метут двор, указывал, где расстелить новую кошму, поучал женщин, как резать мясо и чистить морковь, не спускал глаз со стола, который накрывали в комнате, предназначенной для особых торжеств.

— Эй, бездельники! — шумел он. — Почему просыпали рис?.. А мука, мука? Да у вас дырявые мешки! Вы что, разорить меня задумали, прохвосты?.. Эй, Джалил, где шкура от барана?.. Развесь ее хорошенько, да смотри, чтоб сорока не поклевала!.. Поглядите-ка на этого болвана Турды! Эй, что ты там стоишь, как пень, почему не принес угли для шашлыка?.. Хеличам, ты что, курносая, воробьев считаешь?.. Огонь-то у тебя совсем погас!..

— А ну, проходите, проходите дальше, нечего глаза пялить! — покрикивал Норуз на любопытных соседей, которые норовили заглянуть в калитку или, на худой конец, хотя бы в щелку в заборе. Никого из своих работников Норуз не выпускал со двора ни на минуту — такой народ, унесут, утащат, сопрут что-нибудь среди бела дня — за всеми одному не уследить! Всех, кто не принимал участия в приготовлениях, Норуз, чтоб не путались под ногами, отправил в поле.

Но вот наступило время молитвы, староста Норуз в последний раз все оглядел, проверил. Хотелось ему хоть кончиком языка попробовать кушанья, одним своим видом и запахом разжигавшие аппетит, но нельзя — ураза!.. Кое-как прочитав молитву, Норуз присел на супе — небольшом возвышении возле ворот — и начал поджидать гостей. Ждать пришлось ему недолго: вскоре на дороге, ведущей из города, показалось несколько

всадников.

— Эй, бездельники! — завопил Норуз охрипшим голосом. — Встречайте гостей!.. Да коней, коней примите!..

«Бездельники» бросились к воротам...

Проскакав по улицам Дадамту, лошади подняли такую пыль, что в густейшем ее облаке почти не разглядеть было лиц всадников...

— Салам, господин дорга-бек, — сложив на груди руки, приветствовал Норуз Абдуллу. Тому слуги помогали сойти с седла, а это было нелегким делом и для слуг, и для самого Абдуллы.

— Не угодно ли перед вечерней трапезой отдохнуть в холодке? — изогнулся в поклоне Норуз, когда гости прошли во двор. Абдулла-дорга ничего не ответил, но, насупив брови, последовал за хозяином в сад. За Абдуллой неотступно следовали трое прибывших с ним спутников. Их налитые кровью глаза и устрашающий вид любого могли привести в трепет.

— Наверное, вас предупредили о нашем выезде? — спросил дорга, усаживаясь на толстую корпачу.

— Конечно, кое-что слышали, мой бек... — Норуз стесненно хихикнул.

— Этот разбойник Ахтам со своей голоштанной сволочью — наказание, посланное аллахом на наши головы, — продолжал дорга.

— Верно, верно...

— Отец ходжа и длиннобородый дарин поручили мне изловить Ахтама...

— Надо думать, уж теперь этому вору никуда не деться, — поддакнул Норуз.

— Есть и еще кое-какие заботы, но о них после. А пока немного передохнем. — Абдулла широко зевнул, стараясь зевотой подавить проснувшийся голод.

— Конечно, конечно, мой бек. — Норуз подложил дорге под бок пару пуховых подушек. На этом беседа оборвалась. Но по мере приближения часа вечерней трапезы у именитого гостя сохло во рту, глухо урчало в огромном животе, и Абдулла, который славился чревоугодием, начинал терять последнее терпение, чувствуя аппетитный аромат, доносящийся в сад со двора, где булькали котлы и звякала посуда. Солнце, однако, медлило на горизонте, и в его предзакатных лучах особенно соблазнительно атели, готовые под собственной тяжестью сорваться с ветвей налитые персики и нежные груши...

В саду появился Бахти, жирное лицо его так и лоснилось от улыбки.

— Салам алейкум, отец дорга! — проговорил он, почтительно приложив к груди руки.

Дорга в ответ кивнул, но не промолвил ни слова.

— Отправили ли мальчика послушать азан^[111], Бахти? — спросил Норуз у сына, превосходно понимая состояние дорги.

— Да, да, уже, отправили, — отвечал Бахти, перехватив едва заметное подмигивание отца, и бросился во двор.

Дорга как будто проснулся от этих слов, поднял голову, посмотрел на запад. Солнце нехотя склонялось к закату.

— Где будет угодно приступить к трапезе, мой бек, здесь или в гостиной?

— Мне все равно, — нетерпеливо отозвался Абдулла. Можно было заключить, что он готов направиться хоть на конюшню, лишь бы поближе к пище.

Длинный низенький столик посреди гостиной был сплошь уставлен разными яствами. Пока гости совершали омовение, со всех сторон слышались детские голоса: «Азан! Азан!» Не дожидаясь приглашения хозяина, Абдулла наскоро пробормотал: «Алла хамма накасанту ва елайку иптарту»^[112]... — не дочитал молитвы, Отхлебнул из пиалы глоток воды, как предписывалось обычаем, и приступил к еде. Примеру дорги последовали остальные.

Начали с того, что выпили по пиале чая, закусывая фруктами. Дальше подали мелко крошенную лапшу. Затем сменилось несколько кушаний: жирная самса — жарким из курицы, жаркое — шашлыком. Никто не отказался отведать и то, и другое, и третье. Перед тем как приступить к главному, ответственнейшему блюду — благородному плову, — полагалось произнести вечернюю молитву. Гости приступили к обряду. Но отяжелевший от пищи и питья Абдулла оказался не в силах самостоятельно совершить омовение. В таких случаях дома ему приходили на помощь жена или слуги, сегодня их заменил Норуз. Дорга вначале испытывал неловкость перед малознакомым человеком, но староста Норуз угодливо приговаривал: «Не беспокойтесь, мой бек. И вы и я — мы оба мужчины». Абдулла читал молитву сидя. После молитвы принесли плов с мясом перепелов. Все засучили повыше рукава и с таким азартом накинулись на еду, словно никто перед этим не отведал ни кусочка. Дорга, налегая на стол животом, ни разу не разогнулся, пока стоящая перед ним большая тарелка не опустела. Только тогда он откинулся назад и тяжело рыгнул.

— Пусть Бахтияхун никуда не уходит, — распорядился он, приступая к дыне.

— Конечно, конечно, мой бек, — отвечал Норуз.

Тут Абдулла закашлялся, поперхнувшись куском дыни, — ломоть, который он держал в руках наготове, выпал и соскользнул на пол. Дорга только теперь как будто почувствовал некоторую неловкость, обтер потное лицо полотенцем и отодвинулся от стола. Но лиса Норуз прикинулся слепым:

— Я велел охладить кумыс в родниковой воде, не хотите ли отведать, мой бек?..

— Можно бы немного подождать... Но если ты просишь — что же... — Дорга нахмурился, оглядывая своих людей, которые, не отрываясь, уплетали дыню ломоть за ломтем.

Трижды появились на столе деревянные чашки, наполненные кумысом, но беседа все не клеилась. Наконец дорга объявил, что пора перейти к делу.

— Готов внимать вам обоими ушами и сердцем, — преданно отозвался Норуз, умильно уставясь на Абдуллу. Бахти тоже не отрывал глаз от дорги.

— Здесь все свои, можно говорить начистоту?..

— Именно так, мой бек, — считайте, что все мы — ваши вернейшие рабы!

— Завтра сюда прибудет рота солдат.

— Рота солдат?.. О-о!..

— Я буду возглавлять эту роту, — дорга закрутил усы.

— Само собой, мой бек, само собой, — поддакнул Норуз.

— Бахтияхун покажет нам дорогу.

Бахти поднялся с места. Он так трепетал перед Абдуллой, что при словах «покажет нам дорогу» почувствовал, как что-то оборвалось у него внутри.

— Есть еще одно задание, — продолжал Абдулла, рыгая. — Ваши места превратились в гнездо отъявленных смутьянов...

— О аллах всемогущий!.. — вырвалось у встревоженного Норуза.

— Да, да, это так, и нечего притворяться!.. Аскар вышел отсюда, Ахтам со своими негодями — тоже из Дадамту. И еще слышал я о какой-то выскочке, то ли Маим, то ли Наим...

— Нет, нет, она тут ни при чем... Так, девчонка... Просто когда-то училась грамоте у Аскара, — проговорил Бахти, привстав. В эту минуту он готов был совершенно искренне защитить Маимхан даже своей грудью.

— Мы ничего не можем сказать в оправдание остальных, мой бек, но против этой девушки язык не повернется говорить что-нибудь дурное...

— Бросьте, Норузбай, — прервал дорга, — не будь вы сами тестем ходжи, вам тоже пришлось бы давно очутиться в одном уютном месте...

— Спаси нас аллах, — испуганно пробормотал Норуз, приглаживая дрожащими руками бороду.

Зловещая тишина наступила в комнате. Слышалось только прерывистое дыхание объевшегося Абдуллы. Плотная тяжелая пища и кумыс брали свое — дорга незаметно для себя захрапел...

Беспокойная ночь, словно пронизанная предчувствием беды, опустилась на Дадамту. Протяжно выли собаки, невпопад кричали встревоженные петухи. Жители селения, обычно засыпавшие глубоким сном после дневных — трудов, почему-то не смыкали глаз, и во многих домах не гасли тусклые огоньки светильников.

Пожалуй, единственным человеком, который в полной мере наслаждался полночным покоем, был Абдулла, раскинувшийся на пуховых подушках и атласных одеялах. Что до лисы Норуза, то, проклиная неумолчный храп дорги, он всю ночь провел без сна, ворочаясь с боку на бок и строя различные планы, в которых приезд Абдуллы играл главную роль. Бахти же и трое спутников дорги кайфовали в саду.

— Милые мои друзья, — говорил Бахти, опираясь на плечо сидевшего рядом с ним охранника, — заплачу вам, сколько спросите, только помогите мне...

— Перестань трепать языком, обжора, — ткнул его в грудь усатый охранник, посасывая трубку с анашой, — сказано тебе — возьмем в оборот доргу, значит, будь спокоен, получишь свою девчонку.

— Завтра в бой, кто знает, останемся ли мы в живых? — горько усмехнулся Бахти. В голосе его послышались слезливые ноты.

— Ну, ну, что слюни распустил? — отмахнулся от него первый охранник. — Наполнишь нам карманы — и девчонка твоя.

— Дай руку, друг, — захихикал Бахти, — за мной не пропадет, всем троим достанется по коню!..

— Ладно, ладно, решено...

Глава одиннадцатая

Теперь вместе с джигитами кузнеца Махмуда и ювелира Семята лесных смельчаков насчитывалось около сотни. В Пиличинское ущелье доставили сабли, сделанные Махмудом, и еще кое-какое оружие — почти все джигиты вооружились. Уже несколько дней шли горячие споры. Одни, во главе с нетерпеливым кузнецом, предлагали немедленно совершить налет на тюрьму и освободить Аскара, другие, среди которых был Ахтам, считали подобные действия заранее обреченными на неудачу. Осторожный Семят доказывал, что пока нечего и мечтать о вооруженных столкновениях — прежде следует серьезно подготовиться, увеличить количество своих сторонников, раздобыть побольше боеприпасов, а там уже действовать. В суждениях Семята был здравый смысл. В конце концов этого не могли не признать и Ахтам с Махмудом.

Лесные смельчаки сделали несколько набегов на байские стада, обеспечили себя продовольствием, фуражом, подтянули дисциплину. Ахтам был избран командиром, Махмуд ведал вооружением, Семят стал казначеем. Джигиты разбились на десятки, выставили дозорных, ввели ежедневные занятия, на которых вчерашние дехкане и ремесленники учились владеть саблями и винтовкой. Правда, приходилось беречь каждый патрон, каждую щепоть пороху, но усердия и старания у всех было в избытке.

Однажды после обычных занятий Ахтам, Махмуд и Семят присели передохнуть перед уже знакомой нам пещерой, которая всем троим теперь заменяла дом. Под лучами солнца золотились на ветвях урюк и дикие яблоки, щедрыми осенними красками пестрели горные березы, уже тронутые первыми холодами.

— Умарджан запаздывает, — сказал Ахтам, покусывая сухую травинку. — Не случилось ли что-нибудь с Маимхан...

— Не случилось ли что-нибудь с самим Умарджаном, — отозвался Семят.

— Может быть, отправим людей разведать?.. Маимхан давно уже место среди нас, ей все время грозит опасность. Как ты смотришь на это, Махмуд-ака?..

— Оставь, ука! Зачем тянуть девчонку в горы, что ей тут делать? — возразил Махмуд.

«Девчонка... Эта девчонка стоит четверых мужчин таких, как ты», —

хотелось ответить Ахтаму, но ему помешал выстрел — стрелял дозорный, с высокого уступа наблюдавший за ущельем Гёрсай.

Джигиты мигом расхватили оружие и собрались на площадке у входа в пещеру. Ахтам подал команду строиться и приказал одному из джигитов узнать, что встревожило часового.

Джигит, словно кошка по стволу дерева, вскарабкался вверх по отвесной скале. Спустя минуту он уже стоял внизу, едва переводя дыхание:

— Солдаты... нас окружают...

— Махмуд-ака, ты со своими людьми идешь направо, я — налево... Но ни выстрела, пока солдаты не войдут в теснину!.. — Ахтам повел своих джигитов к вершине крутого холма. Привыкшие к горам, лесные смельчаки легко взобрались по склону, и каждый занял заранее назначенное место. Отсюда все узкое ущелье было видно как на ладони — Ахтам и Махмуд с обеих сторон заключили его как бы в тиски.

— Готовьте камни, Махмуд-ака! — негромко окликнул кузнеца Ахтам.

— Не беспокойся, ука, мы от вас не отстанем! — отозвался тот, подкатывая к самому краю скалы камень величиной с доброго барана. — Будем щелкать солдат, как орехи!..

Между тем противник — Ахтам внимательно наблюдал за ним — разделился на две части: один отряд, с полсотни человек, остался у входа в ущелье, другой, готовясь к нападению, пробирался по краю теснины в сторону пещеры. Впереди шел Бахти. Он настороженно озирался, вздрагивая от каждого шороха, и, когда под копытами коней с грохотом осыпались мелкие камни, втягивал голову в плечи. Солдаты, видимо, чувствовали себя не лучше. Держась одной рукой за седла, они крепко прижимали к себе ружья и сидели на конях прямо, напряженно. По мере того как сужалось ущелье, строй солдат вытягивался длинной цепочкой. Наконец передние всадники миновали то место, где притаились в засаде лесные смельчаки...

Джигиты, едва смиряя нетерпение, ждали команды, и вот, не сумев совладать с собой, Махмуд с яростным, торжествующим ревом: «Добро пожаловать, гости дорогие!..» — столкнул вниз громадный валун. Остальные джигиты последовали его примеру. Камни катились под уклон с возрастающей стремительностью, сшибались, увлекали за собой все, что ни встречалось на пути, образуя безудержную, бешеную лавину, сотрясая все вокруг оглушительным громом и грохотом. Смертоносный поток обрушился на солдат, и те, кого он настиг, были в мгновение раздавлены, расплющены, как лягушки, и погребены под каменным валом. Уцелевшие

даже не успели выстрелить и в панике повернули назад. Если бы Махмуд не поторопился, они тоже навсегда остались бы здесь, в ущелье Гёрсай... Но Ахтам, досадуя на горячность Махмуда, приказал стрелять — и пули уложили еще человек десять...

Только почувствовав себя в безопасности, отступавшие остановились. Лянжанг, ротный командир, был бледен — не то от страха, не то от пережитого позора — и долго не мог вымолвить ни слова. Когда к нему возвратился дар речи, он принялся срывать злобу на солдатах:

— Труссы! — орал он. — Изменники! Мешки, набитые дерьмом!..

Абдулла-дорга испуганно озирался по сторонам. Он нигде не видел Бахти. Что с ним?.. Или он погиб?.. Абдулла всю жизнь привык, не слезая с седла, повелевать покорным, безропотным с виду народом, теперь он столкнулся с ним в открытом бою и впервые ощутил запах пороха и смерти. Ноги его дрожали, он поминутно вытирал с лица густую испарину, сознавая, как жалко выглядит в этот момент, и не в силах ничего с собой поделать.

— Ох, лянжанг, мы пропали... Что же дальше, что же дальше?.. — беспомощно повторял, он.

— Мы снова будем наступать и победим, — сказал по-маньчжурски лянжанг, не глядя на Абдуллу.

Виновником своей неудачи лянжанг объявил Бахти, в донесении длиннородому дарину он писал: «Бахти завел нас в ущелье и предал врагу...» Затем говорилось о продолжении карательной операции, которая не может кончиться ничем, кроме полного поражения дерзких смутьянов. Лянжанг руководствовался полученным прежде приказом — не возвращаться, пока смутьяны не будут разогнаны или перебиты, а сам Ахтам не попадет в плен живым. Повинуясь воинскому долгу, лянжанг твердым голосом напутствовал солдат, готовя их к новому наступлению.

— А если бы мы вернулись в Дадамту, дали отдых солдатам и собрались с силами?.. — заикнулся было дорга, беспокоясь, разумеется, не столько за результат похода, сколько за свою жизнь. Лянжанг понял это.

Несколько мгновений он смотрел на Абдуллу, на его жирный, оплывший подбородок, на мясистые, в сизых жилках щеки, на маленькие, трусливые, беспрерывно мигающие глаза, — смотрел, подыскивая слова, которые выразили бы все его презрение, но так, очевидно, не найдя их, просто плюнул в лицо Абдуллы-дорги, пробормотал: «Скотина», — и отвернулся.

Если бы лесные смельчаки бросились, не теряя времени, за

отступающими солдатами, возможно, их всех удалось бы захватить в плен. Потеряв голову от неожиданно легкой победы, джигиты, едва противник скрылся, кинулись собирать добычу. Они закололи лошадей десять с перебитыми ногами, переловили разбежавшихся, но самым ценным трофеем оказались ружья, около тридцати штук, и боеприпасы к ним. Засыпав тела убитых и раздавленных камнями, лесные смельчаки оставили в живых несколько контуженных и раненых.

— Вот когда мы покажем этим храбрецам их собственным оружием, где раки зимуют! — воскликнул Махмуд, подняв над головой новенькую винтовку.

— Если бы не поторопились, и показывать во второй раз было бы некому, — с усмешкой проговорил Семят.

Махмуд перехватил намек и нахмурился.

— Скажи и на этом спасибо, — буркнул он. — Пойдешь в бой — тогда и сделаешь все по-своему.

Семят покраснел. Казначею не довелось принять участие в схватке.

— Семят-ака правильно говорит, — вмешался Ахтам.

— Почему?..

— Если бы ты не поспешил, мы всех бы загнали в капкан.

— Наверное, я и в самом деле поспешил, — согласился Махмуд сокрушенно и вздохнул. — Вина моя, братцы...

Они больше не спорили: слишком велика была радость первой победы, никому не хотелось омрачать ее запоздалым препирательством. Кто-то из джигитов, на общую потеху, принялся изображать солдат, улепетывающих без оглядки, раздался дружный смех.

— Ну, теперь мы можем замахнуться и на дело покрупнее, брат Ахтам, — сказал Махмуд, когда веселье утихло.

— Так-то оно так, Махмуд-ака, только, прежде чем отрезать, надо хорошенько отмерить, — задумчиво ответил Ахтам, сидя в стороне: его не трогали общий смех и шутки.

Солдаты еще затемно вернулись к выходу в ущелье Гёрсай. На этот раз лянжанг предпочел наступать пешим строем: все были в лаптях и обмотках, головы повязаны синими платками, так что, если бы не ружья, доблестные вояки вполне сошли бы за мелких торговцев зеленью и овощами. Лянжанг действовал по строгим правилам военного искусства. Он объявил привал, выслал дозорных и, пока солдаты отдыхали, получил от разведчиков свежие известия: в лагере «воров» полное спокойствие, никакого движения.

В горах особенно холодно бывает перед рассветом, когда морозный

воздух струится с покрытых вечными снегами вершин. Солдаты дрожали в своей легкой одежде, как озябшие козлята. Но Лянжанг запретил жечь костры. Каждому выдали по испеченной на пару лепешке и по горсти соленого салата, доставленного в сплетенных из чия корзинах. Кое-как перекусив, солдаты двинулись дальше.

В это время джигиты Ахтама, утомясь от ночного, веселья в честь славной победы, спали-мертвым сном. На заре сон сморил и ничего не подозревавших часовых. Враг подошел совершенно беспрепятственно к самому входу в пещеру. Ее никто не охранял, безмятежная тишина стояла вокруг. Однако солдаты, еще под впечатлением вчерашних событий, готовы были в этой тишине увидеть тайный подвох и боязливо жались к скалам, ища укрытия понадежней.

Лянжанг, имевший немалый опыт в такого рода экспедициях, теперь действовал энергично. Разделив отряд на две группы, он приказал одним засесть за выступом горы сбоку от убежища лесных смельчаков, а сам, возглавив остальных, кинулся ко входу в пещеру, размахивая саблей и выкрикивая: «Ша-ша-ша!.. Руби, руби!..»

Ему удалось воодушевить солдат, всколыхнуть в них чувство мести за вчерашнее, и они с яростными воплями бросились вслед за командиром.

Только теперь очнулись джигиты, но не сразу поняли, что происходит. В пещере возникло замешательство, потом поднялся переполох, в общей сумятице каждый искал свое оружие, рвался к выходу, расталкивая товарищей, еще чуть-чуть, и произошла бы свалка... Но Ахтamu кое-как удалось навести порядок. Лесные смельчаки ринулись наружу. Однако — расплата за беспечность! — маньчжуры успели уложить на подступах к пещере человек десять, самых отчаянных, первыми рванувшихся из ловушки, в которую теперь превратилась их надежная крепость.

Молчали ружья, зато сабельные клинки короткими молниями бешено засверкали в лучах восходящего солнца. Сначала теснили солдаты, но джигитам удалось преодолеть их напор и, потеряв еще несколько товарищей, овладеть положением. Плечом к плечу, как два молодых льва, сражались Ахтам и Махмуд, не один маньчжур в то утро распрощался с жизнью под их смертельными ударами. «Крушите гадов, братья!..» С этим кличем охваченные неистовством джигиты наседали на врага, орудуя кто саблей, кто кинжалом, а кто и просто кулаком, который в жаркой схватке служит не хуже закаленной стали.

Солдаты отступили, отхлынули на другую сторону ущелья, залегли за камнями, отстреливаясь. Джигиты отвечали метким огнем из своих ружей. В душе они уже торжествовали новую победу — столь очевиден был их

перевес над карателями, — но тут-то у них с тыла и поднялась та часть отряда, которую лянжанг коварно приберегал напоследок...

Лесные смельчаки оказались зажатыми в тиски. Пока Ахтам продолжал перестрелку, Махмуд повернул своих уже порядком измотанных джигитов против солдат, вступивших в бой со свежими силами. Однако все переменялось в единое мгновение: теперь противник занимал наивыгоднейшую позицию, а хозяева Пиличинского ущелья могли надеяться только на собственное мужество и отвагу.

Плечо Махмуда оцарапала пуля. Упало еще несколько джигитов. Солдаты упрямо продвигались вперед, пришел черед лесным смельчакам искать защиты у камней. И кто знает, что произошло бы дальше, если бы не случилось почти невероятное, почти чудо: на уступе скалы, нависающей над ущельем, в самый разгар боя появились три человека. Никем не замеченные вначале, они присмотрелись к тому, что творилось внизу, и принялись за дело: камни посыпались на головы засевших у подножия скалы солдат... Это и решило исход боя: маньчжуры побежали. Причем паника овладела не только теми, кому грозила непосредственная опасность: когда раздался устрашающий грохот и каменная лавина низверглась сверху, во многих сердцах возник испытанный вчера ужас, — казалось, само разгневанное небо посылает им смерть...

Лесные смельчаки не повторили прошлой ошибки: осатанев от ярости, они преследовали солдат, никому не давая избежать справедливой кары. Пленных было мало, но среди них оказался сам лянжанг.

— Никого не щадить! Кровь за кровь! — кричали озлобленные джигиты, вспоминая погибших друзей.

— Вспороть брюхо командиру!..

— Нет, надо привести в Дадамту эту сволочь и вздернуть воротах лисы Норуза!..

— Правильно, пускай и другим будет неповадно!..

...После ожесточенного спора было решено с казнью лянжанга повременить, а остальных расстрелять в одной из пещер ущелья Гёрсай.

— Ты мне нужен, Ахтам!.. — Умарджан стиснул плечо друга, увлеченного общим разговором об одержанной победе.

— Чего тебе? — неохотно отозвался Ахтам. Но что-то в голосе Умарджана его насторожило. Он выбрался из толпы и последовал за

приятелем. Тревожные мысли одна за другой вспыхивали у него в голове.

— Не случилось ли что-нибудь с Маимхан?..

— Ты угадал, — сказал Умарджан, останавливаясь.

— Маимхан схватили...

— Что?.. — Ахтам так порывисто кинулся к Умарджану, словно хотел его ударить.

— Я думал отсрочить дурную весть, чтобы не портить общую радость...

— Осел!.. Нашел время играть в молчанку!.. — Ахтам, не теряя ни минуты, кинулся к сосне, возле которой был привязан его конь.

— Махмуд-ака, — крикнул он в толпу джигитов, — пока я не вернусь, ты останешься за меня!.. — Никто не успел проронить и слова, как Ахтам хлестнул коня и скрылся с глаз.

Умар тоже не стал медлить и вскочил в седло.

— Едем выручать Маимхан! — бросил он уже на скаку оторопевшим товарищам и стегнул своего скакуна плетью.

Джигиты, еще не придя в себя от неожиданности, долго прислушивались к затихающему цокоту копыт, желая в душе удачи обоим друзьям. Первым опомнился Семят, обычная рассудительность и осторожность не изменили ему и на этот раз: он послал вдогонку за Ахтамом четверых вооруженных джигитов — вдруг потребуется помощь...

Умарджан настиг Ахтама у выхода из Пиличинского ущелья и, двигаясь рядом, предложил:

— Поедем стороной от большой дороги, чтобы не натолкнуться на врага...

— Вряд ли к нам сейчас захотят сунуться!

— Все равно лучше свернуть, придержи коня!..

— Какой толк?.. Не будем терять времени!.. — Ахтам только нахлестывал скакуна, горячил и гнал изо всех сил, Умарджану ничего не оставалось, как следовать за ним.

— Хаитбаки встретит нас у старой мельницы, если узнает о Маимхан что-нибудь новое, — говорил Умарджан на скаку. — Слышишь, уже лают собаки?.. Это Дадамту...

Все получилось именно так, как и говорил Умарджан. Хаитбаки встретил их у назначенного места.

— Узнал, где она? — спросил Ахтам, не сходя с седла.

— Слезь и дай отдохнуть лошади, — сказал Хаитбаки, — смотри, конь еле жив... А Маимхан... С ней не стряслось ничего страшного...

— Говори, где она? Что ты тянешь?
— На усадьбе клыкастого китайца.
— Где живет этот китаец?..
— Ниже Баяндая. Да, я слышал, Бахти сбежал, не дождавшись конца боя в горах, и направился в ту сторону...
— По коням!..
Хаитбаки присоединился к своим друзьям.

Неволя — всюду неволя, будь то сырое подземелье или роскошно убранная комната, вроде той, где очутилась Маимхан. Ее ни минуты не тешили ни вазы, блистающие в стенных нишах, ни ковры с узорами из роз и соловьев, ни шелковые занавеси, которые в трепетных бликах свечей переливались нежнейшими тонами. Едва попав сюда, Маимхан думала только об одном: как вырваться на свободу из этой великолепно обставленной темницы? Два дня пыталась она отыскать способ для побега, но что делать, если так крепки наглухо запертые двери, если так безнадежно толсты стены, если так высока дымовая труба, что, сколько ни тянись — не дотянешься?.. Окажись у нее, по крайней мере, нож!..

Маимхан поняла всю безвыходность своего положения. Она стучала, колотила в дверь ногами.

— Что угодно, ханум? — слышался неизменный вкрадчивый голос.
— Отворите!..
— Двери откроются в свой срок, ханум.
— Пропади он пропадом, ваш срок!.. Отворите!..
— Таков приказ Бахти-бека, ханум, держать вас на запоре...

Маимхан рвалась, билась грудью в окованную железными полосами дверь, в отчаянии кусала кулаки; какие только проклятия не обрушивала она на свою несчастную голову — за то, что так глупо позволила себя схватить!

Ведь когда в Дадамту появился Абдулла-дорга, Маимхан сразу догадалась, чем ей это грозит, и решила бежать, чуть только сгустеют сумерки. А еще она хотела дождаться Хаитбаки, который в тот день уехал к Ахтаму. Однако наступил вечер, Хаитбаки не возвращался, медлить дальше было нельзя. Маимхан кое-как успокоила родителей и собралась в дорогу, но ее опередили трое стражников, которые уже входили в ворота. Они объявили, что им велено арестовать ее, и увели с собой. Подобно верблюдице, у которой отнимают верблюжонка, закричала тетушка Азнихан, кинулась к дочери, обняла, заливаясь горячими слезами. Стражники силой расцепили ее руки, оторвали от Маимхан. Но бедная

женщина все шла, все бежала за дочерью, все не хотела отставать, пока не упала в совершенном бессилии на холодную землю и не смогла подняться... Маленькая Минихан, как цыпленок, напуганный коршуном, в страхе прижалась к отцу, а сам дядюшка Сетак безмолвно замер у порога, окончательно сникший, сторбившийся, раздавленный горем. О чем думал он, провожая дочь померкшим взглядом? Просил ли аллаха покарать ее врагов или проклинал день и час, когда сам появился на этот свет?

Перебирая в памяти подробности той ночи, Маимхан безжалостно винила себя за все страдания, которые принесла она своим престарелым родителям: так мало хорошего было у них в жизни, какие же несчастья ожидают их теперь!.. О себе, о своей собственной судьбе она не думала: она и раньше знала, что выбрала нелегкий путь, и не ждала счастливой участи. Нет, не ждала и не желала: все, чего желала она, — это быть вместе с любимым, вместе с Ахтамом в его священной борьбе!.. Вместе?.. Но увидит ли теперь она его? Встретятся ли они когда-нибудь?..

В жар и в холод бросало ее от этих мучительных мыслей, и она то вдруг останавливалась в оцепенении посреди комнаты, стиснув на груди зябнущие руки, то снова бросалась к двери и принималась неистово колотить в нее, кричать, проклинать, грозить!..

Но вот зазвенели ключи, медленно раздвинулись дверные створки — и Маимхан, вся напрягшаяся, как бы готовая к прыжку, увидела перед собой... Бахти!..

Чудовищем, дивом из страшной сказки представился он ей, и бедная девочка отскочила назад, потом попятилась, и пятилась до тех пор, пока не коснулась спиной стены. Косулю, которая трепещет от страха перед зверем, что вот-вот рванется и растерзает ее, напоминала Маимхан в этот миг, — смелая, отчаянная, бесстрашная Маимхан! Однако зверь не тотчас накинулся на свою добычу. Долгим, пристальным взглядом смотрел он на девушку, а ее била дрожь, и глаза так расширились, что казалось — сейчас выскочат из орбит. И странно ласков был голос Бахти, когда он произнес:

— Садитесь!..

То ли он сказал это слишком тихо, то ли Маимхан в ту минуту потеряла способность что-нибудь понимать, но она продолжала стоять, прижавшись к стене. Однако ей удалось овладеть собой и внутренне собраться для отпора.

Судя по всему, Бахти старательно готовился к встрече: борода была гладко причесана, усы подстрижены, длинный бархатный халат перехвачен серебряным поясом с рубинами, а к поясу прицеплена дорогая турецкая сабля. Под халатом виднелись красные сафьяновые сапоги с черными

носками, а каждый палец правой руки украшал перстень с крупным изумрудом.

Маимхан никогда не принимала своего назойливого жениха всерьез, и даже теперь, несмотря на всю опасность положения, Бахти, расфуфыренный, как индюк, в своих пышных одеждах показался ей до того нелепым, что она еле удержалась от смеха.

— Садитесь, ханум, — повторил Бахти, — все яства и напитки в этой комнате приготовлены для вас, угощайтесь, — Бахти сделал широкий жест. Маимхан не проронила в ответ ни слова. Бахти подошел к ней, попытался взять за руку, но она оттолкнула его и спокойно, с достоинством произнесла:

— От человека, который держит меня в клетке, я должна ожидать не угощений, а приговора.

— Зачем же вы так... — проговорил Бахти растерянно после затянувшейся паузы: смысл сказанного дошел до него не сразу, куда понятней подобных выражений для Бахти был язык таких же забулдыг, как он сам, — язык, состоящий из пьяной ругани и грубых непристойностей. — Зачем же вы так, ханум, ведь я... Я вовсе не тюремщик... Я сам... Да, я сам ваш раб... Мне нужна только ваша... Да, ваша любовь.

— Ах, значит, вот как?.. — холодно усмехнулась Маимхан. — И это — все, что вам нужно?

— Да, это все. Если не верите, ханум, я могу поклясться всем святым, что только существует на свете.

— Тому, кто не привык лгать, не нужны клятвы. Я говорю о настоящем мужчине, конечно, а не о вас, Бахти, вы ведь не достойны имени джигита.

— Не издевайтесь надо мной, Маимхан. Все знают, что Бахти никогда не был среди джигитов последним...

— Да, конечно, вы не последний, вы первый, если говорить о подлости...

— Думайте, какие слова вы произносите, ханум... Вам весь свет заслонил ваш Ахтам, ваши глаза больше никого не замечают... — Бахти поугрюмел, ему надоело разыгрывать рыцаря.

— Не болтайте об Ахтаме, горе-удалец! — Маимхан возвысила голос. — Вы считаете себя мужчиной, но какой же мужчина, завладев женщиной с помощью оружия, держит ее в заточении?..

Бахти не нашел подходящего ответа и подумал, что, пожалуй, куда проще покончить с девчонкой, применив силу, — так он делал не раз.

— Уже столько лет я горю и страдаю, — продолжал он, — а ты и не смотришь в мою сторону. Я привел тебя сюда, чтобы соединить наши сердца.

— Соединить сердца?.. — перебила Маимхан. — Да разве так соединяют сердца?.. Чем, скажи лучше, набита твоя голова: сеном, соломой?..

— Замолчи!.. — взревел Бахти, теряя последнее терпение, и шагнул к Маимхан. — Если ты не захочешь стать моей женой, тебе живой отсюда не выбраться, слышишь!..

— Тогда вынимай свою саблю, разбойник!.. Руби мне голову!.. Все равно, пока я жива, я тебе не дамся!

— Дура!.. Или ты все еще надеешься на Ахтама? На мертвых плохая надежда...

— Что?.. Что ты сказал?.. На мертвых?.. — Даже Бахти вздрогнул — таким голосом выкрикнула она эти слова. — Ты хочешь сказать, что Ахтам...

— Я жалел тебя, молчал, но ты сама вынудила меня... Да, от пули...

Дальше Маимхан ничего не слышала, не помнила. Значит, Ахтам... Да, да, вот почему от лесных смельчаков ни весточки, вот почему никто не выручил ее за эти два дня отсюда, вот почему явился Бахти цел и невредим... Значит... Ахтам... Все плыло, все качалось у нее перед глазами, она пошатнулась и упала бы, не подхвати ее, почти бесчувственную, Бахти. Он поднял ее и понес туда, где лежала перина. Однако то ли Маимхан сама по себе тут же очнулась, то ли жадные объятия Бахти привели ее в чувство, — она выскользнула из его рук и, размахнувшись, что есть силы вlepила ему пощечину. От неожиданности Бахти покачнулся.

Не успел он опомниться, как Маимхан бросилась к двери с криком:

— Убивают!.. Спасите, убивают!..

...Пока в доме китайца, верного слуги Бахти, происходила эта сцена, Ахтам и его друзья успели добраться до злополучной усадьбы.

— Да это же настоящая крепость! — изумился Умарджан, измеряя взглядом высоту ограды, сложенной из камня. — Пожалуй, ее хозяин недаром прибыл из Маньчжурии — он и у нас решил сложить китайскую стену...

— Сейчас не время для пустой болтовни, — обрезал друга Ахтам, соскакивая с коня. За ним спешили остальные и, приблизившись к воротам, прислушались.

Но ни звука не доносилось изнутри — можно было подумать, что в

доме пусто.

— А если постучаться?

— Не к чему, — возразил Ахтам. — Впустить нас все равно не впустят, а себя мы выдадим. Попробуем перебраться через эту проклятую стену... — Ахтам, двигаясь вдоль ограды, и в самом деле напоминавшей крепостную, остановился там, где она казалась чуточку ниже, взобрался на лошадь и, вытянувшись на носках, попытался достать рукой до верхнего края — напрасно.

— Нужна лестница, без нее нам не обойтись, — сказал он раздосадованно. — Нет ли где поблизости кузляка^[113]?..

— Почему же нет? — Хаитбаки знал всю округу как свои пять пальцев. — Здесь рукой подать до скотного двора лисы Норуза...

— Тогда гони туда своего коня, брат, а возвращайся побыстрей.

— Я вместе с Хаитбаки, — вызвался Умарджан, — вдвоем сподручней...

Ахтам остался в одиночестве.

«Этот мерзавец не побрезгует ничем, — думал он, в нетерпении расхаживая вдоль неприступной стены. — И тогда Маимхан от горя и стыда может наложить на себя руки...» Он пытался отогнать мрачные предположения, но тревога завладевала им все больше. Несколько раз подходил он к наглухо запертым воротам, прислушивался, пытался нащупать хоть какую-нибудь узенькую щелку... «Нет, нет, всему виной я сам, — твердил он. — Как я мог после ареста учителя оставить Маимхан в Дадамту?.. На что я надеялся, чего ждал, осел из ослов? Боялся вызвать гнев ее родителей?.. Ведь рано или поздно все равно неминуемо должно было произойти... Выходят, я сам своими руками выдал ее этому негодяю!.. Эх...» Ему казалось, что откуда-то из-под земли до него доносятся горестные стоны. Казалось?.. Вот он и в самом деле уловил голоса: «Держите, держите!..» Да это же Бахти! В бессильной ярости кинулся Ахтам к воротам, а внутри двора поднялся шум, залаяли собаки, и вдруг: «Убивают!.. Спасите, убивают!..» Этот голос Ахтам различил бы среди тысячи других!

Он с грохотом обрушил на ворота кулаки. А между тем уже появились его друзья со спасительной лестницей. Мигом приставили ее к ограде, и все трое взобрались на самый верх. В этот момент Бахти с помощью стражников поймал Маимхан, которой удалось было выскочить во двор, и нес ее в дом, как волк беззащитного козленка. Ахтам спрыгнул с ограды во двор, выхватил из ножен саблю и преградил Бахти дорогу.

— Стой, подлец!..

Узнав Ахтама, Бахти остановился, словно оглушенный громом. Но тут же, оправаясь от первого потрясения, еще крепче прижал к себе Маимхан и заорал во всю глотку:

— Заир, Турды, сюда! Стреляйте, воры!..

Но двое стражников, нанятых Бахти за немалую плату, и не думали проявлять свою преданность — Хаитбаки и Умарджан без особых хлопот отобрали у них оружие. Бахти, увидев, что все кончено, бросил Маимхан и быстро побежал в сторону конюшни. Ахтам встал у него на пути.

— Куда ты торопишься, Бахти?.. Ты ведь клялся захватить меня в плен? Я перед тобой, выполняй свою клятву!..

Бахти сумрачно сопел, потупив голову.

— Вынимай саблю, герой, будем биться лицом к лицу, честным боем, как джигит с джигитом!

Двое соперников скрестили клинки. Бахти был не из слабых бойцов, к тому же отчаянье и страх за свою жизнь удесятирили его силы. Вначале он теснил Ахтама, но в поединках побеждает всегда тот, кто прав: Ахтам выбил саблю из рук Бахти, а под конец с такой силой ударил его в подбородок, что грузный Бахти так и рухнул на землю. «Молодец, Ахтам!» — невольно вырвалось у Маимхан, которая, затаив дыхание, наблюдала за схваткой. То ли Бахти в самом деле лишился чувств, то ли притворялся, но, как бы то ни было, он лежал на земле, не подавая признаков жизни.

— Кто, кроме вас, скрывается в этой усадьбе? — спросил Ахтам стражников, заталкивая саблю в ножны.

— Больше ни души, ука, — отвечал один из стражников.

— А оружие? Кони?.. Что хранится в амбарах?..

— Все пусто, ука, осталось только немного зерна.

— Лесные смельчаки грабят, что ни попадет им под руку, говорят китайцы, — подал голос второй стражник. — Богатые хозяева бросают свои дома и бегут, забирая с собой все до паршивой курицы...

Ахтам приказал седлать лошадей. Связанного Бахти, который к тому времени уже несколько пришел в себя, посадили к Хаитбаки, а на коня Бахти легко вскочила Маимхан.

— Спасибо, Умарджан-ака, если бы не вы, не выбраться мне отсюда живой, — сказала она, когда усадьба осталась позади.

— Просто я отплатил давний должок, сестренка. Ведь не окажись вы во дворце и не сообщите мне вовремя, что меня разыскивают, я тоже, наверное, распрощался бы с жизнью...

— Ну зачем говорить про такие пустяки...

— Тогда и вы не говорите, сестренка...

На другое утро перед мечетью в селении Дадамту люди увидели Бахти, у которого на груди висела дощечка с надписью: «Мада ночи»^[114]. Ничто не могло сравниться с таким позором. В тот же день Бахти исчез из Дадамту, и больше его никогда не встречали во всей Илийской округе.

Дыбом поднялись волосы у гуна Хализата, холодный пот выступил на лбу у длиннородого дарина, когда стало, известно, что произошло в ущелье Гёрсай. Из целой роты солдат уцелело не больше десятка. Среди них, к своему собственному несчастью, оказался и Абдулла-дорга.

Слухи о поражении китайцев повсеместно распространились с быстротой молнии. К длиннородому стекались донесения о волнениях, которые вспыхивали здесь и там, — а как раз этого дарин особенно опасался. Что же касается разгрома роты солдат, то он всем винил доргу, называя его предателем и изменником. «Этот негодяй повел наших солдат в горы, не зная дороги, — говорил дарин жанжуну, пытаясь оправдаться в его глазах. — А может быть, он и знал дорогу, но не хотел ее показать... И все, может быть, подстроил заранее...» Дарин многозначительно умолкал, давая понять, что ему еще кое-что известно, и, может быть, не только про Абдуллу, а например, и про гуна Хализата...

— Ведь это вы, господин гун, — объявил он Хализату, пристально, без малейшего подобия усмешки глядя ему в лицо, — ведь это вы рекомендовали нам Абдуллу-доргу... Это ваш человек, гун Хализат, значит, не ему одному обязаны мы своим позором... Чем же вы надеетесь искупить свою вину перед жанжуном и великим ханом?

— Вину?.. Перед великим ханом?..

— А как же? Или вы назовете это как-то иначе? Вместо того чтобы уничтожить бунтовщиков, вы сами снабжаете их оружием... Разумеется, с помощью Абдуллы, преданного вам душой и телом...

— О боже... — Хализат безуспешно пытался решить, всерьез или в шутку говорит все это длиннородый, но не похоже было, чтобы он шутил.

— Да, господин гун... И ваш Абдулла ведет наших солдат прямо в ловушку. Прямо в ловушку, господин Гун Хализат!..

— Я... Я уже наказал этого осла!..

— Вы?.. Наказали?.. — недоверчиво скривился дарин. — И вы

вправду считаете наказанием два-три удара плетью?..

— Я выгнал его из дворца...

— Не думаете ли вы, гун Хализат, что, если этого человека бросить в кипящий котел, а потом скормить собакам, — и такое наказание будет для него слишком мягким?..

— Я... сделаю все, что требует господин дарин... — почти шепотом ответил Хализат.

— Значит, вы тоже полагаете, что Абдуллу-доргу следует наказывать так, чтобы это послужило наукой остальным? Я вас правильно понял, гун?

— Ари^[115], господин шанжан!

— Вот видите, наши мысли всегда сходятся, — с откровенной насмешкой заключил длиннородый. — Я был так уверен в вашей поддержке, что не стал дожидаться этого разговора и приказал заняться Абдуллой... Сейчас с ним беседуют в «гостиной поучения»...

Тут слова длиннородого прервал вопль, донесшийся из подземелья, — страшный, нечеловеческий крик, от которого вздрогнуло бы любое сердце. Что говорить о Хализате — даже длиннородый дарин с болезненной гримасой прикусил кончик пальца.

— Это Абдулла, — сказал он, помолчав. — Несмотря на свое богатырское сложение, он ведет себя как плаксивый ребенок. Не выдержать даже небольшого поучения... Прощу вас, гун, — дарин взял Хализата под руку и провел в смежную комнату, из которой вниз уходила узкая крутая лестница. Спустившись по ней, они очутились в небольшом помещении. Длиннородый отдернул черный занавес, открылось отверстие в стене.

— Взгляните, господин гун, это наша «гостиная», — обратился он к Хализату. Тот нерешительно подошел к отверстию, заглянул — и, вскрикнув, отшатнулся.

Посредине «гостиной поучения», напоминавшей глухой колодец, лежал совершенно нагой Абдулла. В красноватых лучах светильников тело его, покрытое кровоточащими ссадинами и ранами, казалось черным, напоминая обугленную баранью тушу.

— Этот упрямец, — заговорил дарин, краем глаза наблюдая за Хализатом, — этот упрямец издает столь неподобающие крики, а ведь к нему только слегка прикоснулись волосяной веревкой, и там, где лопнула кожа, присыпали перцем и солью... это простейшие приемы... Но теперь, с позволения господина гуна, мы попробуем проделать тан-лу^[116]...

— Ради аллаха, мой дарин... Делайте что вам угодно, только, чтобы я

не видел...

— Почему же, дорогой гун? Вы должны насладиться в полной мере зрелищем, которое в состоянии поспорить с пирами Джамшида, — улыбнулся дарин и кивнул палачам.

По этому знаку два палача перевернули связанного по рукам и ногам Абдуллу на спину и притиснули всем телом к холодному, политому водой полу — один сдавил ему голову, другой навалился на икры. Тем временем третий палач принес медный кувшин сочень узким горлышком — в нем кипело горчичное масло. Приговаривая «тан-лу», он принялся водить рукой с кувшином над расprostертым Абдуллой, и там, куда падала капля масла, тело тут же трескалось. От невыносимой боли дорга скорчился, свернулся, как мясо на шампуре, затем распрямился с неистовой силой, отшвырнул от себя обоих палачей, и снова дикий вопль, смешанный с утробным рычанием, заполнил комнату.

Хализат давно уже забился в угол, пытаясь не слышать невыносимых криков, сам не в силах ни охнуть, ни вздохнуть. Страх сковал его с головы до пят, зубы выбивали мелкую дробь.

— Прощу, прошу вас, господин гун, — говорил ему длиннородый, протягивая пиалу с ароматным чаем, — я полагаю, для каждого не бесполезно взглянуть на «гостиную поучения», в которую попадают те, кто плохо служит великому хану...

Хализат не мог произнести ни звука.

— Вы лишились дара речи, дорогой гун, или то, что вы видели, не произвело на вас впечатления?

Побелевшие губы Хализата пробормотали что-то невразумительное.

— А теперь пусть Абдулла больше не занимает наших мыслей, господин гун, ведь судьба уже вычеркнула его имя из списка живых, не так ли?..

— Как вам будет угодно..

— Ха балли!^[117] Мне хотелось посоветаться с вашей милостью и по другим важным вопросам.

— Что еще?.. — с испугом вырвалось у Хализата, и взгляд его невольно скользнул к черному занавесу.

— Скажите, гун, эта крамольница Маимхан действительно была ученицей Аскара?

— Что-то такое мне приходилось слышать, — неопределенно ответил Хализат.

— Прочтите это, гун! — Длиннородый протянул ему несколько листов. «О аллах, когда же все это кончится?» — мелькнуло в голове у

Хализата, и он взял нетвердой рукой тот листок, что лежал сверху.

Проклятье живодеру,
Насильнику и вору!

— То, что вы прочитали, гун, только одна из тысячи провокаций подобного рода, а они опасней, чем иное вооруженное восстание, вам это понятно?

— Я не представляю, кто мог распространить такие стишки...

— Но ведь, оказывается, двери вашего дворца гостеприимно распахнуты для сочинителей таких писаний?

— Как?.. В моем дворце?.. Вы ошибаетесь, господин дарин!..

— Успокойтесь, гун Хализат, — сказал длиннобородый, проведя языком по тонким сухим губам. Он чувствовал, что без единой нитки душит, затягивает петлю на горле у Хализата.

— По нашим сведениям, ваша младшая жена — близкая подруга Маимхан.

— О боже..

— Человек, который находился в доверии у самого хана, оказывается, пригрел на груди ядовитую змею! — Голос длиннобородого звучал все громче, все грознее, повелительней.

— Мой дарин, — пытался перебить его Хализат, — ведь вы знаете, нет человека, который был бы предан вам больше, чем я.

— Нет, нет!.. — Длиннобородый вскочил, размахивая руками, — широкие рукава делали их похожими на крылья летучей мыши. — Нет, господин гун, я никогда ни в чем не поддерживал ваших врагов, ни прежде, ни теперь!

— Господин дарин...

— Я рассказал вам обо всем просто для того, чтобы предупредить... Предупредить от беспечности в дальнейшем... Только предупредить, господин гун!.. Только предупредить!..

Таким вот образом, то поджаривая гуна Хализата на огне, то окатывая холодной водой, длиннобородый дарин постепенно ввел его в курс своих забот. Хализат же, напуганный в особенности многочисленными намеками и недомолвками, обещал своему покровителю сделать все возможное. В тот же день в мечетях было объявлено, что всякий правоверный, который решится оказать помощь бунтовщикам и мятежникам, подвергнется проклятию аллаха.

«Легко мечтать о счастье многих, но трудно его добиться», — эти слова когда-то говорил ей мулла Аскар, но только теперь поняла Маимхан их глубокий смысл, «Мы начали большое дело, — размышляла она, — но что дальше? Неужели враг всегда будет так труслив и слаб, как вчера? Нет, нет, нельзя надеяться на это. Ведь если бы победа давалась так легко, наш народ уже давно бы добился свободы...» Она листала «Джан намэ» — «Книгу боя», которую ей удалось спасти из огня, охватившего домик учителя. Делом Ахтама, Махмуда и Семята было подготовить восстание и объединить людей для борьбы; Маимхан определила себе другую цель: постичь драгоценный опыт прошлого, научиться самой и научить других той мудрости, которой владел мулла Аскар. Вот почему свободное время она отдавала изучению «Книги боя». Любимейшей ученицей муллы Аскара была Маимхан, и никто лучше ее не мог справиться с подобной задачей.

Но сегодня ей недолго удалось побыть одной: конский топот прервал чтение, это вернулся из Кульджи Хаитбаки, ездивший туда для встречи с Салимом. Пока Хаитбаки и его друзья спешили, подоспели Ахтам, Махмуд и Семят.

— Ну-ка, брат, выкладывай новости на середину, — сказал Махмуд, когда все уселись.

Коротким, но важным был рассказ Хаитбаки. В Кульджу прибывают новые войска. Нельзя дальше уклоняться от решительных действий. Надо выбрать для удара, например, крепость Актопе: ее гарнизон хорошо вооружён, защищен высокими стенами, но немногочислен...

— Над этим стоит поразмыслить, — сказал Ахтам. — Что думает Махмуд-ака?..

— У нас, кузнецов, принято ковать железо, пока оно горячо, — отозвался Махмуд.

— Махмуд-ака прав, — поддержала его Маимхан.

Долго совещались вожаки повстанцев, решая начать наступление на крепость Актопе.

Хаитбаки со своими людьми отправился в разведку. Пока отряды Ахтама и Махмуда продвигались по заросшей лесом лощине, он должен был принести точные сведения о силах противника, их расположении, о наиболее удобных подступах к Актопе. Маимхан и Семята оставили в лагере. Однако Маимхан облачилась в мужской наряд, подаренный ей муллой Аскарком, прихватила оружие, вскочила на белого с сизым отливом коня — подарок Хаитбаки — и присоединилась к авангарду. При этом ей так была к лицу ее новая одежда, так свободно и легко держалась она в седле на гарцующем серебристом скакуне, что всякий, взглянув на девушку, не мог отвести от нее глаз. «Рядом с таким джигитом в бою не жаль отдать не одну, а десять жизней», — говорили вокруг, и там, где появлялась Маимхан, расцветали улыбки и веселой отвагой наполнялись сердца.

Отряды повстанцев достигли выхода из Пиличинского ущелья, когда первые отблески утренней зари упали на вершины гор. В ожидании вестей от Хаитбаки решили сделать привал, дать передышку людям, а заодно и покормить лошадей — берег шумной речушки, разрезавшей ущелье надвое, покрывала сочная трава, повсюду зеленели дикие яблони, место было очень подходящим для недолгого бивака. Махмуд со своим отрядом расположился на правой стороне речки, Ахтам — на левой, с ним была и Маимхан.

Однако джигиты уже успели отдохнуть после ночного перехода, кони насытились, от Хаитбаки не было ни слуху ни духу. Потеряв терпение, Махмуд дважды присылал к Ахтаму связного, требуя выступить немедленно. Солнце поднималось все выше, лучи его теперь заливали всю Илийскую долину.

«Что с ним случилось?» — повторяла Маимхан, тревожно поглядывая в ту сторону, откуда должен был появиться Хаитбаки или его посланец.

Между тем в восточной части лощины показалась гурьба странных всадников. Издали было невозможно определить, свои это или враги. Махмуд хлестнул коня, перескочил через бурлящий поток, остановился перед Маимхан и Ахтамом.

— Так и будем заниматься болтовней, пока нас не схватят за горло?..

— Не горячись, Махмуд-ака, — спокойно сказал Ахтам. — И сойди с коня.

— Не сходить с коня, а седлать коней, пока не поздно! — вскипел Махмуд.

— Слушай, что тебе говорят, — усмехнулся Ахтам беззлобно и хлопнул Махмуда по колену.

Всадники спустились в ложбину, скрылись с глаз и снова возникли — уже на холме. Теперь отчетливо различалось, что среди них немало пеших, все с косами и серпами — исконным оружием дехкан. Перед собой они гнали большое стадо коров и овец.

— Кто это?.. — удивился Махмуд.

— Да уж не враги, разве не ясно? — воскликнула Маимхан.

Ахтам тут же отрядил одного джигита, и вскоре тот вернулся вдвоем со стариком, в котором Ахтам тотчас узнал своего давнего знакомца — старого Колдаша!..

— Салам, ата!..

Старика встретили с ликованием, его окружила оживленная толпа, каждый сам хотел поприветствовать дядюшку Колдаша, но тот с беспокойным вниманием озирался по сторонам, будто искал кого-то, пока не остановился на юном джигите, пристальным взглядом выделив его среди других:

— Если аллах не лишил меня разума, это...

— Это наша сестра Маимхан.

— Да, да... Спасибо твоему отцу, дочка, и пусть аллах озарит светом твой путь. — Старик поцеловал Маимхан в лоб. — Пусть жизнь твоя будет долгой, а все твои дела завершит удача. Аминь! — И дядюшка Колдаш, подняв дрожащие руки над лицом, обращенным к небу, долго что-то шептал, пока не кончил словами: «Да сравнишься ты силой с Хазрити Али^[118], а умом — с Сулейманом^[119]».

— Кто пришел вместе с вами, ата? — спросила Маимхан.

— Кто, дочка?.. Это те, кто любит свою родную землю и готов стричь головы у ее врагов, как шерсть у баранов.

Все одобрительно зашумели.

— Выходит, пробил и ваш час, дядюшка Колдаш? — напомнил Ахтам старику их разговор на размытой дождями дороге.

— Я не забываю своих обещаний, сынок. Да, пробил час, я с вами. И видишь — не я один...

— Спасибо вам, дядюшка Колдаш. Теперь самое время послушать ваши мудрые советы.

— Дети мои, отныне ваш путь — это мой путь. Но куда ведете вы своих джигитов?

— Нам предстоит сражение, ата. Мы ждем вестей от наших разведчиков, — сказал Ахтам.

— Где же ваш враг?

— Взгляните, ата, на это осиное гнездо, — Ахтам указал в ту сторону,

где на фоне светло-голубого неба четко проступали даже издали казавшиеся грозными стены и боевые башни Актопе.

— Хвала вашей смелости, дети мои... Однако, похоже, это осиное гнездо называется крепостью... — проговорил старик с сомнением. — Да, крепостью... И взять ее будет потруднее, чем, к примеру, мельницу лисы Норуза...

— Наши возвращаются! — крикнул кто-то из джигитов, первый заметив на тропе, вьющейся по склону, маленький отряд Хаитбаки.

...Дядюшка Колдаш привел с собой человек пятьдесят. Он обещал, что в ближайшие дни ряды повстанцев опять пополнятся. Новичков встретили, как родных братьев, снабдили, кого могли, оружием и распределили по отрядам Ахтама и Махмуда. Затем старшины собрались выслушать Хаитбаки. Однако не успел тот начать, как его перебил нетерпеливый кузнец и обрушился с яростными упреками: столько времени пропало впустую, теперь в крепости, конечно, их заметили, внезапное нападение сорвалось!

А вышло так: молодой джигит со своими товарищами добрались до самой крепости и, пробираясь вдоль ее высоких стен, высматривали удобные места для штурма. Но их обнаружил дозорный патруль. Не поднимая шума, Хаитбаки без выстрела увел своих людей к Баяндинскому логу, здесь они спешили и стали поджидать преследователей, завязалась перестрелка, двое солдат было убито, прочие бежали, но языка взять так и не удалось...

— На этот раз Хаитбаки не выполнил поручения, — сказала Маимхан, вздохнув и не поднимая глаз на Хаитбаки. Бедняга Хаитбаки и сам знал это, но горький укор из уст Маимхан сокрушил его окончательно.

— Ладно, братья, что было — то было, — сказал Ахтам, видя, что его приятель с радостью сейчас провалился бы сквозь землю. — Будем искать какой-нибудь выход.

— По мне самый лучший выход — отбросить всякие расчеты-пересчеты и рискнуть, — вмешался Махмуд.

— Если для вас что-то стоят слова дядюшки Колдаша, послушайте меня, дети мои: нужны лестницы, без них не взобраться на стены Актопе. — Старый Колдаш рассказал несколько примеров из своей боевой жизни, никто не смог возразить ему. Решили, что он сам обучит джигитов плести лестницы из ивовых прутьев — надежные, крепкие, легкие.

Своим быстрым, находчивым умом, знанием жизни, деятельным характером и бодростью духа старый Колдаш напомнил Маимхан и Ахтаму их учителя, муллу Аскара. С его появлением у обоих словно

полегчало на сердце и прибавилось уверенности в успехе. Около полудня они направились к поляне, где Колдаш, среди груд свеженарубленных веток ивы, показывал, джигитам свое искусство. Работа спорилась, молодые руки не просили отдыха, несколько лестниц, каждая длиною в пятнадцать аршин, уже лежали на краю поляны. Дядюшка Колдаш веселыми шутками помогал делу — точь-в-точь как мулла Аскар.

— А вот и наша Маимхан, — проговорил старик, заметив ее приближение, — смотрите, дети мои, она уже кружит над нами, как птица над печенью, а ну, пошевеливайтесь, ребята... До вечера мы сплетем пятьдесят лестниц, и ни одной меньше, а там разомнемся, встряхнемся и с песней пойдем на Актопе.

— Вы еще покажете, ата, как ими пользоваться, ведь можно растеряться в темноте...

— Это верно... Продолжайте, дети мои, а Колдаш вспомнит свои юные годы... — Старик поднялся. — Ну-ка, джигиты, прихватите с собой эти три лестницы...

Колдаш выбрал крутой, совершенно отвесный склон.

— Думаю, стены крепости не выше пятнадцати аршин. Это место сам аллах предназначил для наших упражнений.

— Э, чон дада, уж не собираетесь ли вы превратить нас всех в канатоходцев?.. — крикнул Махмуд, стоящий неподалеку.

— Вынимай из ножен кинжал, толстяк, — сказал старик соседу-джигиту. — И ты, тощая жердь, достань свой нож, которым режешь ворованных коров, да поскорей!

Раздался смех, а дядюшка Колдаш взял в одну руку кинжал, в другую — нож, сморщил лицо, сердито сплюнул:

— Эх вы, только слава, что джигиты... Таким ножом не убьешь и зайца. Когда-то мой кинжал весил ни много ни мало — пять джинов.

— Э-э, чон дада, убавьте хоть немножко! — Вместе с Махмудом рассмеялся и сам старик.

— Не будем терять времени зря, чон дада, — сказала Маимхан.

— А ну, подойди сюда, крепыш, — дядюшка Колдаш поманил к себе плечистого юношу, тот выступил вперед. Старик нащупал глазами второго джигита:

— Глядя на тебя, сразу догадаешься, что ты уже перескакивал не через одну стену и брал не одну крепость. — Джигит привычно покрутил усы и гордо усмехнулся. — Жаль только — нет здесь молоденьких девушек, некого тебе пощекотать своими усами... Ступай ко мне!

Смех загремел еще громче.

— А теперь возьмите кинжал и нож в обе руки и по очереди вонзайте в землю, а сами всем телом тянитесь вверх, вот так... — И старик с удивительной ловкостью начал подниматься по отвесному склону, наблюдавшие за ним видели только, как с почти неуловимой быстротой мелькают в его руках нож и кинжал. Вслед за ним поднималась и плетеная лестница, подцепленная носком ноги за верхнюю перекладину. Добравшись до вершины, дядюшка Колдаш закрепил конец лестницы кольшками и сам спустился по ней вниз.

— Молодец, чон дада!..

Второй раз в этот день старика окружили, разглядывая его с изумлением и восторгом.

Вслед за дядюшкой Колдашем попытались счастья два отобранных им джигита. Несмотря на все старание, и тот и другой едва вскарабкались до половины.

— А-яй! — крикнул Колдаш. — Глупой голове и сила не в помощь!..

— Покажите еще раз, чон дада, — попросил Махмуд, с интересом следивший за действиями старика.

Дядюшка Колдаш подошел к прежнему месту и снова взобрался наверх, сопровождая свои движения пояснениями:

— Не надо торопиться... А ножи втыкайте поближе друг к другу... А коленом поворачивайте, как будто играете в лянгу...

Махмуду показалось, что он усвоил все приемы, он полез вверх, но ему не хватило какого-нибудь аршина, когда он сорвался и упал, подняв целый столб пыли. За ним стал карабкаться по склону Ахтам, он без труда взобрался на вершину.

— Вот что значит джигит, у которого есть на плечах голова! — обрадовался старик.

Большинство джигитов, на которых ложилась самая ответственная часть штурма, справились с этим непростым делом не хуже Ахтама. А когда вслед за ними и Маимхан, не желая никому уступить, поднялась наверх, ее приветствовали веселые возгласы:

— Балдакчилар! Балдакчилар!.. [\[120\]](#)

Весь день начальник крепостного гарнизона провел в тревоге, а к ночи совершенно потерял покой. Тихо было за стенами Актопе, ни звука не доносилось снаружи, но зловещей казалась тишина. Тяжелый мрак окутывал все вокруг, только звезды изредка выглядывали в провалах между облаками, чтобы тут же исчезнуть. Тьма и безмолвие, безмолвие и тьма... По вечерам, разгоняя тоску, начальник гарнизона садился перед

тоненькой опиумной свечой, посасывал трубку, блаженствовал в сладостном забытии. Но сегодня ему пришлось изменить своей привычке — не то что зернышка опиума, крошки хлеба не побывало у него во рту с того раннего часа, как ему доложили, что проклятые воры движутся на Актопе. К вечеру начальнику гарнизона изменили силы, он скрючился, упал, закатив глаза, только белки стеклянно поблескивали в узких прорезях век. Его подняли, вложили в рот крошечный комочек опиума — наркоман ожил, как будто в его истощенное тело влили кровь, но первые слова, которые он выговорил, были: «Что, воры уже здесь?» Ему отвечали, что нет, пока все тихо. Однако он не поверил, вскочил, побежал к башне над главными воротами, трепеща не столько перед мятежниками, сколько перед собственным начальством, более безжалостным, чем любые враги, хотя командир гарнизона и сам кое-что значил, являясь родичем, правда, не слишком близким, длиннобородого дарина, и выполнял в крепости роль и хана и бека. Причина же такого беспокойства заключалась в том, что вместо положенных шестисот солдат в Актопе едва насчитывалось полтораста, а деньги на содержание остальных шли в карман любителя опиума и прочих дорогостоящих утех. Теперь, в страхе за свою голову, начальник гарнизона приказал раздать хранящееся на складах оружие маньчжурам, проживающим в крепости, однако их воинскую доблесть юн не переоценивал.

На сей раз сердце не обмануло начальника гарнизона. Едва он поднялся на крепостную стену, как снизу раздался ужасающий шум, казалось, все окрестное пространство кричало, вопило, надрывалось от рева: «Бей! Руби!» Не в меру бережливый начальник на какую-то минуту лишился речи. Между тем солдаты принялись палить из ружей, однако совсем не так, как предписывалось уставом, не туда, где, судя по звукам, передвигался в темноте противник, а вверх, вообще неизвестно куда, и при этом заботясь преимущественно о том, как бы самим спрятаться понадежней. Потом выстрелы прекратились сразу с обеих сторон, будто по уговору, и крики под стенами смолкли. Что происходит там? Отступили мятежники или только накапливают силы?.. Во всяком случае, возникшая передышка помогла начальнику крепости прийти в себя. Он велел подвезти для устрашения мятежников полную телегу позанза — взрывных ракет — и когда их подожгли, в самом деле раздался оглушающий грохот, и могло представиться, что вся крепость поднялась вверх, подпрыгнула к самому небу.

Джигиты, которые никогда не испытывали ничего подобного, кинулись было в бегство, но дядюшка Колдаш закричал: «Стойте, стойте,

это холостой взрыв!» — и преградил напуганным дорогу. Махмуд, раздосадованный этой внезапной трусостью, сыпал проклятиями, скликая в темноте своих.

— Обстановка понятна, — сказал Колдаш, когда старшины совещались, что предпринять дальше. — Нас готовились встретить заранее.

— У них много боеприпасов, — сказал Ахтам. — Они хотят не подпустить нас к крепости.

— Попробуем рискнуть еще раз, — сказал Махмуд, не признавая ничего, кроме риска.

— Что думает чон дада, перевидевший немало войн на своем веку? — спросила Маимхан.

— Совет мой все тот же, дочка: надо пускать в дело лестницы.

Договорились о штурме. Махмуд со своими джигитами направляется к северным воротам крепости, Ахтам — к южным, Хаитбаки — к восточным. Западные ворота пока остаются свободными. Еще один отряд с Умарджаном во главе выделили для отвлечения врага. Этот отряд и начал сражение.

Джигиты Умарджана неистовыми криками всполошили маньчжур, те подняли стрельбу, вначале такую частую и бестолковую, будто на огромной сковородке жарили кукурузу. Вскоре с крепостных стен началась пушечная пальба. Начальник гарнизона, видя, что наступление ведется по трем направлениям, и собственные силы расчленил на три части. Теперь у западных ворот оставалось наименьшее число солдат. Этим долгожданным моментом воспользовался дядюшка Колдаш. На дистанции в пять шагов расставил он своих «балдакчилар». Как только, по условию, с трех сторон раздастся крик «Бей, руби!», они должны были кинуться к стене и взобраться наверх.

И сигнал раздался... Джигиты, как черные кошки, рванулись к крепостной стене, в один миг очутились наверху и закрепили лестницы. Не успели солдаты опомниться, как по лестницам тонкими, частыми, злыми ручьями хлынули в крепость осаждавшие — те, что притаились внизу. Маньчжуры спохватились, но поздно! В ход пошли ножи и кинжалы, солдат душили руками, сбрасывали вниз. Джигиты, проникшие в крепость со стороны западных ворот, ринулись на солдат с тыла, солдаты уже бежали, бросая оружие, думая только о том, как спасти жизнь. Распахнулись ворота еще с трех сторон: в Актопе ворвались отряды Ахтама и Махмуда.

Бой внутри крепости был недолгим. Маньчжуры пытались укрыться в

домах, но им нигде не было спасенья. Розовел рассвет, когда восставшие заняли штаб гарнизона, разоружили уцелевших солдат и заперли их в свинарнике. Что до начальника гарнизона, то его обнаружили в курятнике. Повстанцы потеряли при штурме около пятидесяти человек, однако победа была полной. Среди добычи, которая оказалась в руках повстанцев, самым главным трофеем было оружие — его с избытком хватило на всех!..

Теперь, когда крепость Актопе оказалась в руках восставших, все неожиданно и круто переменилось. Раньше никто из местных беков и чиновной знати не принимал лесных смельчаков всерьез. «Кучка жалких бродяг, которым суждено кончить жизнь на плахе», — говорили одни. Другие презрительно усмехались: «До плахи не дойдет — слишком большая честь для этих голодранцев...» И остряли: «Ущелье Гёрсай станет их собственной могилой. Они отыскали для себя подходящее кладбище...» Во всяком случае, никто не сомневался, что «эти бродяги и голодранцы» заранее обречены и никакой опасности не представляют. И вдруг...

Многим, очень многим наступила пора задуматься о собственной судьбе. Впрочем, не раз в прежние времена случалось, что, когда восстания достигали высшей точки, во главе их становились те же самые беки. Так и теперь кое-кто из окружения Хализата уже присматривался, примеривался, выжидал, как будут развеваться события дальше, чтобы не промахнуться, не ошибиться, не упустить выгодный момент. И тут не смущали ни титулы, ни звания, ни клятвы верности перед существующей властью, тут интересовало только одно: хватит ли сил у мятежной голи захватить такие крупные города, как Кульджа, или Баяндай, или Старый Чинпандзы? Если да, — значит, все решается само собой, и от Хализата можно без риска переметнуться к мятежникам и произнести новые клятвы, чтобы обеспечить себе местечко не хуже прежнего, а с местечком — и положение, и власть, и богатство!..

Длиннобородый дарин объявил в Кульдже военное положение и, не скрывая собственных неудач, доложил о создавшейся обстановке жанжуну. Однако губернатор, склонный подозревать всех и вся, ценил своего любимца за прошлые заслуги; он выслушал его доклад довольно снисходительно, ограничась язвительным замечанием, что краснобаи, подобные дарину, вечно мудрят, пока чаньту низко держат голову, а в тревожные времена сами теряют разум... Жанжун приказал перевести из

Старой Куры в Кульджу три регулярных полка, преданных правительству. Эти полки были сформированы из маньчжуров, шивя, солунов и пользовались особыми привилегиями. Длиннобородый дарин вместе с военным советником жанжуна выработали план подавления восстания, который предусматривал разнообразные и уже зарекомендовавшие себя меры. Теперь ежедневно по всей стране арестовывали сотни ни в чем не повинных людей, бросали в зинданы и подвергали мучительным пыткам — в поисках сочувствующих мятежникам и просто для всеобщей острастки. В то же время в стан бунтовщиков засылались провокаторы и шпионы, чтобы внести сумятицу, посеять раздоры и расчленив силы восставших. Тут изощренный ум длиннобородого особую роль предназначал мулле Аскару, поэтому с уничтожением Аскара не торопились...

Однажды дарин приказал привести муллу Аскара к себе. Коротышка Аскар в заточении еще больше осунулся и как бы уменьшился в росте, — представ перед длиннобородым, он выглядел как ребенок после долгой и тяжелой болезни. Но в глазах муллы не погасли прежние живые огоньки. На них-то и обратил — не без досады — свое внимание дарин.

— Я уважаю таких твердых людей, как ты, — начал длиннобородый после продолжительной паузы, в течение которой он пристально всматривался в Аскара.

— В чем же оно заключается, это ваше уважение, господин дарин? — спросил Аскар, держа руки за спиной.

— В чем?.. А ты сам как полагаешь? — отвечал длиннобородый вопросом на вопрос.

— Я полагаю, — и Аскар сделал шаг вперед, — я полагаю, что оно ничего не значит, если вы заключаете меня в зиндан, а сами ведете себя как хозяин на моей земле и земле моих предков.

— Но неужели наместник великого хана не хозяин в его владениях? — усмехнулся дарин.

— Ваши слова, возможно, имеют смысл среди китайцев, но не там, где родина уйгуров...

— Мулла Аскар, — почти дружелюбным тоном проговорил длиннобородый, подходя к Аскару, — я убежден, что вы оказались бы вполне на месте, занимая очень большие посты... Сумей мы договориться и найти общий язык, это оказалось бы полезным и для нас и для вас... К чему затягивать напрасные страдания?..

— О чем вы говорите?

— Ключи от всей нынешней смуты — в ваших руках. Уступите их нам, а сами просите все, что угодно...

Мулла Аскар не отвечал, как бы взвешивая слова длиннобородого.

— Учтите, мулла Аскар, наша щедрость не знает пределов... Положение, которое вы займете, будет выше, чем гуна Хализата...

— Вот как?..

— Разумеется. Я обещаю вам это от имени кагана!

— Что ж, это неплохо...

— Хинхав! — Длиннобородый похлопал Аскара по плечу, но тот сделал движение, будто в тело ему вонзили иглы.

— За предательство я желал бы получить от вас единственный чин...

— Говорите смелее, что вам больше по душе?..

— Я хотел бы, — медленно произнес мулла Аскар, — я хотел бы стать смотрителем кладбища, на котором вас закопают живым.

— Скотина!.. — Длиннобородый отскочил от муллы Аскара и разразился проклятиями.

— Что случилось, господин дарин?.. Я ведь только ответил на ваш вопрос...

— Заткни свою вонючую глотку, негодяй!.. Ты сам вор и атаман всей воровской шайки!..

— Странное дело... Вы пришли на нашу землю, вы грабите наш народ, но воры, оказывается, не вы, а мы...

Что такое — слово?.. Не пустое ли сотрясение воздуха? Его не потрогать руками, не сжать в ладони... Но слово, в котором заключена истина, обретает внезапно такую силу, что перед ним сникает самая наглая тварь и отступает, злобно рыча и пряча трусливый хвост между ног... Вот они стояли друг против друга — узник, ожидающий смертного приговора, и властитель, за которым тысячное войско, готовое по первому его знаку все сокрушить, уничтожить, смести — вот они стояли, всем сердцем ненавидя и презирая друг друга, но нечем было ответить господину дарину, правителю Илийского вилайета, наместнику великого хана, — нечем...

— Не будем продолжать этот бессмысленный спор, — проговорил наконец длиннобородый. — Судя по всему, ты любишь свой народ, тогда ты должен предотвратить ненужное кровопролитие, которое ему угрожает.

— Чем я могу помочь своему народу? — спросил мулла Аскар, чувствуя, что в словесном поединке перевес на его стороне.

— Ты должен внушить своим ученикам, Маимхан и Ахтаму, которые стоят во главе бунтовщиков, что...

— Иншалла?! Значит, я все-таки достиг своего, мой труд не пропал даром! — радостно сказал мулла Аскар: от слов дарина у него вдруг будто

выросли крылья.

— Ты бредишь, бредишь, чаньту!.. Чему ты рад?..

— Нет, это не бред, я не брежу, господин дарин... И наяву, а не в бреду я говорю: спасибо вам, смертельному моему врагу, за весть, которую не принес бы и вернейший друг!..

— Пойми, глупый старик, если ты будешь упорствовать, то больше никогда не увидишь своих учеников...

— Пусть! Даже сделавшись прахом, я останусь вместе с ними...

— Упрямая собака! — не выдержал длиннородый, теряя остатки терпения. — Тебе отрубят голову на плахе!

— На земле, где прольется моя кровь, вырастут дети, которые, возмужав, растопчут подобных тебе извергов!.. Ты слышишь, палач?..

— Тюремщик! — крикнул длиннородый, вызывая надзирателя. Вошел стражник, придерживая на боку длинную саблю. — Убери его с моих глаз!

— Я не погибну, погибнешь ты!..

Мулла Аскар не успел договорить — его уже тащили к двери...

Глава тринадцатая

1

Штурм Актопе явился не только первым крупным военным успехом повстанцев — победа окрылила, подняла дух, дала ощутить веру в себя, в свои силы; а самое, может быть, главное — каждый из них теперь почувствовал вкус свободы, — свободы, которая прежде казалась лишь далекой манящей мечтой. Всякий, кто хоть раз испытал подобное, уже не мог и представить себе возврата к жалкому прошлому, где не было ничего, кроме рабской покорности судьбе, горя и постоянных унижений.

Вместе с тем победа заставила повстанцев иными глазами взглянуть и на самих себя и на свое будущее: ведь им предстояло не просто перебить и уничтожить ненавистных угнетателей, а взять в руки власть и устроить для всего народа справедливую жизнь. Для этого требовалось на первых же порах, продолжая наращивать силы, навести порядок в собственных рядах, укрепить дисциплину и правильно организовать свою еще небольшую армию.

В крепость Актопе со всех сторон шли люди, желавшие примкнуть к повстанцам, сюда тянулись толпы дехкан и городской бедноты; ручейки сливались в мощный поток, перед которым не устоит никакая преграда, но и поток этот надо было направить в единое русло.

Повстанцы пока не успели еще продумать и создать четкую военную и административную систему. Всем управлял непроизвольно сложившийся совет из Ахтама, Маимхан, Махмуда, Семята, Хаитбаки и старика Колдаша. Решающее слово, по молчаливому согласию, оставалось за Ахтамом. Ближайшим его помощником и советчиком считалась Маимхан.

Теперь, когда восставшие овладели Актопе, перед ними возник вопрос: вернуться ли в горы или остаться в крепости. Старик Колдаш доказывал, что крепость только свяжет в дальнейших действиях, превратит наступление в оборону, она расположена слишком близко к Кульдже и не устоит перед регулярными частями. Пока мы, говорил он, не расправим как следует крылья, лучше держаться в горах, это наш дом, там мы полные хозяева. Маимхан соглашалась с Колдашем. Но Махмуд уперся и ни за что не хотел покидать Актопе. Слыханное ли дело — одержать такую победу и сразу же отступить?.. Ахтам понимал, что Колдаш прав, однако ему не

терпелось ударить по Кульдже, поэтому он склонялся к мысли Махмуда. Спорили долго и горячо, каждый стоял на своем, но все чувствовали, что надо прийти к какому-то общему решению, — разногласия принесут ущерб делу.

Однажды в доме, где заседал совет, неожиданно появился портной Саляй. Он увидел Махмуда, бросился к нему и обнял со стоном и плачем. Кузнец опешил: давно не видел он своего бывшего товарища, давно ничего не слышал о нем, да и чем его мог интересовать отступник и трус, который покинул друзей при первой же опасности? И вот портной стоял перед ним и бил себя костлявым кулаком в худую впалую грудь, и в покаянных словах его было столько отчаяния, что в сердце Махмуда на какой-то миг воскресло прежнее доброе чувство. Не то чтобы он простил Саляя, изменившего клятве, — просто теперь, после победы в Актопе, и такие слабые люди поняли, на чьей стороне сила и правда, откинули нерешительность и выбрали, с кем идти. Так думал Махмуд и снисходительно слушал Саляя, его сбивчивую речь, перемешанную со слезами, и остальные с удивлением и неловкостью наблюдали за этой странной сценой.

— Ладно, — прервал наконец Махмуд портного. — Забудем, что было, вытри глаза и веди себя как мужчина.

Саляй смолк. Он смотрел на Махмуда, словно пытаясь угадать, может ли он в самом деле надеяться на прощенье. Махмуд сурово усмехнулся и потрепал его по плечу. Слезы снова навернулись на глаза Саляя, и он сказал самое главное, самое страшное:

— Мы потеряли Салима-ашпаза...

— Потеряли Салима?.. — Вслед за Махмудом вздрогнули и потянулись к Саляю все, кто знал повара или слышал о нем.

Тогда Саляй рассказал о том, как несколько дней назад к нему в лавку, задыхаясь от бега, примчался Салим: «Радуйся, брат, — закричал он с порога, — наши взяли Актопе!..»

Саляй, не отзываясь ни словом, продолжал свое шитье.

— Эй ты, — рассердился Салим, — слышишь, что я говорю?.. Наши захватили крепость!.. Да не пыхти, как тупоголовый мул!..

Последние ли слова задела портного или что другое, но Саляй, задержав в руке иголку, с язвительным спокойствием посмотрел на Салима:

— Зачем так шуметь, будто они захватили не Актопе, а весь мир?

— Подлая твоя душонка! — закричал Салим. — Да я тебе голову сверну, как паршивому птенцу!.. — Он стиснул Саляя за плечи, приподнял,

подержал на весу и швырнул оземь.

Не сразу поднялся с пола Саяй, не сразу нашел слова для ответа, а когда заговорил вновь, бледное лицо его было перекошено от злобы:

— Только дураки, вроде тебя, верят этому пустомеле Аскару и этой квочке Маимхан... А я... У меня своя голова на плечах! Да, своя, и мне с ними не по дороге!..

— Я бы выпустил из тебя кишки и вытряхнул все потроха за такие слова, да не хочу марать руки о такую тварь, — сказал, едва сдерживая бешенство, Салим. Но столько откровенной ненависти заключалось в его взгляде, что Саяй испугался, как бы тот не исполнил, чего доброго, свою угрозу, и жалобно заюлил, закрутился:

— Прости меня, брат, если я тебя обидел... Ты смел, как лев, а у меня, видит аллах, всегда было робкое сердце...

— Зачем же ты с самого начала затесался к нам?.. — Салим пристально взгляделся в Саяя, — Или ты и вправду хотел все выведать, а потом...

Саяя затрясло от страха.

— Ну-ка, идем со мной! — приказал Салим таким тоном, что его нельзя было ослушаться, и, не зная, куда и зачем ведет его Салим, Саяй покорно вышел на улицу первым. Здесь было безлюдно, глухую полночь нарушала только время от времени переключка стражников. Добрались до Доланских ворот, здесь путь им преградил патруль. Оба бросились бежать. Вдогонку загремели выстрелы. Пуля настигла Салима — потому ли, что крупная фигура делала его хорошей мишенью, или так было угодно судьбе, но он упал смертельно раненный. Что же до Саяя, то он сумел спрятаться в арыке. На его глазах солдаты прикончили давнего товарища...

Саяй не стал дожидаться, пока его найдут, сам направился к солдатам и, спасая жизнь, рассказал обо всем, что было ему ведомо. Его немедленно доставили к длиннородому дарину, и тот сразу понял, с кем имеет дело.

— Так вот, Саяй, — сказал он, — запомни: если ты станешь помогать нам и делать, как тебе прикажут, я сам награжу тебя и пожалую чин, а если будешь хитрить — потянешь за собой всю свою семью на плаху.

В тот же день Саяя познакомили с Мо-тайтай, а в канцелярии длиннородого разработали коварный план, — в соответствии с этим планом Саяй и Модан приступили к своему черному делу...

Разумеется, ни слова правды не сказал трус, завербованный в шпионы, о том, что произошло между ним и Салимом, а о дальнейшем — тем более, но кое-какие подробности в его рассказе насторожили Маимхан.

— Как же тебе, Саяй, все-таки удалось спастись? — Спросила она.

— Мы... Мы вместе бежали... Сначала... А потом раздался выстрел, Салим упал, а я вбежал в чьи-то ворота... И проскочил через двор...

— Откуда же тебе известно, что Салим мертв? — сказал старик Колдаш.

— Я... Мне так показалось, я видел, как он упал...

— Почему же ты его бросил?

— А что мне оставалось?.. Все равно, чем бы я ему помог?..

— Между прочим, вы назвали женщину, Саляй-ака... Где вы с ней встретились? — спросила Маимхан.

— Встретились по дороге сюда. А про себя ей лучше рассказать самой, я ведь мало что знаю...

Что ж, среди тех, кто приходил в лагерь повстанцев, попадались всякие люди, поэтому слова Саляя не возбудили особенных подозрений. Поверили ему и в остальном, тем более, что он рассказал о военных приготовлениях маньчжур, о расположении в городе их частей, — надо ли упоминать, что и это заранее было согласовано с даринном.

— В Кульджу прибыли новые войска... Ханский полк... Судя по слухам, специально против вас...

— Спасибо жанжуну за его заботу, — сказал Махмуд, поднимаясь с места. — Он заботится о нас, но и мы позаботимся о хорошей встрече.

— Сколько же солдат сейчас в городе? — спросил Ахтам.

— Не скажу точно, только в крепости Кульджи их как пчел в улье...

Совет, прерванный появлением портного Саляя, продолжался. Что же до самого Саляя, то Семят предложил, чтобы тот организовал портняжную артель для нужд повстанцев.

Так в лагере нашла себе приют ядовитая змея о двух головах.

Нет, не в одном лишь искусстве любви знала толк прекрасная Модан, длиннобородый дарин не ошибся, остановив на ней свой выбор. С первых же дней пребывания в Актопе, среди повстанцев, приступила она к исполнению тайного замысла, тонко и точно рассчитывая каждый шаг, ведущий к далекой цели.

Правда, и сами обстоятельства складывались для нее благоприятно. В лагере не было никого, кто мог бы ее опознать, ей не приходилось этого бояться. Наоборот, все сочувствовали несчастной молодой женщине, обиженной судьбой, истерзанной страданиями. — Модан превосходно

справлялась со своей ролью. «Будь проклята моя красота, от нее все мои беды, — говорила она, перебивая свой рассказ жалобными вздохами и слезами. — Все началось с того, что в меня влюбился знатный маньчжур, Он убил моего мужа, а меня разлучил с родным домом. Восемь лет он мучил меня, восемь лет не видела я Кучара, где родилась и провела беззаботную юность, восемь лет не встречала ни милой матери, ни старика отца, не знаю, живы ли еще они или умерли в тоске и печали... Спасибо вам: вы поднялись на священную войну, вы отомстите за всех обиженных. Если бы не вы, я до самой смерти томилась бы среди неверных...»

— Не убивайтесь так, — растроганная чужим горем, принималась уговаривать несчастную Маимхан. — Смотрите, сколько хлопот у каждого из нас, тут некогда думать о себе... Заботы об общем деле помогут вам излечить ваши раны...

Слабым голосом благодарила Модан свою утешительницу, но не пила, не ела, не поднималась с постели, сказываясь вконец разбитой и больной. Однажды, превозмогая слабость, нерешительно попросила она Маимхан, чтобы взяли ее в артель к Саляю. Маимхан обрадовалась: значит, не напрасны оказались ее увещевания!..

Первое время Модан работала с особенным усердием. Женщины шили одежду, в которой нуждались многие джигиты, — кто успел порядком пообноситься, кто так и пришел из дома, не имея на плечах ничего, кроме рвани, едва прикрывавшей тело. Так что в мастерской постоянно былолюдно, сюда приходили примерить обнову, положить заплату, а то и просто поболтать и перемигнуться с молоденькими мастерицами.

С виду всем заправлял Саляй, но на самом деле, следуя приказу длиннородого, он беспрекословно подчинялся Модан. «На людях можешь кричать на меня, топтать ногами, но не забывай, кто здесь настоящий хозяин», — говорила она, оставаясь с ним наедине. Улучив удобный момент, Модан повторяла, особенно если поблизости находились Ахтам или Маимхан: «Разве смогут победить врага наши отважные джигиты, останься они раздетыми и разутыми?..» Она без усталости твердила швеям, склонившимся над шитьем: «Не жалейте сил, родные, пусть каждая наша игла обернется для врага штыком!» Она просила, требовала вручить ей оружие, дать коня, чтобы самой отомстить кровопийцам!.. Вскоре Модан прозвали в лагере «беспокойной вдовой».

Своими руками она сшила из теплой верблюжьей шерсти бешметы для вожаков повстанцев, затем принялась обряжать в одежду из отменного материала, захваченного после штурма Актопе в китайских лавках, молодцов из отряда Хаитбаки: как не позаботиться о тех, кто ходит в

разведку! Джигитов и вправду стало не узнать, когда они облачились в красивую добротную форму.

Между тем Модан среди неустанных хлопот не забывала о белилах и румянах, о щипчиках для бровей, о туши для ресниц, — словом, о том, чтобы постоянно держать наготове свои женские чары. И не зря ее блестящие глаза, грудной голос, плавная походка, ее мягкие кошачьи движения волновали и притягивали огрубевшие в походной жизни сердца мужчин.

Модан присматривалась, намечая свою жертву. Ахтам?.. Пожалуй, слишком приметен, к тому же у него есть эта простушка Маимхан, тут нужно много усилий, если вообще они увенчаются успехом... Хаитбаки?.. Не то чтобы она не была уверена в своей неотразимости, но... Этот юнец из тех, для кого честь выше женских прелестей... Семят?.. Праведник, его тоже нелегко сбить с пути. Махмуд... Вот о ком стоит подумать. Об этом неотесанном грубияне, этом прощельге с узким лбом и молотообразными кулаками... Он не знает удержу, все в нем кипит, бурлит, клокочет, как в медном котле, под которым разложили хороший огонь... Говорят, до женитьбы он хаживал на улицу Сятяи, где водятся красотки, которые не заламывают высокой цены...

Она сшила для Махмуда особенно красивый бешмет, но отнесла его к себе домой.

— Как думаешь, сестренка, не настала ли пора и мне сменить наряд? — сказал однажды Махмуд, заглянув в мастерскую. — Чем ты меня обрадуешь?

И в самом деле, вся одежда на Махмуде превратилась в лохмотья.

— А мы уже постарались для вас, ака, — игриво улыбнулась Модан, — будете довольны.

— А ну-ка, показывай... Или ты все, чем богата, прячешь под себя, как гриф яйцо? — Шутки Махмуда не отличались изяществом.

Модан поморщилась, но сдержала себя.

— Одежда у меня дома, сейчас принесу...

— Не беспокойся, примерю завтра. — Махмуд вышел не прощаясь. Всем видом своим он как бы показывал, что полностью безразличен к ней. Но Модан, опытная в подобных делах, знала, что, закинув удочку, надо набраться терпения.

Между тем повстанцы, готовясь к предстоящему наступлению, каждый день использовали для боевых учений, проверяли, пополняли запасы провианта, фуража. До того как выпадет снег и дороги покроются льдом, предполагалось занять несколько важных поселков, обеспечив себе

свободу действий.

Сегодня вожаки повстанцев наблюдали с крепостной стены учебные занятия отрядов.

— Смотрите, дети мои, — не скрывая радости, говорил старый Колдаш, — с помощью аллаха наши джигиты уже кое-чем овладели и теперь выдержат любую схватку с врагом.

Действительно, почти все приобрели за недолгое время нужные навыки боя на саблях или кинжальной схватки. Только вот стрельба в цель не давала хороших результатов — сказывался недостаток патронов, их берегли для дела.

— Ничего, ата, это уж не такая беда. Вот захватим арсенал в Баяндае, тогда и наверстаем в стрельбе.

— Э, нет, сынок, — возразил старик Махмуду, — стрельба по мишени стоит на первом месте. Жалея патроны сейчас, мы можем потом пожалеть о многом.

— Вы правы, ата, — сказал Ахтам. — Только мне самому, наверное, придется взять ключи от склада с патронами. — Он шутливо подтолкнул Семята, который заведовал складами и оказался на редкость бережливым хозяином.

На занятиях особое мастерство показали те джигиты, которые под руководством Колдаша обучались лазанию по стене.

Когда занятия кончились, повстанцы прошли вдоль стены строем. Около четырех сотен джигитов, одетых в форму, резко отличались среди пестрой, разноликой массы.

— Как ладно выглядят наши джигиты, — восторженно заметила Маимхан.

— Форма — украшение бойца, — сказал Колдаш. — Неряшливый солдат даже врагу кажется не таким страшным.

— Тогда хочешь не хочешь, а хвалить придется Семята-ака, ведь это он нас надоумил, — похлопал Семята по плечу Ахтам.

— Тут есть заслуги и моя и Модан, — вмешался было в разговор Саляй, появившийся в этот самый миг рядом с Ахтамом. Но никто не обратил внимания на его слова.

Махмуд на другой день пришел в мастерскую, но ему сказали, что Модан больна и сегодня не выходила из дома. Кузнецу не терпелось облачиться, наконец, в такую же форму, как у его друзей, и он отправился разыскивать ее жилище.

Все предусмотрела Модан заранее, она приготвилась и ждала, время

от времени в нетерпении приподнимая занавеску и выглядывая на улицу. Но вот показался Махмуд — крупным, размашистым шагом приближался он к ее дому. Модан быстро накинула ночную сорочку из тонкого шелка с глубоким вырезом и наполовину обнажила полные белые груди. Потом она распустила пышные волосы, прикрыла ими оголенные плечи и легла, закинув руки за голову. Кузнец, не ведавший правил приличия, без стука распахнул дверь и вошел в комнату.

— Ма-ама! — с притворным испугом вскрикнула Модам, прячась под одеяло. Но цель была достигнута — Модан заметила, как жадно вспыхнули зрачки Махмуда. На мгновение коснувшись взглядом обнаженных плеч женщины, кузнец почувствовал, как гулко заколотилось его сердце, и как вошел, так и остался стоять, зажмурив глаза, словно его ослепило.

— Это вы, Махмуд-ака?..

Махмуд разжал веки. В нежном полумраке, разлитом по комнате, он увидел небесную перь, — да, да, перь, которая неизвестно почему очутилась здесь, перед ним, — так, по крайней мере, ему почудилось. Дневной свет, узким лучом падавший из прорези между плотными занавесками, ласкающими бликами ложился на бледно-розовую кожу ее лица, на грудь, круглую, дразняще полуприкрытую прозрачным шелком.

— Вы неблагодарный человек, Махмуд-ака. Я так старалась для вас, а вы... Вы даже не хотите спросить, как мое здоровье...

— Ч-что с вами? — едва выдавил Махмуд пересохшим горлом. Он пытался и не мог унять дрожь в коленях.

— О аллах... Пошли мне хоть кого-нибудь, кто подал бы несчастной глоток воды...

— Г-где в-вода? — теперь у него вздрагивал и голос.

— Вон там, в нише.

Махмуд плеснул на доньшко пиалы немного холодного чая.

— Поднимите же мне голову, Махмуд-ака...

Махмуд приподнял Модан за плечи. Шелковистые волосы коснулись его лица, от белого, как снег, но горячего, как угли, тела, такого нежного, близкого, в ноздри ударило хмельным дурманом, кровь забилась в висках, как будто где-то там, в голове, кувалдой ударили по наковальне. Губ его коснулось что-то жаркое, огненное, он не сразу понял, что это ее губы. Махмуд отшвырнул пиалу и бросился на Модан. Маленькая, хрупкая, подобная коробочке хлопка, попавшей под колеса воза, груженного углем, Модан вся ушла под огромное тело Махмуда...

В лагере каждый человек был у всех на виду, ни один поступок не оставался незамеченным. О встречах Махмуда с Модан вскоре заговорили, кто с возмущением, кто с насмешкой, а кто и просто из любви к пересудам и сплетням. Что же до вожаков повстанцев, то они были смущены и встревожены: на Махмуда, их товарища, которого глубоко все уважали, пала черная тень, давая повод злым языкам.

По праву старой дружбы, Ахтам отправился к Махмуду для решительной беседы. Время близилось к полудню, но Махмуд еще спал, храпя, как дехканин, завершивший жатву. Смуглое лицо его побледнело и осунулось, веки отекали, синеватые круги залегли под впавшими глазами. Ахтам тряхнул его за плечо. Кто знает, что снилось Махмуду: возможно, Ахтам, разбудив, вырвал его из сладких объятий возлюбленной, — по крайней мере, кузнец, очнувшись, посмотрел на него сумрачным взглядом и ничего не сказал. О чем только не толковали они раньше, чем только не делились! Но теперь оба молчали, не зная, как и с чего начать, — хмурые, насупленные, взаимно враждебные, каждый прислушивался к затрудненному, шумному дыханию другого.

— Ты, наверное, понимаешь, почему я пришел? — проговорил наконец Ахтам.

— Что я, старуха-прорицательница?.. — буркнул Махмуд, прикидываясь, будто ни о чем не догадывается.

— Не верти хвостом, — сказал Ахтам, — ты все понимаешь сам... Каждый из нас должен считаться с тем, что думают о нем остальные...

— А откуда ты взял, будто я не считаюсь? Что я такое натворил?.. Я убил кого-нибудь, ограбил, предал?..

— Нет, — изменившимся голосом проговорил Ахтам, — если бы ты кого-нибудь ограбил, убил или предал, тогда все было бы проще, и мы знали бы, как с тобой поступить... А тут...

Махмуд опустил голову. Ахтам не кричал, не размахивал кулаками, в его тоне слышалась искренняя горечь — и это обезоруживало Махмуда. Он чувствовал — его друг прав. Но в то же время Махмуд не мог забыть густой аромат волос Модан, ее нежное тело, по-змеиному прильнувшее к нему, ее губы, которые шептали: «Никому тебя не отдам... Только бы наши завистники не разлучили нас...» И ее плач, до сих пор звучавший в его ушах...

Сердце Махмуда наполнила слепая ярость:

— Вы... Вы все мне завидуете, вот что!..

— Завидуем?.. Да ты совсем спятил, тупая твоя башка!.. — вышел из себя Ахтам. Он чуть не набросился на Махмуда, который по-прежнему лежал в своей постели, развалясь на подушках. Но разве для того пришел он сюда, выполняя поручение товарищей?.. Ахтам взял себя в руки, кое-как сдержался. — Люди, которые пошли за нами, во всем доверяют нам, — сказал он, помолчав. — И если мы, вместо того чтобы отдать все силы этим людям ради нашего общего дела, начнем заниматься развратом и распутством, значит, мы обманем их и погубим самих себя...

— Не смей говорить, что я беспутствую! Я с ней обручусь, как полагается по закону!

— А твоя жена? А твой сын?.. Где у тебя стыд, Махмуд-ака?

— У пророка Магомета было четыре жены!..

Ахтаму казалось, их разделила глухая стена. Все, что ни говорил бы он дальше, было бы напрасным.

Махмуд горячился все больше:

— Что тут не угодного аллаху, если я пожалел бедняжку, которая пострадала от маньчжур?

— Не прикрывай хоть именем аллаха эту девку...

— Заткни свою поганую глотку! — вскипел Махмуд. — Всякому, кто вздумает говорить такое про Модан, придется иметь дело со мной!

— Недаром говорят: «Умный враг лучше глупого друга», — сказал Ахтам. — Смотри, как бы ты не наделал нам беды, Махмуд-ака...

Появление вестового прервало их спор:

— Пришли парламентареры!..

Ахтам, не дожидаясь, пока Махмуд оденется, отправился вместе с вестовым. Едва за ним затворилась дверь, как в комнату проскользнула Модан и бросилась на шею к Махмуду:

— Не хочу, чтобы ты уходил!.. Такой батыр, как ты, должен сам, один, вести переговоры с парламентарерами!..

Она не отпускала его, Махмуд с трудом высвободился из ее цепких объятий:

— Я вернусь к тебе, но сейчас я должен быть там.

— Хорошо, я не стану перечить... Но держи себя перед всеми с достоинством, мой отважный батыр, мой господин, мой падишах... — шептала Модан в промежутках между поцелуями.

Оба парламентарера сказались мусульманами: один был тунчи — переводчик, муж Модан, другой — писец из медресе. Соблюдая обычай,

они стоя вручили Ахтаму послание, — скрепленное большой печатью. Ахтам быстро пробежал его, спросил:

— Это все, зачем вы пришли? — Да, — отвечали ему, — здесь все написано.

— Читай, а мы послушаем, — напуская на себя неприступную важность, сказал Махмуд.

Ахтам стал читать. В послании выдвигались два условия, которые обязаны выполнить повстанцы, чтобы добиться прощения: во-первых, немедленно сложить оружие и вернуться к обычным занятиям; во-вторых, возвратить правительству все имущество, захваченное восставшими. Третье условие касалось судьбы муллы Аскара, дядюшки Сетака, жен Семята и Махмуда, именовавшихся заложниками. Они будут освобождены из зиндана, если повстанцы обменяют на них взятых в плен маньчжурских офицеров и солдат.

— Два первых условия мы отвергаем, — сказал Ахтам. — Что же до третьего, то с ним, возможно, мы согласимся.

— Никаких условий нам не нужно! — ударил себя в грудь Махмуд. — Если те, кто вас послал, считают себя мужчинами, пускай докажут это в бою! — Вообще-то он думал то же самое, что и Ахтам, но дух противоречия заставил его возразить Ахтаму, и возразить так резко, что даже парламентареры в недоумении переглянулись. Портной Саяй — он тоже оказался среди присутствующих — единственный поддержал Махмуда:

— Верные слова! Пускай жанжун сам сдастся, пока не поздно!

Остальные согласились с Ахтамом, и он дал окончательный ответ:

— Передайте жанжуну, что он имеет дело не с детьми, которые затеяли игру в прятки, а с людьми, взявшими в руки оружие. Мы будем бороться, пока не добьемся своего. А о третьем условии жанжуна мы подумаем.

На том переговоры и кончились. Парламентареры ничего не добавили к изложенному в послании. Подлинная же цель их прихода заключалась в том, чтобы разведать, как обстоят дела у мятежников и как пристроились в лагере повстанцев Саяй и Модан...

Глава четырнадцатая

1

Давно уже миновала полночь, а Маимхан все не могла заснуть. Ей хотелось забыться, уйти от тревожных мыслей, но едва сон смежал ресницы, как снова картина сегодняшнего военного совета возникала перед ней.

После отъезда парламентаров руководители повстанцев собрались обсудить возникшее положение. Крепость Актопе, в сущности, оказалась в окружении: на западе — Баяндай с крупным гарнизоном, на юге — Старый Чинпандзы, тоже хорошо укрепленный, на юго-востоке — Кульджа, к которой маньчжуры стянули все силы и, сами не переходя в наступление, предпочитали ждать, пока первыми двинутся повстанцы и подставят себя под удар на подступах к городу, где правительственные войска занимали выгодные позиции. Кроме того дороги, связывающие Актопе с соседними селами, были перерезаны. У восставших оставался единственный выход: прорвать окружение, захватив какой-то важный опорный пункт маньчжур, скорее всего — ту же Кульджу. Так считал Ахтам, и так сказал он на военном совете. Однако Махмуд, который прежде сам настаивал на штурме Кульджи, на этот раз выступил против Ахтама, и его поддержали еще три старика. Махмуд спорил все злее, все яростней, короткая крепкая шея его побагровела, белки маленьких глаз налились кровью, он сыпал на Ахтама площадную брань, а когда заговорила Маимхан, грубо оборвал ее: «Тебе, сестрица, лучше заняться кухонными делами...» Совет, на котором должен был решиться вопрос жизни и смерти всего восстания, так ничего и не решил; все разошлись, унося в душе горький осадок...

«Когда среди друзей нет единства, враг радуется легкой добычей», — говаривал мулла Аскар. Маимхан не раз вспоминала этой ночью слова учителя, и ее мучили дурные предчувствия. «Неужели среди нас прорастают ядовитые семена раздора? — думала она, и сон, едва коснувшись ее глаз, отлетал прочь. — Нет, нет! — твердила она, возражая сама себе. — Ведь у нас общий враг, общая судьба, общая надежда.... Но что происходит с Махмудом? Он так переменялся... Какой шайтан сбивает его с пути?..» — Маимхан не лежалось, голова горела, горло пересыхало. Она встала, подошла к окну, толкнула решетку. Свежий холодный воздух

хлынул в комнату, она с наслаждением распахнула грудь ему навстречу. Глубоко вздохнула, испытывая облегчение, но длилось оно недолго.

Снаружи было так темно, что фигура часового таяла во мраке, только шаги его слышались невдалеке. Тучи плотно заволокли все небо. Голые стволы деревьев, лишенные листвы, тяжело скрипели под ветром, дополняя этим звуком, похожим на стон, сумрачное уныние осенней ночи. Маимхан стало жутко, такой слабой, такой одинокой и беспомощной почувствовала она себя вдруг. И четко, как иной раз случается во сне, до странного четко и ясно увидела она перед собой своего отца и муллу Аскара... Никогда, в сущности, не были они особенно близки, Маимхан и ее отец, многое разделяло их, на многое в жизни смотрели они по-разному, но сейчас она с давней детской нежностью подумала о нем, и на глазах у нее выступили слезы. Бедный мой отец, мой тихий, кроткий отец.... И раньше не сладкой была твоя жизнь, что тебя ждет теперь?.. Маимхан представила себе его — сгорбленного, с погасшим взором, томящегося в зиндане, куда попасть — хуже, чем умереть. О, в Кульдже умеют строить зинданы!.. А мать? А маленькая Минихан?.. В отместку за опозоренного Бахти старая лиса Норуз взял к себе в дом тетушку Азнихан и ее Мини — каких оскорблений, каких пинков и зуботычин суждено им натерпеться!.. Тоска, боль и ненависть — все смешалось в душе Маимхан, и долго еще стояла она у растворенного настежь окна, не замечая, как хлещет ей в лицо ветер, усиливающийся с каждой минутой, как швыряет колючим песком, обжигая лоб и щеки, как бьются в глаза расплетенные косы...

Она очнулась от оклика часового:

— Кто там?..

— Я... — Маимхан узнала голос Ахтама и встрепенулась.

— Пропустите, — приказала она.

С появлением Ахтама ей сделалось легче, спокойней, и на его извинения за столь поздний приход она ответила с искренней радостью:

— Ты выбрал самое удачное время, да, да!.. Почему?.. Так, это тебе не обязательно знать, но ты молодец, что пришел!..

Маимхан расстелила корпачу и пригласила Ахтама присесть с собой рядом.

— Отчего ты до сих пор не спишь, Махи?

— А сам ты отчего бродишь ночью?

Оба, не отвечая, взглянули друг на друга и отвели глаза.

Ахтам, под предлогом неотложного дела, пришел просто ради того, чтобы увидеть Маимхан и высказать все, что наполняло его сердце и предназначалось ей одной. Но теперь, когда они были вместе, он не мог

вытянуть из себя ни слова, только молчал, вздыхал и хмурился. Маимхан же по лицу джигита догадывалась, какие слова застряли у того на языке, но не подавала вида. И потом — разве сегодня им до сокровенных чувств?..

— У тебя какие-то важные новости?

— Прочитай вот это письмо.

— Как оно попало в твои руки?

— Его прислали с нарочным.

Маимхан с возрастающим интересом пробежала начальные строки. Это было послание Исрапил-бека, тестя Хализата. Он одобрял действия восставших, с похвалой отзывался об их мужестве, но подлинный смысл письма заключался в конце:

«Военное искусство требует не только храбрости и отваги. Во главе любой армии должны стоять люди, способные умело руководить ею. Мне кажется, у вас нет человека, который бы пользовался большой известностью и общим уважением. Для того чтобы добиться победы, вам нужно найти союзников среди беков-ходжей, баев-манаров, но вы слишком молоды, вас не считают достойными серьезного доверия, за вами не последуют — кстати, не только имущие власть и силу, а и народ, которому также требуется чье-нибудь громкое имя. Если вы не поймете этого, то все загубите, и нам больно будет видеть ваш разгром. Если же вы согласитесь с нами, то я готов принять на себя обязанности вашего главы и по воле аллаха блюсти справедливость и заботиться о всех в равной мере. У меня достанет смелости пожертвовать чинами, званиями, всем, чем владею, и выступить против кара-капиров!..»

Исрапил не скрывал своей цели: теперь, когда восстание было в самом разгаре, взять в свои руки власть, подобно тому, как это делали различные беки в прошлом. Однако письмо содержало мысли, от которых не так-то просто было отмахнуться. «А если Исрапил и вправду не ищет для себя корысти, если он сумел бы принести пользу нашему делу?» — задумалась Маимхан.

— Что ты скажешь, Ахтам?

— Что он слишком много болтает, этот бек.

— Он не болтает, он предлагает стать нашим ходжой...

— Мы и без него отыщем дорогу.

— Ты прав, отыщем, но разве плохо, если к нам присоединится еще

один влиятельный человек?.. Пойдем, посоветуемся с Семятом и остальными.

— Успеется и завтра, Махи...

— Нет, если у этого человека нет никаких скрытых умыслов, мы напрасно стали бы его сторониться, ему надо ответить немедленно...

Ахтам поднялся с такой неохотой, словно его тянули на веревке. Ему так хотелось побыть с Маимхан вдвоем...

Между тем Махмуд, как юнец, впервые пригубивший вина, все больше входил во вкус и думать не думал вырваться из разгульного угара, в который превратилась его жизнь. Где там! Он не слушал ни дружеских предостережений, ни справедливых упреков — ему чудился в каждом слове злой подвох, в каждом старом товарище — тайный враг. Все, что говорили о нем вокруг, он приписывал козням Ахтама, распря между бывшими друзьями разрасталась и грозила повредить общему делу. Опасность заключалась еще и в том, что кое-кто поддерживал Махмуда: он пользовался славой безоглядного смельчака, отчаянного рубаки, за это ему прощали и высокомерие, и зазнайство, и шашни с Модан. Выступи Махмуд против Ахтама в открытую, некоторая часть повстанцев пошла бы за ним. Это сдерживало Маимхан, Семята, старика Колдаша: они не решались на крутые меры, хотя и сознавали, что не вправе дальше ограничиваться одними назиданиями.

...Не успела еще Модан, придя к себе, переодеться и насурьмить брови, как на воротах звякнули замковые кольца. Модан легонько, на цыпочках подкралась к воротам, осторожно заглянула в щелку и увидела Махмуда.

— Это ты, мой сокол?

— Я, открой.

— Подожди немного, наберись терпения...

— Терпения?.. Это еще почему?

— Если я нашла другого, и ты больше мне не нужен?..

— Что?.. — Махмуд всхрапнул, как бык, поднатужился, навалился на ворота, железные крюки выскочили из своих гнезд, ворота распахнулись. Модан, изумленная нечеловеческой силой кузнеца, ахнула и со словами «мой черный медведь, мой бесстрашный барс» кинулась ему на шею. Но Махмуд подхватил ее на руки, поднял, как тряпичную куколку, свирепо прорычал:

— Где твой любовник? Показывай!

— Мой глупый, мой дурачок!.. — заворковала Модан, пуская в ход

такие нотки своего голоса, против которых, она знала, кузнец не мог устоять. — Я ведь только тебя и дожидалась!..

Махмуд смягчился, когда лица его коснулись горячие влажные губы, — от их прикосновения он всегда таял, как брошенный в огонь свинец.

— А теперь сам скажи, почему не приходил раньше? Только ничего не скрывай! — Модан привычно уселась к Махмуду на колени.

— Опять схватился с Ахтамом.

— Неужели? — притворно удивилась Модан.

— Они все надумали взять меня в оборот, да не на такого напали...

— Вот оно что... А о чем с тобой говорили?

— О чем?.. Да о том же... О тебе.

— Обо мне... Каждый раз — обо мне... Значит, из-за меня одной ты ссоришься со своими друзьями? — Она соскользнула с колен Махмуда, капризно надулась.

— Не сердись... — Махмуд обнял ее громадными ручищами, привлек к себе. — Пропади все пропадом, а тебя у меня никто не отнимет!..

— Это правда?

— Сам аллах мне свидетель!

Модан всем телом прильнула к кузнецу, от жарких ее поцелуев закружилось в голове у Махмуда.

— Модан, цветок мой, давай уедем куда-нибудь, кинем все...

— Ты испугался Ахтама?.. Ты, такой сильный, такой бесстрашный?..

— Тогда посоветуй, что мне делать.

— Ты не знаешь, что тебе делать? Но что тебе скажет слабая женщина? — Модан игриво рассмеялась.

— Ты тоже против меня?.. Все, все вы хотите моей гибели! — с тоской вырвалось у Махмуда. — Видно, нет на этом свете у меня близкого человека...

— Глупый, разве ты до сих пор не чувствуешь, кто я тебе?

— Если ты мне друг, тогда говори.

— Хорошо, слушай. Будь ты настоящим джигитом, ты давно уже справился бы с Ахтамом, своим завистником, и встал во главе войска.

Махмуд глубоко вздохнул.

— Но я, видно, зря пробую тебя надоумить, — продолжала Модан, заметив, как хмурится Махмуд в ответ на ее слова. — Ты слишком привык кланяться этой размазне Ахтаму, в котором и от мужчины-то ничего нет, или этой Маимхан, которая больше похожа на обструганную палку, чем на женщину...

Махмуд не пытался скрыть своей растерянности. Да, он сегодня крупно поссорился со своими товарищами; но поднимать на них руку?.. Нет, этого у него и в мыслях не было.

— Что же ты молчишь, батур, или проглотил язык?..

— Брось говорить о таких вещах, Модан...

— Повинуюсь, мой господин. Если бы не ты сам, я не мешалась бы со своими советами. Товба, товба^[121]!.. И кого только я собиралась учить!

Модан расплакалась. Махмуд вконец потерялся от ее слез.

— Не сыпь соль на свежие раны, Модан... Они и так болят... — бормотал он, поглаживая ее по голове. — Что ты хочешь от меня?.. Ладно, все будет по-твоему...

— Я ничего не хочу!.. Разве я говорю — иди, режь, убивай своих друзей? Наоборот — беги, бросайся перед ними на колени, вымаливай прощение!..

— Ведь я сказал — пусть будет, как ты желаешь, — поугрюмел Махмуд.

— Как я желаю?.. Нет, поступай, как знаешь сам!

— Я не могу оставаться рядом с Ахтамом.

— Запомни — это твои слова!.. И не бойся. Как только ты встанешь во главе, все соберутся под твоё знамя! И увидишь — Ахтам и Маимхан сами последуют за тобой!

— Тебе не сумеет противиться даже камень, — говорил Махмуд, прижимая к груди Модан.

Триста джигитов из отряда Махмуда, «заблудшие», как назвали их остальные, последовали за своим командиром. Они покинули Актопе и в тот же день вступили в Дадамту. Еще недавно цветущее селение лежало в дымящихся развалинах, уцелело всего несколько домов: по приказу длиннобородого маньчжурские солдаты разорили и предали огню «воровское гнездо» — родину Маимхан, Хаитбаки и других повстанцев. Кроме стариков и старух, здесь никого не осталось. Маньчжуры не тронули хозяйство Норуза, укrywшегося в городе, и люди Махмуда разместились в усадьбе старосты и в случайно сохранившихся дворах.

Обрадованные приходом повстанческого отряда, старейшины села явились приветствовать Махмуда. Поцеловав кузнецу руку, они прочитали молитву, которая кончалась словами: «пусть аллах сохранит вас на верном

пути», и, поглаживая бороды, ждали разговора. Но Махмуд ничего не спросил, никого не выслушал. Облокотясь о подушки и подкручивая усы, он сказал всего несколько слов:

— Я сам буду вести войну. Маимхан и Ахтам не поднимутся с места, как зажившие насадки. Я бросил нянчиться с этими болтунами, теперь все узнают, чего я стою.

Старейшины переглянулись, не веря своим ушам.

— Сегодня мои джигиты отдохнут, — продолжал Махмуд, — а завтра мы возьмем штурмом Баяндай. Потом я захвачу Кульджу и создам Исламское государство... Понятно?

Никто не проронил ни звука, головы стариков склонились еще ниже.

— А теперь ступайте... И можете считать себя подданными Исламского султаната.

Старейшины вышли на улицу, точнее — туда, где раньше была улица, а сейчас простирался огромный пустырь в грудах обугленных обломков.

— Да, вот тебе и Исламский султанат, — пробормотал один.

— А чего еще было ждать нам, горемыкам? — вздохнул другой.

— Не будь простаком, вроде Ахтама или Маимхан. Твое слово должно стать острием сабли, твой взгляд — грозой; подобно султану, ты должен одним своим видом внушать страх и покорность... Ты понял меня, мой батур? — Модан легонько стукнула пальцем по лбу Махмуда. Они остались в комнате вдвоем, их никто не слышал.

— Повинуюсь, мой мудрый визирь!

— Пусть больше не называют тебя твои джигиты Махмуд-акой, «сардар»^[122] — так следует именовать тебя отныне. А когда мы возьмем Кульджу, ты будешь Махмуд-пашой.

— Как же теперь называть тебя, родная?

— Мое имя должно соответствовать твоему. Но слушай меня дальше, мой сокол: сегодня мы устроим праздник, чтобы джигиты оценили твою щедрость. А после праздника, если пожелаешь, обручимся...

— Балли, балли... Дай же мне отведать меда твоих губ...

Не откладывая, стали готовить веселый пир, закололи черного быка из стада Норуза. При этом вспомнились Модан слова, которые однажды произнес Хаитбаки: «Наш Махмуд — вроде того черного быка у Норуза...»

«С одним быком покончено, — подумала она, — второй не переживет следующей ночи».

Среди тех, кто шел за Махмудом, было много мясников, поваров, пекарей, им ничего не стоило приготовить шашлык, а хлопотунья Модан

помогла откуда-то раздобыть вина. Этой ночью в Дадамту прирезали на жаркое последнюю птицу. И вот уже разостланы скатерти, расставлены переполненные блюда, и Махмуд восседает на супе, на мягкой корпаче из красного бархата, вокруг расположились джигиты, преданно смотрят они в лицо своему сардару, и глаза блестят в предвкушении веселья. Пылают светильники — никогда не горело их столько во дворе скупца Норуза. Махмуд празднует!..

— Сегодня, — говорит он, медленно, с расстановкой произнося слова, как учила его Модан, — сегодня устроил я этот пир в честь моих верных джигитов, которые не покинули меня...

— Хашкалла, наш сардар! — грянуло вокруг. Первым поднялся имам, облачившийся ради такого события в желтую чалму, за ним поднялись остальные.

— Радуйтесь и ликуйте под нашей защитой и покровительством!

— Слава тебе, наш сардар!..

Отвыкшие от обильной пищи и вина джигиты вскоре захмелели, пьяным смехом и буйными голосами зазвенел двор, и никто уже не стеснялся, не замечал своего сардара. Давно так не отводили душу джигиты: пляски и песни, громкий хохот и беззаботные шутки. Сам хаким Хализат, которого не удивили бы и пиры Джамшида, на сей раз прикусил бы язык...

В разгар веселья Махмуд скрылся во внутренних покоях со своей возлюбленной. Он еще не видел, чтобы его Модан была так щедра на ласки. Сладчайшим вином наполняла, она рот — и Махмуд пил из ее губ, как из кубка. Нежной голубкой ворковала она, приникнув к его груди. Дразнила своей бесстыжей ослепительной наготой, манила, распалая и выскальзывала, как рыба, из дрожащих от нетерпения рук Махмуда...

Еще не начало светать, еще «заблудшие», пропировав добрую половину ночи, спали мертвым сном, когда маньчжурские солдаты, словно саранча, со всех сторон окружили Дадамту. Никто, кроме Модан, не подозревал о происходящем. Стиснутая сонными объятиями Махмуда, она нетерпеливо считала минуты, вслушиваясь в ночную тишину. Уж не попался ли этот жалкий Салаяй?.. Он всех предаст и продаст, с ним лишишься не то что награды — головы... А если они не успеют сегодня?.. Но длиннобородый не из тех, кто пропустит момент...

Откуда-то издали прозвучали выстрелы... Теперь ближе... Ближе...

— Слава аллаху! — прошептала Модан, никогда не поминавшая бога, и, мягко высвободясь из рук Махмуда, оделась. Тем временем стрельба нарастала. Уж доносились возгласы солдат: «Ша, ша, ша!» Модан, не

колеблясь, вытянула из ножен на стене кинжал Махмуда, но едва занесла его над спящим, как в дверь загрохотали. Модан, досадливо прикусив губу, быстро вложила кинжал в ножны и впустила джигитов...

Когда «сардар», не успевший толком ни протрезветь, ни проснуться, выскочил во двор, здесь в полнейшей сумятице метались обеспамятевшие люди. Страх лишил их разума, заставил забыть об оружии — как спали, так и выскочили они в нижнем белье и теперь бессмысленно бросались из угла в угол, вопили, натыкались друг на друга, в общем, вели себя точно беззащитные овцы, когда на их стадо нападает стая волков. А солдаты, быстро покончив с теми, кто нашел приют в остальных домах, уже собрали силы и наступали на усадьбу Норуза, уже ломались в ворота, уже палили из сада...

— Оружие! Беритесь за оружие!.. — с проклятиями заорал Махмуд и в бешенстве рубанул саблей одного, потом второго джигита — из тех, кто, ополоумев, метался по двору. Голос вожака привел людей в чувство, они схватились за винтовки, но поздно: теперь солдаты стреляли откуда-то сверху, с крыш окружающих двор построек, не давая «заблудшим» поднять головы.

— Открывайте ворота! — крикнул Махмуд. Ворота распахнулись. Джигиты хлынули в них беспорядочной толпой. Половина тут же полегла, другие, действуя саблями, кое-как добрались до крепкой каменной ограды на противоположной стороне улицы. Из трехсот человек в живых оставалось не более тридцати. Махмуд был ранен в ногу.

— Бегите, бегите, родные, не цепляйтесь за меня!..

— Бегите?.. А куда?.. Куда бежать? Все из-за тебя!.. — наскочил на Махмуда его прежний ученик по кузнечному ремеслу. В руке у него угрюмо блеснул клинок.

— Бей! — крикнул Махмуд, рванул себя за ворот и оголил грудь. — Вонзай свой кинжал, ну, смелее!.. — Однако пуля, пущенная каким-то солдатом, опередила, Махмуд упал.

— Ша, ша, ша!..

Долго ли могла сопротивляться горстка джигитов плотным рядам маньчжурских солдат? Никого не спасло бегство, никто не ушел от острой стали и свинца...

Махмуд, потерявший много крови, очнулся, когда в глаза ему ударили лучи солнца, — красное, как свежая рана, поднималось оно из-за гор. «Модан... Ты цела?.. Беги отсюда...» — были первые слова, которые он пробормотал запекшимися губами. Он не бредил. Он в самом деле видел Модан. Она пробиралась между трупов, устилавших, двор усадьбы Норуза,

и за нею шло несколько солдат. «Беги!» — крикнул он, собрав остаток сил. Его погубил этот возглас. Спрячься он среди мертвых тел, отползи потихоньку в арык — возможно, его и не заметили бы.

Модан увидела его первой, попятилась, лицо ее сморщила брезгливая усмешка:

— Добился своего, батур?

Махмуда пронзила страшная боль, он снова погрузился в беспомощность. Когда ему удалось разжать словно чугуном налитые веки, Модан собственноручно набросила на шею Махмуда веревочную петлю. Ее голос звенел от ненависти:

— Вот достойный конец для такого глупца, как ты!

И это была она, Модам!..

Махмуд потянулся, застонал. Он хотел бы, но не мог... Не мог даже приподняться... И все-таки, собрав последние силы, он рванулся, как смертельно раненный беркут, встал во весь огромный свой рост — и кинулся на Модан.

Прогредел выстрел — и кузнец, стиснув, словно клещами, горло Модан, покатился вместе с ней в арык. Когда солдаты разжали его руки, она была без сознания. Могучее тело Махмуда еще вздрагивало, посиневшие губы шептали что-то невнятное. Проклинали они кого-нибудь?.. Или молили о прощении?.. Кто знает...

— Разрешите доложить, господин дарин! — вытянулся танжан [\[123\]](#) перед длиннородым.

— Прошу вас, — благосклонно улыбнулся дарин.

— Воровская шайка во главе с Махмудом уничтожена.

— Благодарю за верную службу, танжан, и хвалю, за храбрость.

— Не желаете ли осмотреть наши трофеи... — Танжан обернулся и кивнул двум солдатам. Те четким шагом подошли к длиннородому, дружно опустились на колени, склонили головы, упершись подбородками в грудь.

— Покажите господину шанжану...

В руках одного из солдат был мешок — обыкновенный холщовый мешок, из тех, какие дехкане употребляют в хозяйстве. Солдат встряхнул его — и из мешка, глухо стукнув об пол, словно кочан капусты, выкатилась голова Махмуда.

— Наконец!.. — осклабился длиннородый. — Взденьте голову этого мерзавца на кол у городских ворот.

— Слушаюсь, господин дарин!

Солдаты встряхнули мешок еще раз — и на земле выросла груда отрубленных ушей.

— Грибы, — усмехнулся длиннобородый.

— Как будет угодно вашей милости.

Но, видимо, танжану сегодня не терпелось окончательно завоевать расположение дарина.

— Если вы пожелаете, господин шанжан, то с крепостной стены можно наблюдать редкостное зрелище...

В окружении сановников длиннобородый поднялся на высокую башню над крепостными воротами. Зрелище и в самом деле стоило того, чтобы преодолеть несколько крутых лестниц — отсюда было хорошо видно пылающее Дадамту.

Наверное, оттого, что тела «заблудших» швыряли прямо в огонь, со стороны пожарища несло трупной гарью и таким смрадом, будто пылала вся Илийская долина.

— Вы правильно поступили, — проговорил дарин, жадно вглядываясь в даль, наполовину затянутую дымом. — С этими чаньту нужно разговаривать на том языке, который им доступен...

— Ари, господин дарин.

— Однако вам следует ясно понимать, танжан, что ваша победа — результат мер, принятых мною заранее. Как вы знаете, я подослал в лагерь к чаньту своего человека... Не загони Модан этих собак в овчарню, вам... Ваши силы и способности мне великолепно известны, танжан.

— Ари, господин дарин. Если бы не ваша мудрость, Махмуд не убрался бы из Актопе... — подтвердил танжан, которому ничего не оставалось, как проглотить откровенную издевку длиннобородого.

— Меня радует ваша понятливость, танжан... Кроме того я думаю, что наступило время для штурма главного воровского гнезда...

Глава пятнадцатая

1

Гролом обрушилась на повстанцев весть об измене Махмуда и о побоище в Дадамту. Триста джигитов погибли ни за что ни про что без всякой пользы для дела — триста товарищей, триста братьев! Но кого винить?.. Кто выпустил предателя, кто позволил увести ему свой отряд?..

Черная туча легла на лагерь. Сжимались от гнева сердца, и лица темнели, подернутые траурной скорбью. Особенно велико было горе уроженцев Дадамту. Неистовые проклятия обрушивали они на Махмуда и требовали сейчас же, без промедления, выступить и отомстить маньчжурам за смерть близких, за родные, обращенные в пепел очаги. Волнение охватило повстанческие отряды, страсти бушевали, жаждали выхода, крепость Актопе с каждым часом все больше уподоблялась вулкану, который вот-вот извергнет раскаленную лаву. В яростном исступлении то здесь, то там собирались добровольцы, готовые взбунтоваться и действовать по собственному почину. За ними устремились бы остальные — и тогда, на радость врагу, всему восстанию пришел бы скорый и бесславный конец!..

Чувствуя, какая опасность сгустилась над лагерем, Ахтам обратился к повстанцам:

— Слушайте меня, братья! В какой войне бывают одни победы? Какая война обходится без тяжелых жертв и проигранных сражений?.. Кто не хочет понять этого, тому лучше было не братья за оружие!..

Он заставил умолкнуть крикунов. Но откуда-то из задних рядов раздался возглас: «Ты должен ответить за измену Махмуда!» — и снова поднялась буря...

— Что верно, то верно, — сказал Ахтам, когда ему дали говорить, и голос его был ровен и спокоен. — Я вовремя не раскусил измену и должен ответить...

— Какой прок ворошить старое!.. — крикнул кто-то.

— Нет, — сказал Ахтам, — я не прошу пощады. За свои ошибки каждый должен платить своей головой. Вот моя голова — рубите!

Трудно сказать, что именно вдруг укротило людей — искренность, с которой произнес он эти слова, или то, как без всякого сожаления, с какой-

то даже легкостью Ахтам снял и положил на землю свой пояс, кинжал и саблю, а затем обнажил и склонил голову, — но толпа вдруг смолкла, растерялась, и те, кто был родом из Дадамту и негодовал громче всех, теперь смутились и затихли...

— Веди нас в бой, Ахтам!.. — крикнул кто-то. И этот возглас, будто его лишь и ждали остальные, взлетел над толпой, и с каждым мигом звучал все громче, наполняясь яростью, гневом, надеждой:

— Веди нас в бой, Ахтам!..

— Веди нас в бой...

И распрямился Ахтам, и окинул толпу медленным взглядом, и вскинул руку, требуя тишины.

— Хорошо, — сказал он, — собирайтесь в поход. Мы выступаем завтра!..

Повстанцы разбились на сотни, каждая сотня — со своим знаменем: на белом полотнище — звезда и полумесяц. Не считая дозорных и балдакчилар — тех, кто с помощью лестниц первыми должны были взобраться на стены вражеской крепости, не считая этих специальных отрядов, ждали сигнала к выступлению две тысячи конных и пеших бойцов. Одетые в одинаковую форму — белые малахаи с черной полоской, бешметы со стоячим воротом, сапоги с изогнутым носком, — вооруженные винтовками, ружьями, саблями, а то и пиками, повстанцы представляли немалую силу.

Маимхан отличал особый наряд: поверх такой же, как у всех, мужской одежды — шитый серебром пояс с саблей и шестигранная остроконечная шапка. Тонкая, стройная, уверенно гарцевала она на своем белом в сизых отливах коне перед равняющимися рядами — ни дать ни взять юный витязь из старинной легенды. По правую руку от нее, на черном скакуне, сидел подтянутый, посуровевший Ахтам, по левую — весельчак и удалец Хаитбаки, и любо глядеть было разом на всех троих — вид их радовал и воодушевлял боевые сотни.

Седобородый Колдаш, облаченный во все белое, по знаку Ахтама поднялся на паштак^[124] — благословить идущих на святое дело. Руки его взмыли к небу, голос звучал торжественно и тягуче:

— Да будут повергнуты в прах наши враги, да будет свободной наша земля!

И тысячеустое эхо грянуло в ответ ему:

— Аминь!..

— В бой, братья!..

— В бой!..

Сотни тронулись — каждая следом за плещущим на ветру знаменем...

Хотя противник превосходил повстанцев и по численности и по вооружению, было решено штурмовать Кульджу. Войско разделили на две части: отряды во главе с Ахтамом предполагалось двинуть на Кульджу с севера, отряды под началом Колдаша — с востока. Охрану Актопе поручили Семяту.

Маньчжуры давно выжидали удобный момент, чтобы развернуть активные действия против мятежников. Такой момент наступил, когда стало известно о разладе в среде бунтовщиков, о предательстве Махмуда и его разгроме.

По приказу жанжуна был организован так называемый «корпус по ликвидации воров»; он состоял из шести регулярных полков, которые подчинялись лично жанжуну и, в качестве особых частей, прежде располагались в долине реки Хелунчан. Солдат в эти полки набирали в основном из маньчжур и шива и пускали в дело в самых критических случаях.

— Не беспокойтесь, господин жанжун, — заверил длиннобородый, получая из рук в руки приказ о передаче ему корпуса, — на этот раз я постараюсь так расправиться с чаньту, чтобы даже их правнуки — если у них вообще будут правнуки — бледнели от страха и молили бога о спасении при одном только слове «солдат».

— Наша задача облегчилась, — сказал дарин, собрав своих военных советников. — Воры вылетели из гнезда. Начнем же, господа, охоту.

Раньше дарин думал запереть мятежников в Актопе, но планы переменялись. На совете было предложено три полка выставить против Ахтама, два — против Колдаша и один направить для захвата крепости Актопе, а на холме Харамбаг устроить командный пункт, — отсюда поле предстоящего сражения виделось как на ладони.

Отряды Ахтама достигли канала Ак остан и здесь натолкнулись на противника. Их встретил сильный огонь. Джигиты ответили ружейными залпами. Перестрелка продолжалась около часа, затем повстанцы обнажили сабли, взяли пики наперевес и с криком «аллаху акбар!» бросились на врага.

Этого только и ждали маньчжуры. Они отступили, побежали, увлекая за собой преследователей, и Ахтам, разгоряченный погоней, опомнился только тогда, когда в лощине Алтунлук его кольцом окружили два полка, скрывавшиеся в зарослях тальника. Теперь свинцовый град хлестал со всех

сторон. Ахтам разбил свои силы на четыре части, приказал спешиться и залечь.

Колдаш встретился с противником в низине, расположенной к востоку от Харамбага. Маньчжуры заранее укрепились на выгодных позициях. Рискнуть на открытую схватку с ними значило обречь себя на бессмысленные потери. Посоветовавшись, Маимхан и Колдаш решили обороняться.

— Как бы нам не попасть в ловушку, доченька, — сказал старый Колдаш.

Маимхан прислушалась. Со стороны лощины Алтунлук доносились ослабленные расстоянием звуки стрельбы.

— У Ахтама идет бой, тага... Мы должны ему помочь...

— Попробуем, доченька.

Три сотни джигитов с Умарджаном во главе остались держать оборону, пятьсот человек отошли назад, готовясь выступить Ахтаму на выручку.

Между тем отряды Ахтама продолжали неравный бой. Тиски вокруг них сжимались.

— Пробьемся или все пропадем, Ахтам-ака! — воскликнул Хаитбаки. Он думал, что и Маимхан со своими джигитами попала в окружение, и тоже рвался ей на подмогу.

— Нужно выстоять до ночной темноты, — отозвался Ахтам скрепя сердце.

— Ждать до ночи?.. Я попробую, Ахтам!..

— Смотри, пропадешь зазря...

— Кто смелый?.. Ко мне! — крикнул Хаитбаки. Он выскочил из-за укрытия. Добрая сотня джигитов бросилась к нему.

Взлетев на коней, они врубались в самую гущу врагов, прорвали первую цепь, вторую. Но пуля ударила Хаитбаки в грудь. Привстал, вытянулся на стременах в последний раз джигит и, запрокинувшись назад, рухнул на землю, как скошенный. Одно-единственное слово выдохнул он: «Маимхан!..», но никто не услышал его в пылу схватки. Не пробились и остальные джигиты сквозь плотный заслон — все сложили головы следом за Хаитбаки...

Теперь положение Ахтама сделалось еще тяжелей. Ряды его товарищей редели, враг напирал, подступая все ближе, ближе... Но вот в лощине появился отряд Колдаша.

— Братья! — крикнула Маимхан, чувствуя, что промедление равно гибели. — Братья!.. — Над ее головой блеснула сабля.

— Стой, дочь моя!.. — крикнул старый Колдаш. — Остановись!..

Но Маимхан уже не слышала этих слов. Пятьсот джигитов с боевым кличем бросились за нею. Белые полотнища знамен развевались на ветру. Впереди, сдавив коня ногами, скакала Маимхан.

Длиннобородый дарин с вершины холма Харамбаг следил за сражением. «Девчонка сама рвется к нам в руки, ее надо взять живьем», — подумалось ему. Он что-то шепнул адъютанту, стоявшему рядом, и указал пальцем на Маимхан. Тот понимающе кивнул и кинулся к своему коню...

Вовремя подоспевшее подкрепление изменило ход боя. Маньчжуры, не выдержав, начали отступать с одной стороны на них обрушилась Маимхан со своими джигитами, с другой — наседали сотни Ахтама, взбодренные поддержкой.

— Введите в дело артиллерию, — приказал длиннобородый. Загрохотали пушки. Маньчжуры бросили в бой два резервных полка. Наступили минуты, которые должны были решить все.

Да, многое значат смелость и отвага, но если на место одного сраженного врага заступают десять?.. Если вся лощина уже покрылась вражескими телами, а отовсюду, словно саранча, которой нет числа, надвигаются все новые полки и роты?.. Маньчжуры, отступившие бы-о, под прикрытием артиллерии опять двинулись вперед. Храбро дрались повстанцы, но с каждым мигом слабели их боевые цепи, кровавое месиво возникало там, где падали снаряды; пушечные выстрелы прижимали к земле, не давали подняться, ринуться на штурм. Маимхан, как и прежде, была впереди, в первой цепи, и около, пытаясь прикрыть ее от опасности, находился старый Колдаш.

Бой продолжался. Отчаянье удесяттеряет силы — джигиты Ахтама рвались из окружения, еще немного — и они бы пробились к своим... Если бы, если бы в этот момент им помогли джигиты Колдаша!.. Но уже ранен старый Колдаш, уже приняло его старое тело смертельную пулю, предназначенную Маимхан. И вместе с ним полегли джигиты, которые были рядом. Одна, совсем одна оказалась вдруг Маимхан! А к ней, отрезая ее от своих, уже мчались маньчжурские солдаты... Маимхан вздыбила своего белого коня, взмахнула саблей — и упал первый солдат. Остальные хотели накинуть на нее петлю, но разрубила веревку Маимхан, хлестнула захрапевшего коня по крутому крупу и рванулась... Но тут прямо в грудь ей ударило тяжелое копьё...

— Держитесь, родные! — крикнула Маимхан, обхватив за шею быстрого скакуна. Верный конь понес ее в сторону. Напрасно гнались за ним солдаты.

Все это видел длиннородый дарин с холма Харамбаг и отдал приказ взводу своей личной охраны...

Когда Маимхан стащили с коня, она была без памяти. Словно откуда-то из страшной дали к ней доносились звуки выстрелов, звон и скрежет мечей, лошадиное ржанье и крики: «Бей, руби!.. Ша, ша!..»

«Ахтам...» — вспыхнуло у нее в голове, и все затянулось черной мглой.

2

После разгрома повстанцев два дня в Кульдже длились убийства и казни, два дня с раннего утра до поздней ночи шла кровавая расправа — хватали всех, кто был замешан в восстании, кого заподозрили в сочувствии к мятежникам, кому довелось первым подвернуться под руку осатаневшим от ярости солдатам. Горожане в страхе забились в свои дома, улицы опустели, на площадях, не зная передышки, трудились палачи. Длиннородый торжествовал победу.

На третий день, едва загорелась заря, с крепостной стены ударили пушки. Раз за разом, через равные промежутки, гремели залпы, взламывая ночную тишину, и перепуганным, трясущимся от каждого шороха жителям казалось, что от пушечного гула содрогаются земля и горы.

— О аллах, милостивый, милосердный, сохрани наши головы во имя наших детей... — Люди приникли к щелям, ожидая в тоске, что случится дальше. А дальше — в разных концах города забили барабаны, раздались пронзительные голоса глашатаев: «Всем до последнего выйти на улицы! Таков приказ! Ослушники будут наказаны!..»

Прихватив детей, стариков и убогих, горожане покидали дома, присоединялись к покорным, безмолвным толпам, — их гнали, как скот на бойню, за городские стены, к холму Ляншан. Здесь всем было велено стать коленями на мерзлую землю.

С четырех сторон оцепили холм Ляншан солдаты. Тускло блестели ружейные стволы, багровыми бликами зари вспыхивали обнаженные сабли. Тысячи людей обреченно прощались с жизнью, губы в последний раз твердили слова молитвы... Но время тянулось, а солдаты не стреляли, не рубили голов... Люди начали распрямлять затекшие спины, исподтишка озираться.

Теперь они увидели на вершине пологого холма помост, обтянутый пестрой материей, и на нем несколько скамей. Ниже, в полсотне шагов от

помоста, стояли три человека в красных одеяниях. Черные маски скрывали их лица. Рядом возвышалось небольшое сооружение, также скрытое черной тканью. Теперь всем сделалось ясно, что не ради них совершались эти мрачные приготовления, и все облегченно вздохнули, потому что каждый в первую минуту подумал только о себе.

Прошло около часа. Со стороны города послышался оглушительный треск барабанов. Толпа заволновалась, люди стали оборачиваться, глаза их теперь неотрывно следили за дорогой. Там уже можно было различить солдат — не меньше сотни, одетых в черное; с их копий свисала красная бахрама. За первой сотней двигалась вторая, за ней — третья, в желтом, с обнаженными мечами. Дальше, почти впритык, следовали шесть колясок, запряженных черными мулами и похожих на тавуты^[125]. В передней восседал дотяй, за ним — гун Хализат, потом — длиннобородый дарин. Три последних коляски заполняли придворные во главе с ишик агабекком.

Мрачное шествие медленно приближалось к холму Ляншан. Наконец кавалькада достигла помоста и остановилась. Перед каждой коляской слуги поставили по низенькой скамеечке. Приехавшие вышли, не спеша, с достоинством поднялись и расположились на помосте. Ишик агабек вскинул правую руку:

— Пусть славный каган Китая живет тысячу тысяч лет!

Первым встал со своего места дотяй, за ним остальные, и все склонились в низком поклоне. Волосы, на маньчжурский манер заплетенные у всех в длинные тонкие косицы, свесились вперед, концами скользнули по доскам помоста.

На площадь въехала черная крытая повозка и остановилась там, где неподвижно застыли трое в красном. Четверо стражников, стоявших по углам повозки, вытянули руки по направлению к помосту. В руках, отливая холодной синевой, сверкали мечи.

— Открывайте! — громко приказал длиннобородый.

Солдаты приподняли полотнище, которое завешивало повозку спереди. На нем крупными китайскими иероглифами значилось: «Шун-фян» — «Убийца». Из глубины повозки выволокли связанного по рукам и ногам человека, поставили на землю, повернули к помосту лицом. С головы сдернули густую сетку. И тогда все увидели, что это Маимхан.

Вначале ее имя выкрикнули двое или трое из тех, кто стоял поблизости, затем его повторили в разных концах. И вот уже вся громадная толпа вздохнула единым вздохом:

— Маим-хан!..

Дотяй, гун Хализат, длиннобородый и все, кто находился на помосте,

невольно привстали со своих мест.

Толпа встрепенулась, глухо зарокотала, задвигалась, но солдаты никому не дали подняться с колен.

Тысячи глаз скрестились на девушке — такой маленькой, такой хрупкой, такой одинокой посреди огромной безмолвной площади... Но гордо и просто стояла Маимхан, еще никогда не была она так прекрасна и так спокойна, как сегодня, перед лицом смерти. Только раз огляделась она вокруг, надеясь, быть может, отыскать Ахтама... Или Хаитбаки... Или старого Колдаша... Но никого не встретил ее взгляд.

Между тем ишик агабек торопливо читал приговор:

— ...Предательницу, врага ислама Маимхан, дочь Сетака, поднявшую бунт против священной власти великого кагана Китая, казнить, отрубив ей голову... Да послужит судьба ее примером для каждого...

Ишик агабека заглушили гневные крики, стон женщин, детский плач...

— Родные мои!

Все звуки стихли, голос Маимхан легко и свободно взмыл над площадью:

— Палачи могут убить мое тело, а не душу!..

Ей не дали досказать — стражники подхватили Маимхан, смяли, потащили к плахе.

Тишина опустилась на площадь, — такая тишина, что, казалось, даже у солдат замерли сердца.

Вскинув голову, стояла Маимхан перед плахой, только лицо ее было бледней, чем обычно.

Палач грубо рванул девушку за волосы.

— Проклятые!.. Все равно нас вам не покорить!.. — крикнула она из последних сил.

И площадь ответила:

— Маимхан!.. Маимха-а-ан!..

Это слово звучало все громче, громче, оно взлетало над толпой, над холмом Ляншан, над всей Илийской долиной — и, казалось, его слышали всюду, где под властью чужеземцев томился униженный, раздавленный, но не покоренный уйгурский народ...

Низкие сплошные тучи затянули небо. Вначале сеялась жесткая снежная крупа, потом налетел порывистый ветер, заклубилась пурга. Непроглядная муть заволокла дали, вьюга бесилась и завывала в горных ущельях, как волчица в капкане. Барханами сыпучего снега замело

Илийскую долину. Казалось, плачет и стонет вся земля.

Но человек, приникший грудью к невысокому могильному холмику, не чувствовал, видимо, ни жгучего холода, ни ветра, который злыми иглами впивался в тело. Метель, кружась, то засыпала его с головой, то, свирепо дунув, обнажала белый малахай с черной каймой, чапан, разорванный в нескольких местах, пальцы, которые судорожно сжимали окаменевшие на морозе комья свежей глины.

Поблизости в скорбном молчании замерли шестеро джигитов. Тут же, привязанные к одиноко растущему дереву, тесно сбились их лошади, ноздря к ноздре; своей понурой неподвижностью они как бы разделяли людское горе.

Время шло, но никто не нарушал безмолвия, только ветер свистел и закручивал снежные воронки.

Уже смеркалось, когда наконец бородатый джигит негромко проговорил:

— Довольно, Ахтам... — Слова дались ему с трудом, он едва выдавил их.

Товарищи склонились над Ахтамом и силой оторвали от земли.

Теперь он стоял, окруженный плотным кольцом друзей. Сомкнув плечи, они, казалось, хотели заслонить Ахтама от ненастья, укрыть от ветра, хлеставшего снегом в его лицо, заросшее густой щетиной, как бы обуглившееся, постаревшее за эти дин.

Не говоря ни слова, Ахтам левой рукой поднял с земли кетмень (правая рука у него была ранена) и вырубил в затвердевшей могильной насыпи неглубокую ямку. Затем он развязал свой шелковый пояс, поднес к губам кинжал, поцеловал острый клинок, завернул в пояс, бережно положил на дно ямки и завалил ее землей. Друзья по-прежнему беззвучно наблюдали за всем, что он делал.

— Теперь на коней? Так, Ахтам?.. — спросил все тот же бородач.

Вместо ответа Ахтам опустил на колени и начал читать молитву. Он молился тихо, почти неслышно, губы его едва шевелились, произнося слова, предназначенные лишь для любимой. И многое, на что не решался Ахтам раньше, сказал он ей теперь...

Но сухи были его глаза, и никто, заглянувший в них, не догадался бы, что творится сейчас в его сердце...

Последним усилием прорвали Ахтам и его товарищи вражеские тиски, но, узнав, что Маимхан попала в плен, снова ринулись в битву. Однако ночь уже окутала землю, и нельзя было различить, где чужие, где свои. Казалось, враги стреляют со всех сторон, один за другим падали джигиты,

не миновала пуля и Ахтама. Пришлось отступить. С остатками повстанцев Ахтам двинулся к Актопе, но солдаты уже перерезали дорогу. Вскоре выяснилось, что гарнизон крепости во главе с Семятом перебит, а за теми, кому довелось бежать, маньчжуры охотятся по всей округе.

Уцелевших в сражении джигитов Ахтам повел в давнее пристанище лесных смельчаков — ущелье Гёрсай, но длиннородый, выполняя приказ о полной ликвидации «воровских шаек», преследовал его по пятам. Наконец с Ахтамом осталось всего шестеро самых верных друзей.

Что ожидало их впереди?...

Вчера тело Маимхан было предано земле. Сородичи похоронили ее возле холма Дадамту. Голову девушки, отрубленную палачом, маньчжурские власти приказали вывесить над крепостными воротами Кульджи под охраной специально приставленных часовых. Но народ не допустил надругательства: у Ахтама и его товарищей нашлось немало помощников. Заколов четырех стражников, джигиты доставили голову Маимхан к ее могиле и похоронили вместе с телом...

— Пора, брат, — Умарджан положил руку Ахтаму на плечо. Ахтам с таким усилием поднялся на ноги, словно его давила к земле страшная ноша.

— Куда мы?.. — спросил бородатый джигит, когда седлали лошадей.

— На запад!.. — отвечал Умарджан вместо Ахтама.

Джигиты тронулись. Через несколько мгновений могильный бугорок и одинокое деревцо утонули в пурге.

Ахтам ехал, ослабив поводья и давая волю коню и своим мрачным думам. «Куда вы держите путь, куда, дети мои? — слышалось ему. — Куда идете, покидая свой край, свою землю?..» Знакомый старческий голос повторял эти слова, и так явственно, что Ахтам встряхнулся и разжал залепленные снегом ресницы. Нет, это сон или легкая дремота, которая незаметно подкралась к нему...

«Остановитесь, джигиты!.. Эй, остановитесь!.. Нехорошо отречься от родины! Разве найдете вы счастье от нее вдали? Разве не здесь пролита ваша кровь?»

Чей это голос? Муллы Аскара?.. Или старого Колдаша?.. Или то голос далеких предков, воскресший в его сердце?.. Ахтам с яростью хлестнул коня плетью и поскакал прямо в снежную круговерть. И по мере удаления от Кульджи голос этот слабел, звучал все тише, все глуше, и вместе с ним словно обрывалось что-то в душе Ахтама, и все безнадежней охватывала его тоска своими тугими змеиными кольцами.

— Ты устал, Ахтам?.. — тихо спросил друга Умарджан. Похоже, он

загрустил от тех же мыслей.

Впервые попытался нарушить молчание Умарджан после того, как они двинулись в путь, но Ахтам ему не ответил. Может быть, погруженный в собственные раздумья, он просто не расслышал вопроса...

Когда путники, поднимаясь по горной тропе, достигли середины склона, пала лошадь бородатого, который двигался впереди, прокладывая в сугробах дорогу. Простились с конем, не вынесшим тяжелой дороги, и продолжали пробиваться к перевалу.

Так прошла ночь, а утром — они встретили его уже на вершине — прекратилась метель, небо расчистилось и солнце засверкало так ослепительно, что вся Илийская долина, обновленная снежным покровом, наполнилась блеском, заиграла, заискрилась, как сказочная красавица в драгоценном уборе. На юге высился гордый среброглавый старик — Тянь-Шань, с востока сияли пурпуром зари вершины Арвала, и северный великан — гряда могучих Алайских гор — широко распахивала свои объятия, будто вопрошая: «Не ты ли играл в детстве на моих шелковых лугах? Не ты ли пил из моих родников животворную воду?..» И река Или, которая несла в своих струях первые льдинки, — река Или, потемневшая, почти черная среди оснеженных берегов, казалось, говорила каждому из джигитов: «Слушай меня... Я кровеносная жила долины, где ты родился, где умерли твой отец, и дед, и прадед... Не я ли храню для тебя их радости и печали, их горькое горе, их светлые надежды? Не я ли смываю следы крови, которую проливал в битвах твой народ? И не я ли выныривала тебя на своей груди?.. Куда же ты уходишь, кому отдаешь меня?..»

Семеро джигитов стояли на вершине Янбулака. Глубоко внизу крутыми завитками поднимались дымки... То была Кульджа — сердце Или...

Ахтам, не беги от поражения, борись, только в борьбе добывают победу! Будь вместе со своим народом, верь ему... Пускай не окажется бесполезно пролитой кровь твоих погибших друзей... Отомсти! Не покидай родной край, священный край, где окропила землю чистая кровь Маимхан!..

После долгих дней скитаний, утратив прежнюю веру, растерянный, оглушенный всем, что произошло, Ахтам впервые очнулся, впервые почувствовал — нет, еще не все потеряно, нет, не все!..

— Братья, — задумчиво сказал он, — мы спасем свои головы, а кто будет спасать родину?..

— О чем ты говоришь? — ответил бородатый. — Нас ведь осталось только семеро — что мы можем?..

— И куда нам деваться, если не найдем мы прибежища в другой стране? — поддержал его другой джигит.

— За этим хребтом — наши кровные братья, они приютят нас, Ахтам, не будем же сворачивать с намеченного пути, — сказал третий.

— Но разве я говорю, что мы не отыщем пристанища?..

— Тогда почему ты с половины пути начинаешь пятиться назад? — перебил Ахтама бородатый.

— Для человека проститься со своей родиной — все равно, что проститься со своим сердцем. Как же мы станем жить на чужбине — без сердца?..

Тяжелое молчание было ответом на слова Ахтама.

— Разве по своей воле покидают родную землю? — хриплым от волнения голосом проговорил Умарджан.

— Мы еще вернемся, чтобы отомстить врагу!.. Вернемся, когда наступит наш срок!..

— Нет, — с внезапной твердостью прервал Ахтам бородатого, — нет, братья! Мы не можем покинуть нашу землю — нашу и больше ничью! Сегодня мы потерпели поражение, но завтра мы победим! И сила наша и наше счастье — все, все здесь... — Ахтам выскреб из-под снега горстку мерзлой земли, поднес к лицу,дохнул на нее теплым, клубящимся на морозе дыханием. И вскочил на коня.

— В седла, братья! — крикнул он. Его друзья молча последовали за ним, и молча, но уже с пробуждающейся решимостью повернули они коней на Кульджу. Их путь вел к новой борьбе, к новым битвам...

Примечания

1

Наджи — друг (*монгольск.*).

2

Чон дада — уважительное обращение к пожилому человеку.

Кайсар — удалец, храбрец.

4

Мерген — меткий стрелок.

Эмир-лашкар — командующий войсками.

Юзбаши — сотник.

Черик — солдат, боец.

Чолпан — Венера.

Хада — тетушка.

10

Лозун — административная должность, надзиратель.

Сочжан — начальник заставы (*китайск.*).

Хашар — сходка для совместной работы.

Кокбеши — распорядитель посевов.

Дотяй — губернатор.

Жанжун — генерал-губернатор (*китайск.*).

Манган — вода, в которой варится лапша для лагмана.

17

Сар — 35 граммов.

Чаньту — презрительная кличка мусульман (*китайск.*).

Шауе — младший господин, младший хозяин.

Тонур — глиняная печь, в которой пекут лепешки.

Яйи — охранныки, жаңдармы.

Хо — мера землі — около гектара.

Сяогуй — чертенок (*китайск.*).

Лин пию — денежная ассигнация, примерно три с половиной рубля.

Шанган — начальник уезда (*китайск.*).

Жин (цзинь — *китайск.*) — мера веса, примерно 500 граммов.

Жинды — сумасшедший (*казахск.*).

Дон махалля — юго-западная часть Кульджи.

Как поживаешь, Гау-жужан? Пришел вор Гани!

Машру жуяза — женский наряд; безрукавка, расшита золотом.

По обычаю, у уйгуров жена называет мужа «отцом» в значении «отца семейства».

Чач попук — украшение, соединяющее косы на затылке.

Мергия — трава, которую щиплют олени в период случки.

Кошак — подобие частушки.

Корпача — узкая подстилка, набитая ватой или шерстью, предназначенная для гостей.

Ишик агабек — дворцовый бек.

Утогат — особый головной убор, знак власти гуна.

Янчи — крепостные.

Хо — мера веса, равная четырем пудам.

Ханьхау! — Очень хорошо! (*китайск.*).

Дарин — большой, уважаемый человек.

Шанжан — начальник уезда (*китайск.*).

Чанлун-хан — маньчжурский хан, правивший в XVIII веке.

Хучуджу — водка, настоенная на костях тигра.

Кази — судья.

Кочкар — баран.

Мадара-мурасе — работать в согласии.

Дорга — сборщик податей.

Ашпузул — харчевня.

Бурадар — братац, приятель.

Шумяк — костяная трубочка, по которой стекает в горшок моча лежащего в люльке ребенка.

Тилла — золотая монета.

Су́па — возвышение, сложенное из глины.

Балли — радостное восклицание.

Дуга — молитва после еды.

По пятницам ученики должны были приносить учителю плату продуктами.

Чилан — дерево, родственное джиде.

Названия уйгурских сказок.

Барикалла — молодец, хвала тебе.

Шанфи — царица, государыня.

Та-мади! — китайское ругательство.

Пайджан, хома? — Как ваше здоровье, начальник? (*китайск.*).

Бей ху жан ни хо? — Как твое здоровье, староста? (*китайск.*).

Астахпурулла! — Боже мой!

Ука — дружеское обращение к младшему.

Лайлун — «кромешный ад».

Ботун — хозяин, нанимающий батраков.

Синку — скотина (*китайск.*).

Чоруки — сандалии из сырой бычьей кожи.

Ак остан — дословно «белый канал».

Кула — высокая остроконечная шапка.

Джянда — пестрый, цветастый халат — наряд нищих.

Кази-калан — главный судья в духовном суде.

Шейх — святой.

Дивана — юридический.

Джоза — столик на низких ножках.

Золук — завтрак перед рассветом во время поста.

Нагир — разновидность барабана.

Гангун — удалец, силач.

Ночи — то же, что гангун.

Кисмак — осадок от вскипевшего молока.

Чипар бяштя — конь (дословно: пестрый пятилеток).

Бажгир — сборщик налога.

Амбал — господин.

Родупаи — бездельники.

Таравих — вечерняя молитва во время поста.

Динхулу — светильник.

Зейлир — конь, «посвященный богу». Такой конь пасется вольно, никем и ничем не стесняемый.

Дарра шариати — наказание по закону шариата, дарра — кожаный чехол, наполненный песком. Этим подобием дубинки бьют наказуемого.

Шеит — погибший на войне славной смертью.

Гази — герой.

Тамур — близкий знакомый, друг.

Коже — отварная пшеница на кислом молоке, казахское блюдо.

Кари — человек, читающий Коран наизусть.

Сура таха — глава из Корана.

Махсум — сын высшего духовного лица.

Хутби — возвышение, на котором читают молитву.

Рамзан-чилла — веселые шуточные песни, которые поют дети во время праздника рамзана.

Ломода — сводник.

100

Модан — пион.

Жезхо — содержатель картежного притона.

Тунчи — переводчик.

Бахауддин и Азям — мусульманские святые.

Тага — дядя.

Хайт — конец у разы (мусульманского поста).

Уста — учитель.

«Кутадгу билик»— книга, написанная Юсуфом *Хас Хаджимом*, XI в.

«Диван лугат турки» — книга, написанная *Махмутом Кашгари*, XI в.

«Джан намэ» — «Книга боя» — сочинение многих авторов о военном искусстве.

Суйдун — район, известный особенно вкусными персиками.

Азан — призыв к молитве.

Начальные слова праздничной молитвы.

Кузляк — место, для зимовки скота.

Мада ночи — оскорбительное для мужчины выражение.

Ари — правильно.

Тан-лу — род китайской пытки.

Ха балли — это хорошо (*китайск.*).

Али — зять пророка Магомета, силач.

Сулейман — один из пророков.

Балдакчилар — буквально: «лестничники».

Товба — слово, обозначающее раскаяние.

Сардар — полководец.

Танжан — командир полка (*китайск.*).

Паштак — возвышение.

Тавут — гроб.